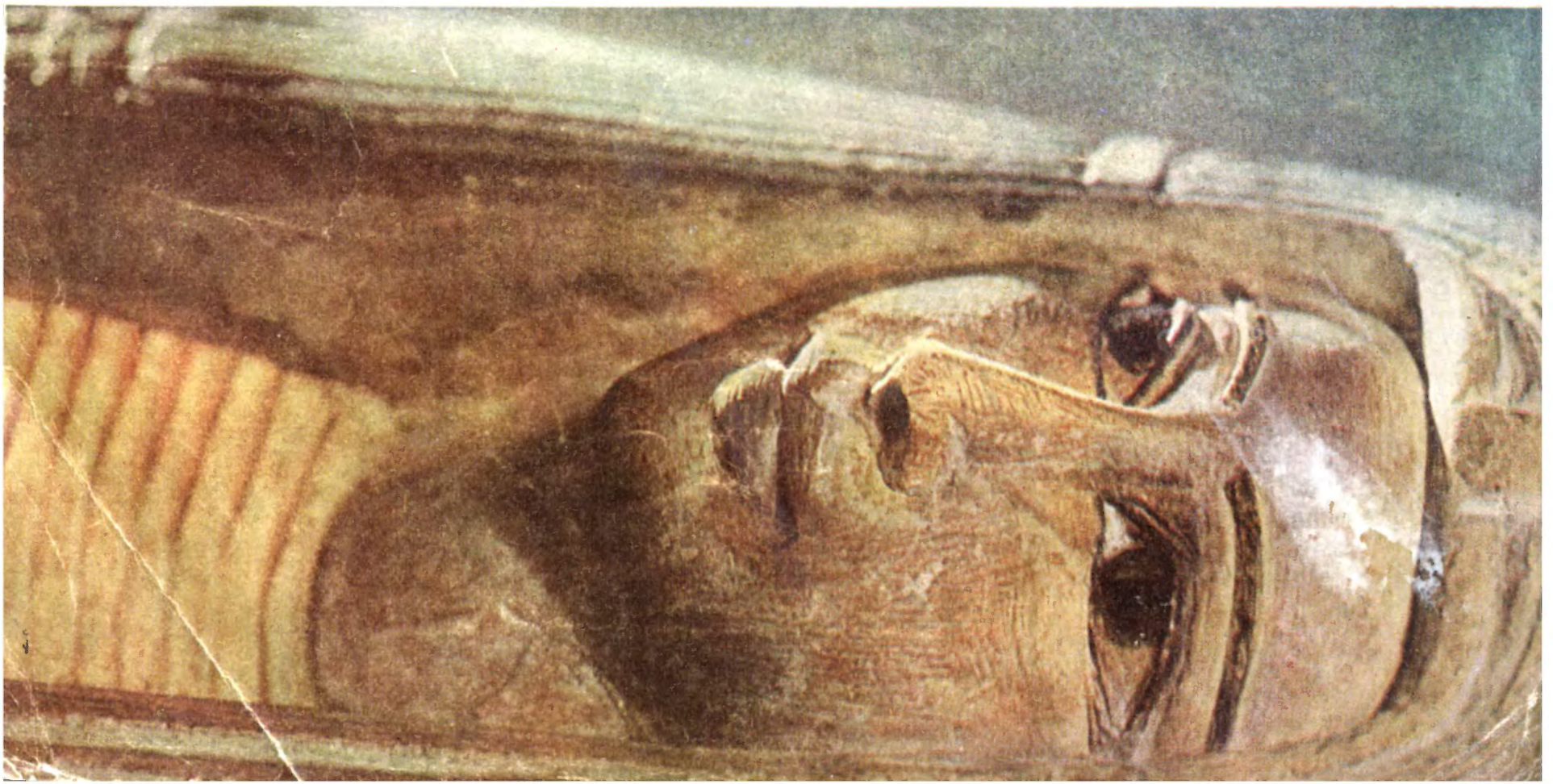
Иностранная литература 11 1970



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Иностранная литература

Издательство «Известия»
Москва

11

НОЯБРЬ
1970

СОДЕРЖАНИЕ

ФЕЛИКС ПИТА РОДРИГЕС — Ленинский Октябрь *(Стихи)* 3
ИШТВАН ЭРКЕНЬ — Семья Тотов *(Повесть)* 5
ЭДВАРД КОЦБЕК ЕВРЕМ БРКОВИЧ. ВЕЛИМИР МИЛОШЕВИЧ ТОНЕ КУНТНЕР ВЛАДА УРОШЕВИЧ. МИРЬЯНА ВУКМИРОВИЧ СЛАВКО МИХАЛИЧ — Стихи *(Вступление Александра Романенко)* 53
ДЖУЛИУС ФЕЙФЕР — Убийство в Белом доме *(Пьеса)* 60
ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС — Рассказы 97
КАНЭКО МИЦУХАРУ — Стихи *(Вступление А. Долина)* 112
АНГЕЛ ГОДОРОВ — Баррикады *(Стихи)* 118
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — Острова в океане *(Роман Предисловие Г. Боровика)* 119
ЛОУРЕНС ФЕРЛИНГЕТТИ — Стихи *(Вступление А. Зверева)* 179

Литературное наследие

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА *(Вступление Н. Томашевского)* 188

Критика

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ (Беседа с Тодором Павловым) 196

Писатель и время

АННА ЗЕГГЕРС О СЕБЕ И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ 204

Что читают сегодня

ХОСЕ ДОМИНГО — Книги и цифры (Письмо из Мадрида) 215

Наши публикации

ТРИ ПИСЬМА ДЖОНА РИДА 219

Публицистика

У. РАЙАН, С. САММЕРЛИН — Облако над Китаем 222

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Юрий Дашкевич — Вопреки заклинаниям дона Хуана Лискано. В. Божович — «Новый язык» и новое содержание 250

Изобразительное искусство за рубежом

Т. ЕНИКЕЕВА — Творчество Инжи Эфлатон 257
С. ПОТАБЕНКО — Из индийской палитры 259

Среди книг

Издано в СССР

С. Шерлаимова — XX век — век революции ◇ Геннадий Ярославцев — Поэт традиций и новаторства ◇ Б. Слуцкий — Личная антология Михаила Зенкевича 263

Издано за рубежом

Ида Радволина — Таков Данило ◇ Ф. Наркирьер — Как разгораются огни гнева 269

Из месяца в месяц (Хроника) 273

Авторы этого номера 287

■

На обложке: Голова девушки, скульптура (Древний Египет, ок. XII в. до н. э.)

ФЕЛИКС ПИТА РОДРИГЕС

Ленинский Октябрь

■

Перевод с испанского ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

И придет день, уже недалекий — знайте! — когда Октябрь назовут именем Ленина.

Могучим, крепким шагом
Октябрь идет по шумным
проспектам Петрограда.
Идет в дождях осенних,
по ручейкам и лужам,
и высится в тумане...
Октябрь идет по шумным
проспектам Петрограда.

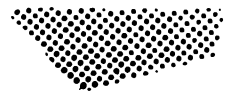
Октябрь обводит взглядом
проспекты Петрограда:
вот здесь, я вижу, голод,
вот здесь — зима без у́гля,
вот здесь — дома без хлеба,
вот здесь — война и слезы.
вот здесь — стена предательств
укрыла смерть от взора...
Октябрь идет по шумным
проспектам Петрограда.

Здесь было все чужое.
Теперь все будет новым.
Самим собою начат,
самим собою поднят,
самим собою создан,—

он будет мерить время,
что без «вчера» и «раньше»
теперь летит по свету...
Могучим, крепким шагом
Октябрь идет по шумным
проспектам Петрограда.

Высокими мостами,
по площадям открытым
Октябрь вступает в Смольный:
вот здесь, я вижу, Завтра,
здесь — светоч новой жизни.
Здесь надвое разделит
отныне и навеки
историю Вселенной
своей рукою Ленин.
Октябрь идет по шумным
проспектам Петрограда.

Гавана, 1970 г.



ИШТВАН ЭРКЕНЬ

Семья Тотов

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского Т. ВОРОНКИНОЙ

Если змея (редкий случай!) проглотит самое себя, останется ли после нее пустое пространство? И есть ли сила, способная заставить человека поглотить свою человеческую суть, до последней крохи? Есть или нет? Есть? Каверзный вопрос!

Письмо с фронта

«Дорогие мои родители и Агика! Вчера я узнал, что наш горячо обожаемый командир, господин майор Варро, отбывает на родину в двухнедельный отпуск по причине пошатнувшегося здоровья. Я тотчас же поспешил к нему и попытался уговорить, чтобы он отказался от шумной, пыльной столичной квартиры младшего брата и воспользовался гостеприимством моих любезных родителей, но он отклонил приглашение под тем предлогом, что со своими расшатанными нервами не хочет никому быть в тягость. И действительно, из-за больших неприятностей, чинимых партизанами, наш горячо обожаемый господин майор страдает тяжкой бессонницей и к тому же очень чувствителен к запахам. Одни запахи он просто не переносит, другие же, например аромат хвои, действуют на него успокоительно. К счастью, я вспомнил, что квартира его родственников находится по соседству с заводом, где перерабатывают падаль. Я снова поспешил к господину майору и описал ему наш домик в Матрасентанне, залитый солнцем сад, вид на Бабонь, нежный сосновый аромат, который окутывает всю долину, и — представьте себе! — господин майор принял приглашение! Его отбытие, если партизаны к тому времени оставят нас в покое, намечено на начало будущей недели. Можете представить, что это значит для меня! Эшелон с отпускниками отправляется из Курска, и господин майор обещал, что мне разрешат проводить его с батальонной машиной. Господи, ведь я смогу вымыться в бане!»

Глава первая

Матрасентанна — это маленькая деревушка в горах. Канализации там нет. Чтобы подвести воду к отхожему месту, надо специально рыть скважину и устанавливать насос. Это мог позволить себе только профес-

сор Циприани, единственный в деревне обладатель виллы. Остальны же об этом и мечтать не приходилось.

В том числе Тотам. У Тотов, как и у прочих скромных обитателе деревушки, для этих нужд была лишь простая будка.

На шоссе перед домом Тотов стояла, распространяя вонь, ассениза торная бочка, от которой ребристый шланг толщиной в руку тянулс через дощатую калитку по кустам георгинов, вдоль стены дома, прямо заветной будке, притаившейся в тенистой зелени.

— Ну, так качать или не качать? — спрашивал Лайоша Тота вла делец ассенизаторской бочки.

— В зависимости от того, пахнет тут или не пахнет; я-то сам уже настолько привык к этому запаху, что решать вам, господин доктор,— отвечал Тот.

Владелец бочки закрыл глаза и несколько раз глубоко втянул воз духх. Затем он сказал:

— Я буду откровенен. В настоящий момент запах из вашего отхо жего места, господин Тот, несколько резковат, но не неприятен.

— Если есть запах, тогда давайте качать,— сказал Тот.— Ведь речь идет о жизни нашего Дьюлы, уважаемый господин доктор.

Владелец бочки был обладателем титула доктора юридических наук, но чистка уборных приносила ему доход в два раза больший, чем карьера адвоката. Доктор вдумчиво нюхал воздух.

— Нелегко быть умным, дорогой господин брандмейстер. Допустим, я начну откачивать. Как будет протекать процесс? Масса всколыхнется, и понапрасну я стану извлекать содержимое из ямы, я только усугублю положение, вместо того чтобы его исправить. А сейчас, пока масса находится в состоянии покоя, подсохший верхний слой в значительной степени препятствует распространению запаха.

— Так что же тогда делать, уважаемый господин доктор?

— По моему усмотрению, из двух зол следует выбирать меньшее. Встает вопрос, в какой степени чувствителен к запахам этот майор. Что сообщает ваш милый сын?

— Дьюла пишет только, что чувствителен.

— Тогда какие у вас основания полагать, что этот запах будет раздражать господина майора?

— Потому как был случай, когда один из наших жильцов жаловался на запах,— признался озабоченный Тот.— А ведь он был вовсе и не майор, а всего-навсего проводник спального вагона.

— Дорогой господин брандмейстер! — после некоторого раздумья произнес владелец насоса.— Скажу вам откровенно. Я и без того не привык вводить в заблуждение своих старых клиентов, тем более в столь важном деле. Положение таково, что с момента откачивания и до полного исчезновения запаха — если вообще существуют отхожие места совершенно без запаха — необходимы, как минимум, четыре-пять недель. Располагаете ли вы таким временем до прибытия гостя?

— Он прибудет с самым первым эшелоном отпускников.

— Тогда лучше ничего не предпринимать.

— Очень вам благодарен за дельную консультацию,— сказал Тот.— Позволено будет спросить, сколько я вам должен?

— Плата взимается исключительно за пользование насосом,— ответил владелец ассенизаторного устройства.— Консультации я даю бесплатно.

■

Из Матрасентанны на Эгер первый автобус уходит в 5.30 утра. (Есть и еще два рейса: в 13.20 и 18 часов.) Супруга Тота отправилась в город дневным автобусом и тотчас же поспешила в кинотеатр «Аполлон».

В фойе было пусто, только у кассы сидел какой-то плешивый мужчина. Не иначе — господин Асоди, новый владелец.

— Позвольте поинтересоваться, не вы ли будете господин Асоди?..

— Да, это я. С кем имею честь?

— Раньше, еще при господине Бергере, я была здесь в прислугах.

— Говорите потише,— попросил новый владелец, поскольку в зале шел сеанс, а двери из-за полуденной жары были открыты.— Наверное, вы Тотне? Или вы Маришка?

— Фамилия моя Тотне, а зовут меня Маришкой.

— Так, значит, вас упоминали под двумя именами,— шепотом заключил новый владелец.— Все вас очень хвалили.

— Очень приятно такое слышать, господин Асоди. Двенадцать лет я ходила к господам Бергер. Госпожа кушала кошерную пищу, а хозяин признавал только французскую кухню; и я не только готовила, но и убиралась.

— И вы хотели бы получить прежнее место? — поинтересовался новый владелец.— Это было бы кстати, потому что теперешняя уборщица боится темноты.

— В данный момент нет,— сказала Маришка.— Я теперь берусь только за стирку, да к тому же мы ждем в гости командира нашего сына. Как раз в связи с этим у меня есть просьба к господину Асоди. Одолжите нам, пожалуйста, на две недели дезодоратор.

— А что это такое? Какая-нибудь паровая машина?

— Нет, что вы! Раньше, еще при господине Бергере, мы пользовались им для отдушивания зала.

— Что-то вроде курильницы? — допытывался новый владелец.

— Скорее вроде велосипедного насоса,— шепотом объясняла Маришка.— Но на те две недели, пока у нас будет гость, это вопрос жизни и смерти: все опрыскать хвойной эссенцией.

— Да берите,— великодушно прошептал новый владелец.— Хотя я даже не знаю, цел ли он.

— В прежние времена, еще при господине Бергере, мы хранили его на винтовой лестнице, что ведет в кинобудку.

— Поищите там сами, душенька,— сказал новый владелец.— Только осторожнее, а то лестница скрипит.

Маришка на цыпочках поднялась по винтовой лестнице. Дезодоратор висел на старом месте, на том самом гвозде, который торчал из стены еще и при господине Бергере.

■

Одним из основных источников дохода для жителей Матрасентанны являлась возможность сдавать комнаты. К сожалению, служба пансионатов ИБУСа [1], ссылаясь на плохую питьевую воду и отсутствие канализации, отнесла деревню к разряду С/2, то есть чуть ли не к самой последней категории; и посему в Матрасентанну приезжали отдыхать, как правило, безденежные чиновники да прижимистые пенсионеры. Приезд майора, даже по военным временам, был событием чрезвычайной важности.

Шло уже третье военное лето, и в армию был призван не только сын Тотов, в прошлом учитель,— примерно у шестидесяти процентов семей кто-либо из близких находился на фронте. Приезд майора будил у всех необъяснимую надежду, словно одно уже присутствие гостя в деревне означало какую-то защиту для всех сыновей-солдат.

Но Агика об этом не догадывалась. Она даже толком не знала, что означает слово «майор». Самым высоким военным чином на всем

[1] Акционерное Общество иностранного туризма и перевозок.

белом свете был для нее брандмейстер Матрасентанны. Ко всему прочему, она находилась в том чувствительном возрасте (ей минуло шестнадцать), когда девушки ничего так не боятся, как поставить себя в смешное положение.

— Не гневайтесь,— говорила она матери.— Но этого вы не можете от меня требовать, мама.

Жители деревни, чтобы лучше обслужить приезжих гостей, частенько выручали друг друга. Супруга Тота, у которой и без того дел было по горло, подробнейшим образом записала на бумажке, что у кого должна попросить взаймы Агика (покрывало с китайским узором — у Кастринеров, форму для пудинга — у приходского священника Томайи, желатин для студня — у кухарки профессора Циприани и так далее и тому подобное). Но чтобы девушка столь нежного возраста раскатывала по деревне нелепую игрушечную коляску, выпрашивая кучу нелепых вещей! Подобного не может требовать ни одна мать.

В этот момент и застал их Тот.

Он даже не нахмурился, только взглянул на дочь.

— О чем это вы беседуете, дочка? — мягко спросил он.

Агика покраснела. Там, где появлялся отец — стройный, богатырского сложения мужчина, в сверкающей пожарной каске, со спокойным, терпеливым взглядом,— все проблемы становились незначительными.

— Ни о чем,— ответила Агика.— Я иду помогать маме.

Она подхватила ручку игрушечной коляски и отправилась в путь — без проволочек, но и без малейшего энтузиазма. Но что же из этого вышло?

Старики Кастринеры с самого начала, когда она с пятого на десятое изложила просьбу матери, страшно всполошились.

— А что это за гость, для которого вам требуется покрывало?

— Какой-то солдат,— сказала Агика и даже чуть отступила назад в знак того, что уж она-то к этому солдату не имеет никакого отношения.

— Что за солдат?

— Какой-то майор.

— А как попал к вам майор?

— Он командует нашим Дьюлой.

— Боже милостивый! — изумилась старуха Кастринер, у которой не только сын, но и племянник находились на восточном фронте.— Нука, выкладывай все по порядку...

Агика отправилась из дому рано утром и лишь после полудня возвратилась обратно. За это время коляска наполнилась взятыми напрокат вещами, а сама Агика стала центром всеобщего внимания и зависти. Ее снова и снова заставляли пересказывать удивительную историю. Взбудораженные обитатели деревушки от любопытства готовы были разорвать Агику на кусочки, угощали ее всем самым лакомым и принимали торжественно, в результате чего майор, которого она поначалу просто боялась, с каждым часом становился фигурой все более привлекательной и все больше походил на ее отца. Такой же высокий и представительный. И плавные, размеренные движения, точь-в-точь, как у отца. А уж до чего смел! И какой щедрый! Даже привычки не имеет носить кошелек. Бумажные деньги рассованы у него по всем карманам, просто так, смятые в комок; если нужно расплачиваться, он, знай себе, разбрасывает комочки. Свои солдаты его боготворят, а неприятельские, чуть заслышат его имя, сломя голову разбегаются по лесам... Вот он какой, этот майор, одно слово — герой!

Под конец путешествия воображение Агики увело ее так далеко, что вернуться домой ей было просто невмоготу. Она лишь втолкнула коляску за калитку, а сама отправилась дальше — туда, где шоссе пово-

рачивает, дома кончаются и ничто больше не закрывает вид на поросшую лесом вершину Бабонь и барталапошскую долину. Здесь даже ветер дует привольнее. Агика напрягла свое разгоряченное тело и нежно округлившуюся грудь и, грезя наяву, с широко раскрытыми глазами упоенно шептала:

— Офицер! Офицер! Офицер!

■

Телеграмма

«Извещаем, что прапорщик Дьюла Тот (полевая почта 8/117) пал смертью храбрых в бою с врагами.

Венгерский Красный Крест».

■

В Матрасентанне, сразу же как началась война, призвали почтальона. Вместо него выполнять обязанности письмоносца вызвался горбатый, придурковатый, косноязычный тип. Все звали его просто папаша Дюри.

Папаша Дюри, собственно говоря, страдал нарушением чувства равновесия, да и то не слишком серьезным. По утрам, разнося письма, он шел точно по воображаемой средней линии шоссе и не любил, если что-то нарушало эту симметрию. Попадавшиеся на пути предметы он ногой отшвыривал к обочине, а если у кого не хватало терпения ждать почту и он выходил на дорогу, папаша Дюри в наказание вручал ему письмо лишь на следующий день.

Дойдя до артезианского колодца, он свешивался через край, норовя устроиться так, чтобы отражение смотрело на него точно с середины водного зеркала. Его частенько ругали и даже гнали, в полной уверенности, что он плюет в воду. Но это была неправда. Папаша Дюри лишь выпускал изо рта тонюсенькую, как шелковинка, струйку слюны, и как только ему удавалось направить эту струйку по воображаемой оси колодца, он тотчас же втягивал ее обратно. Эти упражнения как-то бодрили его.

Кто и когда получал письма — здесь также не последнюю роль играла его страсть к симметрии. К примеру, папаша Дюри ненавидел профессора Циприани, невропатолога с европейской известностью, чей автомобиль нередко стоял у ворот виллы, на обочине шоссе, в вопиющем противоречии со всякой симметрией. Зато он очень любил семью Тотов, и в первую очередь лично Лайоша Тота.

В того он был буквально влюблен. Установлено, что как на высшее существо оборванцы взирают на каждого, облаченного в форму, а калеки — на людей безупречного сложения. Но это еще не все. Лайош Тот неукоснительно следил за собой. Никто никогда не видел его в каске, хоть чуть сдвинутой набок, или с торчащим из кармана носовым платком. В понимании папаши Дюри Тот воплощал в себе превосходную степень человеческой симметрии, ибо даже прическу его пробор разделял строго посередине — другими словами, если острым ножом расщепить Лайоша Тота пополам, то он распался бы на две совершенно одинаковые половины, что, как известно, нелегко проделать даже с яйцом.

Благодаря всем этим обстоятельствам Тоты получали с фронта одни только добрые вести. Поэтому и одну открытку от Дьюлы (а ведь речь шла всего лишь о легком отравлении колбасой) папаша Дюри уничтожил из самых лучших побуждений.

Окно почты в Матрасентанне выходило во двор. Под окном, на расстоянии вытянутой руки от стола, стояла бочка для дождевой воды, полная зеленой студенистой жижи. Папаша Дюри, внимательно просмотрев дневную почту, бросал в нее обреченные на уничтожение письма.

Сюда угодили, и один и тот же день, обрамленный золотой каемкой пригласительный билет профессору Циприани с супругой на летний бал к регенту и телеграмма Красного Креста, где сообщалось о смерти Дьюлы Тота. Тем самым не только профессор получил щелчок, но и симпатичных Тотов удалось уберечь от печального известия. Равновесие в мире было восстановлено.

В полдень, когда папаша Дюри встретил на улице брандмейстера, он издали принялся ему ободряюще кивать и подмигивать, давая понять, что, мол, выше голову, покуда он почтальон, не знать горя милому семейству. Его веселое подмаргивание не укрылось от Тота.

— Чему радуешься, папаша Дюри? — спросил он.

— Чего есть, то нехорошо, а будет еще и не так! — ответствовал письмоноша с кривой гримасой, которая заменяла ему улыбку.

— Других новостей нет?

— В остальном все в порядке.

Тот пригласил его на стаканчик вина. Они распили его за здоровье сына-прапорщика.

■

Матрасентанна — такая глухая дыра, куда весьма редко заезжают майоры. Но в одно прекрасное июльское утро с автобуса, прибывшего из Эгера по расписанию, сошли сразу два майора.

Один спрыгнул, не дожидаясь остановки автобуса. Это был рослый мужчина с молодцеватой выправкой и начальственной внешностью, из всех майоров то был наипервейший майор. Именно таким Тоты представляли себе командира Дьюлы.

Их удивило, что гость, даже не оглядевшись по сторонам, уверенным шагом направился к саду у ресторанчика Клейна.

— Господин майор! — окликнул его Тот, но приезжий даже не оглянулся.

Они догнали майора только в саду ресторана. Обступили его и с замиранием сердца на него уставились, майор же обрушился на них весьма недружелюбно:

— Чего пристали к человеку?

— Глубокоуважаемый господин майор! — начал глава семьи.— Я — Тот.

— Ну, а я здесь при чем?

Тот, ободрив взглядом дочь, подтолкнул ее к майору.

— Сердечно рады поздравить господина майора с благополучным прибытием и просим чувствовать себя как дома в нашем скромном гнездышке,— дрожащим от волнения голосом пролепетала Агика и протянула букет алых роз.

— Вы меня с кем-то путаете! — взорвался майор.— Я еду в офицерский дом отдыха в Матрасентмиклоше и только теперь увидел, что это не Матрасентмиклош, а Матрасентанна.

Майор повернулся и бросился назад к автобусу. Розы он забрал с собой.

Тоты недоуменно проводили его взглядом, потом испуганно посмотрели друг на друга и бросились вон из сада.

Их подозрения оправдались!

Другой майор, который уже не мог быть никем другим, кроме как их майором, ждал у автобусной остановки.

Тот почувствовал разочарование. Неужели бывают такие маленькие майоры? А этот не только ростом был меньше предыдущего майора, но и невзрачнее, весь какой-то потрепанный. В разбитых сапогах и выгоревшей пилотке, он стоял, устало прислонившись к срубу артезианского колодца... Лишь юного сердца Агики не коснулось разочарование. Прав-

ца, другой майор ей тоже понравился, ну, а от этого она была просто в восторге. Даже темные масляные пятна на кителе казались Агике пятнами крови, и она воззрилась на майора, словно перед ней во плоти было само ожившее боевое знамя, пробитое пулями и овеянное пороховым дымом. Больше всего Агике хотелось бы поцеловать майора, как священную реликвию.

После первых приветствий Тот попытался было оправдаться, но майор не принял это близко к сердцу; он одним мановением руки уладил недоразумение, а ведь общеизвестно, до чего обидчивы бывают лица высокого положения.

Тоты почти совсем успокоились. И тогда облачко нового недоразумения затуманило эту встречу, на которую еще ранее путаница с двумя майорами бросила некую тень.

Без сомнения, майор говорил несколько глуховато, словно вся пыль и копоть долгой дороги осели у него на голосовых связках. Однако это не может служить оправданием, потому что майор говорил хоть и приглушенно, но вполне разборчиво.

К тому же, если быть точным, он сказал следующее:

— А я и не думал, что у вас такая взрослая дочка!

Столь вежливое замечание Тоты — и что интересно, все трое, без исключения! — поняли следующим образом:

— Хотелось бы знать, от кого это несет, как из пивной бочки!

Все трое, пораженные, замерли. Но больше всех испугался сам Тот, который — поскольку ничего другого не оставалось — тотчас же перестал дышать.

Чтобы уяснить ситуацию, надо знать, сколько усилий приложили Тоты, добиваясь, чтобы все вокруг их дома отменно благоухало. Будку в саду они обсадили рассадой душистой резеды. Сначала они целыми днями ее проветривали, а потом при помощи дезодоратора опрыскали каждый уголок сосновой эссенцией. И только после всех этих экстраординарных мер Лайош Тот, бывший маневровый диспетчер, а ныне деревенский пожарный, известный своим острым умом и трезвой рассудительностью, позволил себе сесть и прикончить свой обычный завтрак — стаканчик палинки и три гренка с чесноком!

Жена и дочь с ужасом уставились на него; проследив за их взглядом, майор тоже посмотрел на Тота. Когда лицо Тота стало приобретать багровый оттенок, а глаза начали вылезать из орбит и по лбу покатились крупные капли пота, майор вежливо осведомился:

— Вам нездоровится, любезный Тот?

— Расстраивается, бедняжка,— пояснила Маришка,— что за завтраком съел гренки с чесноком.

Майор с головы до пят смерил взглядом пожарного и продолжил беседу:

— Видите ли, милые Тоты, в результате девятимесячного пребывания на фронте моя нервная система серьезно травмирована, в чем львиная доля вины приходится на партизан с их крайне бесцеремонными методами ведения войны. Все это я совершенно напрасно вам объясняю, но тем не менее приведу один пример, чтобы вы имели хоть какое-то представление о ситуации.

В качестве примера майор рассказал о случае, когда они только успели зарезать свинью, как на них напали партизаны, отобрали свинью и чуть не угробили весь штаб батальона.

Обеих женщин захватил и взволновал рассказ, и лишь хозяин дома не выказывал видимых признаков заинтересованности. Это не укрылось от внимания майора.

— Вас не интересует то, что я рассказываю?

Тот не ответил, только сделался уже совсем лиловым.

— Ну что вы, как же не интересно! — вместо него возразила Маришка.

— Мы все только одно и слышим: фронт да фронт,— с горящими глазами вмешалась Агика.— А что там творится, до сих пор и понятия не имели.

— Отчего это отец весь посинел? — поинтересовался гость.

— Он не решается выдохнуть чесночный запах,— пояснила Маришка.

— Немедленно извольте дышать! — прикрикнул на Тота майор.

Команда подействовала. Тот глубоко задышал, отчего глаза его вернулись в нормальное положение.

— Чтобы это больше не повторялось,— неодобрительно заметил майор.— Я требую не обращать никакого внимания на мои нервы. Я человек дисциплинированный и умею владеть собой... Что там у меня за спиной, любезный Тот? — внезапно спросил он.

— Только ресторанчик Клейна и дом священника.

— Тогда все в порядке,— успокоился гость.

Далее майор заявил, что ни за что на свете не согласится быть в тягость хозяевам и если заметит, что его присутствие стесняет кого-то, он тотчас уедет... Майор настоятельно просил считать, будто его совсем нету,— при этом он почему-то несколько раз оглядывался; затем снова обратился к Тоту:

— Вы видите что-то необычное позади меня?

— Ровно ничего, глубокоуважаемый господин майор.

— Почему же вы все время туда смотрите?

— Я смотрю исключительно на глубокоуважаемого господина майора.

— Видите ли, уважаемые Тоты,— пояснил майор.— Достаточно того, что, как ни повернись, определенная часть мира всегда оказывается у нас за спиной. Так зачем же усугублять эту беду тем, чтобы постоянно смотреть назад?

Наступила пауза. Тоты пребывали в замешательстве. Они не поняли толком, чем вызвано недовольство майора, видели только, что он по-прежнему нет-нет да и обернется назад, а ведь была как раз обеденная пора и на улице ни души. «К чему бы это?» — размышляла Маришка. Самым заветным ее желанием было, чтобы дорогой гость чувствовал себя как можно лучше, ведь любое обидное или, скажем, досадное воспоминание через несколько недель, чего доброго, может стоить жизни ее сыну... Сознание этого усугубляло ее тревогу; она боялась, как бы пылинка, попавшая в глаз майору, не заставила плакать ее сына... Нет и нет! Этого она не могла допустить.

— Ты уж следи, пожалуйста, за тем, куда смотришь, родной мой Лайош,— мягко сказала она.

— А куда я смотрю? — раздраженно спросил Тот.

— Пожалуйста, смотрите туда, куда вам хочется,— сдержанно проговорил майор.— У меня совершенно нет ни претензий, ни каких бы то ни было особых желаний.

Этими словами он хотел успокоить Тотов, но хозяева отнюдь не успокоились. Ведь если не знаешь причины болезни, трудно найти от нее лекарство. Тот сперва потупился, потом поднял взор к небу, затем попробовал изменить позу, но все его старания выглядели лишь полумерами. Теперь уж майор не только поворачивал голову, но сам вертелся направо-налево, так что все предметы поочередно оказывались у него за спиной.

Когда разум отказывает взрослым, иной раз положение спасают дети. Так было и в этом случае.

— Вот что! — жизнерадостно воскликнула Агика.— Если папа чуть-

чуть сдвинет каску на лоб, то глаза спрячутся, и тогда все равно будет, куда он смотрит.

— Еще чего! — возмущенно проворчал Тот.

— Ты все-таки подумай над этим, родной мой Лайош,— сказала Маришка.

Самой отличительной достопримечательностью формы деревенских пожарных была каска; спереди ее украшал круглый жетон, на котором было выгравировано: «Деревенский пожарный». Козырек под жетоном предназначался для защиты глаз пожарного от летящих искр. Согласно служебному предписанию Северовенгерской сельской пожарной охраны, вертикальная ось тела пожарника и горизонтальная ось каски должны находиться под углом в 90 градусов. Конечно, Лайош Тот был не из тех людей, что в подобные ответственные моменты жизни думают о параграфах; просто он боялся показаться смешным, то есть в глубине души стремился сохранить свой престиж.

В Матрасентанне Тот пользовался всеобщим уважением. Раньше, до тех пор пока его не выбрали сельским пожарным, во всей округе для деревни не было другого названия, кроме как «очаг пожаров». А ведь его предшественник, верткий, неугомонный, обуреваемый жаждой деятельности человечек, целыми днями носился, хлопотал, ругался, не давая покоя жителям. Он устраивал учебные тревоги, издавал заковыристые запреты, штрафовал прохожих, если тем случалось бросить непотушенную сигарету,— ну, а чего же он в конце концов добился? Пожар следовал за пожаром.

Лайош Тот не делал ничего подобного. Судя по всему, у прирожденного пожарника уже в самом его облике кроется нечто такое, что предотвращает возникновение пожара. Ежедневно обходил он деревню в своей импозантной форме, которая великолепно сидела на его фигуре, вступал в разговоры с прохожими, заглядывал к знакомым, и хотя ни разу даже замечания не сделал о нарушении противопожарных правил, стоило хоть где-то появиться дымящемуся окурку, как двое-трое людей бросались его тушить, стараясь опередить друг друга. И за все время его четырнадцатилетней службы ни разу не возникло ни одного пожара.

Однако влияние Тота не ограничивалось вопросами пожарной охраны. На свадьбах ему отводили самое почетное место. При спорах о наследстве решающее слово оставалось за ним, к нему же обращались за советом, если кто хотел сложить печку. И даже, когда кто-нибудь умирал, фельдшера для осмотра покойника приглашали лишь после того, как Тот произносил свою сентенцию:

— Отмучился, бедняга.

А между тем и в печном деле, и в юридических вопросах, и в медицине он разбирался не больше, чем всякий другой. Он всегда говорил то, что на его месте сказал бы любой, разве что минутой раньше. А поскольку никто не знал, что сказанное Тотом рано или поздно и самим бы им пришло в голову, брандмейстер прослыл во всей деревне отменного ума человеком. Все, что он делал, он делал правильно. Даже если он отбрасывал в сторону камень, тот непременно останавливался в нужной точке, на своем единственно возможном и окончательном месте, где бы ни находилось это место. Ведь авторитет — это как печать: она не имеет ничего общего с тем документом, о котором идет речь, но тем не менее последний лишь благодаря печати и приобретает свою силу.

Так что на месте Тота любой дважды подумал бы, прежде чем среди бела дня пройти по единственной оживленной магистрали Матрасентанны в нахлобученной по самые брови каске.

А он тем не менее подчинился молящему взгляду Маришки, словно к нему обратились глаза его любимого сына. Он сдвинул каску на лоб.

— Ну, вот,— проворчал он.— Чего вам еще надо?

— Ничего,— ответила жена.— Ты замечательный человек, родной мой Лайош.

— Вам даже идет,— добавила Агика.— Да вы просто стали еще красивее, папа!

— Лучшего решения нельзя и представить,— признал майор.

Тот с мрачным видом выслушал эти признания его заслуг, и настроение его не улучшилось, даже когда, окружив майора, они двинулись по шоссе к дому. А не будь его каска надвинута на глаза, он со спокойной совестью мог бы утверждать, что это было подлинно триумфальное шествие по Матрасентанне. Там, где они проходили, настежь распахивались окна, приподнимались занавески, в глубине за ними мелькали тени. Сабо вытащили во двор своего параличного деда, а Гизи Гезане (женщина с дурной репутацией) поспешно начала срывать среди сохнувшего на веревке белья оскорбляющие целомудрие принадлежности туалета, что не помешало ей, маскируясь простынями, подробнейшим образом разглядеть гостя Тотов. Попадавшиеся навстречу повозки останавливались, ребятишки бросали игру и, разинув рты, глядели вслед процессии.

Сам майор не обратил ни малейшего внимания на интерес, проявляемый к его особе. Его занимали явления совершенно иного рода. Так, например, он подозрительно заглядывал в сточную канаву перед каждым домом. От него не укрылся обрывок бечевки, змеившейся по бетону и исчезавшей в зарослях сорняков у обочины. Майор опасливо обошел ее и крикнул Тотам:

— Осторожно! Не наступите на нее!

Позднее, когда им навстречу промаршировал отряд бойскаутов и их командир внезапно дунул в свисток, майор моментально исчез за деревом у дороги.

— Как смеют свистеть эти сопляки? — раздраженно бросил он.

Немного погодя, когда они вновь продолжили путь, майор заметил:

— Все время забываю, что я дома.

Еще в самом начале, только приехав, майор выглядел усталым. А долгий марш и сопряженные с ним страхи вконец измотали его. Когда они добрались до дома Тотов, гость едва держался на ногах. Он не удостоил и единым взглядом ни знаменитые георгины Маришки, ни дивный вид, открывающийся с застекленной веранды, и даже оставил без внимания стойкий сосновый аромат, которым был пропитан весь дом. Безропотно позволил он хозяину и его супруге раздеть себя, облачить в пижаму и уложить в постель. А едва успев лечь, погрузился в глубокий сон, от которого пробудился лишь после захода солнца.

Когда глаза его уже закрывались, гость, борясь со сном, успел предупредить Маришку:

— Милая Маришка, если вдруг заглянет переодетая попом старуха и захочет поменять сотовый мед на соль, будьте добры, пристрелите ее.

— Все будет в полном порядке, глубокоуважаемый господин майор,— заверила его хозяйка.

Затем она на цыпочках пробралась на веранду и с затуманенными от слез глазами вздохнула:

— Бедный, дорогой наш майор!

— Сколько он, должно быть, перестрадал! — присоединилась Агика.

Она тоже глотала слезы. Один лишь Тот стоял мрачный и безучастный. Какое-то смутное, тревожное чувство не давало ему покоя.

— Хотелось бы только знать, чем это я ему не угодил,— проворчал он.

— Не накличь беды, родной мой Лайош,— сказала жена.

— Я уж и так взглянуть никуда не решаюсь, чтобы не выводить его из терпения,— размышлял Тот.

— Вот увидишь, он непременно полюбит тебя! — ободрила его Ма-

ришка.— Пусть только сначала отоспится как следует! Хоть немного придет в себя! Ведь тебя все, все любят!

Тот лишь покачал головой, как человек, не очень-то уповающий на лучшее. И словно эхом его сомнений, напротив через улицу, в саду Циприани, тоскливо завыла овчарка профессора.

Глава вторая

Майор Варро спал до самого вечера.

У Маришки и Агики дел было по горло. Пока они жарили, парили, стирали и гладили, хозяин дома принимал посетителей. Многим из тех, кто прозевал торжественную процессию, хотелось хоть одним глазком взглянуть на майора. Тот на цыпочках подводил желающих к затворенной двери и, приоткрывая ее, шепотом говорил:

— Смотрите на здоровье.

Он не торопил любопытных. Каждый внимательнейшим образом разглядывал спящего гостя: барышня Бакош — учительница, господин приходский священник Томайи, Шандор Шошкути — механик и многие другие. Последним явился Лёринцке — сосед-железнодорожник, который по видимости был приятелем Лайоша еще с тех пор, когда Тот работал на железной дороге, а на самом деле люто ему завидовал.

Эту зависть удваивало то обстоятельство, что в результате неудачного маневрирования поездов вся верхняя часть туловища Лёринцке (кроме левой руки) покоилась в гипсе, отчего кожа у него постоянно зудела. А зуд — недобрый советчик. Еще в полдень, когда майор только прибыл, Лёринцке привлек всеобщее внимание тем, что демонстративно захлопнул ставни своего дома. Но теперь и он заявился, да еще прихватил с собой бутылку кислого вина, очевидно, в надежде застать майора уже бодрствующим, чтобы его угостить, подпоить, подружиться, а может, и переманить к себе. Но и Лёринцке не продвинулся дальше порога. Там он мог стоять и вдоволь, сколько душе угодно, любоваться гостем, хотя с отведенного места ему открывалась для обозрения только голая ступня правой ноги майора. Лёринцке сделал вид, что и от этой возможности он в полном восторге.

— Какая очаровательная маленькая нога у господина майора! — заметил он.

— Вполне нормальная нога,— возразил ему Тот, подозревая подвох.

— Я и не говорил, что ненормальная,— прошептал завистливый сосед.

— Ты как будто принизил ее.

— И не думал принижать,— запротестовал сосед, который, как видно, и здесь не мог совладать со своим дурным характером.— Я просто немного удивился, что у такого человека, как майор, и вдруг такая нога.

— Какая «такая»?

— Я ничего не сказал,— слицемерил железнодорожник.— Вполне нормальная и здоровая нога.

— Ты давай не умничай! — осадил его Тот, тихонько прикрыв дверь.— У всех майоров такая нога.

Но заноза все-таки застряла. Тот вернулся обратно, приоткрыл дверь и принялся разглядывать майорову ступню, которая словно и не была частью человеческого тела... Тогда чьего же? Может, ящерицы, или другого холоднокровного существа, либо такого создания, какого он еще отродясь не встречал... Тот поскорее прикрыл дверь, уселся в шезлонг, и тут, к счастью, его сморил сон.

К тому времени как майору проснуться, Маришка выстирала, высушила и отгладила его мундир, до блеска начистила пуговицы и всякие

знаки отличия. Агика же мягкой тряпочкой начистила майору сапоги, навела блеск собственным жарким дыханием и слюной, как мать, которая обхаживает только что народившегося жеребенка. Она не пожалела времени и сил, и разбитые, потрескавшиеся сапоги ослепительно засверкали, когда майор вышел в них на веранду.

Вид у гостя был хмурый.

— Для свиной колбасы нужно провертывать мясо? — спросил он.

— Нужно,— ответил Тот.

— Сейчас приснилось, будто меня похитили партизаны и решили провернуть на фарш. До сих пор чувствую, как хрустел у них на зубах.

— О, господи! — ужаснулась Маришка.— Что же они, выходит, сначала опалили глубокоуважаемого господина майора?

— Что было самое неприятное,— подтвердил майор.— Не считая вышеупомянутого факта, я спал довольно сносно.

Это и по нему было видно. Не только мундир на нем стал импозантнее, но и сам носитель его казался гораздо спокойнее. Во взгляде майора исчезло выражение затравленности, голос звучал бодро, начальственно. Он с аппетитом съел гуляш, цыпленка, компот. А после сытного ужина настроение его настолько улучшилось, что он пожелал осмотреть окрестности.

Как радовались Тоты, когда гость восторгался, глядя на поросший лесом Бабонь и живописно расположенную барталапошскую долину! Ничто не укрылось от его пристального внимания. Майор отметил чистоту квартиры, похвалил ухоженный сад и словно напоенный сосновым ароматом дом.

Под конец он и вовсе расчувствовался.

— Дорогие Тоты,— сказал майор, когда они вернулись на застекленную веранду,— я очень рад, что принял ваше приглашение. После девятимесячного пребывания на фронте в постоянной вони я чувствую себя сейчас как бы заново родившимся.

Он поднял свой бокал и осушил его за здоровье находящегося далеко от дома Дьюлы Тота. Теперь пришел черед Тотов расчувствоваться.

— Мы тоже счастливы,— прерывающимся голосом начала Маришка,— что вы соизволили принять наше приглашение. А ведь нам и во сне не могло привидеться, что у нашего сына такой командир — ну прямо золотой человек.

— О нем вам абсолютно нечего беспокоиться,— заявил майор.— Обещаю, как только наступят холода, я прикомандирую его к себе. Там при хорошо отапливаемом штабе батальона ему не только не страшны будут морозы, но и сама жизнь его окажется вне опасности.

Майор дружелюбно кивнул и направился к себе в комнату.

Тоты слова не в силах были вымолвить. Волнения многих недель, непомерная усталость от приготовлений к приему гостя и вечная тревога за Дьюлу наконец-то дали свои плоды — вернее, и почки, и цветы, и плоды сразу.

— Вот видишь, родной мой Лайош,— вздохнула Маришка,— доброе отношение чудеса творит.

Постепенно темнело. Маришка прижалась к мужу и притянула к себе Агику. Так они провели несколько счастливых минут. Над их головами сверкала звездная августовская ночь; Бабонь, как бы в полную силу своих гигантских зеленых легких, дышал вечерней прохладой; из комнаты доносились размеренные и спокойные шаги майора. Тоты радовались, что майор тут, рядом, что он дважды подкладывал себе фаршированной курицы, что он наслаждается тонким сосновым ароматом... Дьюла, Дьюла, лишь бы тебе все это шло на пользу! Лишь бы тепло топили в штабе батальона! Лишь бы не пробрались туда партизаны! Дью-

ла, Дьюла, только бы не случилось с тобой беды! Дьюла, Дьюла, только бы ты не замерз!

С четверть часа сидели они на свежем воздухе, в немой тишине, так как думали, что гость лег спать. Они тоже устали от волнений долгого дня; Маришка уже собралась было идти ложиться, да Тоту вздумалось выкурить сигару.

Он сходил за ней в дом и закурил, с наслаждением вдыхая табачный дым. Ему доставляли удовольствие эти маленькие радости жизни: вечерняя прохлада, удобное кресло, близость родных, терпкий привкус сигарного дыма. В моменты, когда столь приятные ощущения скапливались воедино, Тот любил потянуться и покряхтеть. В таких случаях он чаще всего вспоминал свою мать.

Вот и сейчас он всласть похрустел суставами и простонал:

— Ох-хо-хо, мать ты моя ро́дная, и зачем ты, бедная, меня покинула!

В последующие две недели это был единственный случай, когда он всласть потянулся и застонал, потому что тотчас распахнулась дверь и на пороге возник майор.

— Что случилось? — испуганно спросил он.— Ранило кого?

— Ничего не случилось,— слегка смутившись, успокоил его Тот.

— Мне как будто послышался стон.

— Это я стонал,— признался Тот.

— И будто кто-то звал свою мать...

— Это тоже был я,— сказал Тот.

Он пояснил, застенчиво улыбаясь, что это у него такая привычка потягиваться. И когда потягивается, он стонет. Но совершенно без всякой причины. Стонет от хорошего самочувствия.

— Чему я весьма рад,— отчеканил майор.

Он смерил Тота взглядом и опять скрылся в комнате. Тоты остались одни. От неожиданности они не знали, что делать, но все равно ничего и не успели бы сделать, потому что в дверях снова показался майор. Он дважды обошел вокруг Тота, затем спросил:

— Ну, что нового?

— Ровно ничего, глубокоуважаемый господин майор.

— Вы все еще хорошо себя чувствуете?

— У меня нет причин жаловаться,— сказал Тот.

— А отчего это вы так хорошо себя чувствуете?

— Отчего? — задумался Тот.— Да просто так.

Майор внимательно оглядел Тота с головы до ног, отчего последний пришел в крайнее замешательство и решался делать лишь неглубокие затяжки, пока гость не удалился опять в свою комнату. Однако немного погодя он снова вышел и снова принялся разглядывать Тота.

— Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего не случилось.

— Но ведь у вас не горит сигара.

— И правда,— признался Тот.— Я ее погасил.

— Так что́, собственно говоря, вы делаете здесь, на веранде?

— Просто дышу воздухом.

— И ничего больше?

— Да почти ничего,— признался после короткого размышления Тот.

Удовлетворило ли гостя подобное объяснение, так и не удалось установить. Но теперь майор уже более стремительно вышагивал по комнате и гораздо скорее вернулся обратно, чем в прежние разы.

— Послушайте-ка, Тот,— обратился он к хозяину, который испуганно вздрогнул.— Не хотите ли сыграть партию в шахматы?

— Очень сожалею, господин майор, но я не умею.

— Может, перекинемся в «лорум»?

— И в картах я не смыслю,— смутился Тот.

— Тогда сыграем в домино.

Тот уже едва осмеливался дышать.

— Дело в том,— наконец отважился он,— что я вообще не разби раюсь ни в каких играх.

Майор с едва скрываемым осуждением повернул к себе в комнату Даже шагов его больше не было слышно. Ни малейшего звука не доно силось из комнаты, и это чрезвычайно угнетающе действовало на Тотов Они сидели не шелохнувшись, словно их околдовала воцарившаяся в до ме тишина, и боялись даже глядеть друг на друга.

На этот раз дверь отворилась очень не скоро. Тот попытался было попятиться вместе со своим стулом, ибо гость остановился вплотную пе ред ним и уставился на него пронзительным взглядом.

— Дорогой Тот,— начал он.— Надеюсь, я не стесняю вас?

— Ни в коей мере,— ответил Тот.

— Тогда поговорим откровенно. Нет ли у вас ощущения, что вам чего-то не хватает?

Тот задумался.

— Разве что вот мой вишневый мундштук куда-то запропастился, но я вырежу себе новый.

— Я имел в виду не в материальном смысле. Я намекал на пагубные последствия бездеятельности.

Тот растерялся. Он вопросительно посмотрел на жену, которая, в свою очередь, недоуменно взглянула на него, словно ожидая объяснения.

— Я вижу, вы не понимаете,— заключил майор Варро.— Дело вот в чем, Тоты. В темной комнате малейший звук кажется во много раз громче. Так и ничегонеделанье — оно действует на весь организм, как темнота на органы слуха. Оно усиливает внутренние шумы, вызывает миражи в поле зрения и треск в мозгу. Когда мои солдаты сидят без дела, я всегда заставляю их отрезать и снова пришивать пуговицы к штанам. Это их великолепно успокаивает. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать?

Тоты снова переглянулись, еще более беспомощно, чем прежде. После некоторого колебания Маришка решилась:

— Если у глубокоуважаемого господина майора оторвались пуговицы, я с радостью их пришью.

— Вы совершенно неправильно истолковали мои слова,— недовольно отмахнулся майор.— Скажите мне по крайней мере, не найдется ли в доме мотка хорошенько перепутанной бечевки?

— Наверняка найдется,— обрадовалась Маришка.— А для чего она понадобилась глубокоуважаемому господину майору?

— Чтобы ее распутать! — раздраженно пояснил гость.— Я не могу, как вы, сидеть без дела.

— Так отчего же вы не изволили сказать раньше? — звонко воскликнула Агика, которая — уже не в первый раз — лучше оценивала ситуацию, нежели взрослые.— Ведь мы с мамой сроду не сидим сложа руки.

— А чем же вы занимаетесь?

— По вечерам, когда других дел не остается, мы обычно складываем коробочки.

Глаза майора сверкнули.

— Коробочки? — повторил он. Затем воскликнул: — Страшно интересно! А что это за коробочки?

Ввиду обстоятельств военного времени производство фабрики перевязочных средств «Санитас» в Эгере увеличилось во много раз. При этом на фабрике работал только один автомат, производящий коробки, и горы марли, бинтов и ваты не во что было упаковывать. И тогда немало нуждающихся людей — даже полуевреев — получили легкую надомную работу.

Тоты забирали с фабрики листы картона, которые затем Маришка по установленному графарету разрезала, а Агика складывала коробочки. Глава семейства в это время обычно просто сидел, курил и с нежной улыбкой наблюдал за ними. Если же время выдавалось позднее, он даже подремывал, и тогда Маришка старалась не шуметь резальным станком. Станок получил свое название благодаря тому, что переплетчики аналогичным способом обрезают края листов; вообще же резалку смастерил сам Тот из нескольких досок и пришедшего в негодность кухонного ножа, чтобы Маришке удобнее было вырезать заготовки из листов картона.

До сих пор никому из них и в голову не приходило, что Тот тоже может принять участие в работе. Очень трудно было бы совместить достоинство сельского брандмейстера с этим сугубо женским занятием.

■

Но майор Варро не опасался за свой авторитет.

С видимым удовольствием разглядывал он большие, шероховатые листы картона. Взволнованно следил, как привинчивают резалку к столу. А когда начали складывать из нарезанного картона коробочки, майор настолько воодушевился, что тотчас же придвинул себе стул. Отклонив вежливые протесты хозяев, он с огромным увлечением и завидной ловкостью тоже принялся складывать коробочки. Позднее, после небольшой тренировки, майор освоил и резалку.

— Какая у вас легкая рука! — поражалась Маришка.

— Вы один делаете больше, чем мы вдвоем! — добавила Агика.

Слышал ли их майор или нет? Он даже глазом не повел, только руки его двигались безостановочно, словно боялись пропустить хоть одно движение. Все работали в полном молчании. И лишь, когда выросла уже порядочная гора готовых коробочек, майор обратил внимание на Тота.

— А вы, любезный господин Тот? — поинтересовался он.— Что же вы не присоединитесь к нам?

— Я? — изумился Тот.

И улыбнулся. Женщины рассмеялись при этой нелепой мысли. Однако майор не смеялся и не улыбался, а принялся всерьез уговаривать хозяина смастерить хоть одну коробочку.

Тот, недолго поколебавшись, послушался, но уродливое, отдаленно напоминающее коробочку сооружение, которое он с большим трудом сложил, тут же и развалилось у него в руках. Ладонь у Тота была величиной с хорошую сковородку.

— А-а,— улыбнулся он.— Это не для меня.

— Почему же?

— Нет у меня ловкости в руках.

— И у меня ее немного,— сказал майор,— но ведь все-таки я как-никак справляюсь.

Человек иногда (например, в состоянии аффекта) говорит совсем не то, что хотел бы сказать. Меж тем Тот был совершенно спокоен и не только тогда, но и неделями позже клялся, что на слова майора он весьма учтиво — более того, чуть ли не заискивающе, ответил следующее:

— Глубокоуважаемый господин майор очень даже хорошо справляются.

Эти слова возымели совершенно неожиданное действие.

Сначала майор Варро уставился на Тота. Потом побледнел. Глаза его сузились, коробочка выпала из рук. Он вскочил и вне себя закричал на Тота:

— Я требую. повторите, что вы сказали!

— Я сказал,— повторил Тот,— что глубокоуважаемый господин майор очень даже хорошо справляются!

— Вы слышали? — обратился майор к женщинам Затем, покрасне от возмущения, обрушился на Тота.— По какому праву вы осмеливаетес называть меня «чертом»? Я — майор и предупреждаю вас, что на фрон за такое оскорбление расстреливают!

Наступила тишина. Такая тишина, что и описать невозможно. Така тишина бывает в могиле, где похоронен глухонемой. Никто не решалс заговорить, сознавая, что тем самым только усложнил бы и без того не ловкое положение.

Дело в том, что не только майор чувствовал себя оскорбленным (и полным правом) за то, что его назвали «чертом».

Обиделся и Тот (тоже не без оснований), ибо верил, что сказал н «черт», а «майор». Нет тяжелее унижения, чем когда извращают смыс сказанного из самых лучших побуждений.

Была смущена и Маришка. Ей, правда, послышалось слово «майор» другого слова и не могла услышать преданная жена, которая уважает почитает и любит своего мужа. Но беда в том, что майора Маришка то же уважала... Вот почему в столь ответственный момент она просто мол чала, переводя испуганный взгляд с одного кумира на другого.

А Агика! Та смотрела только на отца, и розы на ее алых щечка стали еще пунцовее. Дело в том, что она не слышала ни слова «майор» ни слова «черт». Ей показалось, что отец величал майора «ослом». Нет тут что-то не так.

Природа закладывает в детях ростки насмешки к недостаткам от цов. Однако Агика была исключением из правила — один случай на ты сячу. Поэтому она, хоть и ясно слышала слово «осел», предпочла не по верить собственным ушам, нежели осудить обожаемого отца. Более того она даже приподнялась и голоском от волнения тонюсеньким, словно ни точка, выпалила:

— Не извольте так говорить! Мой отец не мог произнести такого дурного слова!

— Конечно! — спохватилась Маришка,— здесь какое-то недоразуме ние. Мой муж сроду никого не обидел, правда ведь, Лайош, родной мой?

— Никогда! — сказал Тот, которого явно потрясло удачно найден ное слово «недоразумение».— Только один раз было, что я принял жену господина профессора Циприани за огородное пугало и невежливо по вернулся к ней задом. Но ведь в том случае вышло недоразумение. А уж господина майора я не могу оскорбить даже по недоразумению.

Майор заколебался.

— Может, я действительно не расслышал,— сказал он.— Но я бы не хотел, чтобы это еще раз повторилось.

Тоты облегченно вздохнули. Они клялись, что подобное больше ни когда не повторится. Майор успокоился.

— Забудем все, любезный Тот,— великодушно предложил он,— и вернемся к нашим коробкам. Жаль каждой потерянной минуты.

Они сели. И Тот тоже сел. Тот самый Тот, который еще совсем не давно презирал это занятие, считая его бабским делом, сейчас радовался, что может заниматься им вместе со всеми... А ведь его никто не неволил, просто все молча потеснились, освобождая место. Конечно, как он ни старался, из-под рук его выходили сплошь неудачные, перекошенные ко робки, но, к счастью, никто его не упрекал, разве что снисходительно улыбались.

Мир был восстановлен. Теперь они подолгу не обменивались ни еди ным словом, слышалось только резкое лязганье резалки.

Свежим дуновением прохлады потянуло с гор. На лесных полянах по склонам Бабоня замерцали костры смолокуров. Но Тоты ничего не замечали. Забыв обо всем на свете, они все резали и резали и складывали коробочки. Через час майор вежливо поинтересовался:

— Может, вы хотите спать?

У Тота слипались глаза, но он заверил майора, что у них и в мыслях не было ложиться. Работа продолжалась.

Через какое-то время майор повторил свой вопрос. Тоты в один голос твердили, что вовсе не желают спать.

Когда майор спросил в третий раз, Маришка, у которой нестерпимо зачесался левый глаз, ответила, что если господин майор намерен отдохнуть, то и они готовы отложить работу.

— Не хочу я отдыхать! — сказал майор.— К сожалению, я очень плохо сплю.

— От свежего горного воздуха у нас засыпали гости, даже страдавшие застарелой бессонницей,— заметил Тот.

— Мне и воздух не поможет,— махнул рукой майор Варро.— Я бы с большим удовольствием до самого утра складывал коробочки.

Коробочка в руках привыкшего рано ложиться Тота сплющилась. От усталости черты его лица исказились; испуганным взглядом уставился он на майора. Но тут Маришка толкнула его под столом ногой, и Тот, призвав всю свою выдержку, улыбнулся.

— И я как раз только втянулся,— сказал он.

Все снова занялись коробочками.

Открытка с фронта

«Дорогие мои родители и Агика! Мы находимся в Курске. Пишу наспех, потому что сейчас мы идем в баню, а затем двинемся обратно. Тороплюсь уведомить вас, родные мои, чтобы вы не забывали занимать гостя по вечерам. Дело в том, что он по причине расстройства нервной системы спит не ночью, а днем. С наступлением же темноты, когда сильнее всего опасность со стороны партизан, он нуждается в компании, и мы обычно разгоняем его дурное настроение игрой в карты или другими развлечениями. В такие моменты господин майор не любит, если кто-то отправляется спать, даже малейший признак сонливости раздражает его. Прошу вас, помните обо мне и старайтесь ему угодить».

(Пришла с опозданием)

■

В четверть второго Лайош Тот зевнул.

Он, бывало, зевал и прежде, но это не вызывало особых последствий. Теперь же он даже вздрогнул: такая странная наступила тишина. Конечно, и до этого было тихо, но на этот раз тишина обволакивала Тота чем-то холодным. Все воззрились на него. Ему тоже хотелось взглянуть на себя, но это было невозможно.

Майор, работавший на резалке, наконец нарушил молчание.

— В чем дело?

— Я зевнул,— признался Тот.

И снова мертвая тишина. Все смотрели на Тота. Никто не сказал, что нельзя зевать, но он и сам уже понял, что дал маху.

— Это я во всем виноват,— сказал через некоторое время майор, который казался скорее расстроенным, нежели обиженным.— Я думал, что такое занятие вам тоже по душе.

— Но ведь я вовсе не хочу спать,— оправдывался Тот.

— Тогда чего же вы зевали?

— Зевота,— пояснил Тот,— у меня вовсе не признак сонливости.

— Может, вы и сейчас хорошо себя чувствуете? — подозрительно спросил гость.— Может, и зевали вы от прекрасного самочувствия?

— Ну конечно же,— сказал Тот.

— Вечно он так зевает,— подтвердила Маришка.

— Папа — он у нас такой,— поддакнула Агика.

Не так-то легко далось им убедить майора.

— Скажите откровенно, чем бы вы предпочли заняться? — допрашивал он Тота.

— Делать коробочки! — заявил Тот не допускающим сомнений тоном.

— Ну, уж если вы так настаиваете, мы можем продолжить,— согласился гость.

И снова они резали и складывали, резали и складывали коробочки. Звезды постепенно утрачивали свою яркость, на склонах Бабоня угасали костры смолокуров.

— Поздно уж,— определил майор.— Вы все еще не хотите ложиться?

— Лично я нет,— сказала Маришка.

— И я тоже,— бодрым голоском прощебетала Агика.

Тот пытался было протестовать, но выдавил из себя лишь какой-то дребезжащий звук, ибо язык у него уже не ворочался. Все продолжали делать коробочки.

Майор Варро не выказывал ни малейшего признака усталости, и руки Агики сновали все так же проворно — ведь девушки в этом возрасте всего охотнее вообще не ложились бы спать. У Маришки тело будто налилось свинцом, ноги затекли и онемели, но руки, к счастью, еще повиновались ей. Хуже всех пришлось Лайошу Тоту. Голова у него мерно гудела. Все органы чувств начисто отказали. Начались галлюцинации. Вот он быстро нагнулся вперед — ему почудилось, будто по веранде прогрохотал скорый поезд. Из-под рук его выходили не коробочки, а бесформенные комки картона.

Прокричал петух. Тот его не услышал. Забрезжил рассвет. Мрак постепенно рассеивался. Тот ничего не замечал. Однако майор Варро неожиданно прервал работу.

— Уже рассвело,— сказал он.— Пора ложиться.

Все встали, один лишь Тот продолжал сидеть.

Он бессознательно стискивал готовые коробочки.

— Это было поистине приятное времяпрепровождение,— сказал майор.

— И нам тоже было очень приятно,— улыбнулась Маришка.

— Надеюсь, завтра продолжим?

— Непременно продолжим,— заверила Маришка.

— Приятных сновидений! — попрощался гость.

— Спокойной ночи! — ответила Маришка, чуть запнувшись, словно потеряла язык в собственном рту.

Гость прошел к себе в комнату, а они остались на своих местах, ибо другая возможность не приходила им в голову. Им вообще ничего не приходило больше в голову. Голова Тота медленно повалилась на грудь, но глаза он забыл закрыть — так и смотрел перед собой пустым, остекленевшим взглядом, как смотрит вареная рыба из миски с ухой. Потом привалился к столу и захрапел.

Маришка и Агика с большим трудом подняли его со стула. Огромное тело раскачивалось между ними взад-вперед, а затем вдруг рухнуло на постель, как поверженная колонна.

Занималась заря.

Глава третья

Был у Тотов свято хранимый альбом в красном переплете, куда квартиранты заносили благодарственные отзывы. Вот некоторые из них:

«Бессонница и отсутствие аппетита, терзавшие меня после утраты дорогого покойного ныне супруга, словно по волшебству исчезли благодаря царящему здесь горному воздуху.

Вдова Морваи Густавне».

«Этот дом — островок тишины, где только и может отдохнуть не терпящий шума человек.

Аладар Филатори,
литаврист оперного оркестра».

«В то время как нация ведет борьбу не на жизнь, а на смерть против красной большевистской опасности, здешняя несравненная пища на чистом масле придала мне новые силы для этой борьбы.

Ференц Касони,

Compagnie Internationale des Wagons Lits,
проводник вагона».

« Röslein, Röslein, Röslein fein
Röslein auf der Heide! [1]

Карой Г. Хаммерманн,
городские бойни».

После утомительной ночи Тот охотнее всего отсыпался бы целый день. Но ведь жизнь не может остановиться по прихоти одного майора. И сегодня, как обычно, Тоту надлежало представить рапорт о состоянии пожарной охраны, наносить воды из артезианского колодца, обойти из конца в конец вверенный ему участок, наколоть дров приходскому священнику, побелить теннисный корт у профессора Циприани и так далее и тому подобное. Агика принесла молока, сделала покупки, накормила птицу. Маришку же, помимо обслуживания дорогого гостя, ждала стирка белья у профессора и ненатертые полы у его преподобия господина Томайи — таковы лишь самые важные из повседневных забот этой семьи.

В довершение ко всему с прибытием майора Варро весь дневной распорядок Тотов полетел вверх тормашками. Поскольку гость проснулся лишь после полудня, в обеденное время они завтракали. Теперешний обед прежде назывался ужином, а нынешний ужин вообще никак не назывался, потому что раньше в эту пору они уже почивали сном праведников.

И вот, в то первое утро, поспав всего часа полтора, после долгих окликов и толчков, Тот открыл наконец глаза и, пребывая в подавленном настроении, уставился перед собой, разбитый душой и телом. Припомнив события прошедшего дня и представив себе последующие, он недовольно буркнул:

— Боюсь, не кончится это все добром, Маришка.

Жена подала ему чашку теплого молока и в утешение сунула в руки заветный альбом в красном переплете. Она напомнила Тоту, в сколь тяжелом нервном состоянии прибыли в Матрасентанну Карой Г. Хаммерманн, вдова Морваи и другие квартиранты, но здесь, под влиянием благотворной среды, живо встали на ноги. Не говоря уже о Фридеше Хоште, пожилом художнике, который целый год реставрировал фрески на куполе базилики, и при этом ирреальные масштабы купола и фресок до такой степени задурили ему голову, что реставратор начисто утратил реальное чувство равновесия. Когда он приехал к Тотам, ему мерещилось, что пол

[1] Розочка, розочка, роза-краса,
роза из края степного! *(Нем.)*

у него под ногами встает дыбом, и художник мог передвигаться по комнате, только держась за веревку, привязанную к дверной ручке. Но живительный горный воздух и здесь сделал свое дело!

Вот что написал художник в альбом:

«В хорошем самочувствии, без веревки, покидаю я этот дивный уголок».

— Вспомни, в каком тяжелом состоянии прибыл к нам художник,— доказывала Маришка.— Ведь он явился в Матрасентанну всего лишь с купола святой базилики, а наш майор — прямо с фронта.

Не надо падать духом, пусть не сразу, медленнее, но и майор пойдет на поправку... Лайош Тот не очень-то в это верил.

— Ладно, ладно,— проворчал он.— Но каково будет, если нам ночью напролет придется складывать эти коробочки! Без сна ведь не проживешь, Маришка.

Тот верно предугадал, что им предстоит еженощно складывать коробочки, он только не учел одного: способности человеческой натуры к приспособлению. Конечно, идеально, если человек спит восемь часов подряд, но даже когда он урывками дремлет по четверть часа, по десять минут, и это может служить почти таким же отдыхом для организма. Оказалось, что можно вздремнуть у лавочника, пока он отвешивает соду, на клумбе знаменитых тюльпанов профессора Циприани во время поливки, в ожидании, пока не остынет горячий суп, пока не вскипит кофе, и даже под столом прикорнуть четверть часика, если туда вдруг случайно что-нибудь закатится. А еще позже выяснилось, что и при складывании коробочек вовсе не обязательно надрываться.

Дело в том, что гость, к величайшей радости Тотов, со второй же ночи всецело посвятил себя разрезальному устройству. А поскольку на каждом листе картона приходилось делать по восемь надрезов, майор скоро отстал от тех, кто складывал заготовки: ведь их было трое против одного. Он трудился не покладая рук, но все его усилия были напрасны. Тоты постепенно приноровились устраивать себе короткие передышки.

Вначале они какое-то время давали отдохнуть рукам. Затем позволяли себе закрыть глаза и дышать глубоко через нос, что тоже оказалось далеко не самой плохой формой отдыха. Майор, увлеченный работой, ничего не видел и не слышал, и Тоты совсем расхрабрились. Под конец они раскинули в саду под туями шезлонг и, ловко сменяя друг друга, уединялись там.

— Пардон, прошу прощения,— говорил кто-нибудь из них, словно имел в виду нечто совершенно другое, и дремал четверть часика в прохладе сада.

А майор Варро меж тем работал, как машина: закладывал картонные листы под нож, поднимал руку, резал, закладывал новые листы, снова резал... Он даже не заметил, что на третий день Тоты исчезали уже на пару — ведь, возвратившись, они играючи наверстывали упущенное. Однако какое-то смутное подозрение, видимо, все-таки мелькало у него, потому что однажды, когда они все втроем сидели у стола и Тот на минуту замечтался о чем-то, майор вдруг прервал работу.

— Что случилось? — спросил он.

— Да ничего особенного,— ответил Тот.

— Тогда на что же вы уставились?

— Бабочка какая-то залетела.

— Какая еще бабочка?!

— На крыльях два желтеньких пятнышка и три красных,— сообщил Тот.

— Так вот вы чем занимаетесь, уважаемый Тот!

— Да я только разок на нее взглянул,— сказал Тот.

— Только взглянул! — раздраженно повторил майор.— А сами небось подумали: хорошо бы ее поймать и прихлопнуть.

— Почему вы такое изволили предположить, глубокоуважаемый господин майор? — изумился Тот.

— Верно это или не верно? — допытывался майор.

— Похоже, мелькнула у меня подобная мысль,— сознался Тот.

— Так я и знал! — воскликнул майор.

Он вскочил и принялся вышагивать по комнате, бросая проницательные взгляды на Тота, который невольно зажмурился и втянул голову в плечи, хотя и не знал толком, что же он натворил. Однако гость вскоре все им растолковал.

— Видите ли, Тоты,— начал он со сдержанным недовольством.— Я весьма признателен вам за гостеприимство, но так дальше продолжаться не может. Если вы во время работы думаете о посторонних вещах, то все, что мы здесь делаем,— напрасная трата сил.

Наступила тишина. Тот уже понял, что сам, своими же словами подлил масла в огонь, и только не знал, как исправить ошибку.

— Я целиком и полностью признаю вашу правоту, глубокоуважаемый господин майор,— подобострастно заметил он,— но ведь, по-моему, нельзя воспрепятствовать прийти человеку в голову.

— Ну как же нельзя! У собаки, к примеру, четыре ноги, но ведь не разбегается же она от этого одновременно во все четыре стороны. Или, может быть, вам когда-нибудь попадалась собака, бегущая на все четыре стороны?

Тот после короткого размышления признал, что такой собаки ему не доводилось встречать.

— Мой младший брат и его семья и без того обижены, что я не у них провожу свой отпуск. Если вы хотите, чтобы я остался здесь, постарайтесь, чтобы подобные случаи не повторялись.

Тот заявил, что готов на любые жертвы, но ему не совсем ясно, что он должен делать.

— Кажется, мы не понимаем друг друга,— сердито заметил майор.— Приведу следующий пример. Обратимся к процессу питания. Вы ведь тоже обычно питаетесь, не так ли?

Тот подтвердил, что питается.

— Ну так из чего состоит этот процесс? Откусывание, пережевывание, выделение слюны, глотание. Единый неделимый процесс, который ничто не нарушает. Чтобы было понятнее, приведу еще один пример. Вы знаете «Гимн», дорогой Тот?

Тот сказал, что знает.

— Вы могли бы прочитать мне первую строку?

— «Боже, храни венгров»,— сказал Тот.

— Правильно,— кивнул майор.— Ну, пришло вам при этом что-нибудь в голову?

Тот ответил, что ничего не пришло.

— Вот к чему я и хотел вас подвести,— сказал майор.— Надеюсь, теперь вам ясно?

Тот заявил, что очень многое уже прояснилось, однако некоторые детали все еще остаются как бы в тени.

— Да будет свет! — сказал майор.

На сей раз примером послужил собственный батальон майора. Майор подметил, что временное бездействие опаснее, нежели полное ничегонеделание; тот, кто совершенно ничего не делает, по крайней мере имеет время, чтобы упорядочить свои мысли, если же человек попеременно делает что-то или ничего не делает, то во время вынужденных перерывов он становится игрушкой собственных мыслей. То же самое случилось с Тотом и бабочкой в желтую и красную крапинку.

— До сих пор вам понятен ход моих мыслей? — поинтересовался гость.

Агика сказала, что понятен. Тот сказал: почти. Маришка не сказала ничего, лишь вздохнула: ах, Дьюла, Дьюла!

— Тогда я упрощу вопрос,— продолжал майор Варро с поистине не исчерпаемым терпением.— Вы, дорогой Тот, можете и не вникать во все эти теоретические выкладки. Ваше дело только не экстраполировать об разующиеся при складывании коробочек пустоты мысли. Я думаю, эт не составит особых трудностей. Может быть, у вас уже есть какое-либ предложение, дорогой Тот?

Настала короткая пауза. Тот подавленно смотрел перед собой. Ма ришка отвернулась, чтобы скрыть набежавшие слезы. Паника овладел Тотами, исключая самого юного члена семейства.

— Но ведь это и в самом деле просто! — воскликнула Агика звон ким, как колокольчик, голоском.— По-моему, наша теперешняя резалк мала, и поэтому господин майор не поспевает за нами.

— Браво! — одобрительно сказал майор.— У вашей дочери светла голова. Все остальное теперь уже детские игрушки, дорогой Тот.

Тем временем рассвело. Майор пожелал доброй ночи и удалился на покой. По общепринятому мнению, стрелочники и пожарные могут спать когда вздумается, на этот раз, однако, Тот не сомкнул глаз. Он под нялся разбитый и продолжал терзаться все утро. Голова у него горела но он упорно напрягал мысли, пытаясь думать сидя, стоя и даже в пере кошенном положении, однако, когда майор встал ото сна и выжидательно подступил к нему, Тот только и смог сказать:

— К сожалению, мне до сих пор ничего не пришло в голову, глубо коуважаемый господин майор.

— Не беда! — ободрил его майор.— Тише едешь — дальше будешь

Это соображение в какой-то мере успокоило Тота. Они сели завтра кать (по-старому — обедать). Маришка испекла сдобу. Может, это ла комство поспособствует мыслительному процессу. В конце завтрака Тот неожиданно поднялся и дрожащим голосом проговорил:

— Господин майор, кажется, что-то брезжит!

— Примите мои пожелания удачи! — обрадовался гость.— Что бы это могло быть?

Лоб у Тота пошел морщинами. Он снова сел на место.

— К сожалению, мне пришло в голову не то, чего я ждал, а совсем другое.

Майор не выказывал признаков нетерпения; более того, он с совер шенно не свойственной ему нежностью обращался с Тотом. Не разрешал мешать ему. Велел Маришке сварить мужу крепкий кофе. Уговаривал Тота выкурить сигару. Тот выпил кофе, раскурил сигару. Через четверть часа он вновь заговорил:

— Вот, вот, вот... Словно бы начинают вырисовываться контуры...

— Я так и знал! — воскликнул майор и хлопнул Тота по плечу.

Майор трепал его по плечу — такого еще не бывало. Тот пришел в совершенное смятение; с испуганным лицом он сообщил, что когда гос подин майор хлопнул его по плечу, у него выскочило из головы то, что он придумал. Но и тут не последовало ничего страшного. Майор теперь все прощал Тоту: он нянчился с ним, как мать с ребенком. Вместо «господина Тота» майор принялся называть его «Тотиком»; но цели своей этой тактикой не достиг, более того — чем ласковее он с ним обращался, тем больший страх накатывал на Тота.

Однако мозг его продолжал ворочаться, как паровой двигатель, и результаты не заставили себя долго ждать.

В четыре часа десять минут он сказал, что пока ничего не приходит ему в голову.

В четыре часа двадцать минут все еще ничего не произошло.

А в четыре часа тридцать пять минут Тот заявил, что в голове у него опять засветилась какая-то искорка.

Через семь минут он встал. По его мнению, сказал Тот, он на верном пути, но, учитывая прошлое, не хочет предрекать заранее.

Без четверти пять он заявил:

— Готово!

Лицо его пылало, глаза горели.

— Глубокоуважаемый господин майор! — возвестил он в пять минут шестого.— Мне пришла в голову смелая мысль. Если прежняя резалка мала, значит, надо сделать новую, побольше!

Вконец обессилевший, он рухнул на стул.

Майор Варро в самых лестных выражениях выразил свой восторг.

Тот с усталой улыбкой принимал поздравления.

Господин майор поинтересовался, осуществимо ли это многообещающее решение.

Легче легкого, заверил Тот. Раз он сумел смастерить эту маленькую резалку, точно так же смастерит и бóльшую.

Еще вопрос: можно ли будет закладывать в новую машинку больше листов картона?

Много больше. Три, четыре, а может, и пять!

Когда же, спросил майор, называя Тота уже не «Тотиком», а «Тоточкой», когда же можно приступить к изготовлению?

Да хоть сейчас. Материал подходящий имеется, потому как можно использовать стоящие в сарае козлы, да и помимо того всяких досок хватает: есть даже стальной стержень длиной примерно с вытянутую руку, из него нетрудно выточить рукоятку для новой резалки.

— Ну, тогда за дело! — загорелся майор.— Жалко и минуты терять впустую, когда можно заняться резалкой!

■

Часовой механизм в принципе всегда верно отсчитывает время. (Если он не подвергается сотрясению и если не принимать в расчет износ.)

Возьмем, к примеру, карманные часы внушительных размеров — у Тота тоже были такие старинные часы марки «Анкер», еще с тех времен, когда он служил на железной дороге.

Что произойдет, если эти часы (однако так, чтобы не повредить их) уменьшить вполовину? Не только сами часы станут вдвое меньше, но и время, которое они покажут, тоже составит лишь половину настоящего.

Так же устроен и мозг человека: насильственные воздействия меняют его основные функции.

У часов только одна функция — показывать время. У человеческого мозга их гораздо больше.

Одна из них — регистрационная; мозг принимает, систематизирует, раскладывает по полочкам воздействия внешней среды. Он может вспоминать, то есть возвращаться в прошлое, но может и заглядывать в будущее,— это когда составляются планы. Мозг одинаково пригоден для конкретного и абстрактного мышления, но для него же характерна и высшая нервная деятельность. Он может давать названия предметам — например, кормушку для птиц назвать кормушкой для птиц. Он может построить купол над собором во Флоренции. Он додумался до того, что нужно есть не сами угли, а зажаренное на углях мясо, и до многого, многого другого.

Тот не был способен на такого рода глубокие обобщения, но зато до сих пор у него безотказно действовали все мыслительные функции, обеспечивающие человеческое существование. Они бы продолжали действо-

вать и дальше, если бы не насильственное вмешательство извне, которое — символически, конечно,— наполовину сжало все его умственные способности.

Можно ли считать двухнедельный отдых майора Варро насильственным вмешательством? В случае с Лайошем Тотом безусловно.

Само тушение пожаров — уже высшая нервная деятельность. А Тот постоянно находился в состоянии готовности; стоило ему заметить дымок, и мозг его мгновенно сигнализировал, что в саду у Кастринеров жгут сухие листья. Точно так же он просигнализировал бы, если бы этот дым являлся предвестником страшного пожара.

И если бы такое случилось, его мозг моментально переключился бы на еще более высокую деятельность. Тот выскочил бы из постели, велел бить в колокола, тащить на место происшествия пожарную подводу и направил бы шланг в самые недра огненной стихии. Правда, так далеко дело никогда не заходило, но что это меняет? Ведь в сущности человек не то, что он есть, а то, на что он способен.

Помимо тушения пожаров Тот пользовался заслуженным авторитетом и в другой области. Он разобрал, смазал маслом и снова собрал колодезный насос профессора Циприани. Шаткие ножки стульев он укреплял, вбивая всего лишь один гвоздь. Более того, когда Тоты подрядились делать коробочки, он из старого ножа смастерил приспособление, которое до сих пор действовало безотказно. Но теперь, когда ему предстояло не из ничего сделать что-то, а всего лишь из меньшего — большее, мозг его только ценой огромного напряжения исторг наконец решение, на какое был бы способен даже ребенок.

Если страх действует на клетки мозга как тормозящий фактор, то в случае с Тотом это проявилось необыкновенно наглядно. Установить данную истину необходимо для понимания последующих событий, ибо когда Тот — не так давно — вздохнул: «Боюсь, не кончится это все добром, Маришка»! — он проницательно предсказал свою судьбу.

А ведь после того, как он смастерил новую резалку, у них с майором больше не возникало разногласий На смену вечным раздорам пришел вечный мир. Несколько дней гость выглядел вполне удовлетворенным, а Тот — совершенно уравновешенным. И вот в одно прекрасное утро — на восьмой день пребывания майора и на третий день работы новой резалки — без всякой уважительной причины и без каких бы то ни было объяснений, на рассвете, в три часа шесть минут Лайош Тот, как беспечный юнец, бежал из дому.

Отчаявшиеся домочадцы сбились с ног в поисках, но безуспешно. Лишь к вечеру Тота обнаружил приходский священник Томайи; брандмейстер прятался у него под кроватью.

Было бы несправедливо перекладывать вину за столь необдуманный поступок на майора Варро. Правда, событию предшествовало несколько незначительных происшествий, о которых — полноты изложения ради — следует упомянуть, однако все они от первого до последнего говорят против Тота.

■

После полутора дней напряженной работы новая резалка была готова.

Она получилась такой тяжелой, что Тот чуть не надорвался, пока перетаскивал ее из сарая. На ней при желании мог бы смело уместиться даже человек, а лезвие способно было перерезать и теленка. Рукоятка ее, опускаясь, лязгала, как топор.

Резалку осмотрели. Обошли ее кругом. Майор восхищенно постукивал, поглаживал, похлопывал по ней. Он не успокоился, пока ее не опробовали. Под нож подложили три, четыре, а затем и пять листов карто-

ia — и, хоть бы что, машина взяла! Это превосходило самые смелые жидания.

Майор, бросив еще один нежный взгляд на сооружение, подошел к Тоту.

— Не знаю, как и выразить вам всю свою признательность, дорогой Тот. Могу сказать только одно: если до сих пор со мной в одной комнате находился лейтенант Хеллебрандт, то как только я вернусь на фронт, его место немедленно займет ваш дорогой сын, а это удобно, потому что здание школы, где я живу, оберегает усиленная охрана. Нет, не благодарите меня. Не будем тратить время на разговоры. Пообедаем и — за работу!

Они сели за стол. Это был самый прекрасный обед в жизни Маришки. Не только потому, что она наконец-то поверила — ее сын будет теперь в безопасности,— но и потому, что майор выказывал Тоту все более явные признаки своего расположения. Он все время ему улыбался. Потребовал даже, чтобы Тоту отдали всю куриную печенку из супа. В такие моменты он лукаво подмигивал Маришке, как делают взрослые, когда балуют ребенка.

Обед (по-старому — ужин) подошел к концу. Женщинам оставалось только убрать со стола, перемыть посуду и принести картонные заготовки для коробочек. Но майору даже это кратковременное бездействие казалось слишком долгим.

— Ну, мой маленький Тот, не выпить ли нам пива? — предложил он.

Их отношения продвинулись уже настолько, что гость называл бранмейстера «маленьким Тотом», хотя последний даже без пожарной каски был на целую голову его выше.

Они облюбовали себе место в саду ресторанчика Клейна. Сперва выпили пива. Потом пили пиво с ромом. А под конец уже один ром, без пива.

Майор становился все более общительным. Он сбросил с себя солдатскую сдержанность и откровенно признался, что пребывание в доме Готов — лучшие дни его жизни.

Тот от души поблагодарил.

Этим, пояснил майор, он в значительной степени обязан коробочкам. Проснувшись, он едва в состоянии дождаться вечера, когда наконец-то может приняться за работу.

Тот понимающе кивнул.

Есть в самом этом занятии нечто возвышенное. Оно увлекательнее, чем карты, и куда интереснее шахмат. Делать коробочки приятнее всего на свете.

Тот подтвердил.

Как было бы прекрасно, размечтался гость, если бы все больше и больше людей могло заниматься коробочками. Пожалуй, рано или поздно настанут времена, когда можно будет склонить к этому все человечество.

Что, полагал Тот, было бы очень полезно.

Каждая нация могла бы делать коробочки особого цвета и формы. Может, их тогда станут называть по-другому, но коробочка есть коробочка.

Это несомненно, сказал Тот.

И тогда все человечество станет благословлять их имена, заключил майор.

О господи! — сказал Тот.

Гость мечтательно смотрел вдаль. Он не проронил больше ни слова. Не мужское это дело изливать душу в речах. Говорили только глаза майора. Казалось, что-то согревало их изнутри — ожидание чего-то большого, взволнованность смелой мечты... Он расплатился, и молча, завороженный

картиной грандиозного будущего, взял Тота под руку. Так они оба и н правились к дому.

Маришка дожидалась их у калитки.

С незапамятных времен женщины теряют покой, когда мужчины о правляются выпить пива. Так и Маришка ждала, не зная, чем кончит это возлияние; она просто стояла, и ждала, и смотрела на улицу... И о казывалась верить своим глазам. По мере приближения обе мужск фигуры как бы сливались воедино; вот уже она видела не мужа свое и майора, а Дьюлу, стройного, красивого, улыбающегося, в форм прапорщика, с наградами во всю грудь, целого и невредимого. Он маха ей большущим батоном колбасы. Сыночек, родной, ведь он никогда н приходил домой с пустыми руками... Ах, Дьюла, Дьюла!

Открытка с фронта

«Уважаемые господа Тоты! Я вел машину, в которой везли господи на майора Варро на вокзал в Курске. После этого мы с вашим сыно сходили в баню, потом выпили пива в буфете. Мы рано отправились об ратно, но все-таки стемнело уже на полпути. Что, собственно, случилос я могу только гадать. Ручную гранату в нас бросить не могли, потом что на сто метров по обе стороны шоссе вырублен лес, а для того, чтоб выстрелить, было слишком темно. Помню только, как из мотора вдру вырвалось розовое облако дыма. Меня оглушило, но в остальном я от делался незначительными порезами от осколков ветрового стекла и кое как добрался до ближайшей деревни, чтобы привести подмогу. Когда мы вернулись к обгоревшей машине, господина прапорщика там уже не за стали. Может, с ним не случилось ничего страшного и он ушел сам, а может, был ранен и его подобрала проходившая мимо немецкая танковая часть. Если бы я не был так контужен, я смог бы сообщить более точные сведения, но все же надеюсь, что господин прапорщик пострадал еще меньше, чем я.

С уважением,
Шандор Дюрица, шофер».

(Открытка была отправлена мокнуть в бочке с дождевой водой.)

■

Восьмидесятисантиметровая рукоятка новой резалки с лязгом опустилась. Тоты принялись за работу в великолепном настроении, полные радужных надежд, с улыбкой на устах. Более трогательной мирной картины невозможно себе представить.

Майор закладывал под нож сначала три, потом четыре, а под конец и целых пять листов картона. Машина работала безупречно, и гость буквально пьянел от неограниченной свободы. Теперь уже он заваливал Тотов заготовками и между делом громко подбадривал их:

— Ну, еще разок! Поднажмем! Взяли!

Больше не приходилось сидеть сложа руки, отлынивать да прохлаждаться. Пока не занялась заря, им пришлось работать не разгибая спины и не отрываясь ни на минуту. Но что стоят все тяготы в сравнении с тем, что человек знает: существо, за которое он тревожится больше всего на свете и которое ему дороже жизни, находится в безопасности!

Именно эту мысль Маришка и хотела выразить, когда они, пошатываясь, добрались до своей комнаты.

— Вот видишь,— сказала она,— видишь, родной мой Лайош! Стоит только захотеть, и можно сотворить чудо.

Тот, поскольку говорить он уже был не в состоянии, лишь тяжело

вздохнул в ответ, хотя даже в усталости своей выглядел спокойным, чуть ли не довольным. Да, но сколько длилось это спокойствие?

Всего два дня.

■

Первый тревожный симптом проявился вечером накануне побега, сразу же после обеда (ужина).

Майор Варро в это время обычно не находил себе места от нетерпения. Уже вошло в привычку, что пока шли приготовления к работе, мужчины отправлялись на прогулку. Маршрут их был проложен от дома Тотов до автобусной остановки, и так конца три-четыре туда и обратно. И в этот день, так же как обычно, они отправились немного проветриться. Кто бы мог подумать, что именно этот путь приведет к беде?

Улицы Матрасентанны не освещались. Мужчины вышли из дому после позднего обеда при мерцании июльских звезд. Таинственный сумрак ночи лишь кое-где разрывали освещенные окна.

Так, например, Гизи Гезане (женщина сомнительной репутации) об эту пору всегда зажигала электричество, чтобы дать знак стремящимся к ней любителям развлечений. Если свет в окне не горел, значит, следовало выждать какое-то время, потому что кто-то уже опередил других.

Вот тут-то и случилась беда. Дело в том, что как раз под окнами Гизи Гезане стоял трансформатор. Тень от широкого стального ящика тянулась наискосок через асфальт. Когда они так вышагивали до автобусной остановки, майор Варро принял эту темную полосу за канаву.

На мгновение он остановился, прикинул на глаз ширину канавы, затем пригнулся и ловко перепрыгнул.

Что оставалось делать Тоту? Он тоже остановился, точно так же пригнулся и тоже прыгнул, понимая, что в противном случае поставит майора в мучительное и даже более того — смешное положение.

Прогулка продолжалась. Они повернули обратно. И снова перепрыгнули через тень. Эту процедуру они повторили еще раз, продолжая меж тем вдыхать упоительный горный воздух и вести дружеский обмен мнениями.

По наблюдению врачей, обитатели горных местностей более темпераментны по своей натуре, нежели жители равнин. Поэтому неудивительно, что свет в окне Гизи Гезане в этот вечер погас очень скоро. Когда гуляющие подошли к дому, на месте недавней канавы они увидели ровный, нетронутый асфальт. Однако они, как и в прежние разы, машинально остановились.

— Прошу вас,— сказал майор, вглядываясь в мостовую.

— Нет-нет, только после вас,— упирался Тот, уставившись на то же место дороги.

— Ни в коем случае,— сказал майор.— Терпеть не могу пустую вежливость.

Настал момент действовать. У Тота было два выхода:

1. Не прыгать. Но тогда, как житель Матрасентанны, которому, естественно, хорошо известно состояние асфальтированной дороги, он создаст впечатление, что три раза подряд оставлял в дураках майора.

2. Прыгать. И тем самым создать впечатление, что он по-прежнему считает канавой то место, где на самом деле была тень.

Тот из двух зол выбрал меньшее. Он отступил и с разбегу перепрыгнул предполагаемую канаву на месте недавней тени.

Дело оставалось за майором. У него тоже было два выхода:

1. Не прыгать, но тем самым признать, что какой-то невежа, сельский пожарный выставил его в смешном свете.

2. Прыгнуть и тем самым признать канавой место, где не осталось и следа от тени, но зато не подвергать урону свой авторитет.

Майор тоже выбрал меньшее зло. Он тоже разбежался и прыгну
Оба зашагали дальше как ни в чем не бывало. Но тем самым ещ
не был положен конец всей этой неприятной истории. По данным совр
менной науки, половой акт у жителей горных местностей протекает бол
страстно, неудержимо, а потому и отнимает меньше времени, чем у об
тателей равнин. Так что этой дивной летней ночью движение к домик
Гизи Гезане было весьма оживленным, и свет в окошке то загорался, т
гас. Но наши гуляющие — независимо от того, был ли гость уже в домик
Гизи Гезане или еще только шел туда,— обязательно прыгали напрот
ее окна.

Вдобавок ко всему механик с электростанции как раз об эту пор
возвращался домой с работы и как раз под окном у Гизи Гезане повстр
чал обоих прогуливающихся. Он самым сердечным образом приветств
вал майора Варро и—припомнив близящийся уход на пенсию, воюющег
на фронте племянника и давнюю повестку, где против него выдвигалос
обвинение в антиправительственном подстрекательстве,— без малейши
колебаний перепрыгнул тень от трансформатора.

Вслед за ним то же самое проделали майор Варро и Лайош Тот. Эт
не осталось без последствий. Можно, конечно, представить себе и благо
получное продолжение, предположив, к примеру, что двое мужчин, дв
добрых приятеля, еще больше сдружатся после того, как вволю напры
гаются.

Но можно представить и не столь благополучное продолжение. К со
жалению, именно так и развернулись события

А вышло так, что сперва Тота начало одолевать какое-то беспокой
ство. Он корил себя за то, что поставил командира своего сына в недо
стойное положение. Чтобы как-то загладить вину, Тот обращался с гос
тем с подчеркнутой предупредительностью. Так, например, на веранде о
услужливо предлагал майору стул, все время кланялся, через силу вы
давливая улыбку, и так далее.

Однако его предупредительность не достигала цели, ибо напоминал
майору именно о том, о чем бы он предпочел забыть. Поэтому он отказы
вался от пододвигаемого ему стула и демонстративно приносил себе из
комнаты другой, а подкупающие улыбки встречал суровым выражением
лица.

Своей неприступностью майор доконал Тота, с лица которого тепер
не сходило выражение раскаяния; он старался держаться как можно
дальше от глаз майора и говорил нарочито тихо, чтобы даже голосом
подчеркнуть собственное ничтожество.

Но майору и это пришлось не по нраву. Скорее наоборот: он усмот
рел здесь открытый вызов. Чем покаяннее моргал Тот, тем непримири
мее отворачивался от него майор. А уж заупокойно-тихая речь Тота
и вовсе вывела его из терпения.

— Что вы сказали? Ни слова не могу разобрать из вашего бормо
тания!

Тот повторил сказанное. Майор сделал вид, будто и теперь не слы
шит.

— Опять не понимаю Вы что, шутить надо мной изволите?

Но Тоту было далеко не до шуток, а впору хоть плачь. Ведь пришел
конец обращению запанибрата, кончились «Тотики» и «Тоточки», прощай
куриная печенка из супа... Он молча втянул голову в плечи и всецело
ушел в процесс складывания коробочек; он поклялся, что больше не пик
нет, пока его о чем-нибудь не спросят.

Конечно, когда его спрашивали, приходилось отвечать. Правда, луч
ше бы и тут ему отмалчиваться. Молчание нельзя ни плохо понять, ни
дурно истолковать Бывают такие минуты (часы, годы, эпохи), когда сек
рет долгой жизни кроется в молчании.

■

Вопрос, который повлек за собой столько осложнений, звучал вполне невинно. В ту ночь они уже довольно долго занимались коробочками, когда майор, выпустив ручку резалки, огляделся кругом и со своей обычной предупредительностью поинтересовался:

— Не хотите ли прилечь отдохнуть? Который час на ваших, дорогой Тот?

За время пребывания майора Варро в Матрасентанне не раз случалось, что он не очень хорошо разбирал, что говорит Тот. Но по крайней мере до сих пор то, что майору не удавалось расслышать, было действительно неразборчиво сказано. И вот вам лучшее доказательство, насколько ухудшилась ситуация: на сей раз ответ Тота даже и отдаленно не напоминал того, что услышал гость.

Ибо Тот вытащил свои старомодные карманные часы и сказал:

— Глубокоуважаемый господин майор, без четверти час.

Майор приставил ладонь к уху:

— Вы опять бормочете так, что ни слова не разберешь.

Тот громко повторил приведенную выше фразу. Однако часы чуть не выпали у него из рук при виде того, как майор переменился в лице. Он побледнел, явственно проступили морщины, а глаза сузились в булавочные головки. Позднее, когда дело дошло до объяснений, оказалось, что он следующим образом воспринял слова Тота:

— Посолите уши вашей бабушке!

Вполне естественно, что, услышав такое оскорбление, майор не смог с собой совладать. Он изо всех сил грохнул кулаком по столу и обрушился на Тота:

— Я не позволю! Да будет вам известно, что моя бабушка была урожденная Шкультеты, пятый ребенок в семье деревенского скорняка, но директор боршодиванковской школы почел за честь для себя в день, когда ей исполнилось пятьдесят, склонившись до земли, поцеловать у нее руку!

Майор резко повернулся. Бросился к себе в комнату. Захлопнул дверь. Тоты сидели ни живы ни мертвы, ибо доносящиеся до них звуки свидетельствовали, что гость стаскивает свой чемодан со шкафа, выдвигает ящики и укладывает вещи.

— Уезжает! — ужаснулась Маришка.— Что же ты опять наделал, Лайош?

Обе женщины со страхом смотрели на Тота, который как сидел, так и остался сидеть, тупо уставившись перед собой.

■

Иной человек, побуждаемый укоризненными взглядами, сам бы догадался, что ему делать. Если кто кого-то обидел без причины, в таких случаях полагается просить прощения.

Однако Тот продолжал сидеть с каменным, неподвижным лицом, на котором даже с большого расстояния легко читалось, что он и не думает просить прощения. Во всем случившемся он винил одного майора и был удивлен, что жена и дочь выжидательно смотрят на него.

— Чего вы на меня уставились? — недоуменно спросил он.

Агика воздержалась от объяснений. Маришка тоже, лишь тяжело вздохнула.

— Ох, Лайош, родной мой Лайош...

— Нечего охать! — осадил ее муж.— Я сказал: без четверти час. Так это или не так?

Тот переводил взгляд с жены на дочь, явно ожидая, что они подтвердят его слова, потому что прежде всегда именно так и бывало, даже в тех

(исключительных) случаях, когда он был не прав. Однако сейчас (ко
он был прав) этого не последовало.

Впервые ничего не последовало.

Маришка молча глядела прямо перед собой полными слез глаза

Агика тоже молчала. Потом грустно покачала головой.

Тут Маришка вздохнула и тоже покачала головой.

Тот разозлился.

— Вы что, говорить разучились? — спросил он.— Чего мотаете
ловами?

Агика отвернулась, словно у нее не хватало духу заговорить.

Маришка, высморкавшись в уголок передника, сказала только:

— Мы очень просим тебя, родной, дорогой мой Лайош, в следу
щий раз будь осмотрительнее.

— И правда,— осмелела Агика.— Не дело это — бросаться слова

— Я не бросался словами,— Тот в сердцах стукнул по столу,—
назвал точное время.

Маришка вынуждена была признать это.

Агика тоже не подвергала сомнению самый факт. Она добави
только, что ведь без причины не обижаются. Не исключено, что па
так произнес свои слова, что они, может быть, стали похожи на что-
другое.

Наверняка, сказала Маришка. Если уж господин майор так разоб
делся, у него определенно имелись основания.

Тот все еще был не очень уверен, что его слова походили на что-
другое, но если даже и так, все равно в них не было ничего обидно
для гостя.

Маришка и тут с ним согласилась: ее муж сроду никого не обидел

Агика тоже это признала. Хотя, пусть она и не повторит слово
слово спорную фразу, однако ей показалось, будто папа помянул чь
то уши.

Маришка слова «уши» вроде бы не слыхала, но в то же время н
могла поклясться, что это слово не было произнесено.

Тот утверждал, что все это сплошные фантазии. Зачем бы ему по
надобилось упоминать чьи-то уши, когда у него спрашивают, кото
рый час?

Маришка опять согласилась с ним.

Агика задумалась. Сначала она тоже готова была признать, что
по-видимому, прав отец, но затем ей все больше и больше стало казать
ся, будто слово «уши» было упомянуто в связи с бабушкой господина
майора.

Тогда задумалась Маришка. А подумав, заявила, что безгранично
верит своему мужу, но все же в данном случае не решается сказать
ни «да», ни «нет».

Теперь уж и сам Тот не был до конца убежден в своей правоте. Од
нако, если и можно еще себе представить, что слово «уши» сорвалось
у него с языка, то уж не было решительно никаких оснований поминать
бабушку майора.

Агика попросила прощения, что ей приходится ворошить старое, но
и прежде случалось, что папа без всяких видимых оснований говорил
весьма странные вещи.

Маришка при этом покачала головой — да так неопределенно, что
это можно было понять и как отрицание и как подтверждение.

Тот пожелал узнать, на что намекает дочь.

Агике не очень-то хотелось рассказывать, но после долгих понука
ний она призналась, что, например, в среду на прошлой неделе пере
ресторанчиком Клейна папа вместо приветствия обозвал господина при
ходского священника Томайи «старой редькой».

Маришка тотчас заметила, что ее при этом не было и вообще она не может поверить такому о своем муже, но одно несомненно, что священник вот уже несколько дней весьма холодно отвечает на ее приветствия.

Тот был крайне удивлен. Он совершенно не помнил никакой редьки, более того, был твердо уверен, что приветствовал священника обычным: «Восславится!» — но почва уже начала ускользать у него из-под ног.

Под конец высказалась и Маришка. Ей крайне тяжело вспоминать об этом, но, как она выразилась, в такой ответственный момент она не вправе молчать: ведь речь идет о жизни их Дьюлы. Именно поэтому она считает себя обязанной напомнить мужу события, предшествовавшие его уходу на пенсию.

При слове «пенсия» Тот сделался красным, как перец.

Да оно и понятно. Когда человека, девять лет беспорочно служившего маневровым диспетчером на железнодорожной станции Фелшёпишкольц, в один прекрасный день ни за что ни про что вдруг отправляют на пенсию, он стремится забыть о столь унизительном факте. Маришка, однако, считала, что именно в интересах Тота лучше было бы, наконец, взглянуть правде в глаза.

Тот заявил, что ему тоже было бы интересно узнать, о чем идет речь.

Маришка сказала, что может удовлетворить любознательность мужа, она только настаивает, чтобы Агика заткнула уши.

Агика зажала уши, и Маришка рассказала, что когда итальянский король Виктор-Эммануил, будучи гостем регента, отправлялся на осеннюю охоту в леса на севере Венгрии и когда на украшенной флагами и цветами фелшёпишкольцской станции весь станционный персонал стоял по команде «смирно» — вот тогда, в тот самый момент как специальный состав пролетал мимо станции, один из диспетчеров, ранее ни в чем предосудительном не замеченный, вдруг повернулся спиной к поезду, спустил штаны и показал проезжающим знатным господам... невыразимую часть тела. Все так и было, сказала Маришка и расплакалась.

Лайош Тот вскипел.

— Здесь нет ни слова правды! — возмутился он.— Кто наплел тебе эту чушь?

Она раньше тоже сомневалась, всхлипывала Маришка, сомневалась до тех самых пор, пока одна билетерша по имени Шингерне, еще в кино господ Бергер, не поклялась ей, что собственными ушами слышала эту историю от свидетелей, слову которых можно верить.

Тот окончательно пал духом. Услышанное было слишком чудовищно, чтобы не сломить его самолюбия; прошло несколько минут, прежде чем Маришке и Агике удалось вывести его из оцепенения. Тогда обе принялись его упрашивать пойти и попросить у майора прощения. Они взяли его под руки. Заботливо подвели к двери и даже помогли переступить через порог...

Спустя несколько часов, а точнее в три часа шесть минут утра, Тот бежал из дому. Очевидно, между его бегством и вышеприведенным эпизодом нет и не может быть причинной связи. Взрослый человек не бросает свой дом и семью лишь потому, что кто-то не разобрал его слов. Это невероятно и потому, что майор со свойственным ему великодушием тотчас же простил Тота. Более того, когда они вышли из комнаты, он особо подчеркнул:

— Прошу вас, не упрекайте его. Все мы люди... Не правда ли, дорогой Тот?

Тот пробормотал нечто нечленораздельное. Состояние его нельзя было назвать хорошим, но, заняв свое место за столом, он быстро взял себя в руки. В работе, даже если она утомительна, всегда находится что-то утешительное. Вдобавок ко всему майор не только не сердился,

но явно пребывал в отличнейшем расположении духа. Он наслаждался свежестью воздуха, бодрящим дуновением ночи и так сумел занять всех беседой, что никто даже не заметил, как прошло время. С радостью узнали они, что у дорогого гостя не только улучшилось самочувствие и аппетит, но и сны его теперь не такие страшные, как до приезда сюда. В последний раз, например, майору приснилось, будто он — пакетик с щекочущим порошком и его сунули за ворот какой-то красивой девушке. Майор со всеми подробностями описал, как он забирался все глубже и глубже в одежду девушки и как смеялась от щекочущих прикосновений привидевшаяся ему красавица. Всех эта история вдоволь позабавила, и даже Тот широко улыбался. Никто и не подозревал, какие планы он вынашивает, равно как никому и в голову не могло прийти, что вскоре после выяснения первого досадного недоразумения он преподнесет им второй, еще более неприятный сюрприз.

А случилось так, что при всеобщем приподнятом, благодушном настроении — и задолго до рассвета, а стало быть, и не слишком уж поздно — Лайош Тот зевнул, да к тому же самым вызывающим образом, прямо в лицо майору, зевнул так откровенно, словно майор был врачом, которому Тот демонстрировал свои воспаленные миндалины.

Это бы еще полбеды, хотя сидящие за столом отчетливо помнили, как близко к сердцу принял гость прежний зевок Тота. Ужас сковал их, уста онемели, руки замерли на прерванном движении, как замирает в полете птица, пораженная выстрелом охотника.

Однако допущенный промах — который тогда еще можно было исправить несколькими словами оправдания — Тот усугубил тем, что злобно накричал на жену:

— Чего ты на меня уставилась? Рог, что ли, вырос у меня на лбу?

Когда ему растолковали, что он натворил, Тот сначала упрямо, с упорством закоренелого преступника, пытался отрицать свой проступок. Он не верил дочери. Не верил жене. Все доводы и доказательства были ему как об стенку горох. И спору, наверное, так и не видать бы конца, не вмешайся тут сам майор.

— Прошу вас прекратить эти бесплодные пререкания,— сказал он с обезоруживающей кротостью.— Ведь, собственно говоря, нет никакой разницы, видели ли мы что-то воочию или просто это стерлось у господина Тота из памяти. Если он чувствует, что не зевал, это означает лишь, что он не хотел зевать. А данный вопрос может решить только он один. Подумайте над этим, дорогой Тот.

— У меня и в мыслях не было зевать,— заявил Тот.

— Именно это меня радует больше всего,— сказал майор.— Стало быть, у вас и сейчас нет охоты зевать?

— И сейчас нет,— сказал Тот.

— А позднее? — поинтересовался майор.

— И позднее не будет,— заверил Тот.

— Не раскаетесь ли вы потом?

— Никогда!

— Если это действительно так,— заключил майор,— не согласитесь ли вы принять определенные меры предосторожности, чтобы положить конец дальнейшим попыткам зевнуть?

— С превеликой радостью! — сказал Тот.

— Великолепно! — воскликнул майор.

Он заявил, что другого и не ждал от столь замечательного человека, как Тот. Конечно, сказал он, способов предупреждения зевоты существует немало; к счастью для Тотов, у него есть кое-какой опыт в этой области. Ведь на фронте солдаты, отряжаемые в ночной дозор, часто бывают подвержены зевоте, а это опасно, потому что зевающего человека может легко сморить сон, за что на фронте полагается расстрел.

Там он помогал беде таким образом: несущие караул солдаты обязаны были держать во рту сливовую косточку, которую затем передавали заступающим на смену.

— Нет ли случайно в доме каких-нибудь косточек от фруктов? — спросил майор.

Маришка покачала головой. К сожалению, сообщила она, сливовый сезон уже кончился, а персики еще не поспели... По всему было видно, что ее глубоко огорчает это обстоятельство, но майор поспешил утешить:

— Не беда, Маришка. Я что-нибудь придумаю.

С задумчивым видом он обследовал свои карманы. Судя по всему, майор не нашел того, что искал, потому что он вдруг вскочил, бросился к себе в комнату, перерыл там все ящики и вернулся обратно с целым ворохом всевозможных предметов. Он положил на стол фотоаппарат «Кодак», коробку порошка от насекомых, свой служебный пистолет, затем фотографию в рамке, на которой был изображен он сам, в день производства в лейтенанты, с саблей на боку и опирающийся на искусственную пальму, даже на фотографии выглядевшую пыльной.

— Каждая из этих вещей подходит,— сказал он, поочередно переводя взгляд с предметов на рот Тота,— но ни одна не идеальна.

Тут он хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— Гоп-ля! Я совсем забыл про «трещотку»!

Все вещи он унес обратно, затем с сияющим видом извлек какой-то предмет величиной с куриное яйцо, который оказался не чем иным, как карманным фонариком с механическим динамо. Сбоку у фонарика был небольшой выступ. Стоило только на него нажать, как фонарик начинал трещать — поэтому-то его и называли «трещоткой» — и вспыхивал свет.

Майор протянул «трещотку» Тоту.

— Прошу вас, любезный господин Тот!

— Вот оно что! — воскликнула изумленная Маришка.— Мне бы до такого ни в жизнь не додуматься!

— А ведь как просто! — всплеснула руками Агика.

Однако сам Тот, вместо того чтобы обрадоваться, с явной неприязнью смотрел на фонарик.

— Ну, и что с ним делать? — спросил он.

— Как что? — рассмеялась Агика.— Взять в рот, папочка, и готово дело!

— Только смотри не проглоти,— заботливо предупредила вечно беспокоившаяся о муже Маришка.

— Ни грызть, ни глотать нельзя,— объяснил майор.— Сосите потихоньку, как леденец.

Однако Тот заупрямился. Он не решается брать в рот фонарик, сказал он, потому что, уж если что попадет ему в рот, он тут же проглотит.

— Этого не надо бояться,— с улыбкой успокоил его гость.— Сначала, пожалуй, будет несколько странное ощущение, но к фонарику можно привыкнуть точно так же, как к вставной челюсти.

Но даже этот аргумент не убедил Тота. Несмотря на всю его мужественность, в Тоте было что-то ребяческое. Может быть, ему хотелось, чтобы его подольше уговаривали, или просто не нравилось само слово «трещотка», но так или иначе он продолжал отказываться от этого проверенного способа борьбы с зевотой, хотя не мог привести ни одного мало-мальски основательного довода в свою пользу. Ища поддержки, он обернулся к жене.

— И ты тоже считаешь, Маришка, что я должен держать эту вещь во рту?

— Ну а где же еще, родной мой, славный Лайош? — удивилась жена.

Тот еще раз обвел всех взглядом, а потом сделал такое, что ника не приличествовало ни его возрасту, ни общественному положению. О вдруг залез под стол, да так, что даже голова не торчала наружу.

Все переглянулись, правда, но по молчаливому уговору не сказал ни слова. Сидели и молча ждали. Ничего другого им и не оставалось. Через некоторое время Тот вылез из-под стола. И хотя он все еще кор чил недовольную мину, но по крайней мере больше не сопротивлялся.

Он сам открыл рот, и Маришка так бережно вставила ему фонари в рот, как мать кормит дитя.

— Надеюсь, он не противный на вкус? — спросила Маришка.

Тот отрицательно мотнул головой. От фонарика лицо его несколько округлилось, и это ему шло. Агика даже заметила:

— Папочка, так гораздо красивее!

На это он хотел что-то возразить, но язык его уперся в выступ фо нарика, фонарик затрещал, и за зубами Тота вспыхнул свет. Сидящие обменялись улыбками.

— Не будем терять время!—сказал майор.—Думаю, работа теперь пойдет гораздо лучше.

И в этом он не ошибся.

Работа пошла без малейших заминок. Тот не зевнул ни разу. Он даже не выглядел усталым. Правда, из-под рук его и теперь выходили сплошь одни кривобокие коробки, но к этому уже все привыкли. Данное обстоятельство необходимо подчеркнуть, чтобы никто не искал связи между описанными событиями и тем, что случилось потом. Ведь никто еще не убегал из дому оттого, что ему пришлось держать во рту (в це лях исключительно профилактических) карманный фонарик.

Тем большим было удивление, когда обнаружилось, что Тот исчез.

Его отсутствие заметили не сразу. По всей вероятности, он сбежал когда кончилась работа и все устало шатались из угла в угол и даже глаза держали открытыми только огромным усилием воли. Его отсутст вие еще и потому не бросилось в глаза остальным, что грузовик с эгер ской фабрики перевязочных средств «Санитас» лишь раз в месяц объез жал округу, чтобы забрать готовую продукцию. К Тотам еще не заезжали и у них — особенно благодаря новой резалке — скопилось неисчислимое количество коробок, гигантские пирамиды их выросли по всему участку. Уж на что рослый человек Тот — и он мог легко затеряться в этих лаби ринтах.

Однако через какое-то время отсутствие хозяина все-таки заметили. Его стали звать, затем принялись искать. Облазили все уголки, обша рили соседние сады, всю деревню вплоть до лесопильного склада. Обо шли барталапошскую долину. Поляны на склоне Бабоня. Тот как сквозь землю провалился.

Куда он девался? И почему? Наверное, опять ему что-нибудь при шлось не по душе. Хотя вряд ли, ведь только что все так хорошо на ладилось.

■

Господин приходский священник Томайи вернулся домой к вечеру того дня усталый от лазания по горам, поскольку он давал последнее причастие теще помещичьего лесничего. И поэтому он как был, пропы ленный и в сутане, вытянулся на кровати и утомленно прикрыл глаза.

И тут до его слуха донесся раскатистый храп.

Сначала священник подумал, что слышит уже свой собственный храп. Он затаил дыхание. Храп продолжался. Через несколько минут, це ной больших усилий — что было вредно ему, поскольку он страдал язвой желудка,— священнику удалось вытащить из-под кровати Лайоша Тота.

Еще труднее оказалось его разбудить. А уж заставить говорить стоило неимоверного труда.

Многие недооценивают сельских священников. Они-де механически отправляют свои святые обязанности, повторяют избитые проповеди, заняты лишь чревоугодием, предаются праздности... И никто не упомянет, что иной раз им приходится сталкиваться со столь сложными психологическими проблемами, какие даже для священника более высокого сана явились бы испытанием его искусства.

Священник Матрасентанны многие годы жил на свете, не ведая забот. Но в последнее время, а говоря точнее — в последнюю неделю, его прихожане вдруг словно рехнулись. Позавчера, например, один рабочий с лесопилки ошарашил священника жалобой, что его преследует собственная тень. И тут же, на залитой солнцем улице показал священнику свою тень, которая действительно преследовала его и очертаниями походила на жандарма в форме. Какой совет можно дать в подобном случае? И что мог сказать его преподобие господин Томайи люксембургскому герцогу Леонарду, обладателю семидесяти тысяч хольдов лесных угодий, когда высохший старец (в жилах которого текла кровь британских королей) в тот же день вечером на исповедальной скамеечке признался ему, что чувствует себя убежденным коммунистом? На вопрос, чем тут можно помочь, священник порекомендовал поститься.

Уже по двум этим примерам можно догадаться, что внутренний мир Томайи был надежно защищен от самых жестоких душевных треволнений, однако признание Тота даже его потрясло. Невозможно было оставаться равнодушным, слыша, как один из самых уважаемых членов паствы, человек крепких нервов и завидного здоровья тихим голосом заявляет, что самое заветное его желание спрятаться куда-нибудь.

Куда? Тоту было безразлично куда. А почему? Тот и этого не знал. Он помнил только одно: что как раз собирался ложиться и уже расшнуровал ботинки, сидя на краю постели, когда, повинуясь велению какого-то внутреннего голоса, неожиданно встал, пришел сюда, влез в окно и спрятался под кровать священника.

Он не отрицал, что этот поступок совершил в здравом уме и трезвой памяти. Правда, ему хотелось спать, но он вполне отдавал себе отчет в своих действиях. Он сознавал, что это не совсем разумный поступок, но не смог удержаться. Впрочем, такая мания неотвязно владеет им уже несколько дней. Где бы он ни находился (в комнате, в подвале или под открытым небом), повсюду он не перестает высматривать, нет ли поблизости подходящего убежища. Вот и сейчас, разговаривая с его преподобием, он едва удерживается от соблазна залезть к нему под сутану.

Священник молча слушал исповедь Тота. Вот стоит перед ним этакий здоровяк, и тяжелее плоти его разве что его горесть. Что сказать ему в утешение? Священник вздохнул.

— Если тебе станет легче, сын мой,— сказал он,— мне не жалко, можешь ненадолго залезть ко мне под сутану.

— Премного благодарен, ваше преподобие,— уклонился Тот.—Я не хочу поддаваться соблазну, а то боюсь, он совсем меня одолеет.

Священник одобрил Тота. Он подошел к окну и, глядя на безоблачное небо, задумчиво постоял какое-то время, затем произнес следующие прекрасные слова:

— Чего не сделает человек ради ближнего своего, сын мой! Сейчас война, и все мы боимся. Бои идут далеко от нас, и газеты изо дня в день пишут о победах наших войск, а мы все-таки чего-то боимся. Чего? Я лично не знаю. Если бы знал, пожалуй, перестал бы бояться. Подумай и ты, сын мой, вдруг ты поймешь, что тебя тревожит. Тогда, наверное, и тебе не захочется больше никуда прятаться.

Тот понурил голову. Он признался, что его беспокоят три вещи.

Священник ободрил Тота, посоветовав, ни о чем не умалчивая, излить душу.

В первую очередь, сказал Тот, ему не нравится, что свою каску (когда ярко светит солнце) он вынужден носить надвинутой на лоб, потому что так желает уважаемый гость.

Ну, а дальше, что второе, допытывался священник.

Еще как-то вечером, когда они прогуливались с майором Варро, ему пришлось перепрыгивать через тень от трансформатора перед домом Гизи Гезане.

Разве это так ужасно? — спросил священник, но все же снова ободрил: пусть Тот выскажет ему и третью жалобу.

Третье, что его удручает, сказал Тот, это необходимость держать во рту карманный фонарик гостя, чтобы не зевать во время складывания коробочек.

Священник поинтересовался, велик ли у майора карманный фонарик.

Тот вынужден был признать, что фонарик никак не больше куриного яйца.

А нужно ли глотать этот фонарик, не отставал священник.

Как раз глотать-то его и нельзя, пояснил Тот. Можно только сосать, как леденец.

И тут господин священник Томайи дал волю праведному гневу.

— Это уж кощунство, сын мой! — обрушился он на Тота.— Сейчас самый разгар войны, когда люди пребывают в страхе за жизнь свою или оплакивают гибель близких... А ты тут лезешь с такими пустяками, когда следует воздать хвалу господу за то, что он привел к тебе в дом командира твоего сына! Теперь я жалею, что вообще затеял разговор с тобой!

Священник выскочил из комнаты, хлопнув дверью, послал соседского мальчишку за Маришкой, а сам во гневе принялся ходить по извилистым тропкам сада.

— Не делай такого убитого лица,— сказал священник запыхавшейся Маришке и повел ее к дому.— Там ждет этот недотепа — твой муж, забирай его домой.

Они вошли в дом. Тота не было видно. Ни под кроватью, ни под шкафом, ни в собачьей конуре, ни среди грязного белья. Он снова как сквозь землю провалился и не объявлялся вплоть до семичасовой обедни, когда до слуха его преподобия господина Томайи вновь донесся храп. Знакомый уже звук на сей раз исходил из-под кружевного покрывала главного алтаря. У священника от испуга застряли в горле всесильные слова святого обряда, и ему чуть не сделалось дурно.

Службу пришлось прервать. Верующие разбрелись. Тота вытолкали в ризницу и заперли дверь. Маришка расплакалась.

— Что же мне теперь с ним делать? — спрашивала она священника — Ведь у меня гость в доме, не могу же я целый день караулить мужа.

Священник задумался.

— Трудно дать совет, Маришка, потому что мы помимо прочего должны постоянно помнить и о его чрезмерной чувствительности.

— Вот именно,— кивнула Маришка.— Он даже карманный фонарик держать во рту не желает.

— Нельзя ли его попросту привязать к стулу? Тогда уж он наверняка не сбежит.

— Тут есть одна слабая сторона,— сказала Маришка.— Если он долгое время сидит не сходя с места, бедняжка, он засыпает...

— Может, привязать ему колокольчик на шею,— предложил священник.— У меня как раз есть один лишний колокольчик для служки.

— Он был бы как овечка,— улыбнулась Маришка, но тут же отрицательно покачала головой.— Боюсь, что колокольчик будет раздражать господина майора.

— Ну, тогда сама подумай, что делать,— беспомощно развел руками священник.— Вся моя наука бессильна.

— Побеседуйте с ним по душам, пожалуйста,— попросила Маришка.— Он всегда вас слушался, ваше преподобие.

Священник Томайи зашел в ризницу и побеседовал с Тотом по душам. Священник растолковал ему, что́ должен делать отец ради сына, особенно если речь идет о таком сыне, как Дьюла. Это подействовало.

Тот торжественно поклялся, что в оставшиеся дни постарается преодолеть свои дурные наклонности: не будет больше убегать из дому и прятаться не станет — ни под кровати, ни под алтари.

Священник простил его, зная, что Тот если уж что обещал, то сдержит слово. Так оно и вышло.

Тот направился прямо домой, однако не присоединился к домочадцам, а засел в уборной в саду. Там он просидел до самого ужина, а после еды снова заперся в будочке.

В уборной он просидел и все утро следующего дня. Когда Маришка постучала, Тот не ответил. Судя по всему, он спал.

Глава четвертая

Письмо на фронт

«Милый мой сынок! Надеюсь, эти строки застанут тебя в добром здравии. Его преподобие господин Томайи, когда молится за ушедших на фронт, всегда первым упоминает твое имя. Извещаю тебя, что у нас все хорошо, только тебя очень не хватает. Чтобы ты не беспокоился, сообщаю тебе, что глубокоуважаемый господин майор тоже чувствует себя прекрасно. Сначала он был очень измученный и нервный, но десятидневный отдых у нас на чудном горном воздухе уже оказал свое действие. В первые дни его мучили кошмары, а теперь снятся только смешные сны, вроде того, будто он щекочущий порошок или что щенок тащит его в зубах и треплет из стороны в сторону, но это сущие пустяки в сравнении с тем, что снилось вначале, как его перемалывали на фарш и ели. Отец тоже чувствует себя хорошо, только немного рассеянный и иногда попадает под чужие кровати, но господин священник уже беседовал с ним, и с тех пор настроение у него гораздо лучше, хотя иногда он все еще сторонится людей. У меня есть еще одна радостная весть для тебя. Глубокоуважаемый господин майор обещал, что с наступлением холодов он не только возьмет тебя к себе в штаб батальона, но и ночевать ты будешь с ним в одной комнате, вместо того офицера, который сейчас живет там. Дай бог, чтобы это сбылось.

Береги свой желудок, не ешь жирной пищи неподогретой. Целую тебя много раз, твоя мать Маришка».

■

Маришка надписала на конверте адрес, поднесла письмо к уборной и тихо (чтобы не разбудить почивавшего гостя) окликнула мужа. В ответ раздалось лишь деликатное покашливание в знак того, что помещение занято.

— Сколько ты пробудешь там, родной мой Лайош? — поинтересовалась Маришка.

— А что? — спросил Тот.— Разве майор уезжает?

— С чего ты взял? Господин майор уезжает через четыре дня.

— Тогда я еще немного посижу здесь,— сказал Тот.

Было воскресенье. Уже отзвонили к обедне. Маришка, чтобы не опоздать, просунула в щелку письмо и карандаш. Тот расписался.

Маришка надела выходное платье.

— Я иду к обедне,— сказала она Агике, которая ощипывала цыленка на веранде.— Папа сидит в уборной, господин майор спит. Присмотри за ними, дочка.

Она поцеловала Агику и ушла.

Приблизительно через четверть часа из комнаты показался майор. Сонным голосом он пожелал Агике доброго утра, затем — в мятой пижаме, с взъерошенными волосами и громко зевая — направился к уборной.

Агика тревожно глядела ему вслед.

■

До приезда майора Варро Тоты слыли образцовой семьей. Маришка не просто любила своего мужа, но и считала его настолько выше себя, что повиновалась одному его взгляду.

Агика же с пылом подростка буквально боготворила отца. Все, что было прекрасного на свете, ассоциировалось у нее с отцом: полет ласточки, вкус шоколада во рту, то сладостное головокружение, которое мы испытываем, глядя на алую розу,— все это и еще многое другое, вместе взятое, был отец.

С тех пор как майор Варро вошел в их жизнь, на смену прежним отношениям пришли новые. В душе Маришки — постепенно, шаг за шагом, у Агики же — с той неразличимой для глаза быстротой, с какой молния, меняя направление, ударяет не в одно дерево, а в другое. Обычно легче всего меняются физические привязанности; как до сих пор она любила запах кожи отца, так теперь вбирала в себя запах майора, и вместо голоса Тота теперь голос гостя электрическим разрядом пробегал по ее нервам. Особенно притягательны для нее были сапоги майора, с первого же дня их чистила только Агика, потом она стала брать их к себе в комнату, играла с ними, как с куклой, разговаривала и напевала им что-то. И постепенно из-за этих разбитых опорков она начисто отреклась от зеркально сверкающих сапог отца!

Однако женщина — и тем более такая женщина, как Маришка,— никогда не вырывает своих чувств с корнем. Маришка сочувствовала мужу, даже когда он беспричинно восстал против майора, желавшего ему одного лишь добра, и у нее язык не повернулся сказать Тоту хоть слово в осуждение.

Но и она все больше и больше попадала в сферу влияния майора, хотя и не в физическом, а скорее в духовном и даже, более того, в несколько трансцендентном смысле. Вся она исполнилась одним желанием: чтобы гость чувствовал себя как можно лучше, а потому и все ее органы восприятия целиком сосредоточились на самочувствии майора. Она предчувствовала, когда ему захочется пить, и тотчас приносила легкий фреч[1]. Майор еще и сам не успевал осознать, что у него в кишечнике скопились газы, как Маришка уже вставала и деликатно удалялась. Постепенно она как бы переродилась, превратившись в стеклянный колпак, в живую защитную оболочку, единственным призванием которой было избавить гостя от всяческих неприятностей.

Ее способность к восприятию чужих чувств возрастала со дня на день. В этом, безусловно, сыграло свою роль недосыпание и связанное с ним нервное напряжение, тревога за сына, а теперь уже — и за мужа. Подобно некоему телепатическому феномену, она на расстоянии улавливала малейшие душевные движения гостя; иногда ей чудились гаинст-

[1] Сухое вино, разбавленное содовой.

венные голоса, являлись видения, которые заранее предупреждали о грозившей майору опасности.

Стоял, например, в углу веранды прислоненный к стене старый зонтик, забытый кем-то из квартирантов. Этот зонтик иногда падал безо всякой причины.

Однажды утром, пока майор спал, Маришка ждала своей очереди в мясной лавке: мясо тогда давали по карточкам. Уже подошла ее очередь, когда перед лавкой остановился велосипед.

Кто-то крикнул:

— Есть тут женщина по фамилии Тотне?

Напрасно уверяли ее, что все это лишь игра разгоряченного воображения; Маришка даже по прошествии многих месяцев утверждала, что видела воочию: рядом с велосипедом стоял старый еврей с бородой и кротким взглядом— ну, вылитый святой Петр.

— Это я! — отозвалась Маришка.— В чем дело?

— Надо лучше смотреть за зонтиком! — И в мгновение ока небесный посланец укатил на велосипеде.

По счастью, мясная лавка находилась недалеко от дома. Маришка бросилась домой и — о, чудо господне! — успела на лету подхватить зонтик, который снова готовился упасть и уж наверняка разбудил бы господина майора.

В это воскресенье, к концу святой обедни, Маришке снова было возвещение свыше. На сей раз ей никто не явился, но перекрывая гудение органа, послышался дребезжащий голос, словно бы из громкоговорителя:

— Внимание, внимание! Тот Лайошне, урожденная Маришка Балог! Вас ожидают родственники у входа в мужской туалет!

Остальные верующие либо не слышали громкоговоритель, либо не поняли грозного смысла уведомления. Маришка же всполошилась и, прокладывая себе дорогу, одолеваемая дурными предчувствиями, бросилась домой.

Уже от калитки она завидела собравшуюся перед уборной толпу кричащих и громко стучащих кулаками людей. Что им здесь нужно? Почему на веранде рыдает Агика? Почему майор лихорадочно швыряет в раскрытый чемодан свои вещи?

— С меня хватит,— бросил майор отрывисто, с искаженным лицом.— Помогите собраться, чтоб я не опоздал на автобус.

■

Жужжали пчелы. Благоухали мальвы. Майор Варро остановился перед закрытой дверью будки. Он немножко погулял по саду, но дверь не открывалась. Майор постучал. Тот кашлянул.

Майор вернулся к себе в комнату. Агика ощипывала уже второго цыпленка, когда снова появился майор и несколько поспешнее, нежели в первый раз, направился к уборной.

Постучал. Тот покашлял. Майор повернул обратно.

Агика подметила на лице у него разочарование и почувствовала, что надо что-нибудь сказать. И она сказала:

— Какая хорошая погода!

Майор буркнул что-то в ответ.

— Солнышко греет, но жары особой нет.

На это вообще не последовало никакого ответа. Майор прошел к себе в комнату.

Когда он и в третий раз ни с чем вернулся из сада, веки его покраснели, лицо отливало желтизной. Агика встретила его очаровательной улыбкой.

— Можно задать один вопрос господину майору?

Майор Варро остановился, посмотрел на нее.

— Я хотела спросить, бывает ли так и у господина майора, что ино гда без всякой причины вдруг делается грустно-грустно, места себе н находишь, а то наоборот — радостно, хочется все время смеяться.

Майор не дал определенного ответа, он сердито кинулся к себе комнату.

Агика испугалась. Она чувствовала всю тяжесть ответственности надлежало действовать во что бы то ни стало! Вместо полотняной блузки с глухим воротом она поспешно натянула на себя бледно-голубую вышитую кофточку, ворот которой открывался достаточно широко, чтобы из выреза могли проглянуть ее юные формы. Волосы же, обычно заплетенные в косички, она распустила. Когда майор опять ни с чем вернулся из сада, Агика в кокетливой блузке, с пышной гривой белокурых волос уже поджидала его. Она заступила ему дорогу.

— А теперь я хочу кое о чем попросить господина майора,— проворковала она с самой обворожительной из улыбок.

Майор остановился. Он свирепо оскалился, что можно было принять за попытку (не совсем удачную) ответить на улыбку девушки.

— Я хочу попросить вас... пожалуйста, посмотрите на меня и скажите первое, что вам придет в голову.

Агика закрыла глаза. Сердечко ее колотилось, юная грудь пылала. Она и сама не знала, чего ждет, но чего-то ждала.

Сначала она услышала, как лязгнули зубы майора. Это, правда, получилось весьма кровожадно, но ведь при желании можно было истолковать и совсем по-другому. И тут майор произнес:

— Кто засел в этой вонючей будке?

Агика открыла глаза, зрачки ее от страха расширились.

— Если это ваш драгоценный папаша решил разыграть меня,— угрожающе наседал майор,— то я ему покажу, кто я такой!

Майор прошел к себе в комнату. Схватил чемодан и, швыряя как попало, начал лихорадочно укладывать вещи. Агика окончательно потеряла голову, она выскочила из дома и принялась звать на помощь.

Воскресный променад был в самом разгаре, так что сбежалось немало народу, но из объяснений девочки никто толком ничего не понял. Кто сидит в уборной и почему? Кто из-за этого собирается уехать и почему? Наконец они решили, что в домике заперлись вражеские парашютисты. Будку окружили и — на почтительном расстоянии — осыпали ругательствами. Кто знал хоть сколько-нибудь по-английски, ругался по-английски.

Когда, запыхавшись, Маришка прибежала домой, она первым делом выпроводила восвояси ораву незваных гостей. Затем постучала в уборную. Безрезультатно. Принялась кулаками молотить в дверь. Но ответом ей было лишь деликатное покашливание.

Маришка кинулась к майору. Ломая руки, умоляла его потерпеть еще капельку. Затем выбежала из дому и позвонила у виллы профессора Циприани.

■

Этот невропатолог с европейским именем очень благоволил к Тотам. Рубашки свои он доверял стирать только Маришке. Ботинки и шляпы ему всегда неделю-другую разнашивал Тот, чтобы удобнее сидели.

Профессор в тот час наслаждался воскресной сиестой, но с готовностью встал, сам отправился к Тотам и собственноручно забарабанил в уборную.

— Это я, уважаемый Тот. Хотелось бы побеседовать с вами немного.

Тот не возражал. Он вышел из будочки, уступая место майору, и покорно последовал за профессором, который провел его к себе в кабинет,

внимательнейшим образом обследовал и с удовлетворением похлопал по плечу.

— У вас на редкость здоровый организм, так что остается только поздравить. Но все-таки изложите мне ваши жалобы, дорогой Тот.

Высокий лоб профессора, его подстриженная клинышком серебряная бородка так располагали к доверию, что Тоту доставило одно удовольствие излить душу.

— Нет у меня никаких жалоб, глубокоуважаемый господин профессор. Просто я не понимаю, чего они еще хотят, ведь я сделал все от меня зависящее. Я нахлобучиваю свою каску на самый лоб, будто пьяный извозчик. Я отучился зевать и потягиваться и даже отказался от соблазна прятаться под кровать господина священника, хотя мне это далось с большим трудом. Я отдаю себе отчет, что речь идет о жизни нашего дорогого Дьюлы, и поэтому даже не выплевываю фонарик господина майора, когда его запихивают мне в рот. Чего еще можно требовать от простого человека? Разве это преступление, что мне нравится сидеть в уборной?

— Весьма любопытно,— встрепенулся невропатолог с европейским именем.— У вас, что же, начинается расстройство кишечника, если вы берете в рот фонарик?

— У меня совершенно нормальное пищеварение, глубокоуважаемый господин профессор. Я сижу в уборной просто потому, что там уютно. Никто меня не беспокоит, всякие там букашки жужжат, а если я запру дверь, то чувствую себя почти как в утробе матери... Так чего же они ломятся ко мне? Разве это плохо? Разве это преступление? Или, может, болезнь какая?

— Какая там болезнь,— улыбнулся профессор.— Просто симптом, уважаемый Тот... И как давно у вас эта мания — запираться в уборной?

Да не стоило бы и разговор заводить, сказал Тот. Он усвоил эту привычку каких-нибудь несколько дней назад. Хотя, если вдуматься получше, ему упомянутое выше место полюбилось аккурат, когда прибыл уважаемый гость.

— Именно так я и предполагал,— кивнул профессор.— Если можно, встаньте на минутку, дорогой Тот.

Тот встал. Профессор смерил его взглядом.

— Как вы считаете, дорогой Тот, какого вы роста?

— Выше среднего.

— Ну, а ваш уважаемый гость будет пониже вас ростом?

— Он мне самое большее по плечо.

— Вот в том-то вся и беда, дорогой друг,— констатировал всемирно известный профессор.— Вы оба жертвы диспропорции. Я знаю, как вы любите своего сына, но, с другой стороны, нельзя же требовать и от майора, чтобы он постоянно смотрел на вас снизу вверх. Согласитесь, что в оной ситуации и вы бы не продержались достаточно долго.

— Согласен,— сказал Тот.— Но роста своего я, к сожалению, изменить не могу.

Профессор снисходительно улыбнулся. И в более тяжелых случаях медицина приходит на помощь: теперь, когда одолели чуму и бешенство стало излечимо, а родильная горячка отошла в область преданий, подобные недуги излечиваются играючи... Проще всего было бы поставить майора на скамеечку. Но тут есть одно неудобство: майор может упасть, ненароком ушибиться, что, в свою очередь, испортило бы весь его отдых и привело бы к неисчислимым отрицательным последствиям... Поэтому лично он, профессор, считает более предпочтительным, чтобы Тот на короткое время отказался от определенных удобств.

— Я и дышать-то с радостью откажусь,— заявил Тот.— Но и тогда все равно буду выше господина майора.

— Вы моментально перестанете быть выше его,— изрек великий невропатолог,— если немного согнете свои коленные суставы.

Тот уставился на профессора.

— Чтобы я скрючил ноги? — переспросил он с дурацким выражением лица.

— Вам это пара пустяков, дорогой Тот.

— Ненадолго или на все время?

Профессор придерживался того мнения, что частая смена положений тела может травмировать организм. Он советовал даже спать, свернувшись калачиком, и тогда эта эмбриональная поза станет как бы второй натурой его пациента.

Тот задумался.

— Нет,— сказал он наконец.— Этого я не вынесу.

— Постарайтесь подавить честолюбие! — махнул рукой профессор.— Думайте о своем сыне. Что лучше: подогнуть колени или вызвать на себя гнев командира Дьюлы?

Это был решающий довод. Внутренне все еще колеблясь, Тот ничего не мог возразить. Он вздохнул и осторожно подогнул колени, отчего сразу же стал на голову ниже.

— Так достаточно?

— Достаточно! — сказал профессор.— Большего не может пожелать даже самый низкий майор на свете.

— Потому как, если потребуется, я могу согнуться еще немного.

— Не утруждайте себя,— успокоил его профессор.— Давайте лучше посмотрим, сможете ли вы ходить в таком положении.

Попробовали. Удалось. Сможет ли Тот бегать? И бегать он мог. Вставать, садиться, взбираться по лесенке на книжные полки... Все шло как по маслу.

— Ну, теперь можете спокойно отправляться домой,— сказал прославленный невропатолог.— Вот увидите, как вас встретят.

При мысли о возвращении домой Тот помрачнел. Из окна, возле которого он стоял, были видны прогуливающиеся обитатели Матрасентанны. Его все здесь знают. И он знает каждого. Но как их ни разглядывай, ни одного не отыщется с полусогнутыми коленями.

— Я не могу в таком виде показаться на улице, глубокоуважаемый господин профессор,— решительно заявил Тот.— Люди станут пальцами показывать!

— Не будьте столь мнительны, дорогой друг,— покачал головой Циприани.— Думаете, вы один в таком положении? Ошибаетесь, любезный. В нынешнем мире каждый вынужден идти на жертвы.

Подобные жалобы, успокоил он Тота, в практике современных невропатологов буквально повседневны. Каждому времени присуща своя модная болезнь; в настоящее время повсеместно распространилось явление, когда никто не знает собственных реальных размеров. Большинству хотелось бы казаться на голову ниже, но встречаются и плюгавенькие людишки, которые одержимы гигантоманией. В этом случае медицина бессильна, потому что здесь не существует абсолютного эталона, и все зависит от субъективного фактора: кто каким сам считает себя. В «Acta Medica Hungarica»[1] напечатана статья об одном враче-еврее, который (при объеме талии сто десять сантиметров), как правило, выходит из своей квартиры только через замочную скважину и тем же путем возвращается домой. Если бы его, профессора, не связывал долг хранить врачебную тайну, он мог бы привести немало аналогичных случаев и из собственной практики; поэтому он с чистой совестью может заверить Тота:

[1] «Венгерские ученые медицинские записки».

если согнуть колени, это будет лишь самой скромной жертвой, которую Тот может принести в интересах своего сына.

— Давайте устроим проверку,—предложил профессор.—Вы погуляйте немного с согнутыми коленями и прислушайтесь, что на это скажут люди... Дабы придать вам уверенности, я готов сопровождать вас.

Тот принял лестное предложение. Они двинулись вдоль по улице, где прохаживалось больше всего гуляющих. Что же произошло? Да ровным счетом ничего. Ребятишки издали почтительно кланялись, взрослые радушно приветствовали его, некоторые даже останавливались, чтобы осведомиться о самочувствии Тота, его семьи или гостя. И лишь один-единственный раз до их слуха донесся какой-то бессмысленный дребезжащий смех.

Это хихикал папаша Дюри, придурковатый письмоноша, который до сих пор почитал Тота, словно божество, а сейчас прыгал вокруг него на четвереньках и по-собачьи лаял.

Профессор махнул рукой.

— Что вы от него хотите? — улыбнулся он Тоту.— Три раза был в моей клинике, но помочь ему невозможно.

И он распрощался с Тотом, поскольку сопровождать его не было необходимости. Прохожие не заметили в Тоте никаких перемен, и даже более того, все словно бы окружили его еще большим почтением... Так, например, прогуливающий своих гончих Леонард, герцог люксембургский (который до сих пор самое большее удостаивал Тота кивком головы) на этот раз остановился, заулыбался и, шутливо погрозив пальцем, заговорил на ломаном венгерском языке:

— Гуляйт, гуляйт? За девочка бегаль?

Если бы и этого было недостаточно, прием, оказанный Тоту дома, успокоил его окончательно. Маришка встретила мужа такой же радостной улыбкой, как и прежде, и Агика, казалось, тоже ничего не заметила, а ведь от нее обычно и пушинка на отце не укроется. Вот разве что взгляд майора задержался на нем мгновением дольше, когда свежевыбритый, распространяя запах одеколона, он вышел из своей комнаты.

Майор вернулся к себе, опять вышел, снова и снова приглядываясь к Тоту, словно какая-то мелочь, что-то совсем несущественное все же было не так, как прежде. Окинув его пронизывающим взглядом в третий раз, он даже спросил:

— Скажите, пожалуйста... Что с вами случилось?

— Ничего,— сказал Тот.

— Не знаю... — задумчиво прикидывал майор.— Словно бы вы стали на голову выше!

У Тота, правда, было ощущение, будто он стал на целую голову ниже, но главное, что гость казался довольным совершившейся переменой. Предсказание профессора Циприани полностью оправдалось. Никогда — ни теперь, ни позже — никто не заметил, что Тот ходит на полусогнутых ногах.

Другой человек был бы счастлив или, по крайней мере, доволен. Еще бы: такой малостью добиться поразительных результатов — о большем и мечтать не приходится. Когда они сели за стол, гость буквально осыпал Тота знаками своего расположения и дружбы; однако глава семейства сидел задумчивый, без всякого аппетита ковырялся в тарелке, и в какой-то момент, когда остальные замешкались, его вдруг словно ветром сдуло.

Маришка стала в дверях веранды.

— Лайош! — крикнула она.— Где ты, родной мой Лайош?

Лишь деликатное покашливание из-за кустов мальвы было ей ответом.

На некоторое время его оставили в покое.

Но позже, когда уже близился полдень, а Тот все еще не выказывал желания выйти, Маришка попыталась вразумить его. Сначала она попробовала воздействовать уговорами, затем взывала к рассудку, приводя убедительные доводы, но когда даже это не подействовало, терпение ее истощилось.

— Считаю до трех! — крикнула она мужу, и таким сердитым тоном, каким еще никогда к нему не обращалась.— Если до трех не выйдешь, приведу слесаря!

Но все это было как об стену горох. Тот упорно молчал.

Что оставалось делать? Маришка с тяжелым сердцем вернулась к майору и с пятого на десятое поведала ему об упрямстве мужа.

— Я уж думал, что у милейшего господина Тота расстройство желудка! — воскликнул майор.— А он, оказывается, просто так, ради собственного удовольствия облюбовал себе уютное местечко?

Маришка признала и этот факт, ничего не скрывая и не приукрашивая. Но если она опасалась, что гость рассердится или, по меньшей мере, почувствует себя задетым, то ее ждало приятное разочарование.

Майор заметно оживился. Он поинтересовался, не найдет ли Агика свободной минуты, и если да, то не согласится ли она сходить в ресторанчик Клейна за бутылочкой пива со льда. Он попросил два стакана. Попросил открывалку для пива. Затем, вооружившись пивом, стаканами и открывалкой, вежливо постучал в дверь будочки.

— Не подумайте, милейший господин Тот, что я хочу вас оттуда выжить, я просто зашел вас проведать. Вот — прихватил бутылочку холодного пива. Надеюсь, вы предпочитаете светлое?

— Я всякое пиво люблю,— отозвался Тот.— Если не побрезгуете нашим скромным стульчаком, милости прошу, присаживайтесь.

Он забился в самый угол и еще раз извинился перед майором за тесноту. К счастью, хоть и не без труда, обоим им удалось примоститься. Пиво поставили на пол, а стаканы пришлось держать в руках.

В первые минуты их совместного пребывания Тот чувствовал себя несколько стесненно, что и вполне естественно: ведь ему отродясь еще не доводилось сиживать в этакой тесноте и со столь высокой персоной.

Он оправдывался перед собеседником, что помещение такое убогое. Ну, да что поделаешь, какой спрос с деревни!

Майор заверил хозяина, что его потребностям этот домик вполне удовлетворяет.

Тота помимо всего огорчало, что он так и не вычистил яму, а ведь и насос уже подкатили сюда. Однако владелец насоса отсоветовал чистить.

А зачем ее чистить? Разве он такой уж привередливый гость? — удивился майор.

Нет. Майор человек покладистый, но еще раньше другие отдыхающие жаловались на запах.

Майор укоризненно покачал головой: Тот его все еще недооценивает. А ведь ежели хорошенько вдуматься, за все время его пребывания здесь от него не услышали ни единой жалобы, не говоря уж об отхожем месте, которое наилучшим образом отвечает своему назначению.

— Ну, если мы и не многое можем предложить нашим гостям, то по крайней мере стараемся,— сказал Тот со свойственной ему скромностью.

— На вашем месте я бы вообще не выходил отсюда,— заметил майор.

— Нипочем не выйду,— сказал Тот.— Разве уж очень приспичит.

— Вы умный человек! Слышите, как шумит листва?

— Ваша правда, шумит!

— А что это там жужжит?

— Какая-то букашка,— сказал Тот.

— А как она называется?

— Зеленая мясная муха.

— Красивое название,— мечтательно проговорил майор.

Они еще немного послушали жужжание зеленых мясных мух и шелест листвы. Но старая житейская истина гласит, что даже самым прекрасным мгновениям рано или поздно приходит конец.

— К сожалению, мне надо идти,— майор встал с сиденья.— Будьте здоровы, милейший Тот.

— Спасибо, что зашли проведать, глубокоуважаемый господин майор, мне очень лестно.

— Между нами,— заметил гость,— признаться, были незначительные расхождения, но теперь, к счастью, все уладилось.

— И слава богу,— поднялся Тот.— Пожалуйста, заходите ко мне еще.

— Как только выберусь... Надеюсь, что мы будем иметь честь видеть вас за работой? — поинтересовался майор.

— Это уж непременно.

— Всего вам доброго! — попрощался майор.— Я покидаю вас с приятным сознанием, что в эти тяжелые времена, когда никто не знает, где приткнуться, по крайней мере вы находитесь на своем месте!

■

Последние дни отдыха майора Варро протекали с размеренным однообразием, без каких-либо чрезвычайных событий. Все были довольны. Когда представлялась возможность спать — спали. Когда надо было делать коробочки — занимались коробочками. Установилось состояние равновесия.

Все же, как примечательный факт, следует упомянуть, что Лайош Тот неожиданно приохотился складывать коробочки. Эту принудительную работу он выполнял с таким усердием, что скоро его коробочки стали получаться лучше всех, их передавали из рук в руки, рассматривали, восхищались ими.

— Полюбуйтесь только, ай да папа! — восторгалась Агика.

— Кто бы мог подумать! — качал головой майор.

— Вот видишь, родной мой Лайош,— добавляла Маришка,— я всегда говорила: добрая воля чудеса творит.

Конечно, Тотам нелегко давалось это состояние равновесия. Все они были измотаны недосыпанием, издерганы постоянным страхом, непривычным нервным напряжением. У Маришки, например, как она ни старалась, все валилось из рук; случалось даже, что она на несколько минут засыпала, стоя с широко раскрытыми глазами, как курица, которую загипнотизировали в целях научного эксперимента.

Агика ничего не роняла; она большей частью сама натыкалась на предметы и все опрокидывала. Как-то, помнится, когда они с Тотом оказались вдвоем в темной комнате, Агика несколько раз натыкалась на него. Более того, когда зажгли свет, она и при свете наскочила на отца.

— Прошу прощения,— сказала она, попятилась, опрокинула гладильную доску и снова двинулась на отца. А Тот, хотя было куда посторониться, тоже пошел прямо на дочку. Они столкнулись, как два паровоза; видимо, оба достигли той степени усталости, когда уже свет не отличают от тьмы.

По внешнему виду Тота трудно было что-либо определить, лишь очень внимательный наблюдатель мог бы заметить его плачевное состояние, а между тем все эти четыре дня он словно плавал в каком-то

звенящем дурмане. Впрочем, для него это имело лишь те последствия, какие бывают при старческой слабости и склерозе. Приходилось громко кричать, потому что ему отказывал слух. Случалось иной раз, что он забывал проглотить кусок: так и держал во рту мясо с утра до вечера. Привычные, повседневные действия Тот путал: однажды видели, как он пытался пригладить волосы бутылкой с содовой, а на прощальном ужине, когда он ложкой вычерпывал куриный суп, ему вдруг показалось, что ужин окончился и что он закурил сигару. А поскольку дым он обычно пускал через нос, то присутствующие, к своему изумлению, вдруг увидели, как из носа у Тота лезут рис, горох, морковь и знаменитые маришкины галушки.

Но на столь незначительных ухабах никто не споткнулся. Важно другое: гость был довольный, веселый, в настоящий момент уравновешенный и за прошедшие две недели поправился почти на четыре кило.

Все это выкристаллизовалось в тех немногих словах, которыми майор простился с ними перед приходом вечернего автобуса:

— Поверьте, милые Тоты, мне совсем не хочется от вас уезжать.

Маришка тяжело вздохнула, но этот вздох был вызван радостью.

— Нам тоже больно,— сказала она,— что приходится расставаться с глубокоуважаемым господином майором.

— А вами,— майор повернулся к Тоту,— я особенно доволен, мой лейший Тот. Смотрите только не позволяйте возродиться в себе прежним недостаткам!

Тот с каменным выражением лица в упор посмотрел на майора и что-то процедил сквозь зубы. Маришка, стоявшая к нему ближе других, поняла это как:

— Наложи себе в штаны!

Конечно, неизвестно еще, правильно ли она расслышала, потому что в это время с визгом и грохотом подкатил междугородный автобус и целиком заглушил все другие звуки.

Автобус остановился. Майор всем по очереди пожал руки. Агику он поцеловал в лоб.

— Прощайте! У меня такое чувство, словно в вашем гостеприимном доме для меня открылась новая жизнь. Я не охотник до громких слов. Лучше на деле докажу, как я вам благодарен.

Тоты как стояли, так и остались стоять, растроганные. Майор поднялся в автобус и высунулся из окна.

— Еще раз благодарю за сердечный прием.

— Мы рады, что господину майору у нас понравилось.

— Всего доброго, дорогие Тоты!

— Счастливого пути, господин майор!

Автобус тронулся. Майор успел еще выкрикнуть:

— Надеюсь, я не был вам в тягость?

Все трое дружно махали и кричали: «Нет, нет!»

Автобус скрылся за поворотом. Тоты все еще махали руками, но на лицах у них одна за другой пропадали прощальные улыбки, словно одну за другой поочередно гасили свечи.

Тот не двигался. Он все еще держал руку поднятой в прощальном приветствии и настороженно поглядывал на дорогу, словно боялся, что вдруг оттуда вынырнет обратно автобус, снова вылезет из него майор и все начнется сначала. Но этого не случилось, и Тот успокоился.

Прежде всего он снял свою каску и надел ее так, чтобы вертикальная ось тела и горизонтальная ось каски составляли угол в девяносто градусов. Затем попробовал разогнуть колени.

— Помоги-ка, Маришка,— сказал он, ибо колени его совершенно одеревенели в согнутом положении. Лишь с помощью обеих женщин ему удалось, наконец, выпрямить ноги. После чего он выпрямил все свое

ольшое тело и, окруженный близкими, с высоко поднятой головой, красивой, гордой походкой прошествовал к дому.

Дома он, не останавливаясь, направился прямо к новой резалке. Неуклюжее сооружение едва протиснулось в двери. Тот оттащил ее за борную, в заросли мальвы, а вернувшись обратно и отдышавшись, объявил:

— Отныне утром мы будет завтракать, вечером ужинать, ночью спать! Понятно?

— Все-все будет, как ты пожелаешь, родной мой Лайош,— откликнулась Маришка с самой нежной улыбкой.

Они так и сделали. Когда стемнело, поужинали. Затем Тот пододвинул к двери свое любимое кресло. Маришка прижалась к мужу и притянула к себе дочь, которая обвилась вокруг отца, словно вьюн. Несколько минут сидели они так, наслаждаясь покоем; над головами у них сверкала рассыпанными звездами августовская ночь, а Бабонь, как бы в полную силу своих гигантских зеленых легких, дышал вечерней прохладой. Скоро придет зима... Долгая русская зима с пронизывающими ветрами и лютыми холодами. Но батальонные штабы, наверное, хорошо отапливаются, а начальство селится в каменных домах, а каменные дома — особенно ночью, когда их обитатели спят,— охраняют удвоенные караулы. Так, пожалуй, можно надеяться, что тех немногих, кто находится в столь исключительных условиях, минует беда.

■

Инвентарная опись

«Настоящая опись вещей, являющихся собственностью прапорщика Дьюлы Тота (предметы казенного имущества в опись не входят), составлена в гомельском полевом госпитале в присутствии свидетелей: лейтенанта Кароя Кинча, фельдфебеля И. Короды и фельдфебеля Д. Боглара.

Наименование: шелковые трусы, одни. Особые приметы: —

Наименование: носовой платок, один. Особые приметы: клетчатый.

Наименование: кожаный бумажник, деньги. Особые приметы: 38 пенгё, 60 филлеров.

Наименование: чернильный карандаш, один. Особые приметы: —

Наименование: фотография, одна. Особые приметы: 1 мужчина и 1 женщина.

Наименование: сигареты «Гонвед» 20 шт. Особые приметы: —

(Дата, подписи)»

(Опись отправлена мокнуть в бочку для дождевой воды.)

■

Маришка улыбнулась мужу.

— Ты устал, наверное. Давай ложиться, родной мой Лайош.

— Только я прежде выкурю сигару,— сказал Тот.

Маришка бросилась за сигарой, Агика подала огоньку, и Тот с наслаждением вдохнул душистый дым.

Он ценил мелкие радости жизни. Вот и сейчас ему было настолько хорошо, что он потянулся, так что хрустнули суставы, и застонал от удовольствия:

— Ох, мать моя, бедная, родная моя мамочка!

В этот момент послышались чьи-то приближающиеся шаги. Тоты удивленно переглянулись.

В дверях веранды стоял майор Варро, с чемоданом в руке, с сияющим лицом и широкой улыбкой:

— Вижу, дорогие Тоты, вы не верите собственным глазам,— сказ он.— А между тем это наяву!

Тот издал какой-то странный булькающий звук, не похожий на ч ловеческий голос. Такой звук, словно утопающий в колодце пуска последние пузыри. Говорить он не мог.

Впрочем, говорить никто не мог. Все трое молча уставились на ма ора круглыми глазами.

— В Эгере я собрался было отметить отпускное удостоверение, но привокзальной комендатуре мне сообщили приятную весть: партизан взорвали мост, и поезда не будут ходить целых три дня...

Он улыбнулся Тоту, Маришке, Агике.

— А нам так трудно было расстаться, и тогда я подумал, что эти тр дня вполне могу провести у вас... Надеюсь, я не буду вам в тягость?

Тоты все еще были не в состоянии шевельнуть языком. Майор вн чемодан в свою комнату, вернулся и, обуреваемый жаждой деятельност предложил:

— Если вы не против, мы могли бы сейчас заняться коробочками

Он запнулся. Огляделся по сторонам.

— Ай-ай-ай! — сказал он.— Куда же девалась новая резалка, м лейший Тот?

Хозяин дома открыл рот, чтобы ответить, но это удалось ему лиш с третьей попытки.

— Я отнес ее в сад, глубокоуважаемый господин майор.

— Зачем? — удивился майор.— Куда же?

— Да вот сюда, к мальвам,— услужливо бросился Тот.— Извольт я вам покажу.

Они скрылись в саду.

Маришка и Агика так и остались стоять на месте, напряженно вгля дываясь в темноту. Видеть они ничего не видели. И никаких звуков ка кое-то время не было слышно. Затем раздался приглушенный лязг, о которого обе они вздрогнули. Через некоторое время лязг повторился опустилась стальная рукоятка резалки, и снова они обе вздрогнули о этого звука. И еще раз вздрогнули: в третий раз опустилась резалка.

Прошло какое-то время. Из темноты появился Тот.

— Чего вы тут стали? — спросил он.— Пора спать.

Они разобрали постели. Разделись. Легли.

Маришка погасила свет и тоже легла. Помолчав, она робко спро сила:

— На три части его разрезал, родной мой Лайош?

— На три? Нет, с чего это ты взяла? Я разрезал его на четыре рав ные части... Может, неправильно сделал?

— Правильно, родной мой Лайош,— отозвалась Маришка.— Ты всегда знаешь, что и как надо делать.

Они лежали молча, ворочаясь с боку на бок. Все трое были таки усталые, что сон постепенно сморил их. Но Тот и во сне вертелся, лягал ся, стонал, а один раз чуть не свалился с кровати.

Может, ему снилось что-нибудь страшное? Раньше такого не слу чалось.

ИЗ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ

Дороги времени

Года три или четыре назад хорватские поэты пригласили гостившую тогда в Загребе советскую делегацию на свое очередное выступление. Оно должно было состояться в молодежном лагере имени Семи секретарей СКОЙя [1], где девушки и ребята, большей частью гимназисты-старшеклассники во время своих каникул строили дамбу, которой надлежало защищать Загреб от ежегодных разливов реки Савы.

В самом факте этой встречи не было ничего необычного ни для наших хозяев, ни для нас. И тем не менее почти во всех деталях она прочно сохранилась в моей памяти. Выступали разные поэты, их было много, они отличались, естественно, друг от друга возрастом, биографией, творческим обликом. Их и по-разному принимали, но очевидным было одно — искренняя потребность аудитории в живой поэзии. И не вызывало сомнений, что юный слушатель, для которого уже историей стало недавнее героическое прошлое его страны, предъявлял свой счет к поэту и становился немилосердным судьей при малейшей фальшивой ноте. Молодые люди, собравшиеся вокруг невысокой круглой сцены с киноэкраном, хотели услышать нечто прекрасное, высокое о с в о е й жизни и с в о и х чувствах и вместе с тем зовущее к вполне определенному нравственному идеалу.

С тех пор мне довелось присутствовать в Югославии на многих поэтических встречах — и на знаменитых Стружских вечерах поэзии с их неповторимыми «Мостами» (тысячи людей собираются на берегах реки Черный Дрим и часами слушают стихи), и на Октябрьской белградской встрече, на мемориальных Митингах революционной поэзии в Крагуеваце и Любляне. И повсюду поэт и слушатель были едины. Поэт (из Словении ли, Македонии, Сербии, Хорватии, Черногории или Боснии) стремился быть на высоте велений своей эпохи во всех ее противоречиях и многообразии, стремился выразить гуманистический ее идеал; слушатель требовал высоконравственного по содержанию и единственного в своем роде поэтически неповторимого напутствия.

Традиции глубинной, я бы сказал, врожденной гражданственности и человечности лежат у самых истоков поэзии югославских народов, начиная от древних эпических песен и далее—через Негоша, Мажуранича, Прешерна, Змая, Шантича, Уевича, Жупанчича, Максимович. Личное, выдержавшее давление времени, неизменно оказывалось общественным и лишь при сохранении этого необходимого качества могло оставаться высокопоэтичным. И разве не единственны во всей мировой поэзии Сопротивления знаменитые «Яма» Ивана Горана Ковачича и «Стоянка, мать из Кнежеполя» Скендера Куленовича с их неувядаемой поэтической силой и революционной страстностью?

Раздумья такого рода, видимо, неизбежно возникают всякий раз, когда вновь и вновь приходится иметь дело с современной, а тем более молодой поэзией. Во всех литературах югославских народов (вероятно, как и в других странах) поэзия является значительно более живым и мобильным жанром, нежели проза или драматургия. Ежегодно в стране публикуются тысячи стихотворений — в книгах, газетах, журналах; стихи звучат по радио, с экранов телевизоров; поэты организуют традиционные турне и

[1] СКОЙ — комсомольская организация Югославии, члены которой в канун и во время второй мировой войны с беззаветной храбростью сражались против реакции и фашизма. Жертвой белого террора один за другим пали семь секретарей СКОЙя.

фестивали. Даже в самых глухих селах горной Боснии и Герцеговины прозвучали н давно голоса молодых поэтов Душко Трифуновича и Райко Пе́трова, пешком обош ших свою республику с целью пропаганды поэзии. И факты подтверждают, что поэз молодых в Югославии в лучших своих образцах остается лирической, человечно именно в силу этого сохраняя свою высокую поэтическую коммуникативност (Кстати, о коммуникативности: вернувшись из Еревана, югославские поэты с изумлен ем рассказывали, что стихотворение их соотечественника, белградского поэта Вас Попы «Если б глаз твоих не было», напечатанное в «Иностранной литературе» [1] и пол женное на музыку молодым армянским композитором, стало популярной в Армен песней.) В этом молодые поэты полностью следуют заветам своих знаменитых пре шественников. И поиски слова, цвета, мелодии — поиски многоплановые и многосло ные — ничуть не меняют ее основной тон и основную задачу. Ибо

мы для многих чудес рождены,
чтоб по морю ходить
и парить над землей,
и, однажды
из виду ее в темноте потеряв,
во Вселенной искать
свои новые звезды.

Под этими словами мэтра словенской поэзии, поэта-бойца и философа Эдвард Коцбека ныне могли бы подписаться многие из его младших коллег.

В этом номере журнала, без всяких претензий на полноту и завершенность пред ставлены поэты, пока мало нам известные, поэты разные, каждый со своим сложны внутренним миром. И наш читатель сможет сам оценить накал и боевую публицисти ность этих стихов, их поэтическую весомость.

И наконец последнее, о чем, думается, тоже следует упомянуть.

В советской поэзии Югославия присутствует постоянно, присутствует, пожалуй даже традиционно. Не погружаясь в глубь веков, стоит лишь вспомнить посвященны этой стране стихи Н. Тихонова, А. Недогонова, М. Рыльского, М. Нагнибеды, П. Анто кольского, Я. Смелякова, блистательную работу А. Ахматовой, Н. Заболоцкого, Л. Мар тынова. Высокого признания заслуживает многолетний и упорный переводческий тру Б. Слуцкого и Ю. Левитанского, чьи первые встречи с югославской поэзией относятс к незабываемым до конца жизни годам совместной борьбы наших народов с фа шизмом.

И радостно знать, что знакомство с нашей страной вдохновляло и вдохновляе многих и многих югославских поэтов разных поколений, которые тепло и сердечн писали о Советском Союзе.

А чему же еще, если не лучшему взаимопониманию людей, должна служит поэзия наших дней?

АЛЕКСАНДР РОМАНЕНКО

■

ЭДВАРД КОЦБЕК

Зов

Ну-ка вспомним,
как мы землю топтали,
как зверей укрощали,
небеса подпирали собою
и орали друг другу
суровое слово приказа,
дабы выжить хоть как-нибудь в этой пещере,
что нам уготована солнцем была
во мраке Вселенной.

[1] См. № 10 за 1964 год.

Вспомним-ка мы,
как мы эту пещеру
раздвигали плечами своими —
аж весь свет загудел,
и взметнулись высоты,
загремели глубины,
и открылись все стороны света,
и тайны извечной покров
по краям обагрился.

А теперь еще вспомним
великих пророчеств слова —
мы для многих чудес рождены,
чтоб по морю ходить
и парить над землей,
и, однажды
из виду ее в темноте потеряв,
во Вселенной искать
свои новые звезды.

ЕВРЕМ БРКОВИЧ

Владимир Владимирович на площади Маяковского

Владимир Владимирович из бронзы,
с рукавами короткими — как у Шкловского.
Я думаю, он предпочел бы эти мимозы,
а не этот памятник на площади Маяковского.

Не знаю. Был Володя. Жизнь по свету мотала.
Нежен был во весь голос. Дружил с облаками.
Не могу представить, чтобы столько металла
мог он поднять своими двумя руками.

Очень немногие к нему обращались нежно —
вот даже я, иностранец с нежного юга.
И даже в стихи ввожу его неизбежно —
к сожаленью, конечно —
как бронзу, а не как друга.

ВЕЛИМИР МИЛОШЕВИЧ

Царь-колокол

Еврему Брковичу

Тяжелый звук, упавший с неба,
застыл безжизненно и немо.
И слобно отзвук этой боли,
взметнулась колокольня в небо.

Колокола — как гром весенний.
Колокола — землетрясенье.
Вина божественного бочка,
что пьют святые в воскресенье.

Ах, это свод гудит бессонно,
звучит, горит и пляшет пламень.
Слова тяжелые упали
на землю, на гранитный камень.

Колокола — звонить им нужно
и гулко откликаться своду.
Встают умершие, приемля
живых нетленную свободу.

Ах, пало небо на колени,
земля рыдает на рассвете,
рассказывая, как ночами
в ней мертвые вздыхают дети.

Колокола — звонить им нужно,
да слышен был бы в каждом поле,
в любом краю, во всей Вселенной
гудящий звук и отзвук боли.

ТОНЕ КУНТНЕР

■ ■ ■

Жил-был человек когда-то,
и выкорчевал он деревья,
и лес превратил в свое поле.

Леса не стало,
птицы исчезли.

Вскоре поспели хлеба,
и, наверно, кто-нибудь вспомнил,
что прежде здесь были деревья.
Но снова и снова
хлеба поспевали,
и никто уже больше не знал
о птицах,
что некогда здесь распевали.

Что было —
то было.
Прошло.
Здесь поле теперь, только поле.
И все-таки что-то осталось,
ну, это хотя бы —
что птицы
по-прежнему каждой весной,
когда пашет опять человек свое поле,
будут сюда возвращаться.

■ ■ ■

Золотые вам ведомы зерна.
Мы пахали,
мы боронили,
сеяли,
пололи,
ждали...
Нам глаза затянуло туманом.
Зерна черными видятся нам.

Хлеб ржаной — он вам видится черным.
Долго мы ждали,
а после жали,
убирали,
молотили,
мололи
да в печь сажали...
Знаем хлеб мы ржаной золотой.

Америка, 1967

I love people more
than music[1]

Есть у меня друзья
где-то
на Миссисипи,
юные
и печальные,
и любят они
этот мир,
и любят послушать
хорошие песни,
и петь они любят
хорошие песни,
убивать мы не станем, –
они поклялись,
ах, война проклятая,
война проклятая,
юные они и печальные.

Адресов я их не имею.

ВЛАДА УРОШЕВИЧ

Южная звезда

Где тот край в какой из далеких стран
та картинка пестрая детских лет
та звезда та легкая тень тот след
и тот город которого нигде нет
та страна Альдебаран

[1] Я люблю людей больше, чем музыку *(англ.)*.

Где тот сон ускользающий как туман
та дорога тот знак таящий обман
тот прибой то лето те небеса
то растенье где пепел словно роса
та песня Альдебаран

Где тот голос донесшийся сквозь буран
те следы извечные первых ран
тот старик не поддавшийся грузу лет
тот огонь та любовь тот пейзаж тот цвет
та женщина Альдебаран

Где тот странник бредущий один по полям
та река что течет среди тихих полян
та волна что бежит за волной в океан
та премудрая птица трижды обман
трижды истина Альдебаран

Перевод ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГ

МИРЬЯНА ВУКМИРОВИЧ

Я под шапкой неба

В мире этом, этаком и всяком,
каждый до твоей свободы лаком,
хищные протягивает руки
к сердцу твоему, к душевной муке.
Я же досыта не насмеялась,
до конца еще не изболелась,
и никто меня под шапкой неба
сбитой с ног не видывал ни разу.
Землю, как лепешку, я ломаю,
позже солнца голову склоняю,
колочусь о небо головою,
а пятою руды сердца рою.
Раны братьям я лечу и сестрам,
клоунам смешным, их маскам пестрым.
Защищаю павших и, как птица,
под крылом даю им приютиться.
Матери в стихах поминки правлю,
с родиною наравне
их славлю.
Тем друзьям, чьи листья оборвали,
не жалею слез, чтоб не увяли,—
пусть они в душе моей, как дома,
переждут раскаты грома.
Потому что я не насмеялась,
до конца еще не изболелась,
и никто меня под шапкой неба
сбитой с ног не видывал ни разу.

Из книги дождя

Падали последние дожди,
первая моя любовь рыдала,
первый страх мой пальцы звезд ломал.
Некому и нечего прощать,
все в себе сама убила я,
жертвовать мне больше нечего.
Падали последние дожди,
а моя невинная любовь еще рыдала,
заклиная мои руки,
чтоб о ней хоть память пощадили.

СЛАВКО МИХАЛИЧ

Поездка по Грузии

За синюю реку, что грудь твою пересекла,
я память отдам, а кровь — за твое вино.
Грузия! В золотистую дрожь
вгоняют меня твоя древность и тигры с твоих икон.
Я малой частицей твоей истории стал
от криков раненых воинов твоих,
от их мертвых голов, из которых растут корни твоих деревьев.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

ДЖУЛИУС ФЕЙФЕР

Убийство в Белом доме

ПЬЕСА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

Перевод с английского Н. КУЗЬМИНСКОГО

Пьеса «Убийство в Белом доме»
была впервые показана на сцене театра «Серкл ин сквер» в Нью-Йорке
18 февраля 1970 года
в постановке Алана Аркина.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ НА СЦЕНЕ):

ПОЛКОВНИК ДОУН.
ЛЕЙТЕНАНТ КАТЛЕР.
ГЕНЕРАЛ ПРАТТ.
ПРОФЕССОР СУИНИ.
МИССИС ХЕЙЛ.
МИНИСТР ПОЧТЫ И ТЕЛЕГРАФА СТАЙЛС.
МИНИСТР ЮСТИЦИИ КОУЛ.
МИНИСТР ОБОРОНЫ ПАРСОН.
ПРЕЗИДЕНТ ХЕЙЛ.
КАПИТАН ВИМС.

Время действия: недалекое будущее — несколько президентских выборов спустя.

Действие I

Картина первая

Пустая сцена, освещенная тусклым, холодным светом. Слышны звуки артиллерийской канонады, близкие и отдаленные. Внезапные вспышки, синхронно с разрывами. Лейтенант Катлер и солдат бегут через сцену. Пулеметная очередь, солдат падает. Лейтенант припадает к земле и затем осторожно начинает продвигаться вперед. Появляется полковник Доун; он быстро ползет на животе и вскоре догоняет Катлера.

Доун. Ну, как дела, лейтенант?

Катлер. Эти даго[1] прочно там окопались, сэр.

Доун. А вы били по ним из стотридцатипятимиллиметровых?

Катлер. Полковник Доун, мы стреляли и из двухсотдевяностомиллиметровых, и из шестьсот двадцать восьмых, и из сто тридцать пятых — да изо всех калибров.

Доун. А в чем же дело?

Катлер. У этих даго хорошая артиллерия, сэр. Чертовски хорошо стреляют и к тому же — моральный фактор на высоте.

Доун. Я требую, чтобы вы закрепились на этом участке, лейтенант Катлер.

[1] Презрительное прозвище, употребляемое в США по отношению к латиноамериканцам.

Катлер. Сэр, мы нанесли им двенадцать ударов с воздуха — напалм, дефолианты, шрапнель, осколочные бомбы, фугасные... Но металл на даго не действует. Они фанатики, сэр. Не дорожат жизнью.

Доун. На этот участок фронта должен прибыть генерал Пратт. Мне нужны хорошие результаты для генерала Пратта.

Катлер. У меня отличные ребята, полковник Доун, но эти даго — твердый орешек.

Доун. Об отступлении не может быть и речи.

Катлер. Я и не предлагаю отступать, сэр, только хочу сказать, что эти даго — твердый орешек.

Доун. Генерал Пратт завтра возвращается в Вашингтон. Едва ли надо говорить, как для нас важно, что́ именно он доложит президенту. Наши действия здесь, в Бразилии, не очень-то популярны.

Катлер. Я знаю, сэр. Вот если бы мы могли применить СБ-97.

Доун. Я не знал, что СБ-97 дали на вооружение.

Катлер. Да, сэр. Но не разрешили применять.

Доун. У меня нет таких сведений.

Катлер. Однако это так, сэр. Он поступил, но не подлежит применению. Вот если бы мы могли им воспользоваться...

Доун. Исключено. Эта штука не очень надежная.

Катлер. Простите меня, сэр, но даго так массированно здесь окопались, что коэффициент воздействия будет, по-моему, не менее восьмидесяти.

Доун. Но мы нарушим Женевскую конвенцию...

Катлер. Я не политик, сэр. Но если нужно выкурить этих даго для генерала Пратта, такую задачу может выполнить только СБ-97.

Доун. Так ты говоришь, его уже прислали?

Катлер. Да, сэр.

Доун. Зря бы его не присылали.

Неловкая пауза.

Но его нельзя применить без соответствующего разрешения — КСР.

Катлер. Вы имеете право дать разрешение.

Доун. Но если я дам разрешение, оно будет дано по вашей рекомендации.

Катлер. Неофициальной рекомендации, сэр. Я ведь не имею официального права давать такую рекомендацию.

Доун. Но мне нужна официальная рекомендация, иначе мне не разрешено разрешать. Как же быть — давать разрешение или не давать?

Пулеметная очередь. Оба отползают назад.
Входит генерал Пратт и с удивлением смотрит на них.

Пратт. Что делают американские солдаты на коленях перед горсткой каких-то вшивых бразильцев?

Катлер *(вскакивает, вытягивается в приветствии)*. Здравия желаю! *(И тотчас падает, подкошенный пулей.)*

Пратт бросается наземь. Доун переворачивает Катлера.

Доун. Он истекает кровью, генерал Пратт.

Пратт. Что он бормочет?

Катлер. С-Б-9-7...

Пратт. С-Б что?

Доун. Лейтенант Катлер рекомендует разрешить применение СБ-97.

Пратт. А вы одобряете подобную рекомендацию, полковник?

Доун. Я не располагаю столь полной картиной обстановки, как вы, генерал Пратт.

Катлер. С-Б-9-7...

Пратт. Не беспокойся, сынок. *(Доуну.)* Боюсь, ему придется расста ся с ногой. Может, это его последняя просьба, полковник.

Доун. Значит, вы считаете, надо действовать?

Пратт. Если вы так считаете.

Доун. Я так считаю, раз вы так считаете.

Пратт. И он тоже так считает?

Доун. Да, сэр.

Пратт. Ну, что ж, если он так считает и вы так считаете, я согласе

Доун. Следует ли понимать, сэр, что вы разрешаете мне разрешить

Пратт. Раз вы так считаете.

Катлер. С-Б-9-7...

Пратт. Успокойся, парень. Ты получишь этого СБ-97 сколько угод

Катлер. Да благословит вас бог, сэр.

Доун выбегает.

Пратт. Постойте, полковник Доун! *(Бежит за ним.)* Полковник Доу вернитесь! *(Останавливается, достает красный кодовый справочн из кармана мундира.)* А-А-А, Б-Б-Б, С-Б, СБ-3, СБ-7, СБ-9, СБ-9 СБ-95, СБ-97... *(Читает.)* Нервный газ! *(Катлеру.)* Я тебя изур дую за это! *(Кидается вслед за Доуном.)* Отменить! Отменит Я отменяю!!!

Затемнение.

Картина вторая

Кабинет президента Хейла. Перед его письменным столом полукругом стоят пять кресел. В окно видеи Капитолий. Позади стола — дверь. Миссис Хейл быстро перелистывает бумаги на столе президента. Входит профессор Суини.

Суини. Миссис Хейл! Это секретные документы!

Миссис Хейл. Суини, что произошло в Бразилии? Мой муж не гов рит мне ни слова.

Суини. Ты же знаешь, что нарушаешь правила безопасности. Те нельзя быть здесь.

Миссис Хейл. В кабинете моего мужа? Не будь ослом.

Суини. В кабинете президента!

Миссис Хейл. Эмми был президентом двух благотворительных фо дов и одного университета, и кабинет его всегда был для меня о крыт. Хотела бы я посмотреть, как бы он меня из него выстави А теперь, Суини, скажи мне, что случилось? Ты же понимаешь, ч я все равно узнаю.

Суини. Ты что, хочешь поссорить меня с президентом?

Миссис Хейл. Очень. Я заметила в тебе какие-то проблески челов ческих чувств, Суини. А они появляются, лишь когда ты не в лад со своей совестью. Это единственное, что мне нравится в тебе.

Суини. О, Эвелин! *(Пытается ее обнять.)*

Она отстраняется от него.

Неужели ты не можешь относиться ко мне серьезно?

Миссис Хейл. Не обижайся, Суини. Я не могу принимать всерьез н кого из тех, кто работает на правительство.

Суини. Ты анархистка, Эвелин. Иногда это так меня злит, что хочет душу из тебя вытрясти.

Миссис Хейл. Лучше швырни в меня бомбу. Ведь так обычно зде поступают, когда рушатся чьи-то надежды.

Суини. Знаешь ли ты, сколько бомб взрывалось бы, если бы не я!

Миссис Хейл. Скажи, какую угрозу может представлять Бразил для Соединенных Штатов?

Суини. Это дело политиков. А я занимаюсь исследованиями и изысканиями.

Миссис Хейл. И поэтому мы влезли в Бразилию? Новые войны для того, чтобы испытать результаты твоих новых исследований?

Суини. Я такой же сторонник мира, как и ты! И я делаю намного больше, чем все эти пацифисты, все эти дезертиры, эти демонстранты, эти преступники, которые так близки твоему сердцу! Я работаю изнутри!

Миссис Хейл. О, да. Может, скажешь, в чем состоит эта твоя работа, из-за которой созывают чрезвычайное совещание в воскресенье в восемь часов утра? Именно это я и пришла сюда узнать. Скажи мне, Суини!

Суини отстраняется от нее.

(Она делает к нему шаг.) Ну, ради меня, Суини.

Стайлс *(входит на сцену из двери справа и застывает на пороге)*. Первая леди, профессор Суини!.. *(С широкой ухмылкой.)* Доброе, доброе утро.

Миссис Хейл с застывшим лицом молча проходит мимо Стайлса. Он гаденько улыбается. Входит Коул, оборачивается и смотрит вслед миссис Хейл.

Коул. Эта женщина...

Стайлс. Что она здесь делала?

Суини. Откуда я знаю? Доброе утро, Тим.

Стайлс *(подозрительно)*. Привет.

Суини. Ньютон? Здравствуйте.

Коул. Добрый день, профессор Суини. *(Стайлсу.)* Вы слышали, какое представление она устроила во время сидячей демонстрации в министерстве юстиции на прошлой неделе?

Суини *(недоверчиво)*. Не может быть!

Стайлс *(с усмешкой)*. В самом деле?

Коул. Прямо перед моим кабинетом. Сказала им, что их дело правое и что они должны продолжать борьбу. Пришлось пригрозить журналистам, что мы привлечем их к суду за участие в заговоре, иначе вся эта история попала бы в газеты. Вы не представляете себе, какое у меня досье на эту женщину.

Стайлс. Ох, уж эти проклятые досье! Интересно, есть ли в нашей стране хоть один политический деятель, которого ты не мог бы стереть в порошок, Ньютон?

Коул. Вот тебя, например, я бы с радостью отдал под суд за то, что твоя почта так плохо работает.

Стайлс. Главная задача министра почты и телеграфа — вовремя доставить избирательные бюллетени. А почта — дело второстепенное. Меня куда больше волнует история, в которую мы влипли в Бразилии по милости Суини...

Суини *(в ярости)*. По моей милости?

Стайлс. А кому же еще в голову пришло проводить испытания ядовитого газа за шесть недель до президентских выборов?

Суини. Эти сведения совершенно секретны!

Стайлс. Я председатель национального комитета нашей партии, профессор. И ваши маленькие эксперименты нельзя от меня утаить. В следующий раз, когда вы пожелаете травить американские войска газом, делайте это после президентских выборов.

Суини. Этот вопрос не подлежит обсуждению — мы нарушаем правила национальной безопасности.

Стайлс. Значит, косоглазые знают о газе, а министр не должен знать? Вот вам она, наша Америка!

Коул. Черномазые, Тим, это еще не косоглазые.

Стайлс. Да, конечно. Я просто запутался в этих войнах — они начи
ются одна за другой.
Суини. Косоглазые! Черномазые! Неужели вам не ясно, что вы тер
те человеческое достоинство, употребляя эти слова?
Стайлс. Суини проводит слишком много времени около юбки Пер
леди.
Коул. Вот было бы хорошо, если бы президент надел намордник на
женщину.
Стайлс. Нам еще повезло, что она не уговорила его надеть намордн
на всех нас! *(Хохочет.)*
Коул *(сердито)*. Я не шучу. Просто не могу понять, почему он не бо
ся ни русских, ни китайцев, ни арабов, ни бразильцев, ни африка
цев — и так боится собственной жены.
Парсон *(входя справа)*. А, моя любимая тема! Доброе утро, му
чины.
Стайлс. Здравствуй, Бифф.
Коул. Хэлло, Бифф.
Суини *(не без иронии)*. Приветствую вас, министр обороны.
Парсон. А, виновник торжества! Что случилось с твоим мирным п
зом, Суини?
Стайлс. Это он так его называет?
Коул. Мирный газ? А сколько убито?
Суини. Пока еще нет точных данных.
Парсон. Семьсот пятьдесят солдат и офицеров. И все американцы.
Стайлс. Ого!
Суини. Еще рано о чем-либо говорить. СБ-97 не всегда дает смертел
ный исход.
Стайлс. А какой же другой, если не смертельный?
Суини. Пока неизвестно. Многое зависит от климатических условий
Парсон. Еще девяносто человек парализовано, в том числе начальн
штаба армии.
Стайлс. Генерал Пратт? Я этого не знал.
Коул. Твоя разведка работает хуже моей, Тим. Я знал это уже вчер
в девять тридцать вечера.
Парсон. А меня информировали только в девять сорок пять, хотя
министр обороны!
Стайлс. Не надо спорить, ребята. Государственный секретарь, напр
мер,— тот вообще еще ничего не знает.

Стайлс и Парсон хохочут. Коул улыбается. Суини встревожен.

Суини. А почему его нет здесь?
Парсон. Все еще в опале?
Коул. Он же свалял такого дурака, когда решался вопрос о введен
наших войск в Бразилию.
Стайлс. Если бы у него было бы хоть немного ума...
Суини. Но он же возражал против вторжения. Так же, как и т
Стайлс, и ты, Коул.
Парсон. Да, но только до того, как выступил президент и сообщил
своем решении.
Суини. Он самый старый член кабинета. Возможно, эти четыре вой
за последние шесть лет доконали его.
Стайлс. Если не переносишь жары, уходи из кухни.
Парсон. Кто это сказал? Гарри Трумэн?
Стайлс. Во всяком случае, не председатель Мао.
Парсон. Весь вопрос в том... *(Умолкает.)*
Коул. В чем, Бифф?
Парсон. Ладно, забудем.

уини. Может ли президент выдержать жару? Вы это хотели сказать, господин министр?
арсон. А ты сообразительный малый, Суини. Надо отдать тебе должное.
оул. Ты думаешь, президент сомневается насчет Бразилии? Я не могу с тобой согласиться, Бифф.
арсон. Его это никогда не радовало.
оул. А кого радовало?
тайлс. Во всяком случае, не меня.
уини. Прошло два года, а чем мы можем похвастаться? Двадцать пять тысяч убитых!
арсон. Потери вполне допустимые. А по сравнению с африканской войной — так вообще капля в море. Мы учимся на наших ошибках.
тайлс. Это обучение за шесть недель до выборов может чертовски дорого обойтись.
оул. А еще эти миролюбцы лезут изо всех щелей. Сегодня я сажаю в тюрьму тысячу человек — завтра новые тысячи устраивают беспорядки.
тайлс. Да что они значат, эти мирные бунты, для такого человека, как президент, с его опытом политической деятельности! С него все — как с гуся вода.
арсон. Я не боюсь, что на него повлияют эти мирные выступления. Я боюсь влияния этой женщины. Вот из-за чего я не сплю ночами. Эта баба стоит четырех дивизий противника.
оул. Я однажды попробовал пригрозить ей судом. Она рассмеялась мне в лицо.
тайлс. Вы, ребята, слишком серьезно к ней относитесь. Она забавляет всю страну.
уини. Она серьезная женщина!
оул. Она не имеет права смеяться надо мной.
арсон. Она не умеет логически мыслить.
оул. Ее надо остановить.
арсон. Эта баба...
оул. Эта женщина...
резидент *(входя)*. Доброе утро, господа.

Все встают.

Прошу меня извинить: я задержался. Миссис Хейл надо было поговорить со мной. Прошу садиться. Министр обороны, как вы себя чувствуете сегодня?
арсон. Хорошо, как и следовало ожидать, господин президент.
резидент. А господин министр юстиции?
оул. Отличное сегодня утро, господин президент.
резидент. Мне кажется, я узнал у дверей моего кабинета ваш мешок с клюшками для гольфа.
оул. Я надеялся, сэр, что мне удастся уговорить вас немного поиграть после совещания.
резидент *(со вздохом)*. Ах, если бы я мог... Знаете, я сейчас немного помахал одной из ваших клюшек — драйвером. Не удержался.
оул. Мои клюшки — в вашем распоряжении, господин президент.
резидент. А вы не играете в гольф, профессор Суини?
уини. Нет, господин президент.
резидент. Рекомендую попробовать. Это очень успокаивает. Я не спрашиваю о твоем самочувствии, Тим. Ты всегда в одинаковом состоянии.
тайлс. В ужасающем...
резидент. Весьма сочувствую. Мои информаторы сообщили мне, что

ты уже побывал в нашей почтовой экспедиции. Ей-богу, никому рекомендовал бы заходить туда до завтрака. Иной раз мне оч хочется задержать поступление информации по всем каналам с зи — так, как мы задерживаем почту.

Стайлс. Я вижу, вас забавляют мои трудности, господин президен

Президент. Ничего подобного. Государственный секретарь не смо присоединиться к нам сегодня утром. У него... гм... он занят кое-какими бумагами. Я вижу, министр обороны прихватил свои карты.

Парсон. Да, сэр.

Президент. Тогда давайте взглянем на них.

Парсон *(вешает карты на подставку и берет указку)*. Это Бразили

Затемнение.

Картина третья

Поле боя, залитое зловещим зеленым светом. Капитан Вимс, склонившись над лейтенантом Катлером, бинтует ему голову.

Катлер *(стонет)*. С-Б-9-7...

Вимс. Стало легче дышать. Мне кажется, самое страшное позади.

Катлер. Я, должно быть, потерял сознание. Этот СБ-97... Ветер по его на нас.

Вимс. Не понимаю, о чем вы.

Катлер. Кто вы?

Вимс. Капитан Вимс, из медицинской службы.

Катлер. Вы спасли мне жизнь.

Вимс. Мы еще не спасены.

Катлер. Не говорите так — я обязан вам жизнью.

Вимс. Надо уходить отсюда, пока нас не прикончило газом.

Катлер. А это разве газ?

Вимс. Не знаю, но во всяком случае не туман, и все кругом зелено Если это не газ, тогда что?

Катлер. Почему же мы не задыхаемся?

Вимс. Может быть, это не удушливый газ?

Катлер. Понятия не имею. Я всегда старался поступать правильн И пытался защитить от смерти моих солдат. Это же главное! Т что, может, лучше вам оставить меня здесь.

Вимс. Пошли-ка лучше назад.

Катлер. Я ведь заботился только о благополучии моих солда Вы врач?

Вимс. Да.

Катлер. Значит, вы должны думать о благополучии ваших пациенто Это самое главное, правда? Это самое главное или не самое гла ное?

Вимс. Мне бы не хотелось задерживаться здесь ни одной лишней м нуты.

Катлер. Сколько вам лет, капитан Вимс?

Вимс. Двадцать семь.

Катлер. А мне двадцать восемь. Вы откуда родом?

Вимс. Из Кливленда.

Катлер. А я из Уайт-Плейнса, штат Нью-Йорк.

Вимс. Лейтенант...

Катлер. Значит, вы доктор, да? Скажите, почему все получается н так, как надо?

Вимс. Перестаньте лучше думать об этом.

Катлер. А что вы записываете?

Вимс. Да так, делаю заметки.

Катлер. Какое ваше любимое число?
Вимс. Двадцать семь.
Катлер. А мое двадцать восемь. А любимый цвет?
Вимс. Белый.
Катлер. И у меня белый. Вы женаты?
Вимс. Давайте лучше двигаться.
Катлер. Вы женаты?
Вимс. Да.
Катлер. И дети есть?
Вимс. Двое. Мальчик и девочка.
Катлер. А сколько им лет?
Вимс. Мальчику — пять, а девочке — три.
Катлер. Пять и три. Восемь. А вам двадцать семь. Двадцать семь и восемь — тридцать пять. Это хорошо. А сколько лет вашей жене?
Вимс. Двадцать один.
Катлер. Вот все и испортили. Нет, лучше поменьше разговаривать с незнакомыми людьми. Давайте двигаться.
Вимс. Давайте лучше поговорим.
Катлер. Пошли назад. Ноге моей стало немного лучше.
Вимс. Какой ноге?
Катлер. Моей раненой ноге.
Вимс. Той, что лежит вон там?
Катлер. Нога... *(Ощупывает себя.)* У меня нет ноги!..
Вимс. Вы стонали. Я пытался обыскать вас. Наступил на нее. Она сразу и отвалилась.
Катлер. Так мне и надо. Но мне не больно. Вы могли бы помочь мне встать на ноги — на ногу, капитан?

Вимс помогает ему. Они с трудом делают несколько шагов.

А вы уверены, что вы доктор?
Вимс. А кто вам наложил повязку на голову, разве не я?

Затемнение.

Картина четвертая

Кабинет президента.

Парсон *(у карты)*. Это Мато-Гроссо, где в настоящее время идут бои. Они идут в основном на пяти направлениях. *(Показывает.)* На севере, северо-востоке, северо-западе, западе и юго-востоке.
Президент. Короче говоря, везде.
Парсон. Они крепкие парни, эти карлики, с которыми мы деремся, господин президент.
Президент. И нас выбивают с Мато-Гроссо, мистер Парсон?
Парсон. Мы несем потери более тяжелые, чем предполагалось, сэр, но мы не уходим. Мато-Гроссо будет за нами — тут никаких сомнений. Но есть просчеты, и операция «Тотальная победа» — один из них. *(Разворачивает новую карту.)* Целью операции «Тотальная победа» была ликвидация угрозы наращивания сил противником для ответа на наше последнее наступление. Необходимо было нанести ряд воздушных и артиллерийских ударов, за которым должно было последовать наше массированное продвижение по всей линии фронта на юго-востоке. Вот здесь — от А до К.
Президент. Кто отвечал за операцию «Тотальная победа»?
Парсон. Покойный полковник Фрэнк Доун из двести девяносто девятой дивизии. Семнадцатого сентября...
Президент. Два дня тому назад.

Парсон. Да, сэр. В шестнадцать ноль-ноль на передовую выехал н чальник штаба армии генерал Морис Пратт. Во время его инспе ционной поездки противник неожиданно контратаковал н ши части, им пришлось отойти на эти позиции *(показывает по ка те)*, вот — A, B, C, D, E, F и G — для выравнивания линии фрон Наши войска в двадцать один ноль-ноль силами двести девянос пятой, двести девяносто седьмой и двести девяносто девятой див зий немедленно перешли в контрнаступление, в результате чего м отбили у врага наши позиции вот здесь — пункты A, C, E и G, но в тут, в пунктах B, D и F продвижение наших войск было приостано лено из-за сильного артиллерийского огня противника, который о стреливал наши части из девяток и десяток *(переходя к новой ка те)*, расположенных вот здесь, в этих пунктах. Все наши последу щие попытки, включая двенадцать ударов с воздуха, не привели к чему — противника выбить не удалось. В двадцать три тридцать вражеские позиции в пунктах P, Q, R и S был пущен нервный г СБ-97. Снарядами с газом СБ-97 стреляли из наших орудий в A C-1, E-1 и здесь, в G-1. Однако результаты газовой атаки были с рваны внезапным изменением направления ветра, как это и указа на карте волнистыми линиями. Согласно полученным сообщения газом заражены районы A-1, C-1, E-1 и, весьма вероятно, G-1. У н нет сейчас прямой связи с G-1, и ситуация там пока не ясна. Тако обстановка на сегодняшний день.

Президент. Значит, по сути дела, наши солдаты стреляли снаряда с СБ-97 по своим!

Парсон. Стреляли по врагу, сэр, и все было бы хорошо, но подве метеорология.

Президент. Сколько жертв?

Парсон. От СБ-97?

Президент *(нетерпеливо)*. Да, да.

Парсон. Семьсот пятьдесят.

Президент. А сколько парализовано?

Парсон. На данный момент — около девяноста человек. Может бы больше. Район еще не прошел дегазацию.

Суини. Я бы не считал эти цифры окончательными, господин през дент. СБ-97 вызывает некоторые прогрессирующие побочные явл ния, подлинные размеры которых пока еще не известны.

Президент. В каком состоянии генерал Пратт?

Парсон. Он потерял зрение — неизвестно, временно или навсегда; него парализована вся левая сторона — неизвестно, временно и навсегда, и уж точно на всю жизнь повреждена гортань.

Президент. Он сейчас здесь?

Парсон. Да, сэр.

Президент. А мы можем как-то общаться с ним?

Парсон. Да, сэр. Он говорит через усилитель.

Президент. Попросите его, пожалуйста.

Парсон выходит и возвращается вместе с генералом Праттом. Пратт в полной форме, идет очень прямо, на глазах — черные очки, в руках — палка, на лице — следы ожогов.

Как вы себя чувствуете, генерал Пратт?

Пратт *(говорит низким, гортанным голосом, через микрофон)*. Ник да не чувствовал себя лучше, сэр.

Президент. Вы отлично справляетесь.

Пратт. Я старый ночной охотник, господин президент.

Президент. Разрешите мне выразить надежду от лица всех член правительства на ваше скорейшее выздоровление и возвращение строй.

ратт. Я старый боевой конь, господин президент.

резидент. Генерал Пратт, вы не могли не заметить при вашем зорком глазе... гм... так что же вы можете рассказать нам об этой неприятнейшей истории?

ратт. Полковник Доун, отвечающий за выполнение операции «Тотальная победа», получил в моем присутствии рекомендацию от своего офицера разведывательной службы лейтенанта Катлера приступить к дисперсии токсического химического препарата СБ-97. Полковник Доун согласился с этой рекомендацией и немедленно отдал приказ, разрешающий применение СБ-97.

резидент. Мне казалось, что такое разрешение может дать только генерал, не ниже.

ратт. Совершенно верно, сэр. Полковник Доун имел право дать разрешение под кодовым названием «РСК», однако в пылу битвы он по вполне понятным причинам спутал РСК с КСР.

резидент *(со вздохом)*. А вы имеете право на КСР, генерал Пратт?

ратт. Так точно, сэр. Когда я понял, какие последствия может иметь дисперсия СБ-97, я попытался отменить приказ полковника Доуна. Но опоздал. К тому времени, когда я прибыл к ним в штаб, полковник Доун и его люди были уже мертвы.

резидент. А почему вы не погибли от газа?

ратт. Я прибыл в штаб через семь-десять минут после дисперсии.

уинн. Генерал Пратт?

ратт. Да, сэр.

уинн. На основании ваших наблюдений на поле боя могли бы вы дать заключение об эффективности СБ-97?

ратт. Я считаю, что эффективность его резко снижается через шесть минут. Пример: эффективность газа в момент поражения полковника Доуна и его солдат была близка к предельной. А когда я подвергся его действию, он сработал уже только на пятьдесят процентов. Я потерял зрение, получил паралич левой стороны тела, ожоги лица второй степени и повреждение голосовых связок.

уинн. Мне кажется, эффективность газа была больше пятидесяти процентов, генерал Пратт, и в этой связи описанные вами побочные явления исключительно важны для нас, если думать о применении газа в целях умиротворения...

ратт. Полностью с вами согласен.

уинн. Ваша информация представляет для нас исключительную ценность. Еще один вопрос. Как вы полагаете, если бы ветер не изменился столь внезапно, СБ-97 оправдал бы себя?

ратт. Несомненно. Если мы придадим нашим частям электронные ветронаправляющие устройства, я бы включил СБ-97 в число эффективных средств нашего мирного арсенала.

арсон. Значит, по-вашему, полковник Доун не совершил ошибки, отдав приказ о применении СБ-97?

ратт. Если не считать процедурной погрешности в вопросе о разрешении, полковник Доун, по-моему, принял правильное решение — на тот момент, когда он его принял. Пять минут спустя такое решение было бы уже неоправданным.

арсон. Значит, вы удовлетворены его действиями?

ратт. Да, сэр. Согласно данным аэрофотосъемки и разведки, потери врага в двадцать пять раз выше наших.

уинн. Мне бы очень хотелось взглянуть на эти материалы.

ратт. Они засекречены под грифом «Космос».

арсон. Я договорюсь, чтобы их тебе показали.

уинн. Благодарю.

арсон. Только на это потребуется несколько дней.

Пратт. Точнее: десять.
Суини. Я не могу ждать десять дней.
Пратт. Весьма сожалею, профессор Суини, но на допуск к «Космо
требуется десять дней.
Президент. Я, конечно, понимаю, что научно-исследовательские
пекты этой катастрофы исключительно интересны, но я не учен
Я президент Соединенных Штатов, и через шесть недель предст
новые выборы. Может кто-нибудь подсказать, как мне объясн
американскому народу смерть семисот пятидесяти американск
солдат, убитых американским же газом?
Парсон. Думается, господин президент, вы найдете что сказать, ес
сопоставите потери обеих сторон...
Пратт. Это вполне допустимые потери...
Президент. Но потери незаконные. Господин министр юстиции?
Коул. Так вот. Дело в том, что все химическое и бактериологичес
оружие запрещено последней Женевской конвен...
Суини *(прерывая его)*. Мы ее не подписывали, мы ее не подписыва
Коул. Тем не менее мы выразили наше принципиальное одоб...
Суини. Извините, но Конвенцию мы все-таки не подписывали.
Президент. Вы что же, считаете, профессор Суини, что смерть эт
людей по закону не является преступлением?
Суини. Господи, конечно, не является. Это же проходит по графе «И
следования и развитие». Почему мы всегда должны связывать се
руки?
Коул. Возможно, это и не нарушение буквы закона, но, безусловно, н
рушение духа закона.
Президент. Только чтобы не было пренебрежения к праву — тут м
должны быть абсолютно чисты.
Парсон. К какому? Международному? А вам не кажется, что мы ст
новимся уж слишком законниками?
Стайлс. А вы что же, хотите, чтобы нас обвинили в том, что мы с
блюдаем законы у себя дома и нарушаем их за рубежом?
Коул. Нет, это вовсе ни к чему, особенно сейчас.
Стайлс. Мы можем предстать в весьма невыгодном свете.
Суини. Только потому, что народ не знает о колоссальных возмож
стях нашего потенциала по сохранению мира...
Стайлс. Вы имеете в виду нервный газ?
Пратт. Американский народ поддержит своих командиров.
Президент. Целиком с вами согласен, генерал Пратт. Если толь
народ будет правильно информирован о том, что произошло в Б
зилии.
Коул. А люди понятия ни о чем не имеют.
Парсон. Это слишком сложный вопрос для публичных дебатов.
Президент. Я склонен согласиться с министром обороны. Но ра
или поздно что-то безусловно просочится. Поэтому надо, чтобы с
дения эти исходили от нас и чтобы у нас было готово объяснен
А это не так просто, поскольку народ думает, что мы прекрати
производство ядовитых газов.
Парсон. Мы действительно прекратили производство, сэр.
Суини. Но не исследования.
Президент. А исследования, значит, продолжаются?
Суини. Исследования никогда не прекращаются.
Президент. В таком случае отправка газа в Бразилию была об
ловлена исследовательскими целями?
Суини. Совершенно верно, сэр.
Президент. Кто распорядился об отправке?

Все молчат.

Суини. Не я, сэр.
Президент. Министр обороны?
Парсон. В министерстве идет сейчас расследование этого вопроса, сэр.
Президент. Значит, вы не знаете, кто отправил газ в Бразилию?
Парсон. Я знаю, что не я.
Пратт. И не я.
Президент. Нужны факты. Нужно найти способ защитить себя. Генерал Пратт, у вас нет никаких предположений о том, кто мог отдать приказ об отправке газа?

Долгая пауза.

Вы хоть что-нибудь знаете?
Пратт. Ничего.
Президент *(со вздохом)*. Ну, так что же мы будем делать, как выпутаемся из этого положения?

Долгая пауза. Президент вопрошающе оглядывает всех присутствующих.

Парсон. Когда дело касается безопасности страны...
Коул. Мы имеем право скрыть некоторые факты...
Суини. СБ-97 — это в общем-то гуманное средство...
Стайлс. Мы могли бы сказать, что это *они* применили газ против *нас*.
Коул. Бразильцы? Никто этому не поверит.
Стайлс. Почему? Им его поставили русские.

Коул качает головой.

Китайцы?
Президент. Тим, прошу тебя, не умножай число внешнеполитических осложнений.
Стайлс. Русские сразу все поймут. Они знают американскую политику.
Коул. Я не вижу способа скрыть то, что это мы перебросили туда газ.
Парсон. Если мы признаем это, мы пропали.
Коул. Не обязательно. Мы можем сообщить, что по данным разведки нам стало известно, что бразильцы должны были получить нервный газ.
Стайлс. А я о чем говорил?
Коул. Я еще не кончил. Мы не могли рисковать жизнью своих солдат и не обратить внимания на эти данные. Поэтому исключительно в превентивных целях, чтобы *они* не применили газ против *нас,* мы и распорядились об отправке СБ-97 в Бразилию.
Пратт. Это вполне возможный вариант.
Парсон. Мне это нравится. Разведка донесла...
Коул. И, кроме того, были захвачены вражеские документы.
Стайлс. Ну, а потом что? Они применили газ, а мы ответили или как?
Пратт. Полковник Доун отдал приказ.
Стайлс. Он же умер, не так ли? Мы не можем взвалить вину на человека, которого нет в живых.
Коул. Я склоняюсь к нечаянной ошибке... несчастному случаю.
Парсон. Всякий раз, когда мы сообщаем о несчастных случаях, военные выглядят круглыми идиотами.
Коул. Никто ни в чем вас не обвинит. Просто произошла утечка газа — и все.
Суини. У нас не бывает утечек!
Коул. Ну, если не утечка, так что-то вроде того.
Стайлс. Стихийное бедствие.
Парсон. Может, удар молнии?
Пратт. Сезон дождей и гроз закончился пять месяцев назад.

Парсон. Может, в одну из цистерн с газом попал вражеский снаряд
Пратт. Вполне возможный вариант.
Суини. А как могли цистерны с СБ-97 попасть на передовую?
Парсон. Ну, ладно, скажем, что это был шальной вражеский снаря
Пратт. Партизанский отряд мог проникнуть в наше расположение. Т
кое случается.
Коул. Отлично, генерал Пратт.
Парсон. Великолепно, генерал Пратт. Отряд диверсантов-смертнико
Мы не знаем, знали ли они, что было в цистернах. Они их взорвал
или...
Коул. Это мог быть и несчастный случай, и преднамеренное действи
Парсон. Мы не знаем. И никто никогда не узнает.
Стайлс. Вот именно. Черт возьми, как раз то, что нужно!
Суини. Пожалуй, самое простое объяснение.
Президент. Ну, а теперь, когда мы знаем, как все произошло, давай
те решим, как мы это обнародуем!

Затемнение.

Картина пятая

Поле боя, залитое зловещим синим светом. Катлер и Вимс идут шатаясь.

Катлер. У меня какое-то странное ощущение в лице.
Вимс. И у меня тоже.
Катлер. Оно стало мягким, как тесто. А дышать стало легко, очен
легко.
Вимс. И мне тоже.
Катлер. Видно, газ прочистил мне носоглотку. Учтите, капитан: вс
что с нами происходит,— строго секретно. Надеюсь, вы это знает
Вимс. Но между собой-то мы ведь можем говорить об этом.
Катлер. А здесь никого нет?
Вимс. Я не могу оглянуться.
Катлер. И я тоже. Но там, где у меня нет ноги, я здорово себя чу
ствую.
Вимс. Я тоже отлично себя чувствую — как никогда. Давайте передо
нем. *(Он помогает Катлеру опуститься на землю. Закуривает.)*
Катлер. Чего бы я только сейчас не дал за сигарету!
Вимс. Это у меня последняя. *(Продолжает курить.)*
Катлер. Все, что я говорю вам,— все секретно.
Вимс. Абсолютно.
Катлер. Я просто должен об этом кому-то рассказать — к тому же в
доктор.
Вимс. Все останется в тайне.
Катлер. А что вы все время пишете?
Вимс. Я ничего не пишу.
Катлер. А зачем вы держите руку в кармане?

Вимс вынимает руку из кармана.

Вы, наверно, думаете, что я сумасшедший.
Вимс. Вы находитесь в состоянии крайнего нервного напряжения. А
знаю лишь один способ разрядить его. Надо выговориться.
Катлер. А откуда я знаю, что вы тот, за кого себя выдаете?
Вимс. Что вас так волнует, лейтенант?
Катлер. Может, вы хотите поймать меня!
Вимс. Зачем?
Катлер. Кто-то же должен нести ответственность за применение газа
Может, вы из ЦРУ!

Вимс усмехается.

Может, вас послали разыскать меня и притащить в трибунал. *(Вынимает пистолет.)* Я не пойду с вами.

Вимс. Я вас здесь не оставлю.

Катлер. Ты из ЦРУ.

Вимс. Я врач. А вы — мой пациент.

Катлер. Может, ты — даго.

Вимс. Я американский врач.

Катлер. Откуда я знаю? Твоя форма вся в клочьях.

Вимс. Это от газа.

Катлер. Я ничего не знаю про газ. Ради всего святого, оставьте меня в покое.

Вимс. Ты лучше расскажи мне обо всем, сынок.

Катлер. А ты действительно не даго?

Вимс. Я американец.

Катлер. И ты не из ЦРУ?

Вимс. Я американец.

Катлер. И ты действительно лояльный человек?

Вимс. *Я врач.*

Катлер. И ты не будешь записывать то, что я тебе расскажу?

Вимс *(отворачиваясь)*. Ладно. Забудем об этом.

Катлер. Подожди! Газ...

Вимс *(снова поворачиваясь к нему)* Какой газ?

Катлер *(отвернувшись)*. СБ-97...

Вимс вынимает из кармана маленький магнитофон и протягивает микрофон в сторону Катлера.

Газ — это была моя идея...

Затемнение.

Картина шестая

Кабинет президента.

Стайлс. Кому мы можем сделать такое сообщение?

Парсон. Большинство представителей прессы в Вашингтоне будет на нашей стороне.

Стайлс. Это не должно исходить из Вашингтона.

Коул. Правильно. Лучше всего дать сообщение с места. Мне кажется, если нам удастся снять акцент с газа и перенести его на чрезвычайно опасный характер этих вражеских отрядов смертников...

Парсон. Совершенно верно. А для иллюстрации — сообщить о том, что получилось у нас с газом... В свое время мы неплохо поработали с этими ребятами, и я не сомневаюсь в том, что они посмотрят на вещи нашими глазами.

Президент. Прошу министра обороны составить список журналистов и дать мне.

Парсон. Будет исполнено, сэр.

Президент. Четверти часа вам хватит?

Парсон. Вполне.

Президент. Тим, нам, может быть, придется подкрепить эту историю и сообщением из Вашингтона. Причем авторами должны быть люди, которым мы доверяем.

Стайлс. Составить список?

Президент *(устало)*. Да. Все подумайте и составьте список.

Парсон, Стайлс и Коул встают.

А вы, профессор Суини, напишите в общих чертах про СБ-97: когда он был открыт, что собой представляет, какими обладает свойствами, полезными для человечества и т. д.

Суини кивает головой.

Через пятнадцать минут. *(Тяжело вздыхает.)*

Суини встает.

Генерал Пратт... гм... генерал Пратт, мне кажется, в вашей верси есть некоторые несоответствия. Мне бы хотелось, чтобы вы еще ра мысленно проверили ее — с начала и до конца. Посмотрите, что вас получается. Хорошо?

Пратт. Слушаюсь, сэр.

Президент *(показывая на дверь слева)*. Можете воспользоваться этим кабинетом. Мистер Стайлс проводит вас.

Стайлс помогает генералу пройти в другое помещение, затем возвращается.

Ну, что же мы с ним будем делать?

Стайлс. Его нельзя показывать газетчикам.

Коул. Его можно было бы упрятать в госпиталь.

Суини. Он может подать в отставку по болезни.

Стайлс. Он не может подать в отставку.

Парсон. Это произведет плохое впечатление.

Коул. Надо его продвинуть по службе.

Парсон. Чтоб очистить воздух.

Коул. Может быть, устроить прием в Белом доме в его честь?

Стайлс. Отлично! Дадим ему медаль.

Парсон. У него уже есть все существующие медали.

Стайлс. Дадим ему грамоту, подписанную президентом.

Коул. И новую должность...

Парсон. Но нельзя же просто повысить его — надо дать ему место.

Стайлс. Куда же мы его пристроим?

Парсон. В Вест-Пойнтскую академию?

Коул. Нет, нельзя отсылать его так далеко.

Парсон. Сделать его ответственным за набор в армию?

Президент. Я уже не раз подумывал о том, чтобы создать специальное управление при президенте по проблемам внутренней экономики в двухтысячном году. И собирался назначить туда начальником го сударственного секретаря. А что если назначить вместо него генерала Пратта?

Общее одобрение. Президент встает.
Встают и остальные.

Господа, не буду больше вас задерживать — займитесь составлением ваших списков.

Все выходят через дверь справа.

(Президент устало падает в кресло. Через некоторое время тих вскрикивает.) Господи, боже мой! *(Нажимает кнопку селектора.)* Можешь войти, Эвелин.

Откидывается на спинку кресла и ждет. В дверях за спиной президента появляется миссис Хейл.

Эвелин, я расскажу тебе сейчас о том, что произошло, но ты должна обещать мне хранить все в строжайшей тайне. Я не хочу, чтобы эта информация распространялась дальше и дошла до кого-нибудь из твоих нежно любимых защитников мира. Ты обещаешь?

Миссис Хейл. Значит, ты можешь ее распространять, а я не могу?

Президент. Но я же президент.

Миссис Хейл. Тогда не поверяй ее мне.

Президент. Если я буду таить все от тебя, ты превратишь нашу жизнь в ад. А кроме того, ты — как хороший барометр: предсказываешь реакцию определенной части нашего населения.

Миссис Хейл. Какой части?

Президент. Той, которая живет еще в девятнадцатом веке. Ну, тех, кто считает наши проблемы разрешимыми.

Миссис Хейл. Почему ты все время иронизируешь, когда я что-нибудь говорю? Не потому ли, что в глубине души сознаешь, что права я, а не ты?

Президент. Тебя, во всяком случае, такое объяснение вполне бы устроило. А мне бы хотелось, чтобы ты с бóльшим пониманием относилась к тяготам моего поста.

Миссис Хейл. Я уже слышать больше не могу о «муках власти». Я ведь еще помню, как ты мучился, когда ее у тебя не было.

Президент. Вечно ты издеваешься надо мной.

Миссис Хейл. А ты никогда меня не слушаешь.

Президент. Большинство Вашингтона считает, что я слишком много тебя слушаю.

Миссис Хейл. Вашингтона!

Президент. Почему ты так ненавидишь Вашингтон? Потому что я — первый гражданин этого города?

Миссис Хейл. Я ненавижу его потому, что он ненастоящий. И перестань жалеть себя.

Президент. А я тоже ненастоящий?

Миссис Хейл. Ты просто не существуешь. Здесь никто не существует. Именно это больше всего и пугает меня в Вашингтоне. Все эти несуществующие люди, которые ведут войну.

Президент. Ты сердишься на меня за то, что я не сделал тебя государственным секретарем.

Миссис Хейл. Я нужна тебе лишь как объект для шуток.

Президент. Ты для меня... я разговариваю с тобой на расстоянии вытянутой руки. Последнее время я просто не решаюсь подойти к тебе ближе.

Миссис Хейл. Но как же я могу молчать, если знаю, что ты не прав?

Президент *(саркастически)*. На большее я, видимо, не могу и рассчитывать. Но я все же могу рассчитывать на то, что ты будешь соблюдать правила игры! Здесь мы можем выяснять наши точки зрения и спорить сколько угодно. А там мы должны выступать единым фронтом.

Миссис Хейл. Что произошло в Бразилии?

Президент. Будешь соблюдать правила игры?

Она молчит.

Миссис Хейл. Сначала скажи мне, что произошло в Бразилии.

Президент *(внезапно деловым тоном)*. Из последних донесений разведки и захваченных вражеских документов нам стало известно, что китайцы поставляют или собираются поставить бразильцам определенное количество смертоносного нервного газа. Мы предупредили бразильцев, что в превентивном порядке направляем в нашу действующую армию нервный газ СБ-97, который будет применен нами лишь в том случае, если противник предпримет газовую атаку против наших войск. Таким образом, противник это знал. Мы его предупредили. Два дня назад группа вражеских диверсантов ночью проникла в наше расположение, где хранился СБ-97. И вражеская граната попала в одну из цистерн. Нервный газ вытек. В результате погибло семьсот пятьдесят наших ребят. Девяносто парализовано. Мы оба знаем, как всю эту историю можно исказить и извратить, и сегодняшнее совещание было созвано с тем, чтобы решить, можно ли за шесть недель до выборов предать гласности такой факт.

Миссис Хейл. И что же вы решили?

Президент. Мы единогласно решили, что американский народ долж знать правду.

Миссис Хейл. В том виде, как ты мне ее рассказал?

Президент. Да. Она будет обнародована через надежные источник Никаких извращений. Ну?

Миссис Хейл. Что «ну»?

Президент. Что ты по этому поводу думаешь?

Миссис Хейл. Я думаю, что мне надо подавать на развод.

Президент. О, господи! Эвелин, это же неприлично!

Миссис Хейл. Ты обманываешь меня так же, как обманываешь вс страну. И я не желаю больше глотать эту ложь! Я твоя жена, а твой избиратель. Я требую развода!

Президент. Ты доведешь меня до того, что я забуду, кто ты.

Миссис Хейл. Какая самоуверенность! Но это тебе с рук не сойде Даже те, кто агитирует за тебя, знают, что мы проигрываем э войну! Ну, скажи: зачем бразильцам, одерживающим победу победой, ввозить на свою территорию смертоносный газ?!

Президент. Никто и не говорит, что они его ввозят. Ты настолы влюблена в себя, что уже не слушаешь никого, кроме своих пике чиков. Я сказал, что по *неподтвержденным* сведениям разведки...

Миссис Хейл. А захваченные вражеские документы?!

Президент. Не понимаю, чем тебя не устраивают захваченные вр жеские документы?

Миссис Хейл. А тем, что они были захвачены лишь после того, к мы сами их сфабриковали! Ты никогда не сможешь объяснить, к туда попал газ, если не признаешь, что мы собирались его пр менять. В экспериментальных целях Видимо, так оно и случилос И твой эксперимент обратился против вас же самих.

Президент. Это не был мой эксперимент!

Миссис Хейл. Значит, это был эксперимент Суини.

Президент. Другие мужья пользуются поддержкой своих же Почему я такой несчастный?

Миссис Хейл. Я всегда разделяла твои идеалы.

Президент. Но мои идеалы не изменились.

Миссис Хейл. Тогда откуда же взялась эта ложь?

Президент. Но мы же находимся в состоянии войны!

Миссис Хейл. Я не говорю о том, что ты лжешь бразильцам, я г ворю о том, что ты лжешь американцам. Ты же возглавляешь пра тельство Соединенных Штатов, а не рекламное агентство!

Президент. Ты, видимо, понятия не имеешь о происходящих в ми процессах! Послушать тебя, так мы все не что иное, как шай заговорщиков.

Миссис Хейл. А разве нет? Вы разговариваете только друг с др гом, получаете сведения от людей, которым вы платите, обсуждае дела только с людьми вашего узкого круга, считаете их догад непреложной истиной и покрываете их ошибки, потому что толь вы и ваши приспешники имеют понятие о происходящих в мире пр цессах. Так вот: я не желаю в этом участвовать! Я не желаю с стоять с вами в сговоре!

Президент. Но ты же согласилась соблюдать правила игры.

Миссис Хейл. Еще одна ложь!

Президент. Всего пять минут назад согласилась.

Миссис Хейл. Ты просто невозможен! Ты веришь во все, во что те хочется верить!

Президент *(вставая, очень холодно)*. Эвелин, меня ждут дела.

Миссис Хейл. Меня тоже! *(Берет трубку телефона.)*
Президент. Положи трубку!

Она молчит.

Положи трубку!

Она не отвечает.

Это мой телефон!
Миссис Хейл. Соедините меня с редакцией «Нью-Йорк таймс».

Затемнение.

Картина седьмая

Поле боя, залитое зловещим багровым светом. Катлер сидит спиной к Вимсу, который держит микрофон.

Катлер. Первым делом надо научиться выполнять приказы. Потом надо научиться исправно выглядеть. Все твои товарищи исправно выглядят. И тебе не хочется в их глазах выглядеть иначе. С этого начинается твоя жизнь в армии. А потом все уже идет автоматически. Как езда на велосипеде. Уже после ты узнаешь, сколько надо убить врагов, прежде чем тебя убьют самого. Если ты убьешь одного, то едва ли сможешь назвать себя человеком. Если прихватишь с собой на тот свет двоих или пятерых, ты уже человек, хоть и средненький. Если ты угробишь от пяти до десяти — неплохой малый. Ну, а если больше десяти — скажем, восемнадцать, девятнадцать, то совсем молодец. Если же больше двадцати, тогда полный блеск. Больше двадцати. Полный блеск. Я знал многих на этой войне, кто был молодцом. А вот тех, про кого можно сказать «полный блеск», на пальцах одной руки пересчитаешь. *(Пытается считать на пальцах.)* Пальцы не загибаются.

Вимс. Что такое?

Катлер *(протягивает окостеневшую руку)*. Пальцы не загибаются.

Вимс прячет микрофон.

Вимс. Дай-ка я посмотрю. *(Начинает массировать пальцы Катлера.)*

Катлер. Ты, наверно, считаешь меня дерьмом — до того дойти, чтоб грозить тебе пистолетом. А ты знаешь, сколько раз я был ранен в бою? Шесть раз. А сейчас вот — в седьмой: лишился ноги.

Вимс. Извини, пожалуйста.

Катлер. За что?

Вимс. Да я тебе три пальца отломил.

Катлер. Ты же хотел сделать как лучше. Лишился пальцев — это же восьмое ранение.

Вимс. А тебе не больно?

Катлер. Больно, но не там.

Вимс. А где больно?

Катлер. Больно сознавать, что я ухожу из жизни не в полном блеске. И даже не молодцом. И даже неплохим малым меня не назовешь. Ведь все эти ребята, которых я отправил на тот свет, были мои товарищи. А ты хочешь, чтобы меня взволновали какие-то три пальца.

Вимс. Ты настоящий человек, лейтенант.

Катлер. Я не человек.

Вимс. Нет, человек. А вот я — не человек.

Катлер. Да я в подметки тебе не гожусь. Ты же пришел сюда, чтоб спасти меня.

Вимс. Я пришел сюда, чтоб отдать тебя под трибунал. Я не человек. Я сотрудник ЦРУ.

Катлер. Ты врач.
Вимс. Я не врач. Из-за меня ты потерял ногу и три пальца.
Катлер. Ты выполнял свои обязанности.
Вимс. В мои обязанности входило выудить у тебя признание и притащить в трибунал.
Катлер. Но ты же выполнял свой долг, не так ли? А для меня это есть быть человеком.
Вимс. Я не человек. Я — дерьмо.
Катлер. Дерьмо — тоже часть человека. Значит, все в порядке.
Вимс. И тебе не хочется пристрелить меня?
Катлер *(протягивает искалеченную руку)*. Чем?
Вимс. Я сейчас сожгу мои записи. *(Вытаскивает бумажки из кармана и поджигает их зажигалкой.)*

Катлер вырывает бумажки из рук Вимса и сбивает пламя.

Не надо! *(Пытается встать, но не может.)*

Катлер отползает от него.

Я не могу встать.
Катлер. Я сейчас подпишу эти записи.
Вимс. Не делай этого!

Катлер с трудом подписывает записи изуродованной рукой; Вимс пытается подползти к нему.

Катлер. Черт! Никто не поверит, что это моя подпись.
Вимс. Я разобью этот проклятый магнитофон! *(Разбивает его.)*
Катлер. К чему? У меня ведь остались записи.
Вимс. Ты не парень, а блеск, и если кто-то посмеет возразить против этого, ему придется иметь дело со мной.
Катлер. То же самое могу сказать и про тебя.
Вимс. Как тебя зовут, Катлер?
Катлер. Джордж. Приятели звали меня Трещотка. А тебя как зовут?
Вимс. Ричард. Мои приятели звали меня Тихоня.

Медленно ползут друг к другу, протягивая руки. Освещается кабинет президента. Президент и миссис Хейл в тех же позах, что и в последней сцене.

Миссис Хейл *(в трубку)*. Соедините меня с редакцией «Нью-Йорк таймс».

Президент поворачивается и с надменным видом выходит через дверь позади стола.
Миссис Хейл с ненавистью смотрит ему вслед.

Да, я жду.

Внезапно свет в кабинете президента гаснет. Слышны глухие звуки борьбы. Громкий стон.

Не-ет! *(Стонет.)*

Пауза, во время которой Катлер и Вимс подползают друг к другу и обмениваются рукопожатием. Зажигается свет в кабинете президента. Мы видим миссис Хейл, распростертую на столе в луже крови. Из груди ее торчит железный стержень с прикрепленным к нему плакатом пикетчиков: «Мы против войн, за любовь к ближнему!».

Катлер. Можешь теперь отпустить мою руку, Тихоня!
Вимс. Ты так считаешь? Но я не могу!

Затемнение в обеих частях сцены.

йствие II

Картина первая

Суини, Коул, Стайлс, Парсон сидят у стола президента. Они напряжены, бледны и беспокойно ерзают на стульях.

уини *(как бы про себя)*. Невероятно!
арсон *(как бы про себя)*. Черт знает что!
оул *(как бы про себя)*. Я не любил ее, но все же...
тайлс *(как бы про себя)*. Да, плохи дела.

Входит президент. Все встают. Он подходит к столу, но не садится.

резидент. Моя жена... *(Прочищает горло)*. Миссис Хейл скончалась пятнадцать минут тому назад. Не приходя в сознание.

Хор соболезнований, которым президент кладет конец, садясь в кресло.

Прошу вас. *(Предлагает всем сесть)*. Я знаю, как вы относились к ней. Тебе, Суини, она нравилась... я думаю, немного. Всем остальным... Все, что вы говорили за ее спиной, я говорил ей в лицо. Но все мы недооценивали ее. Она была лучшей частью моего «я». Моим моральным центром. Она ушла, и у меня нет больше желания выполнять мою миссию. Я говорю с вами совершенно откровенно. Положа руку на сердце. Однако президент является и главнокомандующим. Я не могу сидеть сложа руки в Белом доме...

Входит генерал Пратт. Спотыкаясь, подходит к своему креслу и садится.

Так же, как, например, генерал Пратт не может сидеть сложа руки на поле боя. Итак, за дело. Джентльмены, убийца проник в святая святых президента Соединенных Штатов. И если он один раз нанес удар, что помешает ему ударить снова? И снова? Нам всем грозит опасность, пока он не пойман. Чтобы избежать паники в стране, мы задержали сообщение о смерти миссис Хейл до тех пор, пока это преступление не будет раскрыто и мы не подготовим соответствующее объявление для американского народа. Однако кое-что все равно станет известно. У нас есть всего несколько часов. Господин министр юстиции.

Коул. Да, господин президент.

Президент. Принесите, пожалуйста, орудие убийства.

Общее возбуждение. Коул выходит и возвращается с плакатом пикетчиков на металлическом стержне.

Поднимите его так, чтобы всем было видно.

Стайлс *(читает)*. «Мы против войн, за любовь к ближнему!»

Парсон. Негодяи! Простите, господин президент.

Президент. Кто-нибудь из вас, джентльмены, видел этот плакат раньше?

Парсон. Мы видели массу таких плакатов в Пентагоне. Тысячи.

Стайлс. Мы все видели подобные плакаты.

Все подтверждают.

Президент. Что вы можете сказать о плакате, мистер Коул?

Коул. Я приказал снять отпечатки пальцев, господин президент. Обнаружены ясные отпечатки пальцев двух человек.

Стайлс. Что и требовалось доказать!

Президент. Установлено, чьи это отпечатки?

Коул. Да, сэр. *(Передает президенту конверт.)*

Президент достает бумагу и читает.

Президент. Одни отпечатки принадлежат мистеру Коулу.

Все резко поворачиваются к Коулу.

Другие принадлежат мне.

Все резко поворачиваются к президенту. Возгласы недоверия.

Мои отпечатки и ваши.

Картина вторая

Поле боя, залитое зловещим оранжевым светом. Катлер и Вимс лежат на земле, держась за руки.

Вимс. Я чувствую какой-то запах.

Катлер. Газа?

Вимс. Нет, по-моему, трупов.

Катлер. Трупы пахнут много хуже. А мне этот запах не мешает.

Вимс *(глубоко вдыхает)*. Да, пожалуй, ничего страшного. Мне никогда еще так легко не дышалось. Но я не могу мигать.

Катлер. Откуда ты знаешь?

Вимс. Потому что я не мигаю. А ты можешь мигать?

Катлер. Я стараюсь вообще не закрывать глаз. Иначе что-нибудь пропустишь. И потом — человек ведь знает, что всегда может мигнуть, если захочет.

Вимс. Наверно.

Катлер. Даже если мы этого не сознаем, все равно мы знаем. Знаем душе.

Вимс. Я всегда считал, что могу сделать все, что захочу.

Катлер. Этим мы и сильны.

Вимс. Но я просто не хочу.

Катлер. Это как раз то, что мы называем свободой.

Вимс. Я чувствую себя сейчас таким свободным, как никогда в жизни

Катлер. Это потому, что ты контролируешь свои поступки. Приятно что-то делать, но не менее приятно и чего-то не делать. Даже еще приятнее.

Вимс. Это когда ты стараешься превратить недостатки — ну то, что другие называют недостатками,— в преимущества.

Катлер. Можно даже быть рабом и быть свободным.

Вимс. Если хочешь им быть.

Катлер. Точно!

Вимс. А мне плевать, что говорят, мне нравится этот запах.

Катлер. Все зависит от того, к чему ты привык.

Вимс. Откуда мы знаем, что трупы плохо пахнут? А розы пахнут хорошо? Откуда же тогда розовая лихорадка? Что нам втемяшили в башку, то мы и думаем...

Катлер. Не так страшен черт, как его малюют.

Вимс. Ты знаешь, что мы все время держим друг друга за руки?

Катлер. У меня уже ничего не болит.

Вимс. Слушай, Трещотка. Что если вот такая штука, как у нас с тобой — когда руки соединены вместе,— это уже следующая стадия?

Катлер. Стадия чего?

Вимс. Эволюции. Все соединены между собой. Может, то, как мы раньше жили, было противоестественно. А это естественно. Ну, как мы сейчас. Ты и я. А потом кто-нибудь придет — скажем, спасательный отряд,— они дотронутся до наших рук, и уже ничем их не разнимешь. А потом придут даго и увидят отряд, который держится за руки. Думаешь, они станут стрелять? Они не смогут стрелять. Потому что в этом дыхание будущего. И они возьмут нас за руки.

И потом все больше и больше ребят будет подходить — и наших и чужих, и краснокожих и чернокожих... Они увидят эту гирлянду рук. И бросят оружие. И грохнет так, точно разорвалась бомба,— когда все побросают оружие. И они тоже возьмут нас за руки, и не будет больше причины воевать, потому что мы станем единым целым с миллионами спаянных рук. И все будут участвовать в хороводе. Никто не останется в стороне.

Пауза. Оба лежат неподвижно.

Катлер *(глубоко вдохнув воздух)*. Как клевер в поле.
Вимс. О чем ты думаешь, Трещотка?
Катлер. Хорошо. *(Делает глубокий вдох)*. Я чувствую себя на седьмом небе.

Затемнение.

Картина третья

Кабинет президента.

Президент. Вы признаете себя виновным, мистер Коул?
Коул. Нет, сэр.
Президент. Я тоже. Давайте рассмотрим его получше.

Коул передает президенту плакат пикетчиков.

Я всегда полагал, что эти стержни деревянные. А это металл. Сталь.
Суини. Сталь!
Президент. Ну, а вы, министр обороны, что по этому поводу можете сказать? *(Передает плакат Парсону.)*
Парсон. Обыкновенный картонный плакат. На стальном стержне. Закреплен с помощью проволоки. Суини? *(Протягивает плакат Суини.)*

Суини стоит, застыв от ужаса.

Суини. Я не хочу касаться его.

Парсон пожимает плечами и передает плакат Стайлсу.

Стайлс. Как они могли пронести такую большую штуковину в Белый дом?
Президент. Правильный вопрос.

Стайлс передает плакат Пратту.

Пратт. Благодарю вас. *(Ощупывает стержень.)* Ой! Конец весь в зазубринах. Как будто его сломали в этом месте.
Коул *(подходит и берет плакат у Пратта)*. Он прав. Здесь что-то было. Тут что-то отломали.
Президент. Итак, мы исследовали орудие убийства и сделали несколько интересных открытий. Опора не деревянная, а стальная. Конец ее зазубрен. Что-то было отломано, и, следовательно, в своем первоначальном виде предмет этот выглядел иначе, чем сейчас. И, наконец, мистер Стайлс поднял интересный вопрос: как можно было пронести столь заметный предмет в Белый дом? Давайте посмотрим, что нам скажут отпечатки пальцев. Мистер Коул?
Коул. Отпечатки были обнаружены вот тут. С обратной стороны.
Суини. С обратной?
Коул. Примерно в трех дюймах от верха. Первые и самые ясные отпечатки принадлежат вам, господин президент. Левая рука — вы-

ше, правая — ниже. И обе руки крепко держат стержень, большими пальцами внутрь, вот так.

Президент *(встает и показывает положение рук)*. Что-то в этом роде?

Коул. Большой палец левой руки должен заходить на правую.

Президент. Так?

Коул. Вот теперь правильно.

Президент *(пытается нанести разящий удар сверху вниз)*. Довольно неудобное положение, если ты не левша и хочешь поразить кого-нибудь насмерть. А я не левша. Теперь расскажите нам о ваших отпечатках, мистер Коул.

Коул. Мои отпечатки не такие свежие, как ваши. Но положение рук у меня примерно такое же.

Президент. И вы тоже не левша?

Коул. Нет, сэр.

Президент. Значит, вы свободно владеете обеими руками?

Коул. Нет, сэр. Можете проверить в моем личном деле. Но так или иначе ваши отпечатки более свежие, чем мои.

Суини. Это же совершенно невозможно.

Президент. Что невозможно, профессор Суини?

Суини. Нельзя обхватить стержень с обратной стороны плаката, если плакат не снят.

Коул протягивает ему плакат. Суини отшатывается.

Нет уж, вы сами пробуйте. Там же нет места для пальцев.

Коул. Он прав.

Парсон пробует обхватить стержень.

Парсон. Пальцы не проходят. *(Протягивает плакат Стайлсу.)*

Стайлс *(отмахиваясь)*. Я вам верю. Но что это доказывает?

Суини. А то, что отпечатки пальцев уже были на стержне до того, как к нему прикрепили плакат.

Пратт. То есть до убийства.

Суини. Вот именно!

Стайлс. Отпечатки можно нанести искусственно.

Президент. Не думаю, чтобы эти отпечатки были нанесены искусственно.

Суини. Но как же они туда попали?

Президент. Внимательно поглядите на стержень, мистер Коул. Он вам ничего не напоминает?

Коул. Нет, сэр.

Президент. Это потому, что вы глядите на него и видите лишь плакат пикетчиков — не более. А попробуйте мысленно продолжить стержень от надломленного места — как он будет выглядеть?

Коул. Нет, я этого себе представить не могу.

Президент. У кого-нибудь возникли какие-либо ассоциации?

Парсон *(медленно)*. Да...

Президент. Что же это?

Парсон пожимает плечами.

Профессор Суини?

Суини. Эта штука вызывает у меня немало ассоциаций. Я пытаюсь в них разобраться.

Президент. Мистер Стайлс?

Стайлс отрицательно качает головой.

Мистер Коул, мне кажется, вы говорили утром, что оставили в приемной клюшки для гольфа. Не можете ли вы пойти туда и принести тяжелую клюшку — драйвер.

Коул *(не двигаясь)*. Вы хотите сказать, что это мой драйвер? *(Берет в руки плакат.)* Да, это мой драйвер. *(Смотрит на президента с ужасом.)* О господи! Это моя клюшка! *(Падает в кресло.)* Моя клюшка, мой драйвер...

Парсон. У меня мелькнула такая догадка...

Суинн. Ну, конечно! Вы же говорили утром, что не могли удержаться от соблазна, и попрактиковались — помахали этим... этим...

Президент. Драйвером мистера Коула.

Суинн. Это так называется? Я ведь не играю в гольф.

Президент. Вы помните, что я говорил вам об этом, мистер Коул?

Коул. Да, сэр. Но моя клюшка... клюшка...

Президент. А вы это помните, министр обороны?

Парсон. Нет, что-то не припоминаю, господин президент.

Президент. А вы, мистер Стайлс?

Стайлс. Конечно, вы это говорили. Я сидел вот тут, на этом же месте.

Президент. Ну, а вас в то время здесь не было, генерал Пратт.

Пратт. Совершенно верно: не было, сэр.

Парсон. Теперь вспоминаю! Помню.

Президент. Ну что ж, за короткое время мы немало выяснили. Мы уже знаем, что орудие убийства — не палка от плаката пикетчиков, а стержень клюшки для гольфа с отломанным концом. Теперь ясно, откуда взялись и отпечатки пальцев. Так, что же мы еще узнали? Мы узнали, что убийца затратил немало усилий, чтобы отпечатки пальцев президента были обнаружены на орудии убийства.

Парсон. Хотел вместо себя подставить другого!

Суинн. Но как он мог рассчитывать на успех?

Президент. Рассчитывать на успех он, конечно, не мог. Он только рассчитывал помешать расследованию, возможно, даже сорвать его. Дело в том, что эти отпечатки пальцев свидетельствуют о двух вещах. Они являются признанием.

Суинн. Признанием?

Президент. И предупреждением.

Суинн, Парсон. Предупреждением?

Президент. Признанием и предупреждением. Убийца признается в том, что знал об отпечатках моих пальцев на клюшке, и одновременно предупреждает меня, что знать он об этом мог лишь в том случае, если сидел в одном из этих кресел, когда я рассказывал мистеру Коулу, что держал в руках его клюшку сегодня утром.

Коул. Господин президент!

Президент. Да, мистер Коул?

Коул. Стоит ли продолжать эту линию? Разумно ли это?

Стайлс. Должно быть, есть и другое объяснение всему.

Все начинают говорить сразу.

Президент *(ударяет рукой по столу.)* Вы думаете, я веду эту линию из личных соображений? Ларец Пандоры, вселяющий страх и сомнения, стоит открытый между нами, и мы, все до единого, будем безжалостно втянуты в него.

Коул. Можно мне изложить иную точку зрения?

Президент. Я жажду ее услышать.

Коул. Прежде всего, господин президент, должен сказать, что вы, по-моему, исключительно умело проводите расследование этого дела.

Одобрительный хор голосов. Президент наклонением головы дает понять, что принимает комплимент как должное.

Убийство миссис Хейл было ошибкой. Это ясно. Кто-то из нас по
дался панике. Но кто бы это ни был, он, несомненно, думал толь
об интересах Америки. Его побуждения были неправильны, во
можно, даже безумны, но они были порождены любовью к роди
любовью, которой не разделяла Первая леди. Убийца верил в еди
ство нашего правительства — *вашего* правительства, которое Пе
вая леди непрестанно пыталась разобщить. Я вовсе не оправдыва
зверское убийство вашей супруги, господин президент: я знаю, к
она была вам дорога. Но ларец Пандоры, вселяющий страх и с
мнения,— если пользоваться вашей системой образов — вы все рав
не заколотите, устраивая охоту за ведьмами среди ваших советн
ков. Не обольщайтесь. Это расследование неизбежно превратит
в охоту за ведьмами, которая вытащит на свет божий уйму слухо
лжи, полуправды, инсинуаций. Если мы пойдем по этому пути, м
сами уничтожим себя, причем так, как и не снилось нашим зле
шим врагам.

Президент. Вы предлагаете прекратить расследование?

Коул. Да, сэр. В интересах национальной безопасности.

Президент *(холодно)*. Речь идет о моей жене, мистер Коул, а не
каких-то там бразильцах. Поэтому мы продолжим расследовани
Мистер Коул, мистер Парсон, мистер Стайлс, профессор Суини, г
нерал Пратт, кто-либо из вас видел или слышал сегодня утром-
до, во время или после нашего совещания, — что-нибудь такое, что
свете последних событий требует выяснения?

Мертвая тишина.

Мистер Коул, где вы находились во время убийства?

Коул. Вы серьезно хотите, чтобы я ответил на этот вопрос?

Президент. Можете проконсультироваться с адвокатом.

Коул *(холодно)*. Вы знаете, где я был. Там, где были мы все. В при
емной. Составляли список заслуживающих доверия журналистов,
которым мы могли бы передать информацию о бразильском отряде
смертников.

Президент. И вы все были там?

Все кивают.

И никто ни разу не выходил?

Все отрицательно качают головой.

И ни разу никто не видел, чтобы кто-то вышел?

Все отрицательно качают головой.

Это ставит вас в несколько затруднительное положение, генерал
Пратт. Вас ведь не было с ними.

Пратт. Нет, сэр.

Президент. Вы были один.

Пратт. Я слепой, наполовину парализованный человек, господин пре-
зидент.

Президент. Старый ночной охотник, как вы себя сами назвали.

Пратт. Но меня не было в комнате, когда вы говорили о гольфе.

Президент. Это верно.

Пратт. Кроме того, я не все время был один.

Президент. Не все время?

Пратт. Кто-то открывал дверь.

Президент. Кто?

Пратт. Кто-то открыл дверь и, должно быть, увидел, что комната за-
нята. Во всяком случае, дверь сразу же закрылась.

Президент. Вы имеете представление о том, кто это мог быть?

Пратт. Он пробормотал что-то вроде «извините». Я толком не расслышал.
Президент. Могли бы вы узнать голос, если б снова услышали его?
Пратт. У меня острый слух.
Президент. Мистер Коул, прошу вас, произнесите «извините» для генерала Пратта.
Коул. Извините.
Пратт. Тот ведь бормотал.
Коул *(бормочет)*. Извините.
Пратт. Похоже.
Коул. Я туда не заходил!
Президент. Все со временем узнается, мистер Коул. Министр обороны, теперь ваш черед.
Парсон. Извините.
Пратт. Я не слышу.
Президент. Прошу вас погромче, министр.
Парсон. Извините.
Пратт. Похоже.
Президент. Профессор Суини, ваша очередь.
Суини. Извините.
Президент. Нормальным голосом, профессор Суини.
Суини. А это мой нормальный голос.
Президент. Неправда. Вы произнесли это каким-то фальцетом.
Суини. Я как-то не заметил. Извините.
Пратт. Это он! Он!
Суини. Ничего подобного. Я туда не заходил.
Пратт. Это было ваше «извините»! Готов держать пари.
Суини. Я и не думал заходить в ту комнату! Я заходил в другую!
Президент. Вы — что?
Суини. Заходил позвонить по телефону. Вы просили меня здесь, не сходя с места, составить описание СБ-97. Мне надо было позвонить в управление, чтоб получить кое-какие сведения. Но я не открывал двери в комнату, где сидел генерал Пратт! И я не говорил «извините».
Пратт. Это он, он!
Президент. Но вы выходили звонить по телефону?!
Суини. Всего на одну минуту.
Президент. Почему же никто из вас не сообщил, что профессор Суини выходил из комнаты звонить по телефону?
Парсон. Должно быть, я не видел, как он выходил. Я сам звонил по телефону.
Президент. Из приемной?
Парсон. Нет, из приемной говорил Стайлс, поэтому я пересек холл и отыскал пустую комнату.
Президент. Мистер Стайлс?
Стайлс. Клянусь, я думал, что они все были там. Вы же знаете, что я не умею отвлекаться, когда говорю по телефону.
Президент. Ну, а где же все это время были вы, мистер Коул? Сидели тихонько в уголке? Может быть, забавлялись своими клюшками для гольфа?
Коул. Я говорил по телефону.
Президент. Откуда?
Коул. Мне пришлось подняться в комнату Линкольна. Стайлс, Суини и Парсон заняли все телефоны внизу.
Президент. Вы заходили в ту комнату, где был генерал Пратт, чтобы проверить, не свободен ли телефон?
Коул. Нет. И я не говорил «извините».

Пратт. Вполне мог быть он.

Президент. Таким образом, все вы, точнее, каждый из вас мог вы тащить драйвер из мешка с клюшками...

Пратт. Я знать не знал об этом мешке.

Президент. Все, кроме генерала Пратта.

Суини. Я не играю в гольф. И драйвер не сумею отличить от любой другой клюшки, даже если им меня огреют. Я хочу сказать...

Президент. Все, кроме генерала Пратта и профессора Суини.

Коул. В том случае, если Суини говорит правду, что не играет в гольф.

Суини. Я уверен, что это значится в моем личном деле в министерстве юстиции.

Коул. Не думайте, что я не проверю.

Президент. Не увлекайтесь, мистер Коул.

Коул. Простите, господин президент. Но это и есть проявление взаимного недоверия, о чем я вас предупреждал.

Президент. *Предупреждали меня? Предупреждали* президента Я хочу вам кое-что сказать. Вам всем. Сказать, как я разочарован в вас. Как горько разочарован. Как моя вера в вас — вас всех — теперь подорвана вашим нежеланием мне помочь. Вашей изворотливостью.

Парсон. Господин президент. Могу я сказать несколько слов?

Президент, подавив гнев, кивает головой.

Я крайне обеспокоен ходом этого дела. Думаю, что мы идем по неправильному пути. А ведь мы могли бы обратить эту трагедию на благо себе. Слишком часто в прошлом мы были жертвами обстоятельств, и похоже, что так складывается ситуация и теперь. Мы ведем тяжелую войну. Боевой дух наших солдат оставляет желать лучшего. Он падает. И одной из причин его падения является отсутствие поддержки в тылу. Именно на этот фактор и делают ставку наши враги. Они знают, что не могут разбить нас на поле боя, но могут побить нас в нашем собственном доме. А всё потому, что народ наш не понимает, зачем мы ведем войну. Люди смотрят военную хронику по телевизору и воспринимают это как любой другой телеспектакль. Это факт: я читал исследования по этому вопросу. И вот что я хочу сказать: если бы мы могли приблизить войну к нашему народу, обеспечить в тылу поддержку наших боевых действий — это изменило бы все на свете! Следовательно, вопрос стоит так: будем ли мы по-прежнему позволять событиям управлять нами или проявим инициативу и возьмем судьбу в свои руки.

Президент. Извините, но я что-то не понимаю, о чем это вы.

Парсон. Моя рекомендация, господин президент, заключается в том, что Первая леди была убита бандой бразильских террористов-смертников.

Затемнение.

Картина четвертая

Поле боя, залитое зловещим желтым светом.

Катлер. Хочешь увидеть нечто фантастическое? Можешь чуть приподняться?

Вимс. Пожалуй, могу.

Катлер. Посмотри туда. Видишь эти две руки?

Вимс. А как они попали туда?

Катлер. Должно быть, откатились.

Вимс. Я не помню, как они от нас отделились, а ты?
Катлер. Это и есть самое главное. Здорово! Как будто это в порядке вещей.
Вимс. Как новая форма жизни.
Катлер. Именно об этом я и думал. Все руки на свете становятся одной рукой.
Вимс. И наши — первые. Посмотри, как они крепко сцепились.
Катлер. Мы им не нужны.
Вимс. Они нужны друг другу.
Катлер. Потому что они — это все равно что мы.
Вимс. А мы — все еще мы?
Катлер. Мы — частица себя. И всегда ею будем.
Вимс. Но главная часть нас...
Катлер. Главная часть? А кто знает, что есть главная часть?
Вимс. Я никогда такого не испытывал — не знаю, право...
Катлер. Чего?
Вимс. Смешно сказать — такой целостности. И в то же время я чувствую, как от меня отделяется нога.
Катлер. Швырни ее туда, где лежит моя.
Вимс. А я не вижу твоей. Я вообще что-то плохо вижу. И мне трудно говорить.
Катлер. Но мне не трудно тебя понимать.
Вимс. Тебе не кажется странным мой голос?
Катлер. Он звучит, как и должен теперь звучать.
Вимс. Я весь распадаюсь на части.
Катлер. Это я и имел в виду.

Затемнение.

Картина пятая

Кабинет президента. Все, как и прежде.

Коул. Ничего из этого не выйдет.
Стайлс. Может быть. Но направление правильное. В конце концов мы сдвинулись с места.
Парсон. А почему не выйдет?
Коул. Не можем же мы валить все, что происходит, на бразильских смертников.
Парсон. В таком случае, может быть, приписать им это и подобрать что-нибудь другое для СБ-97?
Коул. Потому что версия насчет СБ-97 слишком уж притянута за уши.
Суинни. Но ведь мы уже приняли решение.
Парсон. Я за то, чтобы его изменить. Бразильские диверсанты важнее нам здесь, если мы хотим, чтобы американский народ поддержал нас в этой войне.
Коул. А почему нельзя обвинить в этом коммунистов? Или какую-нибудь группу защитников мира?
Стайлс. Мне безразлично, кого мы назовем. Но на одном я настаиваю. Мы не можем допустить, чтобы ее убили в Белом доме.
Парсон. Почему?
Стайлс. Потому что до выборов осталось меньше шести недель. Эта история показывает, что мы абсолютно беспомощны.
Коул. Стайлс прав. Надо, чтобы ее убили в другом месте.
Суинни. Но где?
Коул. Тим, где у нас больше всего беспорядков?
Стайлс. В больших городах, если судить по данным опросов.
Коул. Значит, мы спокойно можем объявить, что ее убили в Нью-Йорке.

Стайлс. В Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско — какая разница?
Коул. Мы можем даже вызвать сочувствие избирателей.
Стайлс. Если делать на это ставку, я бы исключил Нью-Йорк. Лучш Чикаго.
Парсон. В Чикаго много коммунистов. Мы не можем это использ вать?
Стайлс. Мне бы очень хотелось помочь тебе в этом высокоблагоро ном деле, Бифф, но чем больше я об этом думаю, тем меньше вид возможностей.
Коул. Давайте не будем забывать о плакате пикетчиков.
Суини. «Мы против войн, за любовь к ближнему!»
Коул. Я предпочитаю взвалить это на какую-нибудь группу защи ников мира.
Пратт. Или на студентов.
Парсон. А почему не спихнуть это на черномазых?
Стайлс. В Чикаго их полно.
Суини. Почему мы всегда ищем левых злоумышленников? Почему б на этот раз не выбрать берчистов?
Парсон. Опомнись, Суини! Берчистов?! Берчисты — и «Мы проти войн, за любовь к ближнему!»?
Суини. Я просто не понимаю, почему надо всегда искать среди л вых. Да и никто не поверит, что они ее убили. Она была проти войны, за негров и за студентов.
Стайлс. А он прав. В самом деле, никто этому не поверит.
Парсон. А я думаю, поверят.
Пратт. Вполне можно было сказать, что это негры.
Стайлс. Вы отстали от жизни, генерал. Это исключено.
Коул. Так кто же это сделал?
Суини. А почему она непременно должна быть убита?
Стайлс. Неплохой вопрос, Суини.
Коул. Что же с ней произошло — несчастный случай?
Парсон. Авиационная катастрофа?
Суини. Автомобильная?
Пратт. Несчастный случай на охоте?
Парсон. Неизлечимая болезнь?
Пратт. Воспаление легких?
Коул. Это затяжная штука.
Пратт. Рак?
Стайлс. Плохо выглядит.
Коул. И опять-таки требует много времени.
Парсон. Инфаркт!
Суини. Я знаю: пищевое отравление!
Коул. Пищевое отравление...
Парсон. Пищевое отравление...
Стайлс Мне это нравится!
Пратт. Пищевое отравление в Чикаго. Вполне могло случиться.
Суини *(гордо)*. Ну, что скажете, господин президент?
Президент. Что скажу? Что я скажу? Скажу, что вы бесчеловечн Вы же говорите о моей жене. Вы бы послушали себя! Первая лед Она же была человеком. Человеком!.. Какой-то сумасшедший до Один из вас убил — убил живую женщину, и всем это совершен безразлично. Куда девались ваши человеческие чувства?

Неловкая пауза.

Коул. Извините меня, господин президент, но мне кажется, вы сли ком все упрощаете. Я глубоко вам сочувствую...
Парсон. Как и все мы.

Коул. И мы поражаемся удивительному умению, с каким вы вели это расследование — до сих пор.

Пратт. Но мы должны быть реалистами.

Коул. Мы должны быть реалистами. Это вовсе не означает, что у нас нет человеческих чувств и сострадания.

Пратт. У нас есть человеческие чувства.

Коул. Но есть разница между тем, как остро чувствующий человек должен вести себя, будучи на государственном посту, и в личной жизни.

Суини. И мы, люди, находящиеся на государственном посту, несем самое тяжкое бремя.

Гарсон. Наша обязанность — защищать национальные интересы.

Суини. Наша обязанность — поступать так, как нужно.

Коул. Наша обязанность — делать так, как лучше.

Пратт. Это не значит, что мы бесчеловечны.

Суини. Во всех своих рекомендациях мы исходим из соображений гуманности.

Гарсон. И только враги человечества могут извлечь пользу из наших разногласий.

Суини. Все это очень сложно.

Коул. Мы не можем упрощать.

Пратт. Америка погибнет.

Президент. Мне хотелось бы сразу кое-что уточнить, чтоб потом не было путаницы. Это ваше единодушное мнение — правильно? — что Первая леди умерла не в Белом доме?..

Все. Да... да... правильно...

Президент ...что она не была убита...

Все. Нет... только не убита... это невозможно...

Президент. ...что она где-то и как-то умерла... умерла от чего-то?..

Все. Да, да, да...

Президент. ...в результате несчастного случая?..

Все. Очень хорошо!.. Прекрасно!.. Прекрасно!..

Президент. Я приму вашу рекомендацию к сведению. Теперь продолжим наше расследование. Мы продвинулись в нем до определенного места. Мне хотелось бы пойти дальше.

Все *(не очень дружно)*. Нет!

Президент. Вы считаете, что обсуждение этого вопроса даже в нашей среде ставит под угрозу национальную безопасность?

Все *(не очень дружно)*. Да!

Президент. Слишком много у нас угроз. Придется быть посмелее— вот и все. Так вот: мы подходим к главному вопросу нашего расследования. Вопросу, который был поставлен министром почты и телеграфа. Каким образом столь заметный предмет, как плакат, был пронесен в Белый дом? Ведь это же действительно большой кусок картона. Пронести его под пальто невозможно. Как же один из вас сумел пронести его сюда? Что вы скажете, мистер Коул? Вы уже так много сделали для нашего расследования.

Молчание.

Министр обороны, вы славитесь вниманием к деталям.

Молчание.

Профессор Суини, вы всегда поражаете меня уменьем объяснять ваши исследования созидательными целями.

Молчание.

Мистер Стайлс, вы самый прагматичный из всех собравшихся в этой комнате прагматиков.

Молчание.

Генерал Пратт, ужели онемел самый боевой герой нашей нации?

Молчание.

Ну, что ж, видимо, придется мне самому заняться этим. Давай внимательно посмотрим на этот плакат. *(Срывает его со стержня.)* Он слишком велик и в таком виде не войдет ни в один из ваших портфелей. А его не складывали. Конечно, его можно было бы пронести под рубашкой, но тогда кому-то из вас пришлось бы держаться так прямо, что это было бы сразу замечено. Впрочем, вы, генерал Пратт, могли бы его пронести, и это не было бы заметно.

Все смотрят на Пратта.

Однако мундир на вас так плотно пригнан, что картон не мог в нем помяться. А он не помят. Вы снова вне подозрений, генерал Пратт. Это какая-то мистика. Как же все-таки можно пронести в Белый дом плакат размером восемнадцать на двадцать четыре дюйма — и чтоб никто этого не заметил. Министр обороны, вы не хотите еще раз попытать счастья?

Молчание.

Вы меня огорчаете, Парсон. Я так надеялся, что вы скажете: «Его никто бы не заметил, если бы я пронес его среди моих бразильских оперативных карт».

Все, кроме Парсона, медленно встают. Парсон и президент продолжают сидеть, мрачно глядя друг на друга.

Затемнение.

Картина шестая

Поле боя, залитое зловещим красным светом. На земле отдельно друг от друга лежат головы, руки, туловища Катлера и Вимса.

Вимс. Ты меня видишь, Трещотка?

Катлер. Уже нет.

Вимс. Я тоже ничего не вижу. Ты не видел, куда откатилась моя голова?

Катлер. Нет.

Вимс. Надеюсь, что недалеко от моей руки. А то у меня нос чешется.

Катлер. Я ничего не чувствую.

Вимс. Ты думаешь, мы умираем?

Катлер. Я не знаю, что это, но мне хорошо.

Вимс. Вся моя прошлая жизнь проходит у меня перед глазами, а я ничего не узнаю.

Катлер. А ты видишь, как ты был бойскаутом?

Вимс. Да.

Катлер. А футбол там есть?

Вимс. Да.

Катлер. А воскресное утро в церкви — ваш семейный автомобиль — спокойная атмосфера дома — старый пруд, где купались мальчишки,— домашнее печенье — драка со школьным забиякой — девочка-соседка — горькое разочарование?

Вимс. Да, да.

Катлер. По-моему, у тебя мое прошлое. А у меня, должно быть, твое.

Вимс. Мы поменялись прошлым.

Катлер. Мы разделили его.

Вимс. У всех людей одна и та же история. В этом-то и секрет.

Катлер. И никто об этом не знает.

Вимс. Никто не знает секрета.

Катлер. А кто узнает, тот молчит.
Вимс. Или говорит о другом.
Катлер. Потому что знает.
Вимс. Все это знают.
Катлер. Значит, не нужно...
Вимс. Говорить.
Катлер. И видеть.
Вимс. Или производить впечатление.
Катлер. Или вообще что-то делать.
Вимс. Потому что достаточно знать.
Катлер. Вот почему другие и не знают.
Вимс. А как ты думаешь, что было бы, если бы мы начали говорить об этом?
Катлер. Войнам пришел бы конец.
Вимс. И насилию.
Катлер. И душевным страданиям.
Вимс. Все люди стали бы братьями.
Катлер. И все возлюбили бы друг друга.
Вимс. И наступило бы всеобщее равенство.
Катлер. И благородство чувств.
Вимс. Если бы только они знали, в чем секрет. Так как же ты его находишь?
Катлер. Что?
Вимс. Мое прошлое.
Катлер. Отличное у тебя было прошлое, Тихоня. Теплое. Гуманное.
Вимс. Ты уверен?
Катлер. Типичная у вас была семья — сплачивалась, когда было трудно, любила свою страну. Рано утром вставала, чтобы работать в поле: отец уже давно трудится, а тебя и пятерых твоих братьев мать поднимает с постели, изнуренная работой женщина со смеющимися глазами...
Вимс. Это не мое прошлое.
Катлер. Твою мать зовут Консуэла?
Вимс. Нет.
Катлер. А ты, когда был мальчишкой, сажал кофе?
Вимс. У тебя прошлое какого-то даго.
Катлер. Неплохое прошлое.
Вимс. А где же он сам, этот даго?
Катлер. Там. Где-нибудь. Ты знаешь, что это значит, Тихоня?
Вимс. Это значит, что мы все одно целое.
Катлер. Это значит, что я отравил не только своих солдат. Я прихватил и даго. По крайней мере, одного даго.
Вимс. У тебя его прошлое.
Катлер. Значит, я все-таки одного прихлопнул. А может, и больше.
Вимс. И все мы лежим здесь — обмениваемся тайнами.
Катлер. А может, и много больше? Может, я убил дюжину, несколько дюжин. Может, даже сотню! Ничего себе — сотню забрать с собой, уходя на тот свет!
Вимс. Не надо так уходить.
Катлер. Ты шутишь? Не надо уходить с таким блеском? А сколько даго ты забираешь с собой?
Вимс. Ты забыл все, о чем мы с тобой говорили, Трещотка!
Катлер. Ты мне завидуешь!
Вимс. Даго, ты и я — мы одно.
Катлер. Это ты с ними заодно, ты — перебежчик! Почему ты хочешь лишить меня моей победы, моих даго?
Вимс. Ты теряешь секрет.

Катлер. Ничего я не теряю. Я храню все секреты. Все секреты с грифом «Совершенно секретно — Космос».

Голова Вимса придвигается к голове Катлера.

Вимс. Не нужна мне твоя черная рука! Ты не человек. Ты не американец. Ты — даго.

Вимс. Я даго, ты — даго...

Катлер. Даго!

В руке его появляется пистолет.

Вимс. Все мы...

Пистолет в руке Катлера стреляет в Вимса.
Тишина.

Катлер. Неплохо! Здорово! Полный блеск!..

Затемнение.

Картина седьмая

Кабинет президента. Всё, как прежде.

Стайлс. Господин президент!

Президент *(не сводя глаз с Парсона)*. Да, мистер Стайлс?

Стайлс. У меня есть срочный вопрос, который я должен обсудить с вами. Наедине.

Президент *(саркастически)*. Здесь всем можно доверять, мистер Стайлс.

Стайлс. Наедине.

Президент *(поворачивается к Стайлсу)*. Это имеет отношение к нашему расследованию?

Стайлс. Я никогда зря не отнимал у вас времени.

Президент. Прошу вас всех, джентльмены, посидеть в приемной. И на этот раз, прошу, никаких звонков.

Все выходят. Стайлс садится.

Стайлс. Я знаю тебя с тех пор, как ты начал заниматься политикой.

Президент. Ты и приобщил меня к политике.

Стайлс. Был бы рад об этом забыть. Ты ведешь себя как последний дурак!

Президент. Поосторожнее!

Стайлс. О, ради всего святого, перестань важничать и спустись на землю. Эмерсон, ты попал в большую беду, и один только я могу тебя из нее вызволить.

Президент. Меня не волнуют выборы. Единственное, что меня волнует, это то, что Парсон убил Эвелин.

Стайлс. Убил? Каким же образом?

Президент. Ты сам знаешь.

Стайлс. Я? А откуда он мог знать, что она была здесь? Она не проходила через приемную. Я был там вместе с Парсоном и не видел ее.

Президент. Она сидела в моем малом кабинете. Там, за этой дверью. Она всегда ждала там, пока я освобожусь.

Стайлс. Как же мог Парсон знать, что она там?

Президент. Должно быть, знал.

Стайлс. Он не мог этого знать. Никто из нас не мог. Хотя нет, неправда. Один из нас мог.

Президент. Кто?

Стайлс. Ты.

Президент. Ты, кажется, зря отнимаешь у меня время.

Стайлс. Потому-то ты так и стремишься спихнуть все на Парсона?
Президент. Убирайся!
Стайлс. Ты не можешь отрицать, что у тебя были на то причины. Если бы она была моей женой, я бы серьезно подумывал о том, что надо ее убить.
Президент. Я любил Эвелин!
Стайлс. Она же на глазах у всех высмеивала тебя. Вызывала к тебе презрение.
Президент. Неправда!
Стайлс. Ты считаешь, что она не навлекала на тебя презрение?
Президент. В этом ты, пожалуй, прав. Но если бы из-за этого людей убивали, то произошло бы массовое истребление жен по всей стране.
Стайлс. У кого еще, кроме президента, была возможность пронести плакат в Белый дом?
Президент. Я не намерен больше выслушивать подобную чепуху.
Стайлс. Это такая же чепуха, как и те трескучие фразы, которыми ты нас пичкал!
Президент. Ну как же я мог взять клюшку Коула, когда все вы находились в это время в приемной?
Стайлс. Мы выходили. Ты сам заставил нас в этом признаться.
Президент. Но ты же не выходил. Ты висел на телефоне.
Стайлс. Это верно. И я должен был бы видеть тебя.
Президент. Значит, я не мог взять драйвер Коула.
Стайлс. Нет.
Президент. А Парсон взял!
Стайлс. Ты сам говоришь, что я бы увидел тебя,— как же в таком случае я мог не заметить Парсона? Ну, хорошо, допустим, он взял клюшку. Что он делает потом? Идет в твой кабинет, отламывает у клюшки биту, выуживает плакат из своих карт, прикрепляет его к стержню и пронзает им твою жену, которая сидит тут за столом и наблюдает за всем, что происходит.
Президент. Да... Эта версия не годится.
Стайлс. Забудь ты о Парсоне! Он не знал, что она была здесь.
Президент. А кто знал?
Стайлс. Никто не знал.
Президент. Никто?
Стайлс. Даже убийца не знал. Он метил вовсе не в миссис Хейл.
Президент. О, господи, значит, он метил в меня?!
Стайлс. Да!
Президент. Но как же можно было так ошибиться...
Стайлс. Должно быть, это произошло в темноте.
Президент. Совершенно верно, в темноте. Парсон выключил свет, взял плакат...
Стайлс. Я же сказал тебе: забудь про Парсона. Как он мог найти плакат без света?
Президент. Ну, а кто, кроме Парсона, мог пронести плакат в Белый дом?
Стайлс. Вовсе не обязательно было его проносить. Он мог попасть сюда иным путем.
Президент. Никакого иного пути быть не может!
Стайлс. А почта?
Президент. Его отправили по почте?
Стайлс. А почему бы и нет? Убийца отправил его — ну, скажем, два дня назад. Он мог даже отправить его вместе со стержнем, но передумал, решив, что куда заманчивее получить отпечатки пальцев президента на орудии убийства. Итак, он отправляет плакат в

каком-нибудь пакете, и если у него есть хотя бы малейшее пр ставление о том, как работает почтовая экспедиция Белого до он знает, что пройдут недели, пока пакет вскроют. Когда у него г готово, он идет в экспедицию, забирает плакат, вытаскивает клю ку, отламывает биту при помощи какого-нибудь инструмента в э педиторской и большими скрепками прикрепляет плакат клюшке.

Президент. Зачем так много сложностей?

Стайлс. А кто делает что-нибудь просто в Вашингтоне?

Президент. Нет, это немыслимо! В таком случае его должны б ли бы видеть в экспедиторской.

Стайлс. А может быть, ему безразлично, видели его или нет.

Президент. Но ему не может быть безразлично!

Стайлс. Допустим, что это не волнует его, поскольку он знает, ч даже если его и видели в экспедиторской, никто этого не свяжет убийством в Белом доме, потому что, кроме нас пятерых, никто будет знать, что в Белом доме совершено убийство. Я говорю пят рых, а не шестерых, потому что ты тоже не должен был об эт знать. Ты должен был пасть жертвой.

Президент. Но тогда этого нельзя было бы скрыть!

Стайлс. Вице-президент — лояльный член нашей партии, убежде ный американец и очень честолюбивый человек. Не менее лоял ный, убежденный и честолюбивый, чем его предшественник. То ес ты. Вице-президент не пожелал бы гибели своей партии, не захот бы наносить ущерб своей стране и лишать себя всякой возможн сти когда-либо стать президентом, выдав суду убийцу, каковы является председатель партии.

Президент. Помилуй бог, Тим, о чем ты говоришь?

Стайлс. Я убил твою жену. В темноте. Она сидела за твоим столо чертова баба. Откуда я мог знать? Это была ошибка, но мож быть, это не имеет значения.

Президент. Боже мой, ты хотел меня убить! Но почему? Мы ж друзья!

Стайлс. Ты провалился бы на выборах.

Президент. Ничего подобного. Я бы выкарабкался.

Стайлс. Страна устала от постоянных кризисов. В прошлый поне дельник я видел результаты предварительного голосования, и бы ло ясно как день, что мы вылетаем из обоймы, если у нас не буд нового кандидата. Человека, не связанного с твоими ошибками.

Президент. И ты задумал убить меня в Белом доме?

Стайлс. Кто бы тебя убил и где — это уже технические подробност Для общественного мнения тебя убил бы где-то в другом мес член оппозиционной партии, возможно, полусумасшедший челове с сильно выраженными симпатиями к радикалам.

Президент. И это вызвало бы у избирателей волну сочувствия, ко торая вынесла бы вице-президента прямо в мое кресло?

Стайлс. Да, таков был сценарий.

Президент. А вице-президент — он участвовал в этом заговоре?

Стайлс. Этот болван? Он бы наделал в штаны.

Президент. Значит, все это было разработано и выполнено тобо одним?

Стайлс. Да.

Президент. И все для блага нашей партии!

Стайлс. Что хорошо для партии, хорошо и для страны. Я вот уже со рок лет живу делами нашей партии. И не могу сидеть сложа рук и наблюдать, как новички губят ее.

Президент. Ты говоришь обо мне?

Стайлс. Когда я вовлек тебя в политику, ты подавал надежды. Но ты больше слушал свою жену, чем меня. Теперь ты видишь, куда это тебя завело.

Президент. Это страшно, так страшно. Не знаю почему, но я не зол на тебя. И у меня нет желания тебе отомстить. Должно быть, это шок. Но ты должен понести наказание.

Стайлс. Ты хочешь меня арестовать?

Президент. Арестовать? Как я могу?

Стайлс. Но еще совсем недавно ты жаждал добиться правды.

Президент. Да, среди своих. Конечно! Мы знаем, как с ней обращаться. А народ — если они узнают о том, что произошло, это не пойдет им на пользу. Подорвет их веру. И мы не сможем править ими дальше. Мы, конечно, наделали немало ошибок, но, господи, ты можешь представить себе этих типов из оппозиции у власти? Нет, жизненно важно, чтобы мы остались.

Стайлс *(вручает ему бумагу)*. Я написал признание. Я написал его в приемной до того, как все произошло, поэтому, прошу тебя, вычеркни свое имя и впиши имя своей жены.

Президент. Мне не нужно это признание.

Стайлс. Я собираюсь передать его прессе.

Президент. Что ты хочешь сделать со мной, Стайлс?

Стайлс. Я не желаю больше идти с тобой рядом, как прежде.

Президент. Но чего же ты добиваешься?

Стайлс. Возможности влиять на внешнюю политику нашего правительства.

Президент. Но ты же политик, а не дипломат!

Стайлс. А твоя дипломатия губит нашу политику. И я не могу рисковать будущими выборами из-за твоих ошибок.

Президент. Я буду советоваться с тобой, как прежде.

Стайлс. Нет.

Президент. Ты больше ничего от меня не получишь.

Стайлс. Тогда я опубликую это признание.

Президент. Но ты погубишь партию.

Стайлс. По твоей милости от нее не так уж много осталось.

Президент. Это шантаж.

Оба долго в упор смотрят друг на друга. Президент сдается.

Кем ты хочешь быть?

Стайлс. Министром обороны.

Президент. Я не могу так поступить с Парсоном. Я и так уже обвинил его в убийстве. Я не могу отобрать у него этот пост.

Стайлс. Я хочу быть министром обороны.

Президент. Я этого не сделаю. Да прояви ты, бога ради, хоть немного человеческого понимания. Ты хочешь направлять нашу внешнюю политику? Я сделаю тебя нашим представителем в ООН.

Стайлс. Я не для того убил твою жену, чтобы быть мальчиком на побегушках. Прошу относиться ко мне с уважением.

Президент. Я назначу тебя послом в Бразилию.

Стайлс багровеет.

Специальным представителем президента!

Стайлс встает, держа в руках признание.

Помощником президента по иностранным делам!

Стайлс направляется к двери.

Даю тебе государственный департамент!

Стайлс *(медленно оборачивается)*. Серьезно?

Президент. У меня нет выбора.

Стайлс *(расплываясь в улыбке)*. Значит, государственный секре
тарь!

Президент. Ты, надеюсь, понимаешь, что я не могу назначить теб
до выборов.

Стайлс *(восхищенно)*. Государственный секретарь!

Президент *(встает, идет к двери и открывает ее)*. Прошу ва
джентльмены.

Все входят.

Прежде всего, я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы был
так терпеливы ко мне на всем протяжении этой ужасной истори
И, во-вторых, я хочу принести мои самые искренние извинения ми
нистру обороны. Бифф знает меня очень давно и очень хорошо и по
тому поймет, что, только будучи не в себе, я мог взвалить на нег
эти необоснованные обвинения. Бифф, прошу тебя, пойми и про
сти меня.

Парсон. Я уже забыл об этом.

Президент. Далее. Наше внимание было отвлечено от СБ-97. Я ви
новат в этом. А этот вопрос необходимо было закрыть как можн
скорее. Далее — что далее? Да, должен сообщить вам печальну
новость личного характера. Возможно, вы слышали, что Перва
леди вылетела вчера вечером в Чикаго для кратковременного от
дыха. Мне только что сообщили по телефону, что она серьезн
больна. Доктора подозревают пищевое отравление.

Освещается пустое поле боя. Свет такой же, что и в кабинете президента.
Над сценой поднимаются клубы газа.

Все *(хором)*. О, как неприятно, господин президент!

Все застывают. Немая сцена. Свет становится ядовито зеленым.

ЗАНАВЕС.

ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС

Рассказы

Жалоба

— У меня тут жалоба,— сказал плотник.

Я говорю «плотник», потому что вижу, что это плотник. Плотника легко узнать, то есть, я хочу сказать, плотника, работающего на стройке. Мебельщика распознать, возможно, труднее. Точно не знаю. К нам в газету мебельщики обычно не приходят. Вероятно, они просто нелюдимы, кто их поймет. Краснодеревщики тоже заглядывают редко, хотя признать их легко. По рукам. Пальцы всегда темно-желтые, почти кофейного цвета. От лака почти всегда остаются следы. Кроме того, запах. Конечно, ошибиться тут ничего не стоит. У заядлых курильщиков пальцы тоже желтеют, тоже кофейного цвета. А что касается запаха... да ведь есть и вина, которые отдают скипидаром...

Да, но этот человек точно был плотник. Чтобы установить это, не нужно быть Шерлоком Холмсом. Еще бы, ты и так добрых двадцать пять лет занимался информацией о жизни профсоюзов, хотя, так сказать, в «порядочной» газете. Так вот, вошел он и держался прямо, а был уже старик примерно лет шестидесяти — в шестьдесят лет рабочий всегда выглядит стариком, в семьдесят — превращается уже в развалину; сгорбленный, разговаривает сам с собой, не верит ничему на свете и бродит из конторы в контору, хлопоча о пенсии.

А этот был еще крепок. Похоже, что с севера. Высоченный, смуглый, рот полон зубов. Раньше, возможно, он работал на селитре. Но после стал плотником. Это верно, три приметы об этом свидетельствуют.

Прежде всего, вошел он, не сняв шляпы,— надета она была аккуратно, набекрень, но надвинута по самые брови. И, бесспорно, не будь у него столь густых бровей, он нахлобучил бы ее еще ниже.

Кроме того, шляпа его выцвела донельзя, испещрена пятнами от пота, заляпана штукатуркой.

И, наконец, он носил жилет.

А вдобавок, чтобы уж не было сомнений, из кармана выглядывал складной желтый метр и карандаш. Плотник, ничего не скажешь!

Плотник на строительстве работает всегда в шляпе. Из-за солнца. Я думаю, он не снимает ее, даже когда спит. И всегда она нахлобучена. По двум причинам. Первая — ветер. Трудненько удержать на голове шляпу с полями. Каменщики, скажем, носят каскетки с козырьком для тени, обычно выстроченным цветными нитками,— это для красоты. Штукатур сооружает себе роскошный головной убор из бумаги, пользуясь бумажными мешками из-под цемента, или натягивает цветной берет, что

так любят вязать крючком старухи. Кровельщики иногда пользуютс кругленькими шапочками свинцового цвета, чаще хлопчатобумажными Маляры же красуются в жокейских кепочках с рекламой, их бесплатн раздают фабрики красок. Выходит, что плотники, пожалуй, единственны из рабочих-строителей, которые носят шляпы с полями. И есть еще дру гая причина, не только ветер, почему они нахлобучивают ее так крепко,- это шутники, а их всегда хватает на стройке. А что им чаще приходит голову: «Давай собьем шляпу с плотника!» Их так и подмывает сделат это именно потому, что на стройке плотники выглядят фасонисто. А те перь представьте себе, что значит спуститься по лесам с пятого, шестого седьмого этажа на землю, найти свою шляпу, а потом снова подняться и там ее у тебя опять сбросят... Да, если бы плотники могли шляпу при винтить, они привинчивали бы. От солнца шляпа выцветает, становится белесой, почти белой. Но от пота покрывается темными пятнами, а свет лыми — от гипса, которым «ненароком» покропит какой-нибудь весель чак-штукатур.

И еще жилет, как я говорил. В наше время уж никто не носит жиле тов. А плотник носит. Нет плотника без жилета. Ему это удобно, потому что руки свободны, а грудь, которую надо беречь больше всего, прикры та. Простудиться ведь ничего не стоит. Там, наверху, на лесах, ничего нет — ни крыши, ни стен, ни застекленных окон, да и пол трудно назвать полом, зверски холодно, и это в Сантьяго, в такую погоду. Каменщики и кровельщики все время двигаются, ходят с места на место, работают во всю. Зачем им одеваться теплее? Их обдувает, а им тепло. Другое дело - плотник. Ему надо пилить, и он потеет, но тут же ему надо и что-то при кидывать, измерять, чертить, забивать гвозди и снимать мерки, словом подолгу стоять на месте, и он остывает. А это плохо. Потому и жилет. И летом, и зимой. Зимой плотник работает в рубашке, да еще прикры вает грудь старыми газетами, а внизу, под рубашкой, все-таки жилет (не снаружи, а внизу!). Летом же на нем только рубашка; я даже видывал плотников, работавших в жилете на голом теле (и в шляпе, разу меется, как же без шляпы!).

Поэтому-то я и говорю: это был плотник.

Плотник сказал:

— У меня тут жалоба.

— Расскажите, в чем дело.

— Вот, значит, в чем: я хочу пожаловаться на лейтенанта Вергару он оттуда, из полицейского участка Сан-Франсиско, что в третьем или четвертом квартале, там рядом еще пустырь, и вечно ребята играют в мяч, когда бы вы там ни проходили, ни черта не делают, то есть, я хочу сказать, такие здоровые лбы, а мяч гоняют все время, как будто...

— Да,— оборвал я его,— участок Сан-Франсиско, угол улицы Санта Крус...

— Вот-вот, тот самый! Послушайте, вы, значит, пометьте тут, что этот лейтенант, это...— Вены у него вздулись на лбу, как припомнил свою обиду.- - Это сукин сын! Небось, воображает о себе невесть что, да еще топорщит усики, подумаешь, сокровище, пижон паскудный...

— Погодите, погодите, лучше всего, если вы расскажете мне с само го начала, с чего началось?

Он меня не слушал.

— Но это ему выйдет боком, я уже сходил в поликлинику, получил справку, вот она,— он пошарил в карманах,— здрасьте... куда же она? Ага, вот, пожалуйста!

И он протянул мне бумажку со штампом поликлиники: «...анализ на содержание алкоголя... заявление пострадавшего... у Хуана Нуньес

Нуньеса... алкоголя не обнаружено... 12 часов 17 минут... Доктор А. Гонсалес Д.»

— Ладно,— сказал я,— из этого явствует, что в тот самый момент вы не были пьяны, и все. А что произошло-то? Насчет чего жалоба?

— Лейтенант этот, Вергара, говорят, что так его зовут...

— Нет, подождите! Сначала вот что: почему вы пошли в участок? Зачем?

Он с недовольным видом встряхнул головой.

— Как? Разве не говорил? От того дома, где живут эти прохиндеи, на улице Га́львес, я...

Мне вдруг стало смешно.

— Какие «прохиндеи», дон Хуан? Я же ничего не знаю...

Тут он разом как-то все смекнул, и его негодование улетучилось.

— Что ж за чертовщина! Надо же! Действительно, вы ничего не знаете! Да-а! А я-то...— и он расхохотался, показав всю свою великолепную челюсть, коню под стать,— белоснежные, как кипень, зубы, к тому же целехонькие, лишь одна-единственная коронка на верхнем.

Успокоившись, он начал:

— Вышло, значит, так, этим утром я был при деньгах, только что выдавали получку, понимаете? Тридцать тысяч песо в кошельке, ну-ка... Нет, не тридцать, точнее, двадцать восемь тысяч двести, вот сколько. Ну да, потому как у самого входа меня поджидал еврей, который продает в кредит, у него я купил отрез в рассрочку. Значит, ему я отдал тысячу пятьсот, и, стало быть, у меня из полученных двадцати девяти тысяч семисот оставалось двадцать восемь тысяч двести. Да, вот так. Тогда утром десятник мне задания не дал, и я получил деньги в одиннадцать и пошел. И как этот еврей пронюхал, что я уйду раньше? Ладно, заплатил я ему, сел в автобус, там, на углу улиц Лира и Санта-Виктория, и поехал домой. В автобусе было битком набито, да еще духотища, даже задремал. Пробрался подальше, к задней площадке,— я не из тех, знаете, которые как станут в проходе, так ни с места, будто приросли, а ты протискивайся как хочешь, я-то понимаю, чего им надо, прижаться хотят к проходящим пассажиркам, известное дело... О чем, значит, я?

— Об автобусе. Вы пробрались на заднюю площадку...

— Ага, точно так и было. И вот, значит, подремываю себе, жарища страшная, воняет горелым маслом, людским потом, бензином. Вы сами знаете, в этих коробках гарь из глушителя обязательно просочится сквозь щели в полу, а ты ее глотай. Вот так я и ехал, и спал и не спал, одной рукой ухватился за верхний поручень, пиджак расстегнул. Смотрю — рядом со мной какие-то два типа, один справа, другой слева. Сначала я не подумал ничего такого. Давка была знатная, а я стоял как раз у полуоткрытого окошка, ветерком освежало лоб,— что ж особенного, если и другим того же хочется. Потом, смотрю, один из типов вынул газету, развернул ее во всю ширь и стал читать. Всем от этого было неудобно: и мне, и сеньоре, которая тут сидела, и одному кабальеро низенького роста, который стоял рядом с ним, с той стороны. А тип уперся лбом в газету, читает и читает, все объявления подряд читает, и что-то пришептывает, будто молитву твердит. «Работу ищет»,— подумал я и даже пожалел его, конечно, немного, потому как сам почти что спал. Работу... как бы не так! Пока он изучал газету, его напарник изучал мой карман. Вдруг мой «читатель» что-то соскучился, сложил газету, сунул в карман и стал проталкиваться сзади меня к выходу. Другой — тот, что стоял справа,— уже успел пропихнуться и выскочить, а автобус вот-вот должен был тронуться. Мой «левый» тоже мигом очутился около двери, но она захлопнулась прямо у него перед носом. Он раза два позвонил, но шоферы, знаете, никогда ничего не слышат. Тогда он вцепился в дверь, она закрылась не так уж плотно, и с силой раздвинул ее. И тут, увидев, как он возится с

дверью, я вдруг очухался. И в голове у меня все встало на место. Я увидел ясненько, как в кино, двух этих типов, как они взяли меня в обхват, справа и слева, понял их махинации с газетой, и теперь, почему они утекают в дверь. И прежде чем проверить карман, я осознал, что денежек моих там нет. Одним рывком я продрался к выходу, какая-то старуха что-то крикнула мне вслед, дал по двери кулаком и вылетел на улицу как пробка. По инерции меня пронесло вперед, и я как с неба свалился прямо на прохиндея, а он в это время шел себе по панели легким шагом, даже не бежал, никак не ожидая меня увидеть.

— Минуточку, минуточку, кто же это был, кого вы схватили? Первого или второго?

— Второго, ясное дело. Первого только и видели.

— Тогда кто же из них вытащил у вас кошелек?

— Скажу, скажу, все поясню. Я ведь уже сказал, что схватил этого типа. Такая худóба, знаете, в чем душа держится, но сильный, это надо признать. Пришлось держать его крепко, а то бы он живо удрал. И вертится ящерицей у меня в руках, выскальзывает, как салом смазанный. Оба мы пыхтим, с него уже и одежда вся сползла, ребра торчат, грудь волосатая, ладанка болтается на цепочке. Вдруг он вырывает руку, сует ее в карман, а потом как двинет мне прямо в лицо. Ну, раньше, на севере, я ведь боксером был, я ему дал сбоку, слышу — трещит мой пиджачишка, слава богу, он промахнулся, попал мне в плечо. Видите?

— Эге-ге! У вас вся вата наружу! Ничего себе! Чем это он вас? Ножом?

— Не-ет. Ловок, сукин сын. «Грасиэлу» пустил в ход.

— Что это за «грасиэла»?

— Это, знаете, вроде ежика — пробка, а в ней лезвия от бритвы во все стороны. Ею они метят тех, кто выдает.

— И это — «грасиэла»? Почему так называется?

— Откуда я знаю? Наверное, потому, что выходит грациозно. Хе-хе-хе! Ну, ладно, так о чем я? А, да. Как только я сообразил, что к чему, схватил его крепко за ту самую руку, в которой он держал «грасиэлу», и сжал с силой. «Брось ее,— говорю,— а ну, брось!» Он аж побледнел, застонал, а сам не выпускает. «Не будь идиотом,— говорю,— брось сейчас же!» И сжал еще немножко. И он ее выпустил, и тут уж ему ничего не оставалось, кроме как сдаться. Рука-то у него, наверное, болела, кровь текла. «Пусти,— говорит,— меня, я ее перевяжу». «Ну да,— говорю,— я тебя пущу, а ты — тю-тю». Но все-таки я дал ему перевязаться, хоть и держал крепко. Да что там, он уже скис.

— А на улице никого не было?

— Ни души. Автобус уже ушел. Это, знаете, где-то на Сан-Исидро, угол Гранадо. Улица, сами понимаете, из таких, что и в ясный день душа в пятки уходит. Ладно, он перевязал себе руку платком, платочек, я вам доложу, чернее, наверное, чем его душа, и затянул узелок зубами. «Теперь,— говорю,— выкладывай мой кошелек». «А у меня его нет»,— говорит. «А у кого же он?» — говорю. «Он у того». «Ах, так,— говорю,— тогда пошли к карабинерам, тут поблизости полицейский участок». Как только он услышал про карабинеров, мигом стал зеленый и заныл: ах нет, ни за что на свете, ради бога! Я вообще-то не очень настаивал, и он мне предложил: «Зайдем тут в один дом, там он находится и тебе вернет твой кошелек». Я подумал, подумал... Мне-то ведь нужно было что? Мне нужны были мои деньги, а не волынка с карабинерами. Конечно, идти в дом к этим не очень-то весело, но, думаю, будь что будет, кто не рискнет, тот и речки не перейдет. «Пошли,— говорю,— где это такое?» «На Гáльвес»,— говорит он. И мы пошли...

— Постойте, как это? Я не ослышался? То есть, вы в компании с жуликом пошли к нему домой за своим кошельком?

Мой собеседник посмотрел на меня несколько обиженно.

— Ну да, сеньор, конечно же пошел. А что?

— Но вам не кажется, что... Не знаю, но, по мне, я бы ни за что не...

— А я — да, сеньор,— сказал он, резко кивнув головой.— А я пошел. Ну и что?

— Да нет, ничего. Давайте дальше.

— Ну, мы топали, будто недоумки. По Сан-Исидро до Элеутерио Рамирес, потом напрямик, через квартал, где бардаки. В этот час девочки только просыпаются, в халатах, все помятые и с бумажками в волосах, вывешивают в окнах покрывала, у них всегда синие или желтые,— проветривают к ночи... Сегодня ведь суббота, а?.. Ну, ладно, я его крепко держал за руку, но все же старался, чтобы никто этого не заметил. Но там все его знают как облупленного. «А, сцапали тебя, Ящерица!» — кричат. Как, здорово я угадал его прозвище? Так мы дошли до Сан-Диэго, и кругом уже народу пропасть, туда-сюда... Откуда берется столько народу на этой улице? Посмотрели на витрину в «Ля Сомбра», а там стоят ботиночки ничего себе, и в «Бланко и Негро» видели костюмчик, тоже подходящий, дешевый, но без жилета, из этих, которые называются «двойки»,— и кто это придумал делать костюмы без жилета?

— Не знаю, вообще жилеты теперь мало кто носит... Да, ну и вы пришли в дом к этим...

— Вот и я говорю,— произнес он задумчиво.— Отчего бы это? Что касается меня, я без жилета как без рук, если на мне нет жилета, я вроде бы и не одет... А, да, мы пришли, как же. Это в девятом квартале Гальвес, после улицы Десятого июля. Доходный домик, погрязней и попротивней, чем гнилой зуб. Коридорчик — идешь, а разминуться со встречным уже не удается, под ногами мокро, старухи там стирают и орут друга на друга. Орут на детей, а те ползают в грязи, в лужах под ногами, и пока мы шли, все капала сверху вода, прямо на голову... Комната, вы себе представляете, что это за комната,— потолки высокие, на подпорках, на проволоке развешано сырое белье. «Вот и пришли,— говорит он,— проходите». «Нет,— говорю,— проходи ты первый, дерьмо собачье!» «Зачем же оскорблять?» — говорит он, а у самого морда как у побитого, и все-таки вошел первым. А там уже сидит тот.

— И вам вернули кошелек?

— А как вы думаете?

— Не знаю, ума не приложу...

— Кошелек мне вернули. Правда, не сразу. Сначала они сцепились между собой, крестили друг друга по-всякому, пока не прибежал из соседней комнаты мальчишка: «Мама просила, чтобы радио потише, у нас маленькая болеет». Мы уставились друг на друга, а Ящерица как захохочет: «Вот это номер! Радио!» Тут мы захохотали все вместе. А после поговорили по-дружески. Я их спросил, не стыдно им было вытащить всю получку у трудящегося человека? Тот, второй, стал жаловаться: бедность, мол, не везет, а тут еще этот идиот Ящерица... Поставьте себя на мое место! Ящерица в это время возился с бинтами, мазался ртутной мазью и вообще кислый-кислый. Ну что ж, в конце концов мы поладили: мне вернули кошелек и семнадцать тысяч песо, остаток у них.

— И вы на это пошли?

— А что я должен был делать? Согласился. Он отделил свою долю, я взял кошелек и ушел. И даже был доволен. Дошел до Десятого июля, свернул на Сан-Диэго, показалась уже площадь Альмагро. И вдруг меня как обухом по голове хватило — открыл кошелек. Эх, какого же я свалял дурака!

— Как? Они вас опять обокрали?

— Черт его знает, как он умудрился, этот прохиндей! Я с него глаз не спускал. Что вы думаете? Там уже не семнадцать тысяч песо, а один-

надцать, от силы! Меня взорвало. Что же это, я с ними по-человечески
они... Нет, со мной такие штуки не проходят!

— И вы пошли в полицейский участок?

— Нет, не пошел. Я пошел снова к ним. А их и след простыл, ясн
дело, и на двери огромный замчище. Как вам нравится? Боятся, что
обворуют? Вот тут-то я и пошел в полицию. За угол отсюда, по ули
Эйсагирре, до Сан-Франсиско, а после до угла...

— Там вы и столкнулись с лейтенантом, о котором говорили вы
чале?

— Да, там он был, этот красавчик со своими усиками. Надутый к
индюк. Я сразу понял, что это за штучка, как только взглянул на не
Пижон паскудный, а от самого духами разит. Они все такие, как толь
видят, что простой человек, рабочий, тут же сразу нос кверху. Соба
они, вот что. Но я все же пришел. Рассказал ему все как было и д
адрес прохиндеев и все приметы. Угадайте теперь, что он сделал?

— А что?

— Вы небось думаете, он записал все как положено? Или что
послал карабинера со мной в этот дом? Да?

— М-мм?

— Ничего подобного, сеньор! Он взбеленился. Усики у него задр
жали, даже побледнел весь. И начал кричать, что я, дескать, проходим
что, дескать, до каких пор ему выслушивать жалобы от всякого о
ребья — он так и сказал «отребья». Запишите это... Дескать, снача
налижутся вместе с жульем всяким, здесь же, в квартале, а потом ид
жаловаться, что их обокрали. «Налижутся? — спросил я.— Это я нал
зался? Я ни капли не выпил, нюхните, пожалуйста!» — И я на него ды
нул. Тут я подумал, что его хватит удар. «П-шел вон! — заорал он.
Уберите его!» И ногами затопал. Два карабинера, что у него стояли, н
толкали меня взашей. И вот я перед вами! Я, знаете, не такой челов
который спуску дает!

— Я уже заметил.

— Что вы сказали?

— Да ничего. Дальше!

— Дальше я пошел в поликлинику, она находится на той же ули
как дойдете до Аламеды. Там дежурил молодой доктор, и я попрос
чтобы он взял эту самую пробу, которую делают шоферам, ежели о
кого-нибудь раздавили, чтобы узнать, пьяны они или нет...

— Анализ на содержание алкоголя.

— Вот-вот, на алко... как там еще?

— На содержание алкоголя. Алкоголемия.

— Вот. Он спросил меня, для чего это мне, и я рассказал ему что
как. Он даже хохотал до слез. Хороший человек этот доктор, только х
хотун. Взял у меня кровь, посмотрел и дал бумагу. А денег не взял.

— Что же вы сделали потом?

— Я вернулся в полицейский участок, потихоньку поманил отту
сержанта и спросил, как зовут его лейтенанта. И, видать, не очень-то ж
лует этого начальничка, сказал сразу, что зовут красавчика Кармело.

— И после?

— После я пошел домой завтракать, уже было поздно, и живот по
вело. А из дома я пошел подать жалобы во все газеты. Но к вам я пр
шел вначале, потому что ваша редакция ближе всех.

— Значит, вы хотите, чтобы мы поместили вашу жалобу на лей
нанта?

— Да, чтобы вы поместили, и поместите там еще, что он деспот, ч
он не исполняет свой долг и что он оскорбил простого рабочего толь
за то, что тот пришел к нему с жалобой, оскорбил, вместо того чтобы н
кать воров... Ну, вы сами знаете, что еще там надо поместить.

Жалоба плотника заняла у меня две трети страницы. «Рабочий-плотник сеньор Хуан Нуньес Нуньес, профсоюзный билет номер... пришел вчера к нам в редакцию, чтобы заявить...» и так далее.

— Это что такое? — спросил меня заведующий отделом хроники.

— Жалоба одного рабочего. Он заходил к нам.

Шеф начал читать вполголоса:

— «Рабочий-плотник сеньор Хуан Нуньес...» «Сеньор»? — шеф посмотрел на меня с удивлением.— Что это еще за «сеньор»? Рабочий и «сеньор»? С чего бы это? — Он зачеркнул слово «сеньор» красным карандашом и протянул мне мой текст.— И потом, очень длинно, оставь пять строк.

Я оставил семь строк. Но в последний момент, ночью, поступило сообщение о какой-то распродаже, и дежурный редактор в типографии тут же поставил в номер его, а все мои заметки снял. Обо всем этом я узнал на следующее утро, взглянув на газетные полосы. Объясняться я не пошел. Когда добрых двадцать пять лет ведешь в «респектабельной» газете информацию о жизни профсоюзов, о жизни рабочих, привыкаешь ко всему, а главное, ничего не поделаешь. Пожав плечами — не в первый и не в последний раз,— я отправился в министерство труда за очередной информацией, как всегда.

Перевод с испанского Л. АРХИПОВОЙ

Летопись

Внезапная и преждевременная (учитывая возраст покойного), хотя и не явившаяся неожиданностью для летописца кончина Патрисио Эррaина обязывает нас вспомнить его годичное пребывание у кормила административной власти в нашем городке (соображения элементарной скромности и беспристрастия не позволяют мне назвать его городом, как это принято делать в последнее время по отношению к каждой деревушке).

Сын нашего края, или, точнее, сын одного из самых влиятельных землевладельцев, коммерсантов и политиков нашей провинции (благодаря матримониальным связям влияние его распространилось и на другие провинции), Патито, как его звали не только друзья, а во время его краткого пребывания в роли губернатора даже все представители местной власти, был обязан высоким назначением не столько своему происхождению, сколько другому обстоятельству, тоже местного характера — жаре.

С незапамятных времен на наш городок каждое лето, словно божья кара, обрушивается жестокий и необъяснимый зной — хотя всего в нескольких километрах от нас температура воздуха в самую жаркую пору обязательно на шесть-семь градусов ниже,— от этой жары дымятся крыши, замирает жизнь, и все вокруг становится таким слепяще, невыносимо белым, будто вы живете на планете из распадающегося мела. Простите мне это вольное сравнение.

В тот день, когда решилась его судьба, Патито шел по улице О'Хиггинса, по теневой ее стороне, стараясь держаться поближе к стенам из необожженного кирпича — из этого кирпича в нашем городке выстроена большая часть домов,— шел, опустив глаза, чтобы защитить их от белого сияния, которое, казалось (он привык употреблять гиперболы), проникало прямо в череп и опаляло мозг. Была половина первого, и летописец не в силах представить себе, что могло побудить выйти в этот час на улицу молодого человека, известного своей приверженностью к покою.

Когда Патито заметил дона Альфонсо, было уже слишком поздно. Впрочем, не совсем так. Он мог еще избежать встречи, если бы решился

перейти на другую сторону улицы — солнечную. Но при такой жаре? Дон Альфонсо, которого президент, к негодованию всех аристократических семейств, недавно назначил министром, узнал Патито и, отдуваясь, выпучив глаза и раскрыв объятья, направился к нему. По всем признакам дон Альфонсо только что вышел из клуба (куда ранее, до того как он стал министром, его и на порог не пускали). Багрово-фиолетовые щеки затряслись, когда он разразился своим громовым хохотом. Патито застенчиво улыбнулся, забормотал невнятные поздравления и, будучи прижат к могучей груди, облаченной в ворсистую дорогую ткань, изрядно стукнулся верхними зубами о выпуклый значок клуба ротариев.

Дон Альфонсо, наконец, отстранился и с умилением принялся созерцать сына своего бывшего хозяина, которому он некогда поставлял (выражаясь языком арендных договоров) такие разнородные продукты, как арбузы, спаржу, картофель, лук и граждан избирателей.

— Поздравляю вас, дон Альфонсо,— сказал Патито.— У нас дома все очень обрадовались, когда узнали. Папа...

— О! — произнес растроганный дон Альфонсо.— О!

— Да, папа сказал...

— А как поживает дон Игнасио?

— Очень хорошо, спасибо. Он был очень доволен, когда узнал, что вы...

— Ну, конечно. Я знаю, он ведь всегда... Я ему так обязан. Скажите ему, да он и сам знает, что может располагать... Я, как всегда, к его услугам.

Патито улыбнулся, закивал головой и протянул руку, намереваясь распрощаться. От жары у него стучало в висках. Но дона Альфонсо внезапно осенила идея. Он вплотную приблизился к Патито, глядя ему прямо в глаза и обдавая его густыми винными парами. Потом опустил ему на плечо свою тяжелую руку.

— Ну, а вы, вы-то чем занимаетесь?

Патито почувствовал, что воротник рубашки давит ему шею. Он повертел головой из стороны в сторону, подвигал челюстью.

— Видите ли, я... м-м-м...

— Чем вы занимаетесь? Что сейчас поделываете?

— Видите ли, я... м-м-м...

— Что у вас за работа? А? Помогаете в имении отцу? Или? А?

— Видите ли, я...

— А может, ничего не делаете? А? Э?

— Видите ли, я...— сказал Патито, краснея.— Нет, не то чтобы... я... я учусь.

— Ну да, расскажите кому другому! — дон Альфонсо захохотал, подмигнул и своими толстыми, волосатыми пальцами ткнул в бок Патито.— Так, значит, наш петушок учится. А? Ха-ха-ха...

Храня исполненное достоинства молчание, Патито пытался уклониться от столь неприятной фамильярности.

— В таком случае...— пробормотал дон Альфонсо себе под нос.— Послушай,— добавил он, внезапно переходя на «ты»,— почему бы тебе не зайти на этих днях ко мне в министерство в Сантьяго попить чайку?

Можно сказать, что с этой минуты назначение Патито было уже делом решенным.

Конечно, ему пришлось пройти еще кое-какие инстанции. Свести знакомство с руководителями государства и с государственной мебелью. О, эта мебель, особенно кожаные кресла! Патито случалось и раньше встречать кожаные кресла в разных конторах, в деканате университета, в преподавательской лицея. Они всегда были темные и торжественные. Теперь ему представилась возможность убедиться, что в высших государствен-

ных сферах кожаные кресла, кроме того, отличаются поистине гигантскими размерами.

Он бесповоротно уверился в этом, попав на прием к министру, к которому ему надлежало явиться. Опустившись в одно из кресел министерского кабинета, Патито понял, что беглое зрительное впечатление о габаритах этого кресла, полученное им при входе в большую, сумрачную комнату, было ошибочным; возможно, ошибка возникла из-за темного цвета и чрезмерной ширины кресла, но так или иначе, опустившись в него, Патито почувствовал, что погружается в какую-то, по-видимому, бездонную трясину, душно пахнущую кожей, пылью, клеем. Встревоженный, чувствуя себя не в своей тарелке, он пытался ухватиться за широченные, чертовски далеко отстоящие друг от друга подлокотники, но на них не оказалось ни одного подходящего выступа, ни одной выпуклости. Скрюченные пальцы Патито скользили по вогнутой поверхности, ногти отчаянно цеплялись за маленькую, глубоко ушедшую в кожу кресла пуговку, а тело его продолжало погружаться. Когда он уже решил, что все погибло, когда он утратил последнюю надежду, погружение прекратилось. Патито осел куда-то на дно, почти у самого пола, готовый вот-вот соскользнуть с кресла; руки его были широко растопырены, и дрожащие пальцы все еще хватались за далекие-далекие подлокотники.

Прозвучал голос министра. Патито закинул голову как можно выше, взгляд его уперся в край огромного письменного стола и в ребро лежавшего на столе толстого зеленого стекла. Где-то далеко, по ту сторону стола, можно было различить переносицу и глаза министра; глаза цвета олова, с приспущенными, как флаги, веками, были увенчаны очень красиво очерченными и подозрительно темными бровями, резко контрастирующими с седыми, тщательно уложенными и напомаженными волосами, которые начинали расти почти сразу же за бровями.

Голова министра сохраняла полную неподвижность, во всяком случае, неподвижны были те ее части, что виднелись из-за стола. Это ввергло Патито в замешательство — он никак не мог уловить связь между голосом, гудящим над ним, как соборный колокол, и столь незыблемым покоем. Он посмотрел направо и увидел голову дона Альфонсо: она торчала из такого же, как у него, кресла, вид у нее был довольный, и она дружески ему кивала. Тогда Патито снова перевел взгляд на голову министра и в этот раз заметил легкое движение на ее висках — виски ритмически еле заметно вспухали и опадали, в такт словам.

— Намерения правительства... преимущественно аграрная зона... стимул для повышения производительности... поощрительные цены...

Патито старался сохранить свою позицию, но из-за предательски наклонного положения тела неудержимо съезжал вниз. Руки и спина у него болели от напряжения.

— Ваш отец, сеньор... общественное благо... отношения, кои должны прежде всего быть учитываемы... преимущественным образом...

Под воздействием этого голоса и утомления, вызванного непрерывными усилиями сохранить сидячее положение и не соскользнуть на пол, от запаха, царившего в кабинете, от глухого жужжания вращающегося на потолке вентилятора Патито мало-помалу охватывала дремота.

— ...Нарушители спокойствия и порядка .. вырвать с корнем... непрерывность производства... подрывные планы... республика... дух...

Голос смолк. Патито вынужден был сделать нечеловеческое усилие, чтобы приподнять упорно смыкающиеся веки и вернуть себе утраченные позиции на территории кресла — он опять было сполз к самому краю.

Теперь говорил дон Альфонсо, говорил благожелательно, по-свойски.

— Вы ведь знаете, что папа этого юноши всегда поддерживал правительство И надо сказать, поддерживал бескорыстно. Он — видный

представитель сил порядка в том крае, замечательный человек. К его словам там очень прислушиваются. За его именем — более 1800 голосов избирателей, зарегистрированных департаментом...— дон Альфонсо запнулся, слегка смутившись,— я хочу сказать, м-м-м, что это влиятельное лицо.

Министр выразил свое одобрение каким-то очень низким звуком, почти мычанием.

— Мм... мм... мм... д-да,— произнес он.— Его превосходительству это понравилось, весьма понравилось. Сегодня утром, когда он подписывал приказ, он спросил меня: «Этот мальчик — не сын ли сеньора?..» «Да, ваше превосходительство»,— ответил я. «Хорошо»,— сказал он.

Дон Альфонсо поспешил выразить свое восхищение.

— В самом деле? Так и сказал? Как хорошо! «Сын сеньора...»? А? Э? Отлично сказано!

— Итак, молодой человек, теперь вы самый что ни на есть губернатор.

— Да,— произнес Патито и улыбнулся, как полагается в подобных случаях.

Возможно, министр улыбнулся тоже, но Патито не суждено было узнать об этом, потому что выражение глаз министра совершенно не изменилось.

В период пребывания на посту губернатора Патито обычно являлся в свой служебный особняк около десяти часов утра и всегда с припухшими, покрасневшими глазами. У входа он отвечал неопределенным жестом и неопределенной улыбкой на энергичное тявканье карабинера:

— Здравия желаю, мой губернатор!

Войдя в большой кабинет, где было много дверей, паркетный пол, а на потолке — гипсовые гирлянды и люстры с подвесками, Патито усаживался за письменный стол.

Усевшись, он долго разглядывал чернильный прибор — два маленьких бронзовых резервуара, а между ними бюст Бисмарка; эта вещь появилась здесь в далекие времена правления одного губернатора-землевладельца немецкого происхождения. Затем Патито принимался изучать потолок, центр которого занимало большое круглое панно, обрамленное гипсовой гирляндой; на панно был изображен хоровод розовых ангелочков, кружащийся среди сияющих облаков. Наконец, взор Патито обращался к окну слева, оттуда был виден внутренний садик, где в страшной тесноте росли две пальмы, четыре апельсиновых дерева и одно ореховое, и многочисленные кусты герани. Все это было покрыто буйно цветущим вьюнком, меж зеленых ветвей и листьев которого ютились пауки и ящерицы.

Потом губернатор вздыхал. Поднимался с кресла и со склоненной головой, заложив руки за спину, прогуливался взад-вперед по комнате, стараясь держаться поближе к стене. Пройдясь так три или четыре раза, он снова усаживался за стол, откидывался на спинку кресла и закрывал глаза.

Именно в это мгновение в дверь начинал скрестись сеньор Арройо. Звук был еле слышный, но настойчивый, как будто скребется мышь; стоило Патито пробормотать: «Войдите!» — и звук немедля затихал, а затем раздавался снова и не прерывался до тех пор, пока губернатор не вставал и не повторял уже громче: «Заходите, заходите!»

Дверь приоткрывалась, и в узкой щели показывались черные глаза сеньора Арройо, его тонкий подвижной нос и маленькие седые усики, резко выделявшиеся на темной коже.

— Позволите? — осведомлялся он почти шепотом.

— Да входите же, ради бога.

Сеньор Арройо входил подпрыгивающей походкой, держа в маленьких, темных, скрюченных, словно у зверька, лапках папку с бумагами. Его высокий, туго накрахмаленный воротник блестел так, что глазам становилось больно, седоватые напомаженные волосы были разделены точнейшим прибором и возле лба выложены небольшой волной; синий костюм тщательно отутюжен, на сверкающих ботинках — серые гамаши с маленькими пуговками. Пока сеньор Арройо, по-прежнему подпрыгивая, приближался к столу, Патито успевал осмотреть свою собственную обувь, всю в пыли и с комками засохшей грязи на рантах (мостовые и тротуары нашего городка, следует признаться, оставляют желать лучшего), потом он снова с нескрываемым восхищением изучал ботинки секретаря.

Затем Патито опять вздыхал и приступал к церемонии подписания бумаг. Сеньор Арройо, стоя возле, протягивал ему бумаги одну за другой и то и дело издавал одобряющие звуки — пронзительные, как взвизгивание скрипки или писк... Впрочем, Патито тут же подавлял эту мысль, она внушала ему страх, он боялся — а вдруг сеньор Арройо опустится на четыре лапки, зашевелит своим подвижным носом, станет нюхать, скрестись... Нет, только не это! Патито встряхивал головой и подписывал последнюю бумагу.

— Еще есть шифрованная телеграмма,— сообщал секретарь, слегка подрагивая усиками.

Патито с интересом разглядывал листок, покрытый непонятными цифрами и словами. Потом читал расшифрованный текст: указания о принятии мер в связи с возможной забастовкой учителей, в связи с крестьянскими волнениями, об аресте главарей, о наблюдении за агитатором, подосланным из Сантьяго, об осведомлении военных и судебных властей, о необходимости энергичных действий и т. д. и т. п.

— Весьма щекотливое дело,— шептал сеньор Арройо,— несколько лет назад, в Ла Серене...

Он был родом из Норте-Чико и если начинал рассказывать, то редко кончал раньше, чем через полчаса.

— Простите! — решительно останавливал его губернатор.— Я еще должен...— он вставал и покидал кабинет, а сеньор Арройо темными лапками принимался собирать бумаги и засовывать их обратно в папку; волосы на его склоненной голове напоминали Красное море, расступившееся, чтобы пропустить иудеев: широкий, белый, сухой пробор между двумя темными, волнистыми поверхностями.

С видом чрезвычайно занятого человека Патито выходил на улицу.

— Здравия желаю, мой губернатор! — снова гаркал карабинер.

— Добрый день.

Перейдя через дорогу, губернатор направлялся к площади, укрытой от солнца тенью лип и вязов. Мимоходом он поднимал глаза к часам на церкви. Одиннадцать. Его охватывало отчаяние: что с этим временем — остановилось оно, что ли? Он пожимал плечами, и вдруг терял свой официальный вид. Засовывал руки в карманы и брел к своей всегдашней скамье в центре площади, возле бассейна, в котором резвились наяды и тритоны. По пути он здоровался с каким-нибудь коммерсантом, какой-нибудь местной дамой, каким-нибудь военным. Затем со вздохом опускался на скамью, где уже ждал его Анхелито.

— Ну как, дон Патито? — из-под лохматой шапки волос блестели плутоватые глаза, лицо было грязное, а руки и босые ноги еще грязнее.— Почистим?

Патито кивал в знак согласия и слушал с рассеянным видом, но на самом деле очень внимательно, подробную информацию Анхелито о шашнях алькальда с учительницей английского языка из лицея, о ночных похождениях капитана Фигероа, об азартных играх в клубе радикалов, о

драке нового аптекаря с приказчиком магазина «Зеленый сапог» из-з дочки владельца фермы Ринконада, о скандале, который поднялся в за ведении Безгрудой, когда жена сапожника Муньоса пришла туда разы кивать мужа.

Потом возвращение в резиденцию: «Здравия желаю, мой губерна тор!» — и хождение по кабинету. Все еще нет двенадцати. Начина нервничать, он садился и принимался разрисовывать промокашку. Снов смотрел на часы: что за невероятная медлительность! Опять вставал шагал по комнате. Выходил в сад. Долго наблюдал за ящерицей, вылез шей из листьев вьюнка и принимавшей солнечные ванны... а повыше, ка жется, ладят себе гнездо чинколи [1], а может быть, это дрозды (ему ни когда не научиться распознавать птиц), орех что-то сохнет, наверное его вьюнок душит, недурно бы его подрезать, сказать старику Ордоньесу пусть пришлет кого-нибудь, кто умеет это делать, не из тех дикарей, ко торые спилили все ветки на каштанах в имении отца, просто ни нужны были дрова, со стариком чуть удар не случился, и подумать только, что никогда уже эта аллея не будет такой, как прежде, а все по вине моего братца, после стало известно, что не он платил рабочим а они ему заплатили за разрешение напилить себе веток, и немало должно быть...

Он отрывался от своих размышлений и некоторое время пребывал в нерешительности. Посмотреть снова на часы? Наверное, уже пора.. Медленно-медленно Патито поднимал левую руку, стараясь, чтобы рука преждевременно не открыл циферблата. Нет, еще нет... Раз, два, три, че тыре, пять, шесть... Он торопливо считал до сотни. Короткая пауза. Уже! Нет, еще немного. И продолжал считать до ста пятидесяти. Все! Правой рукой он быстро огодвигал рукав: что за черт! Еще пятнадцать минут до двенадцати. Неужели прошло всего пять минут? Не может быть! Наверное, часы остановились! Нет, идут, прекрасно идут.

Совсем упавший духом, Патито возвращался в свое кресло, опуская голову и ждал.

В двенадцать часов приносили столичные газеты. Патито совал их под мышку и, наконец-то обретя свободу, отбывал в клуб. Бильярд, ка чо [2], виски, пичунчо [3]. Долгие беседы с сыновьями землевладельцев и сыном полковника об их похождениях с местными девицами, о предстоя щих поездках в Соединенные Штаты, о покупке автомобилей, о продаже скота, о всяких прочих делах.

После клуба Патито съедал обед из трех блюд за большим дубовым столом в доме Эрраинов, где он сидел в полном одиночестве, ибо дон Игнасио обычно жил в столице и если приезжал в провинцию, то пред почитал останавливаться в своем имении Эль Пиден, а мать Патито до нья Фелиситас укрепляла свое пошатнувшееся здоровье на одном из прославленных курортов Средиземноморья. За обедом следовал сон, длившийся минут сорок пять. Около пяти часов дня освеженный и бла гоухающий Патито забегал ненадолго в свой кабинет, подписывал ка кую-нибудь бумагу, а в шесть уже мчался на своей автомашине в Сантья го — к «настоящей жизни».

Какое содержание вкладывал в это слово Патрисио Эрраин, остает ся, в значительной степени, тайной. Летописцу не удалось установить, насколько справедлив упорно ходивший в нашем городе слух о любов ной связи, скорее платонического, чем эротического характера, между тогдашним губернатором и перезрелой особой, содержавшей один из публичных домов столицы. Нерешительная осада, предпринятая юным государственным мужем, пробудила в душе этой дамы ответное чувство,

[1] Певчие птицы.
[2] Карточная игра.
[3] Местный коктейль.

в котором соединились остатки угасших материнских инстинктов, кое-что от старческого тщеславия, смутное сознание реванша и социального триумфа и — last but not least [1] — соображения практической выгоды.

Что касается слухов о систематическом употреблении губернатором наркотиков и его деятельности в ансамбле негритянской музыки, где он якобы играл на инструментах, которые называют ударными, то летописец так никогда и не смог найти им подтверждения, хотя пищу для подобных разговоров давали и все прогрессирующее похудание Патито, и его чахлый вид, и постоянно воспаленные глаза, и ужасающая бледность, и то, что к нему наведывались время от времени какие-то странные, длинноволосые личности, вроде бы мужского пола, с которыми он запирался на долгие часы в своем кабинете.

Так прошел год.

Иной раз губернатору приходилось, конечно, сталкиваться с трудными проблемами. Примером тому может служить дело о восточных платанах.

Вскоре после того, как была учреждена санитарная инспекция, пятнадцать самых богатых домовладельцев, живших на авениде Марко дель Понт, подали на имя главного врача пространное заявление. Главный врач с выпученными от волнения глазами, сверкавшими за стеклами очков, сделанных по особому заказу, явился в кабинет к Патито — они были знакомы по клубу.

— Случай очень тяжелый. Они жалуются, что страдают аллергией. Все до одного. Их жены, дети, слуги. И они сами. И убеждены, что это из-за восточных платанов, которые растут на их авениде. Они требуют, чтобы санитарная инспекция подала властям докладную с просьбой немедленно срубить деревья. Немедленно.

— Проклятье! — воскликнул Патито.

Врач скорбно посмотрел на него.

— Подписались почти все. Я имею в виду тех, кто имеет какой-нибудь вес. Они говорят, что у них связи в правительстве. Приперли меня к стене. Говорят, что хорошо знают вашего папу...

— А вы не сказали им, что это дело муниципалитета? Вообще-то, правительство не склонно давать муниципалитетам слишком широких полномочий, особенно когда эти муниципалитеты, как наш, находятся в руках людей, которых можно отнести... скорее к оппозиции. Но если подвернулось щекотливое дело, вроде вашего, лучше предоставить его муниципалитету.

— Да, да. Разумеется. Я уже пытался действовать в этом направлении. Ведь я и сам придерживаюсь того же мнения. Но меня остановили. Сказали, что муниципалитет в руках темных элементов и с ними никто не хочет иметь ничего общего. По-моему, эта авенида просто наводит их на печальные воспоминания. Они мне заявили: «После Народного фронта все порядочные люди стали болеть аллергией. Раньше в Чили ее не знали». И предупредили: если я передам дело муниципалитету, они будут считать, что я хочу его с рук сбыть, издеваюсь над ними.

— А вы сами что думаете? — спросил Патито.

— То есть как? О чем думаю? Что думаю, о чем?

— О платанах и об аллергии... Полагаете... вы... что с научной точки зрения... словом?.. Или вам кажется возможным, что оппозиция действительно?..

Врач покраснел и откашлялся.

— Только это строго между нами, хорошо? Строго конфиденциально.

— Да...

— То, что они говорят,— чушь. Глупость! Даже если допустить, что у некоторых из них восточные платаны и в самом деле вызывают аллер-

[1] Последнее по счету, но не по значению *(англ.)*.

гию, совершенно исключено, чтобы все жители авениды имели одинаковую реакцию на платаны. Чтобы все были предрасположены к аллергии. Да еще от одного и того же аллергена... И потом, если срубить эти деревья, по-моему, это было бы преступлением против красоты города, истреблением его зеленых зон, неизбежно придется посадить на их место другие, и всегда отыщется кто-нибудь, у кого они могут вызвать аллергию. И опять мы окажемся перед той же проблемой,— врач замолк, словно охваченный ужасом, круглые, выпуклые глаза за стеклами очков были широко раскрыты.

— Конечно, но вы сказали им...

— Намекнул. Мне это трудно, принимая во внимание мое положение. Но и намека было достаточно. Они не согласны. Ни в какую! Грозят обратиться к министру,— врача так и передернуло,— заявляют, что я в сговоре с оппозицией. А вам ведь известно, что президент ненавидит врачей. И случись это... несмотря на автономию нашей инспекции...

— Ненавидит врачей? — переспросил заинтересованный Патито.— Я не знал...

— И еще как! Ужасно! За тридцать первый год [1]. С трудом прощает только некоторым, самым приближенным. К несчастью, у меня положение очень... деликатное,— у врача внезапно перехватило дыхание, он побледнел и посмотрел губернатору прямо в глаза.— Не знаю, могу ли я...

— Говорите. Не бойтесь. Что касается меня, то я — ни звука.

Врач глубоко вздохнул и кивнул. Потом с удрученным видом снова заговорил, понизив голос.

— Когда я был мальчишкой, я, так сказать... позволил вовлечь себя в общение с молодежной ко...— он запнулся,— коммунистической организацией. Членом ее я не был, разумеется. Никогда! Но вы же знаете студентов. Молодость, университет, идеализм,— он поник головой и умолк.

— Ну хорошо,— сказал Патито,— что же нам, черт возьми, делать? Ведь если мы разрешим срубить деревья, те домовладельцы, которые не подписали жалобу, могут заявить протест. И тогда к нам муниципалитет привяжется. Понимаете? А скоро избирательная кампания! В то же время и с составителями этой жалобы нельзя ссориться. Ведь народ все влиятельный...

— Безвыходное положение,— прошептал объятый ужасом врач.

Помолчали. Губернатор встал.

— Извините. С вашего разрешения.

Он вышел в безлюдный коридор, и ботинки его гулко застучали по плиткам пола.

— Орденес! — позвал Патито.

— Иду,— откликнулся голос. Затем появился администратор Орденес, старик с черной жесткой шевелюрой и лицом индейского вождя.— В чем дело, дон Пато?

— Подите-ка сюда,— сказал Патито, оглянувшись по сторонам.— У меня к вам разговор.

Они торопливо направились к ванной комнате. Стены этого просторного помещения на два метра от пола были облицованы старинным кафелем в цветочках. Патито запер дверь на задвижку и присел на край ванны. Орденес стоял перед ним.

— Послушайте, старина, я в затруднении.

— Сколько? — спросил Орденес и сунул руку в карман.

— Нет, совсем не то. Тут дело служебное.

И Патито рассказал старику о платанах. Орденес внимательно вы-

---

[1] В 1931 году в Чили пала диктатура президента Ибаньеса. Борьба против него началась с забастовки врачей.

слушал его, склонив голову набок и приставя согнутую ладонь к правому уху наподобие слухового рожка.

— Ну и что? — спросил он затем.

— То-то и оно,— сказал Патито.— Ну и что... что будем делать?

Старик долго трясся от смеха, не издавая при этом ни единого звука. Потом откашлялся, отхаркнул, сплюнул на пол и растер плевок.

— Не такая уж это трудная штука, спихните их кому-нибудь!

— Да, но как?

— Что за вопрос! Как обычно. Пусть доктор скажет, что он с ними согласен, но должен послать докладную в Сантьяго в министерство, чтобы оттуда спустили приказ и муниципалитет не смог бы протестовать, понимаете? А если они к вам заявятся, вы им тоже ответьте что-нибудь в этом роде. Можете даже в Сантьяго позвонить при них. Звонок всегда действует. Убеждает. Это уж проверено. И пусть они ждут. Так можно проканителить целый год.

— А потом? — спросил Патито.

— А потом? — переспросил Орденес.— Да к чему загадывать, что будет через год.

Они поглядели друг на друга с очень серьезными лицами. А через мгновение Орденес опять залился своим беззвучным смехом. Когда губернатор вышел из ванной, старик все еще смеялся.

За время пребывания на посту губернатора Патрисио Эрраину довелось возглавить три торжественные похоронные церемонии с речами и оркестром (полковым). Умерли один за другим: отставной генерал дон Отто Финк — от астмы; сержант карабинеров Педро Муньос — от цирроза печени; директриса лицея сеньорита Аделина Лагос — от дизентерии. Для генерала Патито использовал в своей речи такие эпитеты, как «бескорыстнейший», «щепетильный», «закаленный»; для сержанта — «самоотверженный», «преданный», «трезвый»; для директрисы — «истинно католическая», «достойная подражания», «добродетельная». На похоронах генерала он говорил о «доблестной службе», на похоронах сержанта — о «послужном списке», на похоронах директрисы—о «книге жизни».

Как и ожидали, забастовка учителей состоялась, но выполнить инструкцию об аресте главарей не удалось: их не сумели схватить. Зато квартиры их были основательно перерыты, и там нашли немало подрывной пропагандистской литературы. Находка удостоилась крупных заголовков и даже одной передовой в столичной прессе, но так как два дня спустя правительство решило пойти на уступки и повысить зарплату учителям почти на столько, на сколько они требовали, интерес к этому угас.

Через год дону Альфонсо пришлось распроститься с министерством (он был самым старым членом кабинета). Среди тех, кто после этого события немедленно получил отставку, оказался и Патито. В тот день при входе в свою резиденцию он еще услышал обычное приветствие: «Здравия желаю, мой губернатор!» — но при выходе уже не услышал ничего.

Вот и все о низложении Патито — все, что летописец считает нужным рассказать, ибо, по его глубокому убеждению, он призван запечатлеть только те события, которые имеют отношение к истории этого городка. Частная жизнь отдельных лиц привлекала его внимание лишь косвенно, когда она так или иначе оказывалась связанной с этой историей.

Перевод с испанского Н. БУТЫРИНОЙ

ИЗ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ

Канэко Мицухару

■

Перевод с японского и вступление
А. ДОЛИНА

Канэко Мицухару (род. в 1896 г.)—один из крупнейших японских поэтов XX века. Его стихи, написанные простым, разговорным языком, близки и доступны читателю. Обращает на себя внимание композиционная стройность каждого стихотворения, оригинальность художественных приемов, богатство и красочность образов. Все свои творческие силы, весь могучий самобытный талант поэт отдает делу борьбы за торжество свободы, демократии и гуманизма.

Канэко начал писать в ранней юности, когда ему было всего двадцать лет. Вдохновляясь идеалами демократического общественного движения, он примыкает к школе символизма в поэзии и в 1919 г. публикует свой первый сборник «Дом на красной земле». Широкая эрудиция и прекрасное образование (Канэко обучался в двух столичных университетах, а также в Токийской художественной школе) объясняют знакомство поэта с произведениями французских символистов, с творчеством Уитмена и других поэтов. У себя на родине Канэко становится ведущим поэтом неосимволизма. Широкую известность ему приносит сборник лирических стихов «Майский жук», встретивший восторженные отзывы в критике.

Однако в конце 20-х годов, чувствуя, что его поэзия отстает от духовных запросов современности, Канэко принимает решение оставить литературную деятельность и на семь лет отправляется в путешествие по странам Европы и Юго-Восточной Азии. Глубокое осознание происходящих в мире перемен помогает поэту вновь обрести веру в свои силы и стать на путь создания реалистической поэзии, исполненной высокого гражданского мужества.

После возвращения Канэко в Японию в 1937 г. выходит его новый сборник «Акулы», прозвучавший как вызов кровавой диктатуре фашизма, как призыв покончить с хищниками, несущими смерть и неисчислимые бедствия народам мира.

В период разгула реакции в стране Канэко Мицухару, наотрез отказавшись сотрудничать с милитаристскими властями, уезжает из Токио в отдаленное горное селение. Восемь лет длится молчание, на которое добровольно обрек себя поэт. Но Канэко не сдается. Его стихи, написанные в те годы, становятся голосом совести японского народа, голосом демократической японской интеллигенции, продолжающей напряженную идейную борьбу и верящей в победу добра и справедливости.

Стихам Канэко суждено было увидеть свет только после войны. Выходят его сборники «Парашют», «Песни чертенка», «Человеческая трагедия» и др. Публикуются его переводы стихов Верхарна, Рембо, Арагона. За книгу стихов «Человеческая трагедия» Канэко присуждена литературная премия газеты «Иомиури».

Война

В тысячный раз я спрашиваю себя,
я, один из ста миллионов верноподданных,
один из ста миллионов Сопротивления:
«Что же такое война?»

Война — это когда бесконечно льется кровь,
бесцельно впитываясь в сухую землю,
льется кровь от крови моей,
а я не знаю, не вижу, не чувствую.

Все то же у нас и у врага,
когда идешь на смерть,
потому что «нужно победить!»,
когда сковороды и решетки мостов
переплавляют на пушки и военные корабли.

Когда без излишних раздумий и сантиментов
людей формуют, как черепицу,
и партиями отправляют умирать
девятнадцатилетних сыновей
и пятидесятилетних отцов.

Девятнадцатилетний сын
и пятидесятилетний отец,
подчиняясь одной команде,
поворачиваются налево,
поворачиваются направо,
целятся в яблочко одной мишени.

К чему нам думать
об их отцах,
об их сыновьях?
Ведь перед нами враг.

Что ж, кто знает...
Может быть, нет ничего прекраснее, чем война.
Нет занятия более приятного, чем война.
Нет жизни слаще, чем жизнь солдата.
Нет чести выше, чем смерть на поле брани.
Сынок! Разве ты не счастлив,
что в этой войне мы связаны общей судьбой?

Девятнадцатилетний сын
и пятидесятилетний отец,
обряженные в одинаковые мундиры,
горланят одинаковые марши.

Ночь

До весны еще далеко.
Над снегами
в безмолвии дремлет
лиственничный лес.

За клубами тумана,
что выдохнула темнота,
в чаще прячется ночь
цвета индиго с серым.

Я прислушался.
Там, в бездонной печальной тиши
поднимается рокот
неведомой скорби.

Белым бельмом
толстый слой льда на озере.
Спит вода в заколоченном гробу.
Черной родинкой просвечивает прорубь.

Наклонившись, я слушаю
в глубине, подо льдом
грозный ропот погибших,
отзвук древних раздоров.

Чёрная, беззвездная ночь
придвинулась влажным телом
и слушает
вместе со мной.

Крадущийся шаг
бесконечных превращений —
мягкая поступь кожаных подушечек
кошки, спрятавшей острые когти.

В неслышном грохоте,
во всеобщем крушении мира
хлещет алая кровь
из моей пробитой груди.

Ах, девятнадцатый век
с его сладкими грезами!
Он лишил людей испытанной веры.
Так извлекают улитку из раковины.

И вот бедный двадцатый век
дрожит в своей наготе.
Никакие идеи, призывы, обещания
уже не согревают людей.

Нас кружит вихрь
и швыряет бог знает куда.
Но зачем же, ради чего?
Некогда даже узнать зачем.

Мы слышим, что Пиза разрушена,
что Вена в огне.
Днем и ночью над лиственничным лесом
мчатся ревущие «боинги»,
чтобы испепелить Токио.

Но сегодня ночью
молчат и они.
Забывшаяся в усталости тишина.
В тяжком раздумье
застыл лиственничный лес.

Над ним — народившийся месяц.
Золотой круг,
растопленный языком тьмы,—
словно сонно сощуренный глаз.

Песня, сложенная на берегу озера

Даже в минуты счастья вы влечете меня к смерти

Пивер де Сенанкур

Закрыв глаза, прячась от людей,
я бежал,
бежал к этому озеру,
где можно пальцы окунуть в синеву.

По берегам
сгрудились кристаллические громады.
На холодных скалах
высятся молодые ивы.

Сумрачные горы
пестреют пятнами снега.
Словно розовое вино,
горы под солнечными лучами.

Безмятежно
заходит солнце —
так исчезает во тьме
огонек светлячка.

Я пришел бродить по снежным тропам,
слушать голубей в лиственничном лесу.
Я бежал от тех, чьи сердца очерствели,
чьи помыслы днем и ночью — лишь о войне.

Одинокий слепец,
как во сне я добрался сюда,
чтобы стоять над замерзающим озером...
Все дальше и дальше продвигается кромка льда.

Свою непокорную душу
и стихи, страшащиеся чужих глаз,
я принес схоронить подо льдом до весны
или до прихода смиряющей смерти.

Я бежал
от духовной нищеты,
от страшного беззакония,
от бешеной травли.

Покинув тех, кто не выдержал,
расставшись с павшими духом,
я ушел из милой комнатушки,
где провел столько лет.

Все обращается в прах.
Я бежал от безумия бесчеловечности.
Но оттуда доносятся и мои стоны.
Тревожно вокруг. Вдали догорает закат.

Падают с ветвей облачка снега.
Тихий шелест сухих цветов хаги.
Музыка мертвой воды
звучит под покровом льда.

И приходит ночь.
Оживают бесчисленные звезды.
Холодная роскошь
изукрашенного свода небес.

Маяк

1

Не тщись заглянуть в глубину небес.
Там, в глубине,
кишмя кишат бессмертные.

В сладком желе эфира
плавают перья из ангельских крылышек,
вылезшие ястребиные перья.

Боги потеют. Бьет в нос тяжелый дух —
пахнет раскаленной бронзой.

Не тщись заглянуть в глубину небес —
ослепнешь от блеска.

К нам нисходит оттуда
благословение власти
и кара
для святотатцев.
В самой середке небес,
куда возносятся души праведников,
торчит белая свечка —
маяк.

2

Небесный светильник. Путеводный огонек.
(Блаженны нищие духом.)
Тонкий стебелек.
Лысый Сократ...
И восходит солнце в курящемся фимиаме роз

Вот мы кружимся вокруг маяка.
Наши взгляды скользят по известковой стене.
Издали, издали смотрят на вершину
наши гноящиеся глаза.

Бог. Троица. Любовь. Вечная истина.
Наконец-то мы нашли рассадник высоких слов –
видите эту каплю молока в струящейся лазури?

Боги в глубине небес
громко откашливаются, кряхтят, сопят —
и маяк
подрагивает, как большое ухо.

3

Когда-то я ненавидел небо,
боялся читающих в моей душе.
И я закричал, глупец:
«Нет там никаких богов!»
Нет? Но откуда же взялись
все грозные заповеди?
С рождения мы отданы в рабство богам.
Боги властны над нашим телом.
Если боги требуют жертву,
мы без колебания должны отдать жизнь.

Недоступные
для камней, крыльев, плевков и пуль,
созерцают они наш мир.

В горе и муке,
вспомнив ужасы, ниспосланные небом,
я закричал:
«Вот, вот они! Да стащите же их оттуда!»

Но на нас, дерзких,
на пожелавших свободы,
обрушилась кара небес —
гром.
Нет, нет.
Просто жужжат назойливые оводы.
Они вьются над маяком.
Грозно гудит их рой.
Один... Еще один...
Это, оскалив холодные клыки,
летят возвестить волю богов
пять бомбардировщиков.

■

АНГЕЛ ТОДОРОВ

Баррикады

■

Перевод с болгарского В. КОРЧАГИНА

Рабочие итальянского города Бо
типалья воздвигли на улицах барр
кады...

*(«Работническо дел
11 апреля 1969 г*

Мне снова оглянуться, вспомнить надо
тот день — возникший, словно баррикада:
чем отдаленней он, тем сердцу ближе...
Тогда студентом был я, жил в Париже.
Я видел пролетариев бывалых,
я видел Пер-Лашез в знаменах алых,
и сам Камелина́, седой и старый,
у той стены, где гибли коммунары,
в тот день дождливый обращал к нам слово.

Да, слушал коммунара я живого!
И ветер дул, и молодость пылала,
как те знамена — горячо и ало...

— Полиция! — раздался чей-то голос,
но грозная толпа не раскололась.
Сверкнули сабли, звякнули подковы,
но дать отпор там были все готовы:
носили камни, ящики, ограды,
как крепость, воздвигая баррикады...

Вы, баррикады,— символ мой исходный,
вы — азбука святой борьбы народной,
вы — слово тех, кто победит в итоге,
вы — самый первый мост мой к той дороге,
где строчками поэта-коммуниста
вас поднял высоко Смирненский Христо...

И хоть давно уж юность отзвучала —
в душе звучит, как эхо, то начало.
...Вот почему так всматриваюсь в даль я,
где пламенем объята Баттипалья,
где одиночки сходятся в отряды,
где в мир насилья вторглись баррикады!

■

РНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

строва в океане

МАН

евод с английского Н. ВОЛЖИНОЙ и Е. КАЛАШНИКОВОЙ

Готовя эту книгу к печати, я работала над рукописью Эрнеста вме с Чарльзом Скрибнером-младшим. Помимо чисто технической прав касавшейся орфографии и пунктуации, мы сделали несколько сокра ний, которые, я уверена, Эрнест сделал бы и сам. Вся книга написана естом. Мы не добавили ни одного слова.

Мэри Хемингуэй

есто предисловия

Несколько лет назад, встретив в Нью-Йорке Мэри Хемингуэй, вдову писателя, я осил ее, из чего состоит неопубликованное наследство Хемингуэя. Она повела меня да в одну из комнат своей квартиры и, показав большой баул, сказала гордо:

— Здесь фунтов тридцать. И есть еще

После смерти Хемингуэя осталось «пятьдесят фунтов» неопубликованных произ ний — больше двадцати тысяч страниц рукописного и машинописного текста. При ни писателя все эти бумаги хранились в двух местах: в банковских сейфах на Кубе задней комнате бара «Раззява Джо» во флоридском городе Ки-Уэст. Страницы рели, покрылись ржавчиной в тех местах, где их соединяли канцелярские скрепки, оторые были тронуты мышами, но оказались вполне пригодными для чтения.

Только опись неопубликованных произведений, оставленных Хемингуэем, соста на 137-страничную книгу. Ее издали ровно год назад в университете штата Пенсиль ия. В этом каталоге перечислены 332 работы Хемингуэя. Среди них — 4 романа, 19 сказов, 33 стихотворных произведения, 11 работ небеллетристического характера.

Трудно сказать в точности, какие причины побудили Хемингуэя не печатать неко ые свои вещи при жизни. За год до своей трагической гибели он говорил мне, что ит некоторые свои рукописи в банковском сейфе, так как должен заботиться об спечении родных ему людей после его смерти. Но логичнее всего предположить, он не опубликовал эти произведения потому, что не считал их законченными.

Среди этих незаконченных произведений и так называемая Большая книга. ней ходило много разговоров еще при жизни Хемингуэя. Встретившись с Мэри, я осил ее и об этом.

— Когда-то кому-то из журналистов,— ответила Мэри,— Папа сказал, что хочет исать Большую книгу о войне на воде, на земле и в воздухе... Папа, поверьте, ска , что хочет написать, или, может быть, сказал, что пишет. Вряд ли он мог сказать у-нибудь, что книга готова. К сожалению, работа осталась незаконченной. «Война земле» написана, видимо, лишь до половины, а «Война в воздухе» только начата. ее или менее готовой к печати можно считать одну часть — «Войну на воде», или рской роман». Именно эту часть Большой книги и предлагает сейчас вниманию чи елей журнал. На английском языке книга вышла в Соединенных Штатах в издатель е Скрибнера в октябре этого года.

Весной я присутствовал на пресс-конференции Чарльза Скрибнера, издательство орого опубликовало почти все произведения Эрнеста Хемингуэя. Мэри Хемингуэй сказала там, что роман «Острова в океане» (английское название «Islands in the ам») был начат Хемингуэем на Кубе в 1947 году и что произведение это нельзя ать вполне законченным.

Роман посвящен войне. Как-то, размышляя о том, что такое мужество солдата войне, Хемингуэй говорил, что это — умение ограничивать до минимума свое вооб ение. Думать об опасности только тогда, когда опасность существует на самом

деле. Не до и не после. Настоящий солдат, говорил Хемингуэй, должен уметь
данной секундой, не думая об опасности, которая ждет его впереди, и не вспо
об опасности прошедшей. Такое умение — великое благо для солдата.

Но обладание таким качеством — трагедия для писателя, пишущего о войне
почему, по мнению Хемингуэя, так редко солдаты становятся хорошими писате
Сам Хемингуэй был, видимо, счастливым исключением из этого правила. Его
и его произведения, в том числе и «Острова в океане»,— подтверждение

Хемингуэй много размышлял о роли писателя, пишущего о войне. Он не
что во время войны писатель может рассказать о ней всю правду, ибо это игра
руку врагу. Вероятно, поэтому сам Хемингуэй не написал ни одной книги о вой
время войны. Он сражался и занимался журналистикой. Но после войны, говори
мингуэй, писатель обязан рассказать всю правду о войне, ту правду, которая
правдивее, сильнее отдельных фактов.

«Правительство,— писал он однажды,— которое хочет сохранить веру своег
рода, после войны или в последней ее стадии должно сказать своему народу вс
он может знать — как о хорошем, так и о плохом, при том условии, что знание э
поможет врагу. Попытки замалчивать ошибки, чтобы спасти людей, их соверша
могут привести лишь к падению веры — самой большой опасности, которая м
угрожать стране».

Хемингуэй, получивший тяжелое ранение в первую мировую войну, боров
против фашизма в Испании, дравшийся с гитлеровцами на воде, на земле и в в
хе, ненавидел войну. Но сильнее войны он ненавидел фашизм.

В 1942 году, через несколько месяцев после того, как США вступили во вт
мировую войну, Хемингуэй написал предисловие к сборнику «Люди на войне». В
предисловии есть такие слова:

«Я ненавижу войну, ненавижу политиканов, которые сделали эту войну неи
ной. Но раз война началась, для нас остается одно — добиваться победы. Война
жна быть выиграна. Потому что поражение принесет самое страшное, что может
читься на войне. Мы должны победить. Мы должны победить во что бы то ни с
И никогда нельзя забывать, против чего мы воюем. Мы деремся с фашизмом и
того, чтобы идеи фашизма, идеалы фашизма не пролезли в нашу страну».

Мне не довелось читать предисловия в том виде, в каком оно было опубли
но в 1942 году. При переиздании книжки в 1955 году Хемингуэй отредактирова
Не знаю, были ли слова об опасности проникновения фашизма в США в 1942 год
в 1955 году, после Маккарти, они звучали более чем своевременно. Эти слова
чат своевременно и в нынешнем, последнем издании книги.

Г. БОР

Часть первая

Бимини

I

Дом был построен на самом высоком месте узкой косы
ду гаванью и открытым морем. Построен он был пр
как корабль, и выдержал три урагана. Его защищал
солнца высокие кокосовые пальмы, пригнутые пассатами, а с океан
стороны прямо от двери крутой спуск вел к белому песчаному пл
который омывался Гольфстримом. В безветренную погоду вода
была совсем синяя, если смотреть на нее с берега. Но вблизи она
но светилась над мучнистым белым песком, и тень крупной рыбы м
кала в ней задолго до того, как рыба подплывала близко.

Днем это было отличное и вполне безопасное место для купан
вот ночью купаться здесь нельзя было. По ночам близко к берегу
плывали акулы, охотившиеся у края Гольфстрима, и в тихую пого
верхней веранды слышно было, как плещет в воде испуганная рыб
если спуститься на пляж, можно было увидеть фосфоресцирующий
который акулы оставляли за собой. По ночам они ничего не боялис
все остальное боялось их. Но днем они старались держаться пода
от светлого прибрежного песка, а если какая-нибудь и сунулась
берегу, то можно было по тени издалека заметить ее приближение.

Человека, который жил в доме, звали Томас Хадсон. Он был
ший художник и большую часть года проводил за работой дома
острове. Когда долго живешь в этих широтах, привыкаешь ценить

ену времен года не меньше, чем в других местах, и Томасу Хадсону, бившему этот остров, жаль было пропустить хоть одну весну или ле- осень или зиму.

Лето порой выдавалось слишком знойное — если пассаты слабели в не и в июле или вовсе не дули в августе. В сентябре же и в октябре, же в начале ноября всегда можно было ожидать урагана, а какая-будь шальная тропическая буря могла налететь в любое время, на- ная с июня. Но даже в самый сезон ураганов выпадали, при затишье, десные дни.

Томас Хадсон за много лет хорошо изучил тропическую погоду и, дя на небо, мог предсказать надвигающуюся бурю задолго до того, к ее покажет барометр. Он умел составлять карту бурь и знал, какие жно принимать меры предосторожности. Он знал также, что́ значит режить ураган вместе с другими обитателями острова и как подобное пытание роднит тех, для кого оно было общим. Знал он и то, что бы- от такие страшные ураганы, в которых никто и ничто уцелеть не мо- т. Но он давно решил, что уж если случится такое, лучше быть здесь погибнуть вместе с домом.

В этом доме он чувствовал себя почти как на корабле. Построенный , чтобы вынести любую бурю, дом словно врос в остров, стал его ча- ью; из всех окон видно было море, и комнаты продувало насквозь, так даже в самые жаркие ночи спать было прохладно. Он был покрашен елый цвет, чтобы лучше сохранять прохладу в летние дни, и его из- ека можно было разглядеть с моря. Выше его поднимались только рхушки высаженных рядами казуариновых деревьев — первое, что вы мечали, приближаясь к острову. Вскоре после того, как на горизонте мным пятном замаячат посадки казуарины, появлялся перед глазами ый куб дома. А потом, по мере приближения к берегу, разворачива- сь вся панорама острова — с кокосовыми пальмами, с домиками, об- тыми тесом, с белой полосой пляжа и темной зеленью острова Юж- го на горизонте. У Томаса Хадсона, когда бы он ни завидел дом издали, ановилось хорошо на душе. В мыслях дом был для него живым су- ством, как корабль для моряка. Зимой, когда задувал норд-вест и ста- вилось холодно не на шутку, в доме было уютно и тепло, потому что нем, единственном из всех домов на острове, имелся камин. Камин был льшой, открытый, и Томас Хадсон топил его плавником.

Целая куча плавника была сложена за домом, у южной стены. До- ла высушенные солнцем, обточенные ветром и песком, некоторые ку- и дерева так нравились Томасу Хадсону, что ему жаль было жечь их. лавника много оставалось на берегу после каждой сильной бури, и в яще концов Томас Хадсон сжигал с удовольствием даже особенно авившиеся ему куски. Он знал, что море наготовит еще, и в холодные чера он сидел в большом кресле у огня и читал при свете лампы, сто- шей на дощатом столе, временами поднимая голову от книги, чтобы ислушаться к реву ветра снаружи и посмотреть, как горит в камине есцвеченное морем дерево.

Иногда он гасил лампу и, растянувшись на ковре, вглядывался в етные ободки пламени, возникавшие там, где сгорали остатки песка и рской соли. Когда он лежал, глаза его приходились вровень с подом мина и ему видно было, как пламя отрывается от поверхности дерева, от этого становилось и грустно и хорошо. Всегда с ним бывало так, гда он смотрел в огонь. А если горел плавник, это вызывало у него обое чувство, которое трудно было определить. Вероятно, думал он, хорошо жечь то, что тебе так нравилось; но вины он не ощущал.

Лежа на полу, он как будто укрывался от ветра, хотя на самом деле тер хлестал по нижним углам дома и по самой короткой на острове авке и забирался в сухие водоросли на берегу и даже в самый песок.

Пол под ним сотрясался от глухих ударов прибоя, как когда-то в к
сти сотрясалась земля от залпов тяжелых орудий, когда он лежал
вдалеке от полевой батареи.

Великое дело был этот камин зимой, и все незимние месяцы он
глядывал на него с нежностью и думал о том, как будет, когда оп
настанет зима. Пожалуй, зима была лучшей порой на острове, и
остальное время он заранее радовался ее возвращению.

II

Зима уже прошла и весна была на исходе, когда сыновья Том
Хадсона в этом году приехали на остров. По уговору, они все трое д
жны были съехаться в Нью-Йорке, а оттуда поездом, а потом самолет
добираться до места. С матерью двоих младших, как всегда, не обо
лось без осложнений. Она задумала путешествие по Европе, разумее
не предупредив отца мальчиков, и вдруг объявила, что на лето отпуст
их не может. Пусть он их берет к себе на рождественские каникул
только после рождества, разумеется. Рождество они должны прове
с ней.

Томас Хадсон уже привык к этим фокусам, и дело, как всегда, к
чилось компромиссом. Решено было, что мальчики прогостят у отца
острове пять недель, а потом вернутся в Нью-Йорк и оттуда поплы
пароходом французской компании по школьному тарифу. С матерью о
встретятся в Париже, где она тем временем успеет сделать необходим
покупки к лету. В путешествии они будут находиться под присмотр
старшего брата, Тома-младшего. А из Парижа Том-младший уедет
своей матери, которая снималась на юге Франции.

Мать Тома-младшего не требовала его к себе и охотно оставила
у отца на все лето. Но она, конечно, обрадуется ему, и в общем это б
достойный компромисс — при той железной решимости, которой обла
ла мать двух других братьев. Эту прелестную, очаровательную женщи
ничто в мире не заставило бы отступить от раз принятого плана. Пла
свои она строила в глубокой тайне, как опытный полководец, и так
неуклонно проводила их в жизнь. Компромисс еще допускался. Но
ренное изменение плана — никогда, возник ли этот план среди бессонн
ночи, или скучным утром, или вечером, при содействии джина.

План был планом, и уж тем более решение было решением, и Том
Хадсон, отлично зная это и пройдя хорошую школу бракоразводн
процесса, радовался, что компромисса удалось достигнуть и дети п
едут хотя бы на пять недель. Пять недель — не так уж мало, если мо
но провести их с теми, кого любишь и с кем хотел бы всегда быть в
сте. А зачем вообще я расстался с матерью Тома? Лучше не задумыв
ся об этом, сказал он себе. Это такая вещь, о которой лучше не задум
ваться. И та, вторая, родила тебе чудесных детей. Очень непрост
очень своеобразные оба, но ты знаешь, как много хорошего они унас
довали именно от нее. Она прекрасная женщина, и с ней тебе тоже
следовало расставаться. Тут он сказал себе: нет. Иначе нельзя бы

Но все эти мысли теперь не слишком его волновали. Он давно у
перестал волноваться, и свою вину, точно заклятием, отгонял работ
и сейчас думал только об одном: вот приедут мальчики, и нужно, что
они хорошо отдохнули здесь это время. А когда они уедут, он верне
к своей работе.

Он сумел сделать так, что работа заменила ему почти все, кроме
тей,— работа и та размеренная, спокойная трудовая жизнь, которую
себе создал на острове. Он верил, что обрел нечто прочное и надежн
что надолго и крепко удержит его здесь. Теперь, если на него напада
тоска по Парижу, он просто вспоминал о Париже, вместо того что

ать туда. И так было с другими местами в Европе и со многими в зии и в Африке.

Ему приходили на память слова Ренуара, сказанные, когда тот нал, что Гоген уехал писать свои картины на Таити: «Зачем так дале- ехать и тратить столько денег, когда так отлично пишется здесь, в тиньоле?» (по-французски это выходило лучше: «Quand on peint si bien ix Batignolles?») — и Томас Хадсон думал об острове, как о своем uartier [1]. Он здесь чувствовал себя дома, знал всех соседей кругом и аботал усердно, как никогда, разве что в Париже, когда Том-младший ыл еще ребенком.

Иногда он ненадолго уезжал с острова — половить рыбу у берегов убы или осенью побродить в горах. Свое монтанское ранчо он сдал в ренду, потому что лучшее время в Монтане — это лето и осень, а к осе- мальчики теперь должны были возвращаться в школу.

Иногда ему приходилось ездить в Нью-Йорк, к своему агенту. Но аще агент теперь приезжал к нему и увозил с собой законченные по- отна. Томас Хадсон был художник с именем, широко признанный и на одине, и в Европе. Кроме того, ему приносили регулярный доход раз- аботки нефти, которые велись на земле, когда-то принадлежавшей его еду. Земля была продана под пастбища, и, по условиям сделки, пра- о эксплуатации недр сохранялось за прежним владельцем. Половина тих денег шла на алименты, но и того, что оставалось, было довольно, тобы обеспечить ему существование, и поэтому он мог писать что хо- ел и как хотел; нужда на него не давила. И жить мог там, где ему нра- илось, и путешествовать, если приходила охота.

Успех сопутствовал ему во всем, кроме семейной жизни, хотя в ущности он никогда не думал об успехе. Думал он о живописи и о сво- х детях и до сих пор любил ту женщину, которая была его первой лю- бовью. После нее он был влюблен во многих женщин, некоторые даже остили у него на острове. У него была потребность видеть женщин, поначалу он всегда радовался, когда они приезжали. Ему приятно бы- о их присутствие в доме, иногда даже довольно долгое время. Но в кон- е концов он их провожал с чувством облегчения, даже если это был кто-то, кто ему очень нравился. Он выработал в себе уменье не ссориться с женщинами и не жениться на них. Научиться этим двум вещам было не легче, чем упорядочить свою жизнь и привыкнуть работать размерен- о и ровно. Однако он научился, и теперь уже, думалось, навсегда. Вла- деть кистью он умел давно и считал, что делает это с каждым годом лучше и лучше. Но внести порядок в свою жизнь и дисциплинировать свою работу ему оказалось очень и очень трудно, потому что было в его жизни время, когда он был далек от всякой дисциплины. Безответственным он никогда не был, но был недисциплинирован, эгоцентричен и бес- пощаден. Теперь он это знал не только потому, что многие женщины ему об этом говорили, но потому, что в конце концов сам к этому при- шел. И тогда он решил, что впредь будет эгоцентричен только в своих картинах, беспощаден только в работе и что сумеет дисциплинировать себя и примириться с дисциплиной.

Он будет наслаждаться жизнью в рамках той дисциплины, которую предписал себе, и усиленно работать. А сегодня он чувствовал себя счастливым, потому что утром должны были приехать его дети.

— Мистер Том, вам ничего не нужно? — спросил Джозеф, его слуга.— Вы сегодня уже свое отработали?

Джозеф был высокого роста, с очень черным, очень длинным лицом и большими руками и ногами. Он ходил в белой куртке и белых брюках, но босиком.

---

[1] Квартале *(франц.)*.

— Спасибо, Джозеф. Пожалуй, мне ничего не нужно.

— Может, джину с тоником?

— Нет. Я, пожалуй, зайду к мистеру Бобби, там выпью.

— Пейте лучше дома. Дешевле. Я мистера Бобби видел, он сег ня не в духе. Замучился, говорит, с этими коктейлями. Какая-то с як спросила что-то под названием «Белая дама», а он ей подал америк ской минеральной воды — знаете, на которой нарисован ручей, а у р чья дама в белом платье, похожем на москитную сетку.

— Все-таки я пойду.

— Дайте я вам хоть одну порцию дома приготовлю. Вам почту пр везли на рейсовом судне. Почитаете письма и выпьете коктейль, а п том пойдете к мистеру Бобби.

— Ну ладно, согласен.

— Вот и хорошо,— сказал Джозеф.— А то ведь я уже приготов Почта сегодня ничего интересного, мистер Том.

— А где она?

— Внизу, на кухне. Сейчас принесу. Два письма с женским поче ком на конвертах. Одно из Нью-Йорка. Одно из Палм-Бич. Красив почерк. Одно от господина, который продает ваши картины в Нью-Йо ке. Еще два не знаю от кого.

— Может, ответишь за меня на все эти письма?

— Пожалуйста, сэр. Если вы желаете. Я ведь кое-чему учился, хо мне это было и не по карману.

— Да нет уж, лучше принеси их сюда.

— Слушаю, сэр, мистер Том. Там еще и газета есть.

— Газету убери к завтраку.

Томас Хадсон сел и стал читать письма, потягивая прохладное п тье. Одно письмо он прочел дважды, потом спрятал всю пачку в ящ стола.

— Джозеф,— крикнул он.— У тебя для мальчиков все готово?

— Да, сэр, мистер Том. Даже два лишних ящика кока-колы. То младший, верно, уже меня перерос, а?

— Ну нет еще.

— Как вы думаете, сможет он теперь меня побороть?

— Едва ли.

— Мы с ним часто боролись в мое свободное время,— сказал Джо зеф.— Чудно все-таки называть такого парнишку «мистер». Мисте Том. Мистер Дэвид. Мистер Эндрю. Замечательные ребята, прямо как н подбор. А Эндрю из всех троих самый хитрющий.

— Он и маленький был хитрец,— сказал Томас Хадсон.

— А чем дальше, тем больше,— сказал Джозеф с восхищением.

— Ты им будь хорошим примером это время.

— Мистер Том, как вы хотите, чтобы я теперь был им хороши примером? Три-четыре года назад, в невинном возрасте, это бы еще можно. Я сам думаю взять себе за образец Тома. Он учится в дорого школе, у него и манеры такие, что дорого стоят. Я, конечно, не мог стать на него похожим. Но держаться, как он, это я могу научиться. Что бы и свободно, и легко, и вежливо в то же время. А умом я попробую быть похожим на Дэва. Это, пожалуй, будет трудней всего. И еще по стараюсь выведать у Энди, как ему удастся быть таким хитрым.

— Ты только здесь потом не вздумай хитрить.

— Что вы, мистер Том, вы меня плохо поняли. У вас в доме мне хитрость ни к чему. Она мне пригодится в мое свободное время.

— А хорошо, что они приезжают, правда?

— Мистер Том, такого великого события не было со времен боль шого пожара. Я считаю, что это стоит Второго Пришествия. Хорошо ли вы меня спрашиваете? Не то что хорошо — прекрасно.

— Надо будет подумать, как их развлекать, чтобы они не скучали.
— Нет, мистер Том,— сказал Джозеф.— Нам надо будет подумать, их уберечь от всяких их собственных опасных затей. Тут нам Эдди ожет. Он их лучше знает, чем я. И я им приятель, это затрудняет о.
— Как он сейчас, Эдди?
— Немножко выпил по случаю дня рождения королевы. Но при в самом лучшем виде.
— Пойду-ка я все же к мистеру Бобби, он, должно быть, до сих пор духе.
— Он про вас спрашивал, мистер Том Мистер Бобби — джентль- до мозга костей, и его иногда утомляет всякий сброд, который сюда зжает на яхтах. У него был очень утомленный вид, когда я уходил уда.
— А что ты там вообще делал?
— Пошел за кока-колой, а заодно решил погонять немножко шары бильярде.
— Стол все такой же?
— Еще хуже.
— Пойду,— сказал Томас Хадсон.— Вот только приму душ и пере- нусь.
— Я вам все чистое приготовил, лежит на кровати,— сказал Джо-. — Еще джину с тоником не хотите?
— Нет, спасибо.
— Мистер Роджер приехал.
— Отлично. Я его разыщу.
— Он будет гостить у нас?
— Может быть.
— Я ему приготовлю постель на всякий случай.
— Отлично.

III

Томас Хадсон принял душ, намылил голову и потом долго стоял колючими, острыми, напористыми струйками воды. Он был круп- мужчиной и голый казался еще крупней, чем в одежде. Кожа у него а загорелая, а волосы полосами выцвели на солнце. Он встал на ве- — сто девяносто два фунта, ничего лишнего.

Надо было пойти поплавать до душа, подумал он. Но я уже утром еко плавал перед тем, как начать работать, а сейчас я устал. Еще лаваемся, когда ребята приедут. И Роджер здесь. Это хорошо.

Он надел свежие шорты, старую баскскую рубашку и мокасины, вы- из дома и спустился к калитке, которая вывела его на сверкающий, еленный солнцем коралловый известняк Королевского шоссе.

Рослый, с очень прямой спиной, старик негр в черном пиджаке из пака и отутюженных брюках сошел с крыльца дощатой хижины, ка- много стояло в тени кокосовых пальм у обочины дороги, и зашагал шоссе впереди Томаса Хадсона. Томас Хадсон успел разглядеть его сивое черное лицо, когда он выходил на шоссе.

Где-то за хижинами детский голос насмешливо затянул на мотив рой английской песенки:

Дядюшка Эдвард приехал из Нассау,
Конфеты он продает.
Я съел конфетку, и ты съел конфетку,
И у нас заболел живот...

Дядюшка Эдвард оглянулся, его красивое лицо было сердит грустным в ярком свете дня.

— Я тебя знаю,— сказал он.— Я тебя не вижу, но я знаю, к такой. Вот пожалуюсь на тебя констеблю.

Невидимый мальчишка запел еще звонче и веселей:

Ах, Эдвард,
Ох, Эдвард,
Старый шут-плут-спрут Эдвард,
Конфеты твои — просто дрянь...

— Все расскажу констеблю,— сказал дядюшка Эдвард.— К тебль на тебя найдет управу.

— Привез сегодня своих дрянных конфет, дядюшка Эдвард крикнул мальчишка. Он предусмотрительно не показывался на глаз

— Травят человека,— сказал дядюшка Эдвард, продолжая вперед и ни к кому не обращаясь.— Хотят унизить человека, сорва него покровы достоинства. Прости им, боже, ибо не ведают, что тво

Впереди на Королевском шоссе тоже слышалось пение. Оно нес из раскрытых окон над баром «Понсе-де-Леон». Томаса Хадсона на молодой негр, почти бегом бежавший по коралловому шоссе.

— Скандал там, мистер Том,— сказал он.— А может, уже и др Господин с яхты выбрасывает вещи в окно.

— Какие вещи, Луис?

— Всякие вещи, мистер Том. Все, что под руку попадет. Дама хотела помешать, так он сказал, что и даму выбросит тоже.

— А что это за господин?

— Какой-то богач с Севера. Хвалился, что может купить и про весь наш остров. Пожалуй, цена будет невелика, если он все кру порасшвыряет.

— А что же констебль?

— Ничего, мистер Том. Констебля пока не звали. Но все дума без констебля дело не обойдется.

— Так ты, значит, сейчас при них, Луис? А я думал, ты мне пр говишь наживки на завтра.

— Слушаю, сэр, мистер Том. Наживка у вас будет. Вы насчет живки не беспокойтесь. При них-то я при них. Они меня подрядили годня с утра выйти с ними на рыбную ловлю, и с тех пор я при них. только никакой рыбной ловли не было. Нет, сэр. Если только выбра вать чашки, плошки, тарелки, стулья и всякий раз, когда мистер Бо пытается подать счет, рвать этот счет в клочки и ругать мистера Б би бандитом и мошенником и сволочью — если только все это не на вается рыбной ловлей.

— Видно, господин из таких, с кем нелегко сладить, Луис.

— Мистер Том, я никого хуже никогда не видал и не увижу. требовал он, чтобы я им пел. Вы знаете, я не умею так хорошо петь, Джози, но я пою, как умею, иногда даже лучше. Стараюсь, чтоб б лучше. Вы знаете. Вам приходилось слышать, как я пою. Понравил ему одна песня — про маму, которой не надобен был ни рис, ни горох, кокосовый сок, и другой он не хочет. Как допою ее, давай опять снач Это старая песня, надоело мне ее петь, я и говорю: «Сэр, я знаю но песни. Хорошие песни. Красивые песни. И старых песен я еще мн знаю, вот хотя бы про то, как Джон Джекоб Астор погиб на «Титани когда тот наскочил на айсберг и пошел ко дну, и я рад буду спеть вам вместо «ни рис, ни горох», если пожелаете». Тихо так, вежливо зал, вы же меня знаете. А он в ответ: «Ах ты поганый черномазый н да у меня заводов, и магазинов, и газет больше, чем твой Джон Дже Астор за всю свою жизнь в горшки наложил,— простите за грубое сл

р,— и я вот тебя возьму и обмакну в эти горшки головой, чтоб ты мне указывал, какие песни слушать». Тут его дама вступилась и говорит: Милый, ну зачем ты с ним так? Право, он очень хорошо пел, и я с удовольствием послушала бы какие-нибудь новые песни». А он на это: «Не будешь ты их слушать, и он их не будет петь. Заруби это себе на носу». Очень странный господин, мистер Том. А дама только сказала: «Ох, милый, до чего с тобой трудно сладить». Мистер Том, новорожденному ортышонку, только что из материнской утробы, легче сладить с дизельтором, чем кому-нибудь с этим господином. Вы уж извините, что я так разболтался. Очень он меня расстроил. Он и свою даму вконец расстроил.

— Что же ты теперь с ними думаешь делать, Луис?

— Вот раздобыл для дамы ракушечного жемчуга.

Они стояли в тени придорожной пальмы, куда отошли в начале разговора, и Луис, достав из кармана чистую тряпицу, бережно развернул ее и показал несколько блестящих, перламутрово-розовых, очень мало похожих на жемчуг горошин, какие иногда находят местные жители при чистке раковин. Ни одна из знакомых Томасу Хадсону женщин, кроме королевы Марии Английской, не позарилась бы на такой жемчуг. Не то чтобы Томас Хадсон мог считать королеву Марию своей знакомой — он ее видел только на картинках и в кино да еще в «Нью-Йоркере», где часто мелькал ее профиль; но оттого, что она любила ракушечный жемчуг, ему казалось, что он ее знает лучше многих своих давних знакомых. Королева Мария любит ракушечный жемчуг, а сегодня весь остров празднует ее день рождения, думал он, но едва ли ракушечный жемчуг послужит утешением для спутницы того господина, о котором рассказывал Луис. Впрочем, может быть, и королева Мария говорила, что любит вот жемчуг, просто чтобы сделать приятное своим подданным на Багамских островах.

Они шли дальше по направлению к «Понсе-де-Леон», и Луис говорил:

— Эта его дама плакала, мистер Том. Она плакала горькими слезами. Тут я и предложил, что схожу к Рэю и принесу ей ракушечного жемчуга, пусть посмотрит.

— Наверно, это ее очень порадует,— сказал Томас Хадсон.— Если она любит ракушечный жемчуг.

— Надеюсь, что порадует. Сейчас отнесу ей.

Томас Хадсон вошел в бар, прохладный и даже темноватый на первый взгляд после сверканья коралловой дороги, и выпил джину с тоником и кусочком лимонной корки, прибавив в стакан несколько капель «Ангостуры». Мистер Бобби стоял за стойкой с мрачнейшим видом. Четверо молодых негров играли на бильярде, слегка приподнимая одну сторону, когда по ходу игры предстоял особо сложный карамболь. Пение наверху прекратилось, и в баре было очень тихо, только пощелкивали бильярдные шары. У стойки сидели двое матросов с яхты, ошвартованной у причала. Постепенно глаза Томаса Хадсона привыкли к освещению бара, и ему стало прохладно и приятно. Пришел сверху Луис.

— Господин уснул,— сказал он.— Я оставил жемчужины его даме. Она смотрит на них и плачет.

Томас Хадсон заметил, как матросы с яхты переглянулись, но не сказали ни слова. Он стоял, держа в руках стакан с приятно-горьковатым напитком, все еще смакуя первый долгий глоток, напомнивший ему Бангу, Момбассу и Ламу и все то побережье, и его вдруг охватила тоска по Африке. Вот он так прочно осел здесь, на этом острове, а ведь мог бы сейчас быть в Африке. Кой черт, подумал он, я всегда могу туда поехать. Нужно находить главное в себе самом, где бы ты ни был. А здесь это мне неплохо удается.

— Том, вам правда нравится на вкус эта штука? — спросил его Бобби.

— Конечно. Иначе я бы не стал это пить.

— Я раз по ошибке откупорил бутылку, так словно хины глот

— А там есть хина.

— С ума сходят люди, честное слово,— сказал Бобби.— Чел может выбрать себе любой напиток. У него есть чем заплатить. Каже пей и получай удовольствие — так нет, он берет и портит добрый дж наливая туда индийской водички с хиной.

— Мне нравится. Я люблю вкус хины в сочетании с лимонной к кой. От этого коктейля словно все поры в желудке раскрываются. Н кой другой напиток меня так не бодрит. Я себя после него отлично ствую.

— Знаю. Вы себя всегда хорошо чувствуете, когда выпьете. А отвратительно. Где Роджер?

Роджер был приятель Томаса Хадсона, купивший себе рыбац хижину на другой стороне острова.

— Скоро появится. Мы с ним сегодня обедаем у Джонни Гудне

— Не пойму, что за интерес таким людям, как вы, Роджер Дэ и Джонни Гуднер, торчать на этом острове.

— Это прекрасный остров. Вы же торчите.

— Я торчу, потому что я здесь деньги зарабатываю.

— Могли бы и в Нассау зарабатывать.

— Черт с ним, с Нассау. Здесь веселее. По части веселья лучше го острова не найти. И кой-кому здесь случалось сколотить состояни

— По-моему, здесь жить очень славно.

— Еще бы,— сказал Бобби.— По-моему, тоже. Если можно за батывать деньги. Вы эти картины продаете, над которыми все вре трудитесь?

— На них сейчас много покупателей.

— Платить деньги за картины, на которых нарисован дядюшка З вард! Или негры в воде. Негры на берегу. Негры в лодке. Ловцы че пах. Ловцы губок. Буря на море. Смерч. Шхуна, разбитая волна Шхуна, еще недостроенная. Все то, что можно увидеть бесплатно. Н ужели их правда покупают?

— Ну конечно. Раз в год в Нью-Йорке устраивается выставка и в ставленные картины продаются.

— С аукциона?

— Нет. Тот, кто устраивает выставку, назначает каждой карти цену. Люди смотрят и покупают. Бывает, что и музей купит каку нибудь.

— А сами вы можете их продавать?

— Конечно.

— Я бы, пожалуй, купил у вас смерч,— сказал Бобби.— Здоров ный чтоб был смерч, черный как дьявол. Или еще лучше два смер как они несутся над отмелью с таким ревом, что больше ничего не слы но кругом. Всасывают воду и пугают людей до смерти. И я на своей дочке — выехал ловить губку и попался. А смерч бушует, сорвал у ме стеклянный щиток. Чуть не всосал и лодку вместе с водой. Такой сме что господь бог ему сам не рад. Сколько бы вы с меня взяли за так картину? Я бы ее прямо вот здесь и повесил. Или у себя дома, если м старуха не умрет со страху.

— Цена зависит от размера картины.

— Делайте любого размера, какой вам захочется,— величествен разрешил Бобби.— Такую картину, черт побери, маленькую не сдел ешь. Знаете что, нарисуйте даже три смерча. Я раз видел три смерча острова Андроса, вот как сейчас вас вижу. Они закручивались до са го неба, а один всосал лодку ловца губок, так когда она упала, мо насквозь пробил днище.

— Вопрос в том, сколько будет стоить холст,— сказал Томас Хадсон.— Я с вас возьму только стоимость холста.

— Ну, тогда покупайте холст побольше,— сказал Бобби.— Мы такие изобразим смерчи, что, кто ни взглянет, со страху тут же выкатится из бара, а то и вовсе удерет с этого чертова острова.

Он был потрясен грандиозностью замысла, но заложенные тут возможности лишь постепенно раскрывались перед ним.

— Том, дружище, а целый ураган вы бы не могли изобразить? Самую завируху, когда с одной стороны уже отбушевало и успокоилось, а с другой только начинается. Чтобы все как есть было нарисовано: от негров, которых швыряет на кокосовые пальмы, и до кораблей, что с волной перекатываются через весь остров. И как вырванные доски, точно гарпуны, летят по воздуху и мертвые пеликаны несутся мимо, будто они пролились из тучи вместе с дождем. Нарисуйте барометр, который стоит на двадцати семи, и ветроуказатель, сорванный с места. Нарисуйте большую отмель, залитую водой, и луну, которая выглядывает в просвет между тучами. Пусть там будет водяная стена, как она встает и обрушивается, погребая под собой все живое. Пусть будут женщины, которых смыло в море, а ветер сорвал с них одежду. Пусть мертвые негры качаются на волнах и взлетают в воздух...

— Понадобится очень большой холст,— сказал Томас Хадсон.

— Плевать на холст! — сказал Бобби.— Я вам достану грот-марсель со шхуны. Мы с вами напишем такую, черт побери, картину, какой еще мир не видал, и наши имена войдут в историю. Довольно вам малевать всякие ерундовые картинки.

— Лучше все-таки я напишу смерч,— сказал Томас Хадсон.

— Валяйте,— сказал Бобби, неохотно спускаясь с высот своего грандиозного замысла.— Это разумно. Но, ей-богу, со всем тем, что мы оба видели и знаем, а к тому же еще с вашим уменьем у нас получились бы замечательные картины.

— Я завтра же начну работать над смерчем.

— Ладно,— сказал Бобби.— Это будет начало. Но, ей-богу, хорошо бы нам с вами написать и этот ураган тоже. А что, гибель «Титаника» кто-нибудь изображал?

— В больших масштабах нет.

— Может, нам за это взяться? Меня всегда увлекали такие сюжеты. Вы бы постарались передать на картине холод айсберга, когда он отходит после толчка. А кругом все в густом тумане. Изобразите все подробности. Изобразите того человека, что сел в шлюпку с женщинами, потому что он, мол, яхтсмен и сможет их спасти. Нарисуйте, как он лезет в шлюпку, этот верзила, прямо наступая на женщин сапогами. Он, наверно, был похож на того типа, который сейчас спит наверху. Вот вы бы поднялись сейчас туда и нарисовали его, пока он спит, пригодится для картины.

— Мне кажется, лучше нам все-таки начать со смерча.

— Том, я хочу, чтоб вы были по-настоящему великим художником,— сказал Бобби.— Бросьте все эти ваши детские забавы. Вы просто растрачиваете себя по-пустому. Смотрите, меньше чем в полчаса мы с вами сочинили три картины, а я еще даже не открыл краны своей фантазии. Ну, чем вы до сих пор занимались? Рисовали негра, который ловит на берегу черепаху. Даже не зеленую черепаху. Самую обыкновенную черепаху. Или двух негров в лодке, где на дне копошится куча лангустов. По-пустому, по-пустому растрачиваете свою жизнь.

Он умолк и, достав из-под стойки бутылку, торопливо глотнул из горлышка.

— Это не считается,— сказал он Томасу Хадсону.— Вы этого не видели. Слушайте, Том, три картины, что мы тут сочинили, замечатель-

ные картины. Великие картины. Мировые картины. Могли бы висеть Хрустальном дворце среди шедевров всех времен. Ну, кроме первой, п жалуй, там сюжет поскромнее. А ведь мы еще не принялись за работ Что нам мешает написать такую картину, которая бы превзошла все эт три? Как вы насчет этого?

Он еще раз глотнул из бутылки.

— Насчет чего?

Бобби перегнулся через стойку, чтобы его никто больше не слыша

— Вы только не шарахайтесь,— сказал он.— Пусть вас не смущ ет размах. Нужно дерзать, Том. Давайте напишем с вами конец света.- Он выдержал паузу.— В натуральную величину.

— Ого.

— Ничего не «ого». Вот слушайте. Только что разверзся ад. Тр суны собрались на радение в свою церковь на горе и голосят на неп нятных языках. И тут же черт с вилами, он их сгребает и грузит н повозку, а они стонут, и вопят, и взывают к Иегове. Повсюду валяют распростертые на земле негры, а вокруг них и прямо по их телам по зают лангусты, мурены и морские пауки. В одном месте что-то вро большого открытого люка, из которого идет пар; черти волокут туда негров, и трясунов, и священников, и всех сваливают в этот люк, и бол ше мы их не видим. А в бурном море вокруг острова кишмя кишат аку лы — и колючие, и сельдевые, и кокотницы, и пилоносы,— и кто пытает спастись вплавь, чтобы черти его не загребли вилами, тот сразу попада акулам в пасть. Пьяницы спешат хлебнуть напоследок и отбиваются чертей бутылками. Но черти все-таки загребают их, или же их волн смывает в море, где уже к тем акулам прибавились новые, а дальш кружат по воде киты, и кашалоты, и еще разные морские чудища, та что кого не сожрут акулы, тому все равно далеко не уйти. Склоны хо мов усеяны собаками и кошками, за ними тоже охотятся черти своими вилами, собаки скулят и увертываются, а кошки царапают че тей когтями, и шерсть на них стоит дыбом, и в конце концов они брос ются в море и плывут во всю мочь. Иная акула ударит хвостом, и видн как она скрывается под водой. Но многим удается проскочить.

Из люка уже пышет удушливым жаром, а некоторые черти пооб ломали о священников свои вилы, и теперь им приходится тащить ту людей вручную. А в самом центре картины стоим мы с вами и спокой смотрим на все, что творится кругом. Вы чего-то записываете в блок те, а я то и дело прикладываюсь к бутылке, чтобы освежиться, и в тоже даю. Порой какой-нибудь черт, весь взмокший от натуги, таш чуть не прямо на нас жирного священника, а тот упирается, цепляс пальцами за песок и истошным голосом призывая Иегову, и черт гов рит нам: «Пардон, мистер Том. Пардон, мистер Бобби. Совсем запарил сегодня». А на обратном пути, когда он бежит за следующим свяще ником, утирая с морды пот и грязь, я ему предлагаю выпить, но он от чает: «Нет, мистер Бобби, спасибо. На работе не употребляю».

Ох, и картина же получится, Том, если мы сумеем придать ей ну ный размах и движение.

— Ну, мне кажется, на сегодня мы уже сочинили больше чем тр буется.

— Да, черт побери, пожалуй, вы правы,— сказал Бобби.— Тем б лее, что от этого занятия — сочинять картины — у меня в горле сохне

— Был один человек, Босх, он писал в таком духе и очень здоров

— Это тот, что по электричеству?

— Нет. Иероним Босх. Он жил очень давно. Очень хороший худо ник. И у Питера Брейгеля есть такие сюжеты.

— Он тоже давно жил?

— Очень давно. Очень хороший художник. Вам бы понравился.

— К чертям всех старых художников,— сказал Бобби.— Им до нас леко. И потом конец света до сих пор не наступил, так откуда этому ксу было знать о нем больше, чем знаем мы?

— С ним нелегко будет тягаться.

— И слышать этого не хочу,— сказал Бобби.— После нашей карти- о нем никто и не вспомнит.

— Бобби, нельзя ли повторить?

— Фу, черт! Совсем забыл, что я за стойкой. А какой сегодня день, тоже забыли. Боже, храни королеву. Выпьем за ее здоровье, Том, угощаю.

Он налил себе стаканчик рому, а Томасу Хадсону протянул бутыл- бутсовского желтого джину, блюдечко с лимоном и бутылку индий- ого тоника «Швеппе».

— Стряпайте себе свое питье сами. Терпеть не могу эту мешанину.

Томас Хадсон налил поровну того и другого, добавил несколько ка- ль из сосуда со вставленным в пробку перышком чайки и поднял ло стакан, но оглянулся на матросов, сидевших у другого конца ойки.

— Вы что пьете? Скажите, как называется, если знаете.

— «Песья голова»,— ответил один из них.

— Точно, «Песья голова»,— сказал Бобби и, сунув руку в ящик со дом, достал им по бутылке холодного эля.— Вот только стаканов т,— сказал он.— Нашлись тут пьяницы, целый день швыряли стаканы окно. Ну как, теперь у всех есть? За королеву, джентльмены. Не ду- ю, что ей так уж интересен этот остров, и сомневаюсь, чтобы она себя рошо чувствовала здесь. Но — за королеву, джентльмены. Храни ее бог.

Все выпили.

— Замечательная, должно быть, женщина,— сказал Бобби.— По- алуй, только чересчур чопорная для меня. Вот королева Александра, больше в моем вкусе. Люблю таких. Но день рождения королевы мы празднуем как положено. Хоть остров наш маленький, патриотизма м не занимать стать. Один здешний житель участвовал в войне, и ему орвало руку. Это ли не патриотизм.

— Чей, говорите, сегодня день рождения? — спросил один из мат- сов.

— Королевы Марии Английской,— сказал Бобби.— Матери нынеш- го короля-императора.

— Это та, что ли, в честь которой судно названо? — спросил другой итрос.

— Том,— сказал Бобби.— Следующий тост мы будем пить с вами воем.

IV

Стемнело, и подул легкий ветер, так что и комары и песчаные блохи е исчезли и суда уже вернулись в гавань, подняв на борт свои аутриг- ры еще в проливе, и теперь стояли у причалов, которые тянулись от реговой линии в гавань. Отлив шел быстро, и огни судов дрожали на де, отсвечивавшей зеленым и так стремительно убывавшей, что ее сасывало под настил причала и крутило воронкой за кормой большого тера, на который поднялся Томас Хадсон. В воде — там, где огни ескались между обшивкой катера и некрашеным настилом причала кранцами из старых автомобильных шин, темными кругами отражав- имися в темноте у камней,— стояли, держась против течения, сарганы, иплывшие сюда на свет. Длинные, плоские, с прозеленью, как и вода, и не кормились тут, не играли; они только, подрагивая хвостами, дер- ались против течения, зачарованные светом.

«Нарвал» — катер Джонни Гуднера, где они с Томасом Хадсоно ждали Роджера Дэвиса,— утыкался носом в убывающую воду, а корм к корме за ним была яхта того самого человека, который весь день пр вел у Бобби. Джонни Гуднер сидел на стуле, положив ноги на друг стул, в правой руке у него был стакан «Томми Коллинза», а в левой длинный зеленый стручок мексиканского перца.

— Замечательно,— сказал он.— Я откусываю помаленьку, и во р у меня начинается пожар, а я остужаю его вот этим.

Он откусил первый кусочек, проглотил его, выдохнул «х-х!» сквоз свернутый трубочкой язык и потом долго тянул из высокого стакан Его полная нижняя губа посасывала тонкую, типично ирландскую вер нюю, а улыбались одни серые глаза. Уголки губ у него всегда были пр подняты кверху, и поэтому казалось, что он вот-вот улыбнется или тол ко что улыбнулся. Но рот мало что говорил о нем, если бы не тонка верхняя губа. Присматриваться следовало к глазам. Рост и сложени у Джонни Гуднера были как у немного отяжелевшего боксера средне веса, но сейчас, развалившись на двух стульях, он выглядел склад А человека, потерявшего форму, такая вольная поза сразу выдает. Л цо у него было покрыто ровным загаром, лупились только нос и ло уходивший назад вместе с редеющими волосами. Шрам на подбород мог бы сойти за ямочку, если бы приходился ближе к серединке, а пер носица была чуть приплюснута. Сам по себе нос был не плоский. О будто вышел из рук современного скульптора, который работа сразу в мраморе и стесал тут самую малость больше, чем следовало.

— Том, пропащая твоя душа. Чем ты был занят это время?

— Работал, и довольно упорно.

— Ну еще бы! — сказал Джонни Гуднер и отправил в рот второ кусок зеленого перца. Стручок был очень вялый, сморщенный, дюйм шести в длину.

— Только поначалу жжет,— сказал он.— Как любовь.

— Черта с два. Перец жжет не только поначалу.

— А любовь?

— К черту любовь,— сказал Томас Хадсон.

— Это что за настроения? Что за разговоры? Ты в кого это превр щаешься у нас на острове? В чокнутого овцевода при отаре?

— Здесь овец нет, Джонни.

— Ну, в чокнутого крабовода,— сказал Джонни.— Мы не собирае ся держать тебя здесь на привязи. Возьми, попробуй перца.

— Я уже пробовал,— сказал Томас Хадсон.

— Про твои прошлые дела я все знаю,— сказал он.— Не щеголя передо мной своим славным прошлым. Ты, может, всех их выдума Знаю, знаю. Ты, может, первый ввез их на вьючных яках в Патагони Ну, а я человек современный. Слушай, Томми. Перец фаршируют лос синой. Фаршируют морским окунем. Фаршируют чилийской скумбрие Грудкой мексиканской горлицы. Индюшатиной и кротовым мясом. М его чем угодно фаршируй, я все беру. Вот, мол, я какой магнат, че меня подери. Но это все извращение. Нет ничего лучше такого вот дли ного, вялого, скучного, совсем не соблазнительного, без всякого фарш простого перчика под коричневым соусом из чупанго. Ух ты, зверюга,- он снова дыхнул, высунув сложенный трубочкой язык,— пожалуй, я т бя все-таки малость перебрал.

Он приложился к стакану.

— Этот перец дает мне лишний повод выпить,— пояснил он.- Остужаю свою пасть. А ты что будешь?

— Пожалуй, еще одну порцию джина с тоником.

— Бой! — крикнул Джонни.— Еще порцию джина с тоником бва М'Кубва.

Фред, один из местных негров, которых капитан катера нанял для Джонни, подал ему стакан.

— Пожалуйста, мистер Том.

— Спасибо, Фред,— сказал Томас Хадсон.— За королеву, дай ей бог здоровья.

И они выпили.

— А где наш милейший распутник?

— Он у себя дома. Скоро придет.

Джонни съел еще один стручок, на сей раз без всяких комментариев, допил виски и сказал:

— А на самом-то деле, как ты тут, старик?

— О'кей,— сказал Томас Хадсон.— Я уже научился жить в одиночку, да и работы хватает.

— Тебе нравится здесь? Если осесть навсегда?

— Нравится. Надоело мыкаться со всем, что есть на душе. Лучше уж на одном месте. Мне тут неплохо, Джонни. Совсем неплохо.

— Здесь хорошо,— сказал Джонни.— Для такого, как ты, с внутренним содержанием, здесь хорошо. А для такого, как я, который то гоняется за этим самым, то от этого удирает, тут погибель. А правда, что наш Роджер в красные записался?

— Значит, уже пошли толки?

— Я слышал кое-что, когда был в Калифорнии.

— А что с ним там случилось?

— Да я всего не знаю. Но, кажется, дело было плохо.

— Действительно плохо?

— У них там на этот счет свои понятия Не то чтобы растление, если ты об этом. Но понимаешь, при тамошнем климате, да на свежих овощах, да все такое прочее, там не только футболисты здоровенные вырастают. Пятнадцатилетняя девчонка выглядит на все двадцать четыре. А в двадцать четыре она — что твоя Мэй Уитти. Если жениться не собираешься, посмотри внимательно на ее зубы. Впрочем, и по зубам возраста не определишь. И у всех у них мамаша или папаша, а то и оба, и все они голодные. Климат такой — аппетит очень развивается. Беда в том, что человек иной раз взыграет, и нет того чтобы поинтересоваться, есть ли у нее водительские права или карточка социального страхования. По-моему, в таких случаях надо бы судить по росту, по весу, а не только по возрасту, и вообще проверять, на что они способны. Если судить только по возрасту, то часто получается несправедливо. И для нас и для них. В других видах спорта раннее развитие не наказуемо. Наоборот. Для юниоров особые нормы — вот это было бы справедливо. Как на скачках. Меня раз здорово подковали. Но Роджер погорел не на этом.

— А на чем я погорел? — спросил Роджер Дэвис.

В туфлях на веревочной подошве он бесшумно спрыгнул с причала на палубу и стал — огромный, в спортивном свитере, размера на три больше, чем нужно, и в тесно облегающих поношенных брюках из бумажной материи.

— Привет! — сказал Джонни.— Я не слышал вашего звонка. Вот говорю Тому: за что вас сцапали, не знаю, только не за малолетнюю.

— Прекрасно,— сказал Роджер.— И на этом точка.

— А вы не командуйте,— сказал Джонни.

— А я не командую,— сказал Роджер.— Я вежливо. А что, пить здесь разрешается? — Он посмотрел на яхту, которая стояла кормой к ним.— Это еще кто?

— Это те самые, из «Понсе». Вы разве не слыхали?

— А-а! — сказал Роджер.— Давайте все-таки выпьем, хотя они и подали нам дурной пример.

— Бой! — крикнул Джонни.

Фред вышел из кубрика.

— Да, сэр? — сказал он.

— Выясни, чего желают сагибы.

— Что прикажете, господа? — спросил Фред.

— Мне того же, что пьет мистер Том,— сказал Роджер.— Он м наставник и воспитатель.

— Много в этом году мальчиков в лагере? — спросил Джонни.

— Пока только двое,— сказал Роджер.— Я с моим воспитателе

— Надо говорить: мы с моим воспитателем,— сказал Джонни. А еще книжки пишете!

— Можно нанять человека, пусть исправляет грамматику.

— Еще нанимать. Лучше дарового найдите,— сказал Джонни. Я тут побеседовал с вашим воспитателем.

— Воспитатель говорит, ему здесь хорошо, он всем доволен. Он н долго здесь высадился.

— Ты бы сходил посмотреть, как мы живем-поживаем,— сказ Том.— Кое-когда он отпускает меня, и я хожу выпить.

— Женщины?

— Никаких женщин.

— Что же вы, мальчики, делаете?

— У меня весь день занят.

— Но вы и раньше здесь жили, а тогда что делали?

— Купались, ели, пили. Том работает, читаем, разговариваем, ч таем, рыбачим, рыбачим, купаемся, пьем, спим...

— И никаких женщин?

— И никаких женщин.

— А это не вредно? Атмосфера вроде нездоровая. А опиума в мальчики, много курите?

— Как, Том? — спросил Роджер.

— Только высший сорт,— сказал Томас Хадсон.

— Выращиваете хороший урожай марихуаны?

— Выращиваем, Том? — спросил Роджер.

— Год плохой,— сказал Томас Хадсон.— Дожди все к чертов матери залили.

— Нездоровая, на мой взгляд, атмосфера.— Джонни выпил. Единственное с пасительное обстоятельство — это то, что вы еще пьет Вы, мальчики, не ударились ли в религию? Может, Тома осенил св божий?

— Как, Том? — спросил Роджер.

— Отношения с богом без существенных перемен,— сказал Том Хадсон.

— Теплые?

— Мы народ терпимый,— сказал Томас Хадсон.— Пожалуйст упражняйтесь в любой вере. На острове есть бейсбольная площадк можете там поупражняться.

— Я этому боженьке пошлю мяч повыше, в самый пуп, если попробует выйти к столбу,— сказал Роджер.

— Роджер,— укоризненно сказал Джонни.— Уже темнеет. Вы ра ве не видите, что наступают сумерки, сгущается тьма и мрак окутыв ет землю? А ведь вы писатель. В темноте неуважительно отзывать о боге не рекомендуется. А вдруг он стоит у вас за плечами с занесенн битой.

— К столбу он выйдет обязательно,— сказал Роджер.— Я недав видел, как он пристраивался.

— Не сомневайтесь, сэр,— сказал Джонни.— Да так запустит мя что мозги вам вышибет. Я видел, как он отбивает.

— Да. Надо думать, видели,— согласился с ним Роджер.— И Том видел, и я. Но мне все-таки хочется, чтобы он промазал.

— Давайте прекратим теологический спор,— сказал Джонни.— Надо чего-нибудь поесть.

— Этот старый сморчок, которому ты позволяешь водить твою посудину по океану, еще не разучился готовить? — спросил Томас Хадсон.

— Будет тушеная рыба,— сказал Джонни.— И еще ржанка с желтым рисом. Золотистая ржанка.

— Расписываешь, как специалист по интерьеру,— сказал Том.— В это время года никакого золота на них нет. Где ты подстрелил этих ржанок?

— На острове Южном. Мы там бросили якорь, чтобы выкупаться. И два раза подсвистывал стаю и шлепал их одну за другой. Угощаю по две на брата.

Вечер был мягкий, и, пообедав, они сидели на корме, пили кофе, курили сигары, с другого катера пришли двое бездельников с гитарой и банджо, а на причале собрались негры, и оттуда то и дело слышалось пение. В темноте на причале негры заводили какую-нибудь песню, и тогда ее подхватывал Фред Уилсон, у которого была гитара, а Фрэнк Харт тренькал на банджо. Томас Хадсон не умел петь, он сидел в темноте, откинувшись на спинку стула, и слушал.

На берегу у Бобби праздновали вовсю, и в открытую дверь на воду падал яркий свет. Отлив все еще продолжался, и там, где вода была подсвечена, прыгала рыба. Все больше серые снепперы, подумал Том. Хватают пущенную на приманку рыбу, которую относит от берега отливом. Несколько негритянских мальчишек сидели с лесками, и слышны были их разговоры и негромкая брань, когда рыба срывалась с крючка, и шлепки выловленных снепперов о настил причала. Снепперы были крупные, а ребята ловили их на мякоть марлина, которого еще утром привезли на одном из катеров и уже взвесили, вздернули на крюк, сфотографировали и разделали на куски.

Слушать пение на причале собралась большая толпа, и Руперт Пинкер — огромный негр, который считал себя могучим бойцом и, по рассказам, как-то раз один дотащил на спине рояль с правительственного причала в старый клуб, который потом снесло ураганом,— крикнул:

— Капитан Джон, ребята говорят, у них во рту пересохло.

— Купи им чего-нибудь недорогóго и полезного для здоровья.

— Слушаю, сэр, капитан Джон. Рому.

— Вот именно,— сказал Джон.— И бери сразу бутыль. Дешевле встанет.

— Большое спасибо, капитан Джон,— сказал Руперт. Он пошел сквозь толпу, которая торопливо расступалась, давая ему дорогу, и снова смыкалась позади него. Томасу Хадсону было видно, что все они двинулись к кабачку Роя.

В эту минуту с одного из катеров, стоявших у причала Брауна, с шипением взмыла в небо ракета и с треском вспыхнула, осветив пролив. Вторая, шипя, взлетела вкось и вспыхнула как раз над ближним концом их причала.

— Ах ты, черт! — сказал Фред Уилсон.— Чего же мы-то не послали на ракетами в Майами!

Ночь то и дело освещали вспышки с треском разрывавшихся ракет. Руперт со своей свитой снова появился на причале, неся на плече большую оплетенную бутыль.

С одного из катеров тоже запустили ракету, и она взорвалась над самой пристанью, осветив толпу, темные лица, шеи, и руки, и плоское лицо Руперта, его широкие плечи, и могучую шею, и оплетенную сеткой бутыль, нежно и горделиво прижавшуюся к его голове.

— Кружек,— сказал он своей свите, бросив это слово через пл чо.— Эмалированных кружек.

— Есть жестяные, Руперт,— сказал кто-то.

— Эмалированные кружки,— сказал Руперт.— Достаньте. Купи у Роя. Вот деньги.

— Фрэнк, давай нашу ракетницу,— сказал Фред Уилсон.— Ра стреляем те патроны, что есть, а новые где-нибудь достанем.

Пока Руперт величественно ждал эмалированных кружек, кто- принес кастрюлю, и Руперт налил в нее рому, и она пошла по кругу.

— За маленьких людишек,— сказал Руперт.— Пейте, скромны людишки.

Пение не умолкало, но пели без особенного складу. Заодно с зап ском ракет на некоторых катерах палили из винтовок и пистолетов, а причала Брауна стрекотал пистолет-пулемет, стрелявший трассиру щими пулями. Сначала он дал две очереди из трех и четырех пуль, а по том выпустил целую обойму, перекинув над гаванью красивую арку красных трассирующих пуль.

Фрэнк Харт спрыгнул на корму с ракетницей в чехле и с пачко патронов, и как раз в эту минуту подоспели кружки, и один из подру ных Руперта стал разливать ром и подавать кружки всем по очереди.

— Боже, храни королеву,— сказал Фрэнк Харт, зарядил ракетниц и послал сигнальный патрон вдоль причала прямо в открытые двери ба ра мистера Бобби. Патрон ударил в бетонную стену правее двери, взо рвался и ярко вспыхнул на коралловой дороге, осветив все белым огне

— Легче, легче,— сказал Томас Хадсон.— Так можно людей обжеч

— Катись ты со своим «легче»,— сказал Фрэнк.— Посмотри удастся ли мне вдарить по комиссарскому дому.

— Смотрите, как бы не поджечь,— сказал ему Роджер.

— Я подожгу, я и за поджог буду платить,— сказал Фрэнк.

Ракета описала полукруг, но не долетела до большого белого дома где жил английский правительственный комиссар, и ярко вспыхнула упав у его веранды.

— Милый наш комиссар! — Фрэнк снова зарядил ракетницу.— Будешь знать, подлец, патриоты мы или нет.

— Легче, Фрэнк, легче,— останавливал его Том.— Не надо дебо ширить.

— Сегодня моя ночка,— сказал Фрэнк.— Королевина и моя. Не ме шай мне, Том, сейчас буду лупить по причалу Брауна.

— Там бензин,— сказал Роджер.

— Недолго он там простоит,— ответил ему Фрэнк.

Трудно было сказать, мажет ли он, чтобы подразнить Роджера Томаса Хадсона, или просто не умеет стрелять. Ни Роджер, ни Тома Хадсон не могли определить это, но оба они знали, что из ракетницы по падать точно в цель нелегко. А на причале был бензин.

Фрэнк встал, старательно прицелился, вытянув левую руку вдоль туловища, как дуэлянт, и выстрелил. Ракета ударила по причалу не там, где стояли баллоны с бензином, а на противоположном конце и рикоше том отлетела в пролив.

— Эй, там! — крикнул кто-то с одного из катеров, стоявших на при коле у Бруина.— Какого черта балуетесь!

— Почти в самую точку,— сказал Фрэнк.— Теперь опять попробую по комиссару.

— А ну, прекрати,— сказал ему Томас Хадсон.

— Руперт,— крикнул Фрэнк, не обращая внимания на Томаса Хад сона.— Дай выпить, а?

— Слушаю, сэр, капитан Фрэнк,— сказал Руперт.— Кружка у вас есть?

— Принеси кружку,— сказал Фрэнк Фреду, который стоял рядом и наблюдал за ним.

— Слушаю, сэр, мистер Фрэнк.

Фред соскочил вниз и вернулся с кружкой. Он так и сиял от волнения и удовольствия.

— Вы хотите поджечь комиссара, мистер Фрэнк?

— Если он загорится,— сказал Фрэнк.

Он подал кружку Руперту, и тот налил ее на три четверти и протянул ему.

— За королеву, храни ее бог,— Фрэнк выпил все до дна.

Надо же было хватить такую порцию рому, да еще одним духом!

— Храни ее бог. Храни ее бог, капитан Фрэнк,— торжественно проговорил Руперт, и остальные подхватили:

— Храни ее бог. И правда, храни ее бог.

— А теперь примемся за комиссара,— сказал Фрэнк. Он выстрелил из ракетницы прямо вверх, чуть по ветру. Ракетница была заряжена парашютным патроном, и ветер понес яркую, белую вспышку вниз, прямо над яхтой, стоявшей у них за кормой.

— Так вы в комиссара не попадете,— сказал Руперт.— Что же вы, капитан Фрэнк?

— Мне хотелось осветить эту прелестную сценку,— сказал Фрэнк.— С комиссаром торопиться некуда.

— Комиссар хорошо бы загорелся, капитан Фрэнк,— говорил ему Руперт.— Я не хочу вам подсказывать, но на острове уже два месяца не было дождя, и комиссарский дом сухой, как труха.

— А где констебль? — спросил Фрэнк.

— Констебль держится в стороне,— сказал Руперт.— Насчет констебля не беспокойтесь. Если отсюда кто выстрелит, ни одна душа этого не заметит.

— На причале все лягут ничком, и никто ничего,— послышался чей-то голос из задних рядов.— Ничего не слыхали, ничего не видали.

— Я дам команду,— подстрекал его Руперт.— Все отвернутся.— И добавил подбадривая: — Дом сухой, как прут.

— А ну, проверим, как это у тебя получится,— сказал Фрэнк.

Он снова зарядил ракетницу парашютным патроном и выстрелил вверх и по ветру. При ослепительной, падающей вниз вспышке было видно, как люди лежат на причале ничком или стоят на четвереньках, зажмурив глаза.

— Да хранит вас бог, капитан Фрэнк,— послышался из темноты низкий торжественный голос Руперта, как только вспышка погасла.— Да сподобит он вас по великой милости своей поджечь комиссара.

— А где его жена и дети? — спросил Фрэнк.

— Мы их вытащим. Не беспокойтесь,— сказал Руперт.— Без вины никто не пострадает.

— Ну как, подожжем комиссара? — Фрэнк повернулся к тем, кто был в кокпите.

— Да брось ты, ради бога,— сказал Томас Хадсон.— Что в самом деле!

— Я утром уезжаю,— сказал Фрэнк.— Так что с меня взятки гладки.

— Давайте спалим его,— сказал Фред Уилсон.— Местным, видно, это по душе.

— Спалите комиссара, капитан Фрэнк,— подзуживал его Руперт.— А вы как скажете, ребята? — обратился он к толпе.

— Спалите его. Спалите. Да сподобит вас господь поджечь его дом,— зашумели негры на причале.

— Есть такие, кто против? — спросил их Фрэнк.

— Спалите его, капитан Фрэнк. Никто ничего не видал. Никто ничего не слышал. Никто ничего не говорил. Спалите его.

— Надо малость попрактиковаться,— сказал Фрэнк.

— Если будешь его поджигать, проваливай с катера,— сказал Джонни.

Фрэнк посмотрел на него и покачал головой, но так, что ни Руперт ни остальные на причале этого не заметили.

— Ну считайте, один пепел от него остался,— сказал он.— Налейте мне еще, Руперт, чтобы я укрепился в своем решении.

Он протянул наверх свою кружку.

— Капитан Фрэнк,— Руперт нагнулся к нему.— Это будет самое лучшее, что вы сделали в жизни.

Негры на причале затянули новую песню.

Капитан Фрэнк в порту,
Значит, вечером будет потеха.

Потом пауза и чуть выше:

Капитан Фрэнк в порту,
Значит, вечером будет потеха.

Вторую строку прогудели так, будто били в барабан. И дальше:

Комиссар обозвал Руперта черномазым псом.
Капитан Фрэнк выстрелил из ракетницы,
И гори, губернатор, огнем.

Потом снова перешли на ритмы Африки, которые четверо из команды слыхали у негров — у тех, что тянули канат на паромах через реки, пересекающие дорогу к Момбасе, Малинди и Ламу. Негры дружно тянули канат и пели тут же сочиненные песни, описывая и высмеивая своих белых пассажиров:

Капитан Фрэнк в порту.
Значит, вечером будет потеха.
Капитан Фрэнк в порту.

Вызов, оскорбительный, отчаянный вызов, звучал в минорной мелодии. Потом припев, гулкий, как рокот барабана:

Значит, вечером будет потеха.

— Вот видите, капитан Фрэнк? — подзуживал его Руперт, наклоняясь над кокпитом. — Вы еще ничем не отличились, а песню про вас уже поют.

— Я уже отличился, да еще как! — сказал Фрэнк Томасу Хадсону. Потом Руперту: — Пальну еще разок для тренировки.

— Тренировка — великое дело,— радостно проговорил Руперт.

— Капитан Фрэнк тренируется, как убивать,— сказал кто-то на причале.

— Капитан Фрэнк злее дикого кабана,— послышался другой голос.

— Капитан Фрэнк — настоящий мужчина.

— Руперт,— сказал Фрэнк,— налей-ка еще кружку. Это не для храбрости. Просто чтобы рука не подвела.

— Господь да направит вашу руку, капитан Фрэнк.— Руперт протянул ему кружку.— Пойте песню про капитана Фрэнка, ребята.

Фрэнк выпил все до дна.

— Последний тренировочный выстрел,— сказал он, пустил ракету, и она, пролетев над яхтой, стоявшей у них за кормой, ударилась об один из бензиновых баков на причале у Брауна и отлетела в воду.

— Сволочь ты эдакая,— тихонько сказал ему Томас Хадсон.

— Молчи, ханжа,— сказал Томасу Хадсону Фрэнк.— Это был мой медевр.

В эту минуту из каюты на яхте вышел на палубу мужчина в пижамных штанах без куртки и закричал:

— Эй вы, свиньи! Прекратите немедленно. Здесь на яхте дама из-за вас заснуть не может.

— Дама? — переспросил Уилсон.

— Да, черт вас дери, дама,— сказал этот человек.— Моя жена. Запускают тут ракеты, стервецы, мешают ей спать. Разве заснешь под такой грохот?

— А вы бы дали ей снотворного,— сказал Фрэнк.— Руперт, пошли кого-нибудь за снотворным.

— Что же вы делаете, полковник? — сказал Уилсон.— Вели бы себя как полагается порядочному супругу. Вот ваша жена и заснула бы. Ей, наверно, приходится угнетать свои порывы. Наверно, она обманулась в своих ожиданиях. Моей жене психоаналитик всегда так говорит.

Фрэнк и Уилсон были отпетые ребята, и Фрэнк, конечно, был кругом неправ, но владелец яхты, весь день бушевавший у Бобби, взял сейчас совершенно неправильный тон. Джон, Роджер и Томас Хадсон не сказали ни слова. Зато те двое времени не теряли, и как только яхтсмен выскочил на палубу с криком «свиньи», они взялись за дело дружно, точно партнеры по бейсболу.

— Свиньи поганые,— сказал яхтсмен. Словарь у него, видимо, не отличался богатством. Ему было лет тридцать пять — сорок, определить точнее было трудно, хотя он включил фонарь на палубе. Выглядел он лучше, чем ожидал Томас Хадсон, наслушавшись про него за день: наверно, он успел выспаться. Тут Томас Хадсон вспомнил, что этот тип отсыпался еще у Бобби.

— Я бы посоветовал ей нембутал,— доверительным тоном сказал Фрэнк.— Если, конечно, у нее нет к нему аллергии.

— Не понимаю, почему она чувствует такую неудовлетворенность,— сказал Фред Уилсон.— В физическом смысле вы же прекрасный экземпляр. Вид у вас просто великолепный. Вы, наверно, гроза теннисного клуба. Такую форму сохраняете — во что вам это обходится? Погляди на него, Фрэнк. Ты видал когда-нибудь такую дорогостоящую верхушку у мужчины?

— А все-таки вы допустили ошибку, уважаемый,— сказал ему Фрэнк.— Не ту часть пижамы надели. Честно говоря, я впервые вижу, чтобы мужчина щеголял в одних пижамных штанах. Вы и в постель так ложитесь?

— Не мешайте даме уснуть, трепачи паршивые,— сказал яхтсмен.

— Спустились бы вы лучше вниз,— сказал ему Фрэнк.— А то как бы вам не влипнуть тут в историю из-за ваших словечек. Кто за вами присмотрит, шофера-то при вас нет. Вас в школу всегда шофер возит?

— Он не школьник, Фрэнк,— сказал Фред Уилсон, откладывая в сторону гитару.— Он уже большой. Он бизнесмен. Что, ты не можешь распознать бизнесмена, который ворочает крупными делами?

— Ты бизнесмен, сынок? — спросил Фрэнк.— Тогда беги вниз в каюту, это самое лучшее для тебя дело. А торчать здесь, наверху,— это вообще не дело.

— Он прав,— сказал Фред Уилсон.— На нас ты не наживешься. Ступай лучше к себе в каюту. А к шуму ничего, привыкнешь.

— Свиньи грязные,— сказал яхтсмен, переводя взгляд с одного на другого.

— Уноси свое роскошное тело в каюту, слышал? — сказал Уилсон.— А дама твоя уж как-нибудь заснет. Я в этом не сомневаюсь.

— Свиньи,— сказал яхтсмен.— Свиньи паршивые.

— А другого словечка ты не придумаешь? — сказал Фрэнк.— *Свин* начинают здорово надоедать Ступай вниз, ступай, а то простудишь Будь у меня столь роскошный торс, я бы не стал рисковать им в так ветреный вечер.

Яхтсмен оглядел их всех, точно стараясь запомнить.

— Ты нас не позабудешь,— сказал ему Фрэнк.— А забудешь, т я сам тебе напомню при встрече.

— Падаль,— сказал яхтсмен, повернулся и ушел вниз.

— Кто он такой? — спросил Джонни Гуднер.— Я будто видел е где-то.

— Я его знаю, и он меня знает,— сказал Фрэнк.— Дрянь челове

— А кто он такой, ты не помнишь? — спросил Джонни.

— Он барахло,— сказал Фрэнк.— Какая разница, кто он, что е если это барахло.

— Пожалуй, никакой,— сказал Томас Хадсон.— Но вы оба у очень на него навалились.

— А с барахлом так и надо. Наваливайся на него. Но мы не т уж грубо с ним обошлись.

— Свою антипатию вы от него, по-моему, не скрыли,— сказал Т мас Хадсон.

— Я слышал собачий лай,— сказал Роджер.— Ракеты, наверн напугали его собаку. Хватит этих ракет. Я знаю, вы развлекаетес Фрэнк. Вам везет, что никакой беды вы не натворили. Но зачем пуга несчастную собачонку?

— Это его жена лаяла,— весело сказал Фрэнк.— Давайте пальне ему в каюту и осветим семейную сценку.

— Я отсюда ухожу,— сказал Роджер.— Мне ваши шутки не нра вятся. По-моему, всякие выкрутасы с автомобилями — это не смешно По-моему, когда самолет ведет пьяный летчик,— это не смешно. По-мо ему, пугать собак тоже не смешно.

— А вас тут никто не держит,— сказал Фрэнк.— Вы последнее время всем в печенку въелись.

— Вот как?

— Конечно. Вы с Томом оба стали ханжами. Портите всякое ве селье. Исправились, видите ли. Раньше сами не дураки были повесе литься. А теперь никто не смей. Сознательные, видите ли, стали.

— Значит, это сознательность во мне заговорила, если я не хочу, чтоб подожгли причал Брауна?

— Конечно. Она и так может проявиться. А у вас ее хоть отбавляй. Слышал я, что вы там вытворяли в Калифорнии.

— Знаешь что, взял бы ты свой пистолет и пошел бы куда-нибудь в другое место развлекаться,— сказал Фрэнку Джонни Гуднер.— Нам было весело, пока ты не начал безобразничать.

— Значит, ты тоже такой,— сказал Фрэнк.

— А нельзя ли все-таки полегче? — предостерег его Роджер.

— Я здесь единственный, кто еще умеет веселиться,— сказал Фрэнк.— А вы все перероетки, религиозные психи, лицемеры, благотворители...

— Капитан Фрэнк! — Руперт наклонился над бортом причала.

— Руперт мой единственный друг.— Фрэнк поднял голову.— Да, Руперт?

— Капитан Фрэнк, а как же с комиссаром?

— Мы подожжем его, Руперт, подожжем, дружок.

— Дай бог вам здоровья, капитан Фрэнк,— сказал Руперт.— Рому не хотите?

— Мне и так хорошо,— сказал ему Фрэнк.— Ну, ложись!

— Ложись! — скомандовал Руперт.— Лицом вниз!

Фрэнк выстрелил над бортом причала, и ракета вспыхнула на усыпанной гравием дорожке почти у самой веранды комиссарского дома и сгорела там. Негры на причале охнули.

— Вот дьявол! — сказал Руперт.— Самую малость не попали. Не повезло. Еще раз, капитан Фрэнк.

В кокпите яхты, стоявшей у них за кормой, загорелся фонарь, и ее хозяин снова вышел из каюты. На сей раз он явился в белой рубашке, белых парусиновых брюках и в спортивных туфлях. Волосы у него были гладко причесаны, а лицо красное, в белых пятнах. Ближе всех, спиной к нему, стоял на корме Джон, а за ним с мрачным видом сидел Роджер. Между обоими судами было фута три воды; яхтсмен вышел на палубу и уставил палец на Роджера.

— Паскуда,— сказал он.— Вонючая, грязная паскуда.

Роджер поднял голову и удивленно взглянул на него.

— Вы, наверно, имеете в виду меня? — крикнул ему Фрэнк.— Тогда свинья, а не паскуда.

Яхтсмен не обратил на него внимания и снова набросился на Роджера.

— Паскуда толстомордая.— Он почти задыхался.— Жулик. Шарлатан. Жулик подзаборный. Паршивый писатель и дерьмовый художник.

— Что это вы? Кому вы все это говорите? — Роджер встал.

— Тебе. Тебе, паскуда. Тебе, шарлатан. Тебе, трус. Ах ты, паскуда. Паскуда грязная.

— Вы сошли с ума,— спокойно сказал Роджер.

— Паскуда! — Яхтсмен кричал через три фута воды, отделявшие одно судно от другого, будто дразня зверей в современном зоопарке, где их отгораживают от зрителей не решетки, а рвы.— Жулик.

— Это он про меня,— радостно сказал Фрэнк.— Вы разве со мной не знакомы? Я же свинья.

— Нет, про него.— Яхтсмен показал пальцем на Роджера.— Жулик.

— Слушайте,— сказал ему Роджер.— Вы же это не для меня говорите. Вы сплете руганью только затем, чтобы потом повторить в Нью-Йорке все, что вы мне тут наговорили.

Это было сказано разумно, сдержанно, точно он на самом деле хотел, чтобы этот человек понял его и замолчал.

— Паскуда! — крикнул яхтсмен, все больше и больше распаляясь и вгоняя себя в истерику, ради которой он и оделся.— Грязная, вонючая паскуда.

— Вы это не для меня говорите,— еще спокойнее повторил Роджер, и Томас Хадсон понял, что дальнейшее у него уже решено.— Советую вам замолчать. А если хотите поговорить со мной, поднимитесь на причал.

Роджер пошел к причалу, и, против всех ожиданий, яхтсмен тоже полез туда как миленький. Правда, ему понадобилось прежде взвинтить себя, довести себя до точки. Негры подались назад, а потом окружили их кольцом, оставив им достаточно места для драки.

Томасу Хадсону было непонятно, на что рассчитывал этот человек, поднимаясь на причал. Они не обменялись ни словом, вокруг виднелись одни черные лица, и он развернулся в свинге, а Роджер ударил его по зубам левой, и на губах яхтсмена выступила кровь. Он снова развернулся, и Роджер ответил сильным двойным хуком по правому глазу. Он сделал захват, и Роджер правой дал ему кулаком в живот с такой силой, что порвал свой свитер, а потом, оттолкнув, съездил его по лицу тыльной стороной открытой левой.

Негры наблюдали за дракой молча. Они держали их обоих в кол це, оставив им достаточно места для схватки. Кто-то включил на пр чале фонарь (наверно, Фред — бой Джонни, подумал Том), и все бы хорошо видно.

Роджер кинулся на противника и сделал три быстрых хука по голо ве. Яхтсмен снова сделал захват, свитер на Роджере разорвался еще другом месте, когда он оттолкнул противника и дал ему два раза п зубам.

— Хватит левой! — заорал Фрэнк.— Правой давай, правой! Врежь ему, стервецу!

— Имеете что-нибудь сообщить мне? — сказал Роджер и ударил его хуком по зубам.

Изо рта у яхтсмена хлестала кровь, вся правая сторона лица вспух ла, правый глаз почти закрылся.

Яхтсмен вцепился в Роджера, и Роджер захватил его и не дал ем упасть. Дышал он тяжело и не говорил ни слова. Роджер держал его з локти, и Том видел, как он потирает ему изнутри большими пальцам сухожилия между бицепсами и предплечьем.

— Не хлещи на меня своей кровищей, сволочь,— сказал Роджер и размахнувшись левой, отогнул ему голову назад и снова ударил тыль ной стороной руки по лицу.— Заказывай себе новый нос,— сказал он.

— Врежь ему, Роджер, врежь ему,— умолял его Фрэнк.

— Ты, болван, не видишь, что он делает! — сказал Фред Уилсон.— Изничтожает человека.

Яхтсмен вцепился в Роджера, но Роджер оттолкнул его.

— Ну, бей! — сказал он.— Что же ты? Бей!

Яхтсмен ударил его длинным боковым, но Роджер сделал нырок и вошел с ним в клинч.

— Тебя как зовут? — спросил он.

Яхтсмен ничего не ответил. Он только тяжело переводил дух, точно умирал от приступа астмы.

Роджер снова схватил его за локти.

— А ты, подлец, сильный,— сказал он.— Но кто тебе говорил, что ты умеешь драться?

Яхтсмен сделал слабый замах, и Роджер сгреб его, рванул на себя, крутнул разок и дважды ударил правым кулаком по уху.

— Ну как, постиг, что нельзя приставать к людям? — спросил он.

— Посмотрите на его ухо,— сказал Руперт.— Как виноградная гроздь.

Роджер снова держал яхтсмена за локти, нажимая с внутренней стороны на сухожилия под бицепсами. Томас Хадсон следил за выражением лица яхтсмена. Вначале оно испуга не выражало, просто было подлое, как у свиньи, как у подлейшего кабана. Но теперь он был перепуган насмерть. Ему, наверно, не приходилось слышать, что бывают драки, которые никто не останавливает. А может, в мозгу у него шевелилось воспоминание о прочитанном где-то, когда упавшего затаптывают ногами. Он все еще пытался драться. Каждый раз, когда Роджер говорил ему: «Ну, бей!» — или отталкивал от себя, он пытался ударить его. Сдаваться он не хотел.

Роджер снова оттолкнул его прочь. Он стоял не сводя с Роджера глаз. Как только Роджер разжимал свою хватку, которая делала этого человека совершенно беспомощным, страх его немного ослабевал и возвращалась подлость. Он стоял перепуганный, избитый — лицо изуродовано, губы в крови, а ухо — как перезрелая фига, потому что мелкие кровоизлияния в нем слились под кожей в большую гематому. И пока он стоял так, не чувствуя на себе рук Роджера, страх его ослабевал, а вместо страха накипала неистребимая подлость.

— Ну, что скажете? — спросил Роджер.

— Паскуда,— сказал он. И, сказав, прижал подбородок к груди, поднял стиснутые кулаки и стал боком к Роджеру, похожий на мальчишку, чье упрямство трудно переломить.

— Ну держись! — крикнул Руперт. — Ну, теперь будет по всем правилам.

Но то, что за этим последовало, не было ни особенно эффектным, ни особенно поучительным. Роджер быстро шагнул к своему противнику, поднял левое плечо и, замахнувшись правым кулаком снизу, ударил его справа по голове. Яхтсмен упал на четвереньки и уткнулся в настил лбом. Постоял так с минуту, упираясь лбом в доски настила, и потом мягко повалился на бок. Роджер посмотрел на него, подошел к краю причала и спрыгнул на катер.

Матросы понесли хозяина домой. Они не вмешивались в то, что происходило на причале, просто подошли туда, где он лежал на боку, подняли и понесли провисавшее у них на руках тело. Кто-то из негров помог им спустить его с причала и внести в каюту. Тело внесли, и дверь за ним затворилась.

— Надо бы вызвать врача,— сказал Томас Хадсон.

— Он не очень сильно стукнулся, когда упал,— сказал Роджер.— Я беспокоился за причал.

— Последний удар по уху не пойдет ему на пользу,— сказал Джонни Гуднер.

— Физиономию вы ему загубили,— сказал Фрэнк.— А уж ухо! Первый раз вижу, чтобы ухо так разнесло. Сначала оно было как виноградная гроздь, а потом стало как апельсин.

— Голые руки — вещь опасная,— сказал Роджер.— Люди понятия не имеют, что́ ими можно натворить. В глаза бы мне не видать этого типа.

— Теперь, если встретитесь с ним, сразу его узнаете.

— Надеюсь, он очухается,— сказал Роджер.

— Драку вы провели просто блистательно, мистер Роджер,— сказал Фред.

— Ну ее к черту, эту драку,— сказал Роджер.— И кому она была нужна?

— Он сам во всем виноват,— сказал Фред.

— Бросьте огорчаться,— сказал Роджеру Фрэнк.— Я этих битых много перевидал. Ничего ему не сделается.

Негры расходились с причала, толкуя между собой о драке. Их смутил вид этого белого человека, когда его уносили на яхту, и вся их бравада насчет поджога комиссарского дома понемногу испарилась.

— Всего вам хорошего, капитан Фрэнк,— сказал Руперт.

— Уходишь, Руперт? — спросил его Фрэнк.

— Да, мы хотим заглянуть к мистеру Бобби, посмотрим, что там делается.

— Всего хорошего, Руперт,— сказал Роджер.— До завтра.

Роджер сидел мрачный, левая рука у него распухла и стала величиной с грейпфрут. Правую тоже разнесло, но не так сильно. Больше ничто не говорило о том, что он участвовал в драке, разве только оторванный ворот свитера, болтавшийся на груди. Один удар пришелся ему по голове, и на лбу вскочила небольшая шишка. Джон смазал ему ободранные, кровоточащие костяшки пальцев меркурохромом. Роджер даже не посмотрел на свои руки.

— Пошли к Бобби, посмотрим, может, там идет веселье,— сказал Фрэнк.

— Вы не огорчайтесь, Родж,— сказал Фред Уилсон и взобрался на причал.— Только сосунки огорчаются.

Они зашагали по причалу — один с гитарой, другой с банджо, пошли прямо на огни и пение, доносившееся из открытых дверей «Понсе-де-Леон».

— Славный малый Фредди,— сказал Джонни Томасу Хадсону.

— Он всегда был славным малым,— сказал Томас Хадсон.— Но в паре с Фрэнком ему быть вредно.

Роджер молчал, и Томасу Хадсону было неспокойно за него — за него и за многое другое.

— Может, пора домой?— сказал ему Томас Хадсон.

— У меня все еще кошки на сердце скребут из-за этого гипа,— сказал Роджер.

Он сидел спиной к корме и правой рукой держал левую.

— Пусть больше не скребут,— вполголоса сказал Джон.— Он уже на ногах.

— Да-а?

— Вон вышел, да еще с ружьем.

— Ой, худо мне будет!— сказал Роджер. Но голос у него был весе лый. Он сидел спиной к корме и даже не оглянулся.

Яхтсмен вышел на корму, на сей раз в пижамных штанах и в курт ке, но прежде всего бросалось в глаза ружье. Уже после ружья Тома Хадсон перевел взгляд на лицо, а лицо было страшное. Кто-то обра ботал его, на щеках были полоски пластыря, марли и мазки меркуро хрома. Только с ухом ничего не сделали. От боли до него, наверно, дотронуться нельзя, подумал Томас Хадсон, и оно торчит жесткое, раз дутое и выделяется теперь больше всего. Они молчали, и он тоже мол чал, повернув к ним свою изуродованную физиономию и сжимая в рука ружье. Глаза у него так затекли, что он, должно быть, почти ничего не видел. Все молчали.

Роджер медленно повернул голову, увидел его и бросил через плечо:

— Идите поставьте ружье на место и ложитесь спать.

Он все стоял с ружьем в руках. Его распухшие губы шевельнулись но он не мог выговорить ни слова.

— Выстрелить человеку в спину — на это подлости у вас хватит только кишка тонка,— спокойно бросил через плечо Роджер.— Идите поставьте ружье на место и ложитесь спать.

Роджер сидел все так же спиной к нему. И вдруг он решился на выходку, которая Томасу Хадсону показалась отчаянной.

— Вам не кажется, что этот гип напоминает леди Макбет, когда она выходит из своей опочивальни в ночной сорочке?— сказал он, обра щаясь к остальным, кто был с ним на корме.

Томас Хадсон замер в ожидании. Но ничего не случилось, и, постоя еще немного, яхтсмен повернулся и ушел в каюту, унося с собой ружье

— Вот теперь я вздохну свободно,— сказал Роджер.— Я чувство вал, как пот катится у меня из-под мышек прямо к ногам. Пошли домой, Том. Он очухался.

— Не очень-то он очухался,— сказал Джонни.

— Хватит с него,— сказал Роджер.— Тоже называется — человек

— Пошли, Роджер,— сказал Томас Хадсон.— Пойдем, побудешь у меня.

— Ладно.

Они простились с Джоном и пошли по Королевскому шоссе к дому Кругом все еще праздновали день рождения королевы.

— Хочешь, зайдем в «Понсе-де-Леон»?— спросил Томас Хадсон.

— Ой, нет,— сказал Роджер.

— Я хотел сказать Фредди, что этот тип очухался.

— Ну и скажи. А я пойду к тебе.

Когда Томас Хадсон вернулся домой, Роджер ничком лежал на кровати в дальнем конце крытой веранды, обращенном в глубь острова. Было совсем темно, и праздничный шум еле доносился сюда из бара.

— Спишь?— спросил Томас Хадсон.

— Нет.

— Выпить хочешь?

— Да нет, пожалуй. Спасибо.

— Как рука?

— Распухла и болит. Но это пустяки.

— Тебе снова не по себе?

— Да. Накатило, да как!

— Завтра утром приедут ребята.

— Вот и хорошо.

— Ты правда не хочешь выпить?

— Нет, дружок. А ты пей.

— Я, пожалуй, хлебну виски на сон грядущий.

Томас Хадсон подошел к холодильнику, приготовил себе стакан виски с содовой, вернулся на веранду и сел там в темноте рядом с Роджером, лежавшим на кровати.

— Сколько же всякой сволочи гуляет по белу свету,— сказал Роджер.— Этот тип — порядочная дрянь, Том.

— Ты его кое-чему научил.

— Нет. Вряд ли. Я осрамил его и немножечко подпортил. Но он отыграется на ком-нибудь другом.

— Он сам напросился на драку.

— Конечно. Но я не довел дела до конца.

— Ты его только что не убил.

— Вот об этом я и говорю. Он теперь еще подлее будет.

— А может, ты его все-таки проучил, дал ему хороший урок?

— Нет. Вряд ли. То же самое было и в Калифорнии.

— А что там случилось? Ты мне так ничего и не рассказал.

— Была драка вроде сегодняшней.

— С кем?

Роджер назвал имя человека, занимавшего высокий пост в том, что именуется индустрией.

— Я не имел ни малейшего желания связываться с ним,— сказал он.— Это случилось в доме, где у меня возникли некоторые осложнения с женщиной, и, собственно говоря, мне там быть не полагалось. Весь вечер этот субъект меня донимал, и донимал, и донимал — куда хуже, чем это было сегодня. Наконец, терпение мое лопнуло, и я дал ему, дал как следует, ни на что не глядя, и он неловко ударился головой о мраморные ступеньки бассейна. На беду бассейн был рядом. В себя он пришел к началу третьего дня в «Ливанских кедрах», так что убийцей я не стал. Но у них все было на мази. Таких свидетелей вымуштровали, что если б осудили за непреднамеренное убийство, считалось бы, что я легко отделался.

— Ну, а дальше?

— А дальше, когда он смог вернуться к делам, мне такое обвинение припаяли, только держись. На все сто. Дальше некуда.

— В чем же тебя обвинили?

— Во всем. Пачками сыпали.

— Не хочешь мне сказать?

— Нет. Тебе это ни к чему. Поверь мне на слово, что это было подстроено. Такое на меня возвели, что люди и не заговаривают со мной об этом. Ты разве не заметил?

— Пожалуй.

— Поэтому я и скис после сегодняшней драки. Всякая дрянь гул на белом свете. Отпетые мерзавцы. Бить их — это еще ничего не реш Отчасти потому они и провоцируют нас.— Он повернулся на кроват лег навзничь.— Знаешь, Томми, зло — страшная вещь. И оно изощр ся, как дьявол. А ведь в старину были какие-то понятия о добре и з

— Пожалуй, мало кто отнесет твои деяния в рубрику абсолютн добра,— сказал ему Томас Хадсон.

— Конечно. Да я и не претендую на это. Хотя мне жаль, что я кой. Борьба со злом не делает человека поборником добра. Сегодн боролся с ним, а потом сам поддался злу. Оно поднималось во мне, прилив.

— Всякая драка — мерзость.

— Знаю. Ну а как быть?

— Раз уж начал — побеждай.

— Правильно. Но мне стоило начать, и я сразу увлекся.

— Ты увлекся бы еще больше, если б он действительно дрался.

— Надеюсь,— сказал Роджер.— Хотя кто его знает. Мне хочет уничтожить всю эту мерзость. Но если увлекаешься, значит, сам нед леко ушел от тех, с кем дерешься.

— Он — омерзительный тип,— сказал Томас Хадсон.

— Не омерзительнее, чем тот, в Калифорнии. Вся беда в том, ч их слишком уж много. Они всюду, в каждой стране, Томми, и все бол ше и больше забирают власть. Мы живем в плохие времена, Томми.

— Когда они были хорошими?

— Были дни, когда нам с тобой жилось хорошо.

— Правильно. Нам хорошо жилось в разных хороших местах. Н времена-то были плохие.

— Я этого не понимал,— сказал Роджер.— Люди говорили, что вр мена хорошие, а потом от этих людей дым пошел. У всех тогда бы деньги, а у меня не было. Потом и у меня завелись, а дела стали дрян Но все-таки тогда люди не казались такими подлецами и мерзавцам

— Ты тоже знаешься с порядочной дрянью.

— Попадаются и хорошие люди.

— Таких немного.

— Но есть. Ты всех моих друзей не знаешь.

— Ты водишься со всякой шантрапой.

— А чьи там сегодня были друзья? Твои или мои?

— Наши общие. Они не так уж плохи. Ничтожества, но не злостны

— Да,— сказал Роджер.— Не злостные. Фрэнк — дрянцо. Порядо ное дрянцо. Впрочем, злостным я его не считаю. Но теперь я на много смотрю иначе. А они с Фредом что-то очень уж быстро стали зловре ными.

— Я отличаю добро от зла. И не говорю, что все это непонятно и моего ума дело.

— А я с добром не очень знаком. У меня с ним никогда не получи лось. Зло — это по моей части. Зло я сразу могу опознать.

— Скверно сегодня получилось. Жаль.

— Просто на меня хандра нашла.

— Ну как, спать? Спи здесь.

— Спасибо. Если можно, здесь и лягу. Но сначала я посижу в би лиотеке, почитаю немножко. Где у тебя те австралийские рассказы, я последний свой приезд их здесь видал.

— Генри Лоусон?

— Да.

— Сейчас разыщу.

Томас Хадсон лег спать, и, когда он проснулся среди ночи, свет библиотеке все еще горел.

V

Когда Томас Хадсон проснулся, с востока дул легкий бриз и песок пляже казался белым, как кость, под ярко-голубым небом, и маленькие облачка, бежавшие высоко вместе с ветром, отбрасывали на зеленую оду темные движущиеся пятна. Флюгер поворачивался на ветру, и утро было чудесное, пронизывавшее свежестью.

Роджер уже ушел, и Томас Хадсон позавтракал один и прочитал ирилендскую газету, доставленную накануне. Он отложил ее с вечера, читая, с тем чтобы просмотреть за завтраком.

— Когда мальчики приедут? — спросил Джозеф.

— Часов в двенадцать.

— Значит, к ленчу будут?

— Да.

— Я пришел, а мистера Роджера уже не было,— сказал Джозеф.— н не завтракал.

— Может, к ленчу придет.

— Бой сказал, он вышел на веслах в море.

Кончив завтракать и прочитав газету, Томас Хадсон перешел на веранду, обращенную к морю, и принялся за работу. Работалось ему отлично, и он уже кончал, когда услышал шаги Роджера.

— Хорошо получается,— сказал Роджер, заглянув ему через плечо.

— Еще неизвестно.

— Где ты видал такие смерчи?

— Таких никогда не видал. Это я пишу на заказ. Как твоя рука?

— Припухлость еще есть.

Роджер следил за его кистью, а он не оглядывался.

— Кабы не рука, все это будто приснилось в дурном сне.

— Да, сон был дурной.

— Как ты думаешь, этот тип всерьез вышел с ружьем?

— Не знаю,— сказал Томас Хадсон.— И знать не хочу.

— Виноват,— сказал Роджер.— Мне уйти?

— Нет. Посиди здесь. Я сейчас кончу. Я не буду обращать на тебя имания.

— Они ушли на рассвете,— сказал Роджер.— Я видел, как они шли.

— А что ты там делал в такой час?

— Я кончил читать, а заснуть не мог, и вообще собственное общество не доставляет мне удовольствия. Решил пройтись до причала и поидел там с ребятами. «Понсе» так и не закрывалось на ночь. Я видел жозефа.

— Джозеф говорил, что ты ушел в море на веслах.

— Греб правой. Пробовал разработать ее. И ничего, помогло. Теперь боли совсем нет.

— Вот. На сегодня, пожалуй, хватит,— сказал Томас Хадсон и ал промывать кисти и прибирать свое хозяйство.— Мальчики, наверно, сейчас вылетают.— Он посмотрел на часы.— А что если мы простим на скорую руку?

— Прекрасно. Мне это весьма кстати.

— Двенадцати еще нет.

— А какая разница? Ты работать кончил, я на отдыхе. Но если у бя такое правило, давай подождем до двенадцати.

— Ладно.

— Я тоже придерживался такого правила. Но иной раз утром, когда выпил бы и сразу ожил, хуже таких запретов ничего нет.

— Давай нарушим это правило,— сказал Томас Хадсон.— Пе
встречей с ними я всегда здорово волнуюсь,— пояснил он.
— Знаю.
— Джо! — крикнул Томас Хадсон.— Принеси шейкер и что ну
для «Мартини».
— Слушаю, сэр. У меня уже все готово.
— Что это ты спозаранку? Мы, по-твоему, пропойцы, что ли?
— Нет, сэр, мистер Роджер. Просто я сообразил, для чего вы п
той желудок бережете.
— За нас и за мальчиков,— сказал Роджер.
— В этом году они у меня повеселятся. И ты оставайся с нами. Е
дут они тебе действовать на нервы, уйдешь в свою рыбацкую хижин
— Что ж, поживу здесь, если тебе это не помешает.
— Ты мне никогда не мешаешь.
— С ними будет хорошо.

■

И с ними действительно было хорошо. Эти славные ребята жили
доме уже неделю. Лов тунца кончился, судов в гавани осталось мало,
жизнь снова текла медленно и спокойно, и погода была как всегда в н
чале лета.

Мальчики спали на койках на застекленной веранде, и человеку
так одиноко спать, когда, просыпаясь среди ночи, он слышит детское д
хание. С отмели дул ветер, и ночи стояли прохладные, а когда вет
стихал, прохлада приходила с моря.

Первое время мальчики держались немного скованно и были п
раздо аккуратнее, чем потом. Впрочем, особой аккуратности не треб
валось, лишь бы смахивали песок с ног при входе в дом, вешали сн
ружи мокрые шорты и надевали сухие. Утром, стеля постели, Джозе
проветривал их пижамы, вешал на солнце, а потом складывал и уб
рал, и разбрасывать оставалось только рубашки и свитеры, которые он
надевали по вечерам. Во всяком случае, теоретически было так. А на д
ле все их снаряжение валялось где придется. Томаса Хадсона это н
раздражало. Когда человек живет в доме один, у него появляются очен
строгие привычки, и соблюдать их ему только в удовольствие. Но есл
кое-что из заведенного порядка нарушалось, это было даже приятно. О
знал, что привычки снова вернутся к нему, когда мальчики уедут.

Сидя за работой на веранде, выходящей к морю, он видел, чт
большой его сын, средний и маленький лежат на пляже с Роджером
Они разговаривали, копались в песке и спорили, но о чем, ему не был
слышно.

Старший мальчик был длинный и смуглый, шея, плечи и длинны
ноги пловца и большие ступни, как у Томаса Хадсона. Лицом он смахи
вал на индейца, и был он веселого нрава, хотя в покое лицо у него при
нимало почти трагическое выражение.

Томас Хадсон однажды посмотрел на сына, когда тот сидел грус
ный, и спросил: «О чем ты думаешь, дружок?»

«О наживке»,— ответил мальчик, и лицо у него сразу осветилось
Глаза и рот — вот что в минуты задумчивости придавало трагическо
выражение его лицу, но стоило ему заговорить, и лицо сразу оживало.

Средний сын напоминал Томасу Хадсону бобренка. Волосы у нег
были того же оттенка, что бобровый мех, и на ощупь такие же, как
водяного зверька, и загорал он весь с ног до головы необычным, темно
золотистым загаром. Он всегда напоминал отцу звереныша, которы
живет сам по себе, здоровой и отзывчивой на шутку жизнью. Бобры
медведи очень любят шутить, а уж кто больше похож на человека, чем
медведь. Этот мальчик никогда не будет по-медвежьи сильным и широ

ы в плечах, и он никогда не будет спортсменом и не хочет им быть, но ем есть чудесные свойства мелкого зверька, и голова у него работает рошо, и жизнь налажена своя собственная. Он привязчивый и наде- чувством справедливости, и быть рядом с ним интересно. К тому же всегда во всем сомневается, как истинный картезианец, и любит ярo- спорить и поддразнивать умеет хорошо и беззлобно, хотя иной раз перебарщивает. У него были и другие качества, о которых никто не ал, и двое других мальчиков питали к нему огромное уважение, хотя поддразнивали его и разносили в пух и прах, если только удавалось щупать уязвимое место. Как водится, они ссорились между собой и вольно ядовито дразнили друг друга, но воспитаны были хорошо и взрослым относились уважительно.

Младший мальчик был светлый, а сложением — настоящий рманный крейсер. Физически он в точности повторял Томаса Хадсона, лько в меньшем масштабе, короче и шире. Загорая, он покрывался снушками, лицо у него было насмешливое, и вредным старикашкой был с рождения. Но не только старикашкой, а также и чертенком. Он юбил задевать своих старших братьев — была в его натуре темная орона, которую никто, кроме Томаса Хадсона, не мог понять. Ни отец, сын об этом не задумывались, но они различали друг в друге эту осо- нность, знали, что это плохо, и отец относился к ней всерьез и пони- ал, откуда это у сына. Они были очень близки между собой, хотя То- ас Хадсон жил с ним под одной крышей меньше, чем с остальными тьми. Этот младший мальчик, Эндрю, был отличный спортсмен — на- оящий вундеркинд, и с первого же своего выезда обходился с лошадь- как заправский лошадник. Братья гордились им, но задаваться ему позволяли. В подвиги этого мальчугана трудно было поверить, инако его видели в седле, видели, как он берет препятствия, и чувст- вали в нем холодную профессиональную скромность. Он родился ка- рзным мальчишкой, а казался очень хорошим, и свою каверзность под- енял чем-то вроде задиристой веселости. И все-таки по натуре он был рной мальчик, и все знали это, и он сам знал. Он просто по-хорошему ржался, пока дурное зрело в нем.

Они лежали на песке вчетвером под обращенной к морю верандой: рава от Роджера старший сын, Том-младший, по другую сторону са- й маленький — Эндрю, а средний, Дэвид, вытянулся на спине, с за- ытыми глазами, рядом с Томом. Томас Хадсон промыл кисти и спу- ился к ним.

— Привет, папа,— сказал старший мальчик.— Ну как тебе работа- сь — хорошо?

— Папа, ты пойдешь купаться? — спросил средний.

— Вода что надо, папа,— сказал самый младший.

— Здравствуйте, папаша,— с улыбкой сказал Роджер.— Ну, как ши малярные дела, мистер Хадсон?

— С малярными делами на сегодня покончено, джентльмены.

— Вот здорово! — сказал средний мальчик, Дэвид.— Поедем на дводную охоту?

— Поедем, но после ленча.

— Чудесно! — сказал старший.

— А если будет большая волна? спросил младший, Эндрю.

— Для тебя, может, и большая,— сказал ему старший брат, Том.

— Нет, Томми. Для всех.

— Когда море неспокойное, рыба забивается между камнями,— азал Дэвид.— Боится большой волны не меньше нас. У них, наверно, морская болезнь бывает. Папа, бывает у рыбы морская болезнь?

— Конечно,— сказал Томас Хадсон.— В большую волну груперы болевают морской болезнью в садках на шхунах и дохнут.

— Что я тебе говорил? — сказал Дэвид старшему брату.

— Заболевают и дохнут,— сказал Том-младший.— Но откуда вестно, что это от морской болезни?

— Морской болезнью они, по-моему, в самом деле болеют,— сказ Томас Хадсон.— Но вот не знаю, мучает она их или нет, когда они п вают свободно.

— Но, папа, ведь среди рифов рыба тоже не может свободно п вать,— сказал Дэвид.— У них там разные ямы и норы, куда они п чутся. А в ямы они забиваются, потому что боятся крупной рыбы, и б их там не меньше, чем в садке на шхуне.

— Ну, все-таки не так сильно,— возразил ему Том-младший.

—Может, и не так сильно,— рассудительно подтвердил Дэвид.

— Но все-таки,— сказал Эндрю. И прошептал отцу: — Если о еще проспорят, мы никуда не поедем.

— А ты разве не любишь плавать в маске?

— Ужасно люблю, только боюсь.

— Чего же ты боишься?

— Под водой все страшно. Как только сделаю выдох, так мне с новится страшно. Томми плавает замечательно, но под водой ему то страшно. Под водой из нас только Дэвид ничего не боится.

— Мне сколько раз было страшно,— сказал ему Томас Хадсон.

— Правда?

— По-моему, все боятся.

— Дэвид не боится. Где бы ни плавал. Зато теперь Дэвид боит лошадей, потому что они столько раз его сбрасывали.

— Эй ты, сопляк!— Дэвид слышал, что он говорил.— Почему ме лошади сбрасывали?

— Не знаю. Это столько раз было, я всего не помню.

— Так вот слушай. Я-то знаю, почему меня сбрасывали. В прошл году я ездил на Красотке, а она ухитрялась так раздувать брюхо, ко да ей затягивали подпругу, что потом седло сползало на бок вместе с мной.

— А у меня с ней таких неприятностей никогда не было,— съязви Эндрю.

— У-у, сатана!— сказал Дэвид.— Она, конечно, полюбила теб как все тебя любят. Может, ее надоумили, кто ты такой.

— Я вслух ей читал, что про меня в газетах пишут,—сказал Эндрю

— Ну, тогда она, наверно, брала с места в карьер,— сказал Тома Хадсон.— Вся беда в том, что Дэвид сразу сел на эту старую запале ную лошадь. Ее у нас подлечили, а скакать ей было негде, по пересече ной местности не очень-то поскачешь.

— А я, папа, не хвалюсь, что усидел бы на ней,— сказал Эндрю.

— Еще бы ты хвалился,— сказал Дэвид. Потом: — А черт теб знает, может, и усидел бы. Конечно, усидел бы. Знаешь, Энди, как он ходила под седлом первое время! А потом я стал бояться. Боялся, ка бы не напороться на седельную луку.

— Папа, а мы поедем на подводную охоту? — спросил Эндрю.

— В большую волну не поедем.

— А кто будет решать — большая или не большая?

— Я буду решать.

— Ладно,— сказал Энди.— По-моему, волна очень большая. Папа а Красотка все еще у тебя на ранчо? — спросил Энди.

— Наверно,— сказал Томас Хадсон,— Я ведь сдал ранчо в аренду

— Сдал в аренду?

— Да. В конце прошлого года.

— Но нам можно будет туда поехать? — быстро спросил Дэвид.

— Ну, конечно. Там же есть большая хижина на берегу реки.

— Нигде мне так хорошо не было, как на твоем ранчо,— сказал
ди.— Конечно, не считая здешних мест.

— Насколько я помню, тебе больше всего нравилось в Рочестере,—
дел его Дэвид. В Рочестере Энди оставляли с нянькой на летние ме-
цы, когда остальные мальчики уезжали на Запад.

— Правильно. В Рочестере было замечательно.

— А помнишь, Дэви, мы вернулись домой той осенью, когда убили
ех медведей, и ты стал ему рассказывать про это, и что он тебе от-
тил? — спросил Томас Хадсон.

— Нет, папа, такие давние вещи я плохо помню.

— Это было в буфетной, где вы, ребята, ели. Вам подали детский
кин, и ты стал ему рассказывать про медведей, и Анна сказала: «Ой,
эви, как интересно! А дальше вы что сделали?». И вот этот вредный
арикашка — ему было тогда лет пять-шесть — взял и сказал: «Тем,
го такие вещи интересуют, это, может, интересно. Но у нас в Роче-
ере медведи не водятся».

— Слышишь, наездник? — сказал Дэвид.— Хорош ты был тогда?

— Ладно, папа,— сказал Эндрю.— Расскажи ему, как он ничего не
тал, кроме комиксов. Мы едем по Южной Флориде, а он читает ко-
иксы и ни на что не желает смотреть. Это все после той школы, куда
о отдали осенью, когда мы жили в Нью-Йорке и где он набрался вся-
ой фанаберии.

— Я все помню,— сказал Дэвид.— Папа может не рассказывать.

— С тебя это быстро скатило,— сказал Томас Хадсон.

— И хорошо, что скатило. Было бы ужасно, если б я таким
тался.

— Расскажи им про меня, когда я был маленький,— сказал Том-
адший, перевалившись на живот и схватив Дэвида за щиколотку.—
икогда в жизни я не буду таким паинькой, как про меня рассказывают
о маленького.

— Я помню тебя маленьким,— сказал Томас Хадсон.— Ты был
ень странным человечком.

— Он был странный, потому что жил в странных местах,— сказал
адший мальчик.— Я тоже мог бы сделаться странным, если бы жил и
Париже, и в Испании, и в Австрии.

— Он и сейчас странный,— сказал Дэвид.— Экзотический фон ему
требуется, наездник.

— Какой такой экзотический фон?

— Такой, какого у тебя нет.

— Нет, так будет.

— Замолчите, и пусть папа говорит,— сказал Том-младший.— Рас-
жи им, как мы с тобой ходили по Парижу.

— Тогда ты не был таким уж странным,— сказал Томас Хадсон.—
младенчестве ты отличался весьма здравым смыслом. В той квартире
д лесопилкой мы с мамой часто оставляли тебя одного в люльке из
льевой корзины, и Ф. Кис — наш большой кот — укладывался на кро-
тке в ногах и никого к тебе близко не подпускал. Ты окрестил себя
Нинг-Г'Нинг, и мы тебя называли Г'Нинг-Г'Нинг Грозный.

— Как это я мог выдумать такое имя?

— Наверно, слыхал в трамвае, в автобусе. Звонок кондуктора.

— А по-французски я говорил?

— Нет, тогда еще плоховато.

— А расскажи, что было потом, когда я научился говорить по-фран-
зски?

— Потом я возил тебя в коляске — в дешевой, очень легкой, склад-
й колясочке — по нашей улице и до «Клозери де Лиля», где мы зав-

тракали, и я прочитывал газету, а ты наблюдал за всеми, кто проезж
и проходил по бульвару. Потом завтракать мы кончили и...

— А что было на завтрак?

— Бриошь и café au lait [1].

— И мне тоже?

— Тебе — капелька кофе в чашке с молоком.

— Это я помню. А куда мы оттуда шли?

— Я катил тебя через улицу от «Клозери де Лиля», мимо фонта
бронзовыми конями, и с рыбой, и с русалками и по длинным каштанов
аллеям, где играли французские ребятишки, а их няньки сидели на с
мейках вдоль посыпанных гравием дорожек...

— А налево — Эльзасское училище,— сказал Том-младший.

— А направо — жилые дома...

— Жилые дома и дома со стеклянными крышами, где помещал
мастерские художников, а эта улица идет вниз и налево, и она та
triste [2] от темных каменных стен, потому что эти дома на теневой с
роне.

— А это осенью, зимой или весной? — спросил Томас Хадсон.

— Поздней осенью.

— Потом лицо у тебя начинало мерзнуть, щеки и нос краснели
мы входили в железные ворота в верхней части Люксембургского са
и шли вниз, к озеру и огибали озеро один раз, а потом поворачивали
право к фонтану Медичи и статуям и выходили из ворот напротив Од
на и переулками к бульвару Сен-Мишель...

— Буль-Мишу...

— И по Буль-Мишу мимо Клюни...

— А Клюни справа...

— Темный, мрачный, и по бульвару Сен-Жермен...

— Это была самая интересная улица, и движение там было сам
сильное. Странно! Почему она казалась такой интересной и опасной?
ближе к улице Ренн, между «Двух макак» и перекрестком «У Липп
там всегда было совершенно спокойно. Почему это, папа?

— Не знаю, дружок.

— Хоть бы что-нибудь там у вас случилось, не все же одни наз
ния улиц слушать,— сказал Эндрю.— Надоели мне названия улиц в
роде, где я никогда не был.

— Ну пусть что-нибудь случится, папа,— сказал Том-младший
Про улицы мы с тобой одни поговорим.

— Тогда ничего особенного не случалось,— сказал Томас Хадсон
Мы шли к площади Сен-Мишель и садились на террасе кафе, и твой
па рисовал, а на столе перед ним стоял café crème [3], тебе же подава
пиво.

— Я и тогда любил пиво?

— Да, любил его хлебнуть. Но за едой предпочитал воду с капе
кой красного вина.

— Помню. L'eau rougie [4].

— Exactement [5],— сказал Томас Хадсон.— Ты здорово налегал
l'eau rougie, но иногда не отказывался и от пива.

— А в Австрии я помню, как мы ехали на luge [6], и помню нашу
баку Шнауца и снег.

— А рождество там помнишь?

---

[1] Кофе с молоком *(франц.)*.
[2] Печальная *(франц.)*.
[3] Кофе со сливками *(франц.)*.
[4] Подкрашенная вода *(франц.)*.
[5] Точно *(франц.)*.
[6] Сани *(нем.)*.

— Нет. Тебя помню, и снег, и нашу собаку Шнауца, и мою няню. Она была очень красивая. И еще я помню маму на лыжах и какая она была красивая. Помню, я видел: вы с мамой спускаетесь на лыжах через фруктовый сад. Вот где это было, не знаю. Но Люксембургский сад я помню хорошо. Помню лодки днем на озере у фонтана в большом саду с деревья. Дорожки среди деревьев были посыпаны гравием, а когда вы шли ко дворцу, слева под деревьями мужчины играли в шары, а на дворце высоко-высоко — часы. Осенью начинался листопад, и я помню, как деревья стояли голые, а дорожки были все в листьях. Больше всего я люблю вспоминать осень.

— Почему? — спросил Дэвид.

— Причин много. Как все пахло осенью, и карнавалы, и как гравий сверху был сухой, а под ним все сырое, и как ветер подгонял лодки на озере, и ветер сбрасывал с деревьев листья. Я помню, как голуби, теплые, с шелковистыми перышками, лежали у меня под одеялом. Ты убивал их перед самой темнотой, и я гладил их, и держал обеими руками, и грелся о них по дороге домой, пока голуби не остывали.

— А где ты их убивал, папа? — спросил Дэвид.

— Обычно около фонтана Медичи, перед самым закрытием сада. Он огорожен высокой железной решеткой, ворота запирают с наступлением темноты и всех оттуда выпроваживают. Сторожа ходят, предупреждают людей, что пора уходить, и запирают ворота. Они пройдут вперед, а я стреляю в голубей из рогатки, когда они опускаются на землю у фонтана. Во Франции делают замечательные рогатки.

— А ты сам их не делал? Ведь вы были бедные? — спросил Эндрю.

— Конечно, делал. Самая первая у меня была из ветки с развилиной, которую я срезал с молодого деревца в лесу Рамбуйе, когда мы гуляли там с матерью Тома. Я обстрогал эту ветку, и в писчебумажном магазине на площади Сен-Мишель мы купили широкие резинки, а из старой перчатки матери Тома сделали к рогатке кожаный мешочек.

— А чем ты стрелял?

— Галькой.

— А подходил к голубям близко?

— Подходил как можно ближе, чтобы сразу их подобрать с земли и сразу сунуть под одеяло.

— Помню одного еще живого,— сказал Том-младший.— Я припрятал его и всю дорогу не обмолвился о нем ни словом, потому что мне хотелось, чтобы он остался у меня. Голубь был очень крупный — перья почти пурпурные, шейка длинная и чудесная головка, а крылышки с белым, и ты позволил мне держать его на кухне, пока мы не достанем ему клетку. Ты привязал его там за лапку. Но в ту же ночь наш кот сцапал его и притащил ко мне в постель. Кот шел очень гордый, и тащил его точно тигр туземца, и вспрыгнул с ним ко мне на кровать. Эта кровать — квадратная — была у меня после бельевой корзины. Корзинку я не помню. Вы с мамой ушли в кафе, и мы с котом остались дома одни, и я помню, что окна были открыты, а над лесопилкой стояла большая луна, и тогда была зима, и я чувствовал запах опилок. Помню, как наш большой кот шел ко мне, высоко задрав голову и волоча голубя по полу, а потом прыгнул и опустился ко мне на кровать. Я ужасно расстроился, что кот придушил моего голубя, но он был так горд и так радовался, и мы с ним так дружили, что я тоже возгордился и обрадовался. Помню, он играл с голубем, а потом стал месить лапами у меня на груди и мурлыкать, а потом опять стал играть с ним. А под конец и он, и я, и голубь, все мы заснули. Я держал одну руку на голубе, и он держал одну лапу на голубе, и ночью я проснулся, а он ест его и громко мурлычет, точно тигр.

— Вот это гораздо интереснее, чем названия улиц,— сказал Эндрю.— Томми, а ты не испугался, когда он начал есть его?

— Нет. Этот кот был тогда моим другом. Самым близким друго
Ему, наверно, было бы приятно, если б я тоже стал есть его голубя.
— А ты бы попробовал,— сказал Эндрю.— Расскажи что-нибудь е
про ваши рогатки.
— Мама подарила тебе на рождество другую рогатку,— сказал То
младший.— Она увидела ее в охотничьем магазине, ей хотелось купи
тебе ружье, но, как всегда, не хватало денег. Она проходила мимо это
магазина, когда шла в épicerie[1], и каждый раз останавливалась посмо
реть на ружья в витрине, и однажды увидела там рогатку и купила
потому что боялась, как бы эту рогатку не продали кому-нибудь, и пр
прятала ее до рождества. Ей пришлось подделать счета, чтобы ты ни
чем не догадался. Она сколько раз мне об этом рассказывала. Я помн
как ты получил рогатку в подарок на рождество, а старую отдал м
Но у меня тогда не хватало сил ее натягивать.
— Папа, а мы были когда-нибудь бедные? — спросил Эндрю.
— Нет. К тому времени, когда вы оба родились, я уже перест
нуждаться. Мы часто сидели без денег, но никогда не нуждались, как
матерью Тома.
— Расскажи еще про Париж,— сказал Дэвид.— Что вы еще дела
с Томом?
— Что мы с тобой делали, дружок?
— Осенью? Мы покупали жареные каштаны у продавца на улиц
и я согревал себе о них руки. Мы ходили в цирк и видали там крокод
лов капитана Валя.
— Ты и это помнишь?
— Очень хорошо помню. Капитан Валь боролся с крокодилами (
произносил это слово «кругодил», как «круг»), а красивая девочка тык
ла в них трезубцем. Но самые большие крокодилы не желали даже дв
гаться. Цирк был очень красивый — круглый, красный с золотом, и та
пахло цирковыми лошадьми. Ты ходил за кулисы выпить с мистера
Кросби, и с укротителем львов, и с его женой.
— Ты помнишь мистера Кросби?
— Он не носил ни шляпы, ни пальто, как бы холодно ни было, а ег
дочка ходила с распущенными волосами, точно Алиса в Стране Чуде
На картинках, конечно. Мистер Кросби был очень нервный.
— А кого ты еще помнишь?
— Мистера Джойса.
— Какой он был?
— Он был высокий и худой, и у него были усы и бородка клинь
ком, и он носил очки с толстыми-претолстыми стеклами и ходил, высок
подняв голову. Помню, как он прошел мимо нас на улице без единог
слова, и ты заговорил с ним, он остановился, разглядел нас сквозь сво
очки, будто смотрел из аквариума, и сказал: «А, Хадсон, а я вас ищу»-
и мы пошли втроем в кафе, на террасе было холодно, и мы сели в уголк
около этой штуки... как она называется?
— Brazier.
— А что это такое? — спросил Эндрю.
— Это такая жестянка с дырками, их топят каменным или древес
ным углем и обогревают ими террасы, например, в кафе — сядеш
к ним поближе, и сразу тепло — или беседки на скачках, где вс
стоят и тоже около них согреваются,— пояснил Том-младший.— В то
кафе, куда мы ходили с папой и мистером Джойсом, они стояли вдол
всей террасы, и там было тепло и уютно даже в самую холодную погод
— Я вижу, ты провел большую часть своей жизни в кафе, в бара
и во всяких таких местечках,— сказал младший мальчик.

---

[1] Бакалейную лавку *(франц.)*.

— Что ж, и провел,— сказал Том.— Правда, папа?

— И спал крепким сном в коляске, пока папа забегал пропустить скорую руку,— сказал Дэвид.— Вот уж чего я терпеть не мог, так это ыражение «пропустить на скорую руку». По-моему, «на скорую руку» — то самая затяжная вещь на свете.

— О чем же мистер Джойс говорил? — спросил Тома-младшего оджер.

— Ой, мистер Дэвис, я те времена плохо помню. Кажется, об итальиских писателях и о мистере Форде. Мистер Джойс терпеть не мог истера Форда. Мистер Паунд тоже его раздражал. «Эзра просто взбелся, Хадсон»,— сказал он раз папе. Вот это я запомнил, потому что не казалось, бесятся только собаки, и помню, я сидел и смотрел мистеу Джойсу в лицо, оно было у него румяное, как на морозе, и одно стекло в очках даже толще другого. Я сидел, смотрел и думал о мистере Паунде — он был рыжий, с остроконечной бородкой, и взгляд такой приятный, а во рту у него клубится что-то белое, как мыльная пена. Я думал, акой ужас, что мистер Паунд взбесился, и надеялся, что мы не наткнемся на него. Потом мистер Джойс сказал: «Форд Мэдокс Форд давным-давно сошел с ума»,— и мне представился мистер Форд — лицо у него большое, бледное, какое-то смешное, глаза белесые, и рот с редкими зубами всегда полуоткрытый, и на подбородке у него тоже пена.

— Не надо больше,— сказал Эндрю.— А то мне это приснится.

— Рассказывай, рассказывай,— попросил Дэвид.— Это все равно как оборотни. Мама спрятала книжку про оборотней, потому что у ндрю были кошмары.

— А мистер Паунд никого не искусал? — спросил Эндрю.

— Нет, наездник,— сказал ему Дэвид.— Это просто так говорится. ешеный — значит не в своем уме. Собаки тут ни при чем. А почему он итал, что они бешеные?

— Не знаю,— сказал Том-младший.— Я был уже не такой маленький, как когда мы стреляли голубей в саду. Но я же не мог все запомнить, а, кроме того, мистер Паунд и мистер Форд, которые пускают уткие слюни, да еще, того и гляди, укусят, вышибли у меня из головы е остальное. Мистер Дэвис, а вы знали мистера Джойса?

— Знал. Он, твой отец и я — мы были большими друзьями.

— Папа был гораздо моложе мистера Джойса.

— Папа был тогда моложе всех.

— Но не моложе меня,— с гордостью сказал Том-младший.— Я, вер, был самым молодым другом мистера Джойса.

— Ах, как он о тебе, должно быть, соскучился,— сказал Эндрю.

— Какая жалость, что он с тобой не познакомился,— сказал ему эвид.— Если бы ты не сидел в Рочестере, он мог бы удостоиться такой чести.

— Мистер Джойс — знаменитый человек,— сказал Том-младший.— ужны ему были два таких сопляка!

— Это ты так думаешь,— сказал Эндрю.— А мистер Джойс вполне ог бы дружить с Дэвидом. Дэвид тоже пишет, для школьной газеты.

— Папа, расскажи нам еще про то время, когда ты, и Томми, и оммина мама были бедными. Вы были настоящими бедняками, да?

— Они были очень бедными,— сказал Роджер.— Помню, ваш папа утра готовил Тому-младшему его бутылочки на весь день, а потом шел рынок, чтобы купить овощи подешевле и получше. Я, бывало, иду в фе завтракать, а он уже возвращается с рынка.

— Никто лучше меня во всем шестом арондисмане не умел выбрать oireaux,— сказал Томас Хадсон мальчикам.

— Что такое poireaux?

— Лук-порей.

— Это вроде такой длинной-длинной зеленой луковицы,— сказ Том-младший.— Только обыкновенный лук блестит, как полированны а этот нет. У этого блеск тусклый. И листья зеленые, а на концах б лые. Его варят и потом едят холодным с оливковым маслом, уксусо солью и перцем. Весь целиком едят. Ух, вкусно. Я его столько съел наверно, больше всех на свете.

— А что такое шестой... этот, как его? — спросил Эндрю.

— Ты своими вопросами мешаешь разговаривать,— сказал ему Д вид.

— Раз я не понимаю по-французски, должен же я спросить.

— Париж разделен на двадцать арондисманов, то есть районо Мы жили в шестом.

— Может, ты нам что-нибудь другое расскажешь, папа, чтобы б арондисманов,— попросил Эндрю.

— Эх ты, спортсмен, до чего ж ты нелюбознательный,— сказал Д вид.

— Неправда, я любознательный,— сказал Эндрю.— Но до аронд сманов я не дорос. Мне всегда говорят: ты еще не дорос до того, до эт го. Ну вот, я признаю: до арондисманов я не дорос. Это мне трудно.

— Какой был средний результат у Тая Кобба? — спросил его Дэви

— Триста шестьдесят семь.

— Это тебе не трудно?

— Отстань, Дэвид. Тебя интересуют арондисманы, а других интер сует бейсбол.

— У нас в Рочестере, кажется, нет арондисманов.

— Да отстань же, наконец. Я только подумал, что папа и мисп Дэвис знают много такого, что для всех интересней этих... фу, черт, дал запомнить не могу.

— Пожалуйста, не чертыхайся при нас,— сказал ему Томас Ха сон.

— Извини, папа,— сказал мальчуган.— Но если мне мало лет, э же не моя вина, черт побери. Ой, извини еще раз. Я хотел сказать пр сто, что это не моя вина.

Он обиделся и расстроился. Дэвид был мастер дразнить его.

— Мало лет — это недостаток, который скоро проходит,— сказа ему Томас Хадсон.— Я знаю, трудно не чертыхнуться, когда разволн ешься. Но не нужно этого делать при взрослых. Когда вы одни, говори себе что хотите.

— Ну, папа. Ведь я уже извинился.

— Ладно, ладно,— сказал Томас Хадсон.— Я и не браню тебя. просто объясняю. Мы так редко видимся, что приходится очень мно объяснять.

— Не так уж много, папа,— сказал Дэвид.

— Да, пожалуй,— сказал Томас Хадсон.— В общем немного.

— При маме Эндрю никогда не чертыхается и не ругается,— сказ Дэвид.

— Если вы, ребята, хотите знать, какие бывают ругательства,— ск зал Том-младший,— советую вам почитать мистера Джойса.

— Мне довольно и тех, которые я знаю,— сказал Дэвид.— Пока д вольно.

— У моего друга мистера Джойса можно найти такие слова и выр жения, каких я и не встречал никогда. Наверно, в этом его никто ни каком языке не переплюнет.

— А он и создал потом целый новый язык,— сказал Роджер. Он л жал на спине, с закрытыми глазами.

— Я этого его нового языка не понимаю,— сказал Том-младший.

же не дорос, должно быть. Но послушаю, что вы, ребята, скажете, гда прочтете «Улисса».

— Это не детское чтение,— сказал Томас Хадсон.— Совсем не дет-ое. Вы там ничего не поймете, да и не нужно вам понимать. Серьезно. одождите, пока станете старше.

— А я читал,— сказал Том-младший.— И ты прав, папа: когда я тал первый раз, я ничего не мог понять. Но я читал еще и еще, и теперь уже одну главу понимаю и могу объяснить другим. Я очень горжусь, о был другом мистера Джойса.

— Папа, мистер Джойс правда считал его своим другом? — спро-л Эндрю.

— Мистер Джойс всегда спрашивал про него.

— Конечно, черт побери, я был его другом,— сказал Том-младший.— меня мало было таких друзей, как он.

— Мне кажется, объяснять эту книгу другим тебе во всяком случае но,— сказал Томас Хадсон.— Повремени немного. А какую это главу так хорошо понял?

— Последнюю. Где дама разговаривает сама с собой.

— Монолог,— сказал Дэвид.

— А ты что, тоже читал?

— Конечно,— сказал Дэвид.— Верней, Томми мне читал.

— И объяснял?

— Объяснял как мог. Там есть вещи, до которых мы, видно, оба еще е доросли.

— А где ты взял эту книгу, Томми?

— В книжном шкафу у нас дома. Я ее захватил с собой в школу.

— Что-о?

— Я читал ребятам вслух отдельные места и рассказывал про ми-тера Джойса, как он был моим другом и сколько времени мы с ним про-одили вместе.

— И ребятам нравилась книга?

— Были такие пай-мальчики, которые находили ее слишком смелой.

— А учителя не проведали об этих чтениях?

— Как не проведали! Ты разве не знаешь, папа? Хотя да, ты в это ремя был в Абиссинии. Директор даже хотел меня исключить, но я ему бъяснил, что мистер Джойс — знаменитый писатель и мой личный друг, дело кончилось тем, что директор забрал у меня книгу и сказал, что отправит ее обратно, а с меня взял слово, что без его разрешения я боль-ше ничего не буду читать ребятам и не буду объяснять им то, чего они не понимают у классиков. Сначала, когда он еще хотел меня исключить, он сказал, что у меня испорченное воображение. Но оно у меня вовсе не ис-порченное, папа. Не больше испорченное, чем у других.

— А книгу-то он отправил?

— Отправил. Он было хотел ее конфисковать, но я ему объяснил, что это первое издание, и мистер Джойс сам подарил ее тебе с надписью, и как же можно ее конфисковать, раз она не моя. И он согласился, что нельзя, но, по-моему, ему было очень жаль.

— А мне когда можно будет прочесть эту книгу, папа? — спросил Эндрю.

— Еще не скоро.

— Томми же читал.

— Томми — друг мистера Джойса.

— Вот именно,-- сказал Том-младший.— Папа, а с Бальзаком мы не были знакомы?

— Нет. Он жил в другую эпоху.

— А с Готье? Я нашел в шкафу еще две мировые книжки — «Озор-ные рассказы» Бальзака и «Мадемуазель де Мопен» Готье. Я пока не

очень понимаю «Мадемуазель де Мопен», но читаю и стараюсь поня
и, по-моему, это здорово. Но раз мы с ними не были знакомы, не сто
пожалуй, читать их ребятам, а то уж тут меня наверняка исключат.

— Хорошие это книги, Томми? — спросил Дэвид.

— Замечательные. Тебе обе понравятся, вот увидишь.

— А ты спроси директора, может, он тебе разрешит читать их реб
там,— сказал Роджер.— Это куда лучше, чем то, что ребята добыва
сами.

— Нет, мистер Дэвис, я думаю, этого не надо делать. А то он опя
станет говорить, что у меня испорченное воображение. И потом, если э
писатели не были моими друзьями, как мистер Джойс, ребята тоже с
несутся по-другому. Я не все понимаю в «Мадемуазель де Мопен», и м
объяснения не будут иметь веса, раз я не могу сослаться на дружбу с а
тором, как это было с книгой мистера Джойса.

— Хотел бы я послушать эти объяснения,— сказал Роджер.

— Что вы, мистер Дэвис. Для вас они слишком примитивные. Как
вам интерес их слушать. Вы же сами отлично все понимаете, что т
написано, разве нет?

— Более или менее.

— Жаль все-таки, что мы не знали Бальзака и Готье так же, к
мистера Джойса.

— Мне самому жаль,— сказал Томас Хадсон.

— Но мы знали многих хороших писателей, правда?

— Безусловно,— сказал Томас Хадсон. Лежать на песке было те
ло и приятно, и после утра, проведенного за работой, его размори
лень. Он с удовольствием слушал болтовню сыновей.

— Пошли, поплаваем и домой,— сказал Роджер.— Уже становит
жарко.

Томас Хадсон смотрел на них с берега. Все четверо неторопливо пл
ли в зеленой воде, отбрасывая тень на песчаное светлое дно. Ему вид
было, как тела устремляются вперед, а тени скользят за ними, чуть сдв
нутые преломлением солнечных лучей, как взлетают загорелые ру
врезаются в воду и, упираясь ладонями, разгребают ее в стороны и н
зад, как ритмично бьют по воде ноги и вскидываются головы, чтобы н
брать воздуху в мерно и свободно дышащую грудь. Томас Хадсон сто
и смотрел, как они плывут по ветру, и чувствовал нежность ко всем че
верым. Хорошо бы написать их так, думал он, только это очень трудн
Надо будет все-таки попробовать этим летом.

Самому ему лень было идти купаться, но он знал, что надо, и в кон
концов пошел, чувствуя, как остуженная бризом вода приятно холод
горячие от солнца ноги, поднимаясь все выше, к паху, а потом он ныр
в теплую струю Гольфстрима и поплыл навстречу возвращавшейся че
верке. Теперь, когда его голова была на одном уровне с ними, все выгл
дело иначе, тем более, что они теперь плыли против ветра и волны з
хлестывали Эндрю с Дэвидом, которым приходилось делать усилия, чт
бы продвигаться вперед. Томасу Хадсону они больше не казались четве
кой каких-то морских животных. Их движения уже не были так свобод
и красивы; видно было, что младшим мальчикам трудно преодолева
сопротивление ветра и воды. Может быть, это было не так уж и трудн
Но вода уже не казалась их родной стихией, как тогда, когда они плы
от берега. Получались две разные картины, и, может быть, вторая бы
даже лучше первой.

Все пятеро вышли из воды и направились к дому.

— Потому-то мне больше нравится плавать под водой,— сказал Д
вид.— Не надо заботиться о дыхании.

— Вот и отправляйся после обеда на подводную охоту с папой и
Томми,— сказал ему Эндрю.— А я останусь с мистером Дэвисом.

— Вы разве остаетесь, мистер Дэвис?

— Могу и остаться.

— Если из-за меня, так не нужно,— сказал Эндрю.— Я себе найду лько угодно занятий. Я просто думал, вы все равно хотите остаться.

— Пожалуй, я останусь,— сказал Роджер.— Полежу, почитаю.

— Вы только ему не поддавайтесь, мистер Дэвис. А то ведь он кого дно околдует.

— Да нет, я в самом деле хочу остаться,— сказал Роджер.

Они все успели переодеться в сухие шорты и собрались на нижней ранде. Джозеф принес миску салата с разной морской живностью, и мальчики его ели, а Том-младший еще запивал пивом. Томас Хадсон дел, откинувшись на спинку кресла, а Роджер стоял рядом, с шейке- в руке.

— Меня всегда клонит ко сну после еды,— сказал он.

— Без вас будет скучно, мистер Дэвис,— сказал Том-младший.— жет, и мне остаться?

— Оставайся, Том,— сказал Эндрю.— Пусть папа и Дэвид отправ- ются вдвоем.

— Не воображай, что я буду с тобой играть в бейсбол,— сказал Том- адший.

— А мне и не нужно, чтобы ты играл. Тут есть один паренек, негр, со мной поиграет.

— Все равно из тебя бейсболиста не получится,— сказал Том-млад- ий.— Ростом не выйдешь.

— Я буду такого роста, как Дик Рудольф и Дик Керр.

— Понятия о них не имею,— сказал Том-младший.

— Скажите мне имя какого-нибудь жокея,— шепнул Дэвид Род- еру.

— Эрл Сэнди.

— Ты будешь такого роста, как Эрл Сэнди,— сказал Дэвид.

— Слушай, отправляйся ты на свою подводную охоту,— сказал дрю.— Мы с мистером Дэвисом будем друзьями, как Том и мистер жойс. Да, мистер Дэвис? И я тогда смогу говорить в школе: «Это было то лето, когда мы с мистером Дэвисом жили на острове в тропиках и сали свои неприличные рассказы, а мой папа в это время рисовал ртины с обнаженными женщинами, которые вы все видели». Ведь ты е рисуешь обнаженных женщин, папа?

— Случается. Правда, у них довольно темная кожа.

— Вот еще,— сказал Эндрю.— Не все ли равно, какая у них кожа. Том пусть себе остается при своем мистере Джойсе.

— Ты на эти картины и смотреть не решишься,— сказал ему Дэвис.

— Может быть. Но я себя постепенно приучу.

— Папины этюды обнаженной натуры — пустяк по сравнению с той авой у мистера Джойса,— сказал Том-младший.— Просто ты еще ма- ыш, вот тебе и кажется, что в обнаженной натуре есть что-то такое осо- енное.

— Ну и пусть. А я все равно возьму мистера Дэвиса с папиными ил- юстрациями. Кто-то из ребят в школе говорил, что мистер Дэвис пишет ень неприличные рассказы.

— А я тоже возьму мистера Дэвиса. Я старый-престарый друг ми- ера Дэвиса.

— И мистера Пикассо, и мистера Брака, и мистера Миро, и мистера ассона, и мистера Паскина,— сказал Томас Хадсон.— Ты всех их знал.

— И мистера Уолдо Пирса,— сказал Том-младший.— Видишь, Энди, бе со мной не сравняться. Слишком поздно начинаешь. Никак тебе со ной не сравняться. Ты еще сидел в Рочестере и даже еще на свет не одился, а мы с папой уже где только не побывали. Я знал лично чуть

не всех нынешних знаменитых художников. Многие из них были мо
лучшими друзьями.

— Когда-нибудь должен же я начать,— сказал Эндрю.— Вот
возьму мистера Дэвиса для начала. Вы можете не писать неприли
рассказы, если не хотите, мистер Дэвис. Я сам все буду выдумывать,
Томми выдумывает. Вы мне расскажите какие-нибудь ужасные слу
из своей жизни, а я все изображу так, как будто я при этом был.

— С чего это ты взял, что я выдумываю,— сказал Том-младший
Папа и мистер Дэвис только мне помогают иногда освежить что-то в
мяти. А я на самом деле был очевидцем и участником целой эпохи в
вописи и литературе и, если нужно, могу хоть сейчас сесть писать
муары.

— Томми, да ты совсем спятил,— сказал Эндрю.— Думай, что
воришь.

— Не рассказывайте ему ничего, мистер Дэвис,— сказал Том-мл
ший.— Пусть пробивается своими силами, как мы пробивались.

— А ты не лезь,— сказал Эндрю.— Мы с мистером Дэвисом раз
ремся без тебя.

— Папа, расскажи еще что-нибудь про моих друзей,— сказал То
младший.— Я знаю, что они были и что мы с ними встречались в разн
кафе, но мне бы хотелось знать про них поподробнее. Ну хотя бы
про мистера Джойса.

— Ты мистера Паскина помнишь?

— Нет. То есть не очень. Какой он был из себя?

— Хорош друг, если ты даже не помнишь, какой он был из себя,
сказал Эндрю.— Что ж, я, по-твоему, через несколько лет забуду, как
из себя мистер Дэвис?

— Заткнись ты,— сказал ему Том-младший.— Пожалуйста, па
расскажи про мистера Паскина.

— У мистера Паскина были рисунки, которые могли бы служить
люстрациями к той главе «Улисса», что тебе понравилась.

— Да ну? Ух ты, вот здорово.

— Иногда, сидя против тебя в кафе, он рисовал на салфетке т
портрет. Он был невысок ростом, задира и большой чудак. Почти кр
лый год ходил в котелке и был замечательный художник. Всегда у н
был такой вид, как будто он владеет каким-то секретом, чем-то, что
только что узнал и что ему очень интересно. Иногда этот секрет радов
его, а иногда делал очень грустным. Но всегда видно было, что у н
есть секрет и что ему это интересно.

— Что же это был за секрет?

— Секрет пьянства, и наркотиков, и того, что так хорошо знал
стер Джойс в той последней главе, и уменья писать замечательные к
тины. Лучше его в то время никто не умел писать, и это тоже входи
в его секрет, а ему было все равно. То есть он считал, что ему все рав
а на самом деле было не все равно.

— Он был распутный?

— О, да. Он был очень распутный, и это тоже составляло часть
секрета. Ему нравилось быть распутным, и совесть его не мучила.

— А мы с ним дружили?

— Да, очень. Он тебя называл Чудовище.

— Ух ты,— сказал обрадованно Том-младший.— Чудовище.

— Папа, а у нас есть картины мистера Паскина? — спросил Дэв

— Есть две или три.

— А маслом он Томми никогда не писал?

— Нет. Он его рисовал карандашом чаще всего на салфетке или
мраморной доске столика в кафе. И называл его Страшным пивным
довищем с Левого берега.

— Запиши себе, Том,— сказал Дэвид.
— У мистера Паскина было испорченное воображение? — спросил ндрю.
— Вероятно.
— Ты разве не знаешь?
— Не знаю, но могу предположить. Пожалуй, это тоже была часть о секрета.
— А у мистера Джойса нет?
— Нет.
— И у тебя нет?
— Нет,— сказал Томас Хадсон.— Думаю, что нет.
— А у вас испорченное воображение, мистер Дэвис? — спросил Том-ладший.
— Думаю, что нет.
— Вот и хорошо,— сказал Том-младший.— Я уже говорил директо-школы, что и у папы, и у мистера Джойса воображение не испорчен-е, а теперь и про мистера Дэвиса смогу сказать, если он спросит. На-ет меня его очень трудно было разубедить. Но я не беспокоился. В коле есть один мальчик с испорченным воображением, так это сразу метно. А как звали мистера Паскина?
— Жюль.
— Это как пишется? — спросил Дэвид.
Томас Хадсон сказал ему по буквам.
— А где теперь мистер Паскин? — спросил Том-младший.
— Он повесился.
— Ух ты! — сказал Эндрю.
— Бедный мистер Паскин,— набожно сказал Том-младший.— Я се-дня на ночь помолюсь за него.
— А я буду молиться за мистера Дэвиса,— сказал Эндрю.
— Делай это почаще,— сказал Роджер.

VI

Вечером, когда мальчики уже улеглись, Томас Хадсон и Роджер Дэ-с сидели в большой комнате и разговаривали. Подводную охоту приш-сь отменить из-за волнения на море, но после ужина мальчики выезжа-с Джозефом на ловлю снепперов. Вернулись они усталые и довольные сразу же распрощались и ушли спать. Некоторое время еще слышно ло, как они переговариваются между собой, но скоро все стихло.
Эндрю боялся темноты, и братья это знали, но никогда не дразнили о этим.
— Как ты думаешь, почему он боится темноты? — спросил Роджер.
— Не знаю,— сказал Томас Хадсон.— А ты никогда не боялся?
— Кажется, нет.
— А я боялся,— сказал Томас Хадсон.— Это о чем-нибудь говорит?
— Не знаю,— сказал Роджер.— Я боялся умереть и еще, что с моим атом что-нибудь случится.
— Я и не знал, что у тебя есть брат. Где он?
— Умер,— сказал Роджер.
— Прости, пожалуйста.
— Да нет, ничего. Мы тогда еще были мальчишками.
— Он был старше тебя?
— На год моложе.
— А что произошло?
— Мы катались на каноэ, и оно перевернулось.
— Сколько тебе тогда было лет?

— Двенадцать.

— Ты не рассказывай, если тебе тяжело.

— Вероятно, это не украсило мою жизнь. А ты в самом деле ниче не слыхал?

— Ничего и никогда.

— Мне долгое время казалось, что всем на свете это известно. В де стве все воспринимается по-особому. Вода была очень холодная, он, в верно, сразу сдал. Но как бы там ни было, важно, что я вернулся домо а он нет.

— Бедный мой Роджер.

— Не надо,— сказал Роджер.— Конечно, в двенадцать лет ра сталкиваться с такими вещами. И потом, я его очень любил и всегда б ялся, что с ним что-нибудь случится. Мне ведь тоже пришлось плыть холодной воде, но не мог же я говорить об этом.

— Где вы тогда жили?

— В штате Мэн. Отец, кажется, так мне этого и не простил, хо старался быть справедливым. Не было потом дня, когда бы я не жале что это случилось не со мной. Но нельзя жить так всю жизнь.

— Как звали брата?

— Дэв.

— Ах, черт! Ты потому сегодня отказался от подводной охоты?

— Может быть. Хотя я достаточно часто занимаюсь подводной ох той. Но тут ведь не рассуждаешь, это как-то само собой решается.

— Ты уже не мальчик, чтоб так говорить.

— Я тогда нырял за ним несколько раз, но не мог найти,— сказ Роджер.— Было слишком глубоко и вода очень холодная.

— Дэвид Дэвис,— сказал Томас Хадсон.

— Да. В нашем роду старший сын всегда Роджер, а второй — Д вид.

— Родж, но ты все-таки сумел это превозмочь?

— Нет,— сказал Роджер.— Такое превозмочь нельзя, и рано и поздно приходится в этом сознаться. Мне стыдно, когда я об этом дума так же как вчера было стыдно из-за драки на причале.

— Тут тебе нечего было стыдиться.

— Было чего. Я тебе уже раз сказал. Не будем возвращаться этому.

— Хорошо, не будем.

— Больше я никогда не стану драться. Никогда. Ты же не дерешь хоть мог бы драться не хуже меня.

— Нет, не мог бы. А кроме того, я дал себе слово никогда драться.

— И я тоже не буду драться, и исправлюсь, и перестану писать в кую дрянь.

— Вот это я очень рад услышать,— сказал Томас Хадсон.

— А как ты думаешь, сумею я написать что-нибудь стоящее?

— Попробуй. Почему ты бросил живопись?

— Потому что мне надоело себя обманывать. А теперь и с литера рой то же самое.

— Что же ты надумал?

— Уеду куда-нибудь и напишу честный хороший роман — если вы дет.

— А зачем тебе уезжать? Оставайся здесь и пиши, когда ребя уедут. У тебя слишком жарко, чтобы работать.

— А тебе это не помешает?

— Нет, Родж. Мне ведь тоже бывает тоскливо одному. Нельзя и время от чего-то убегать. Но я, кажется, впадаю в риторику. Ладно, молчал.

— Нет. Говори. Мне нужно, чтобы ты говорил.

— Если ты серьезно решил начать работать, начинай здесь.

— А ты не думаешь, что на Западе у меня бы лучше пошло дело?

— Для работы все места одинаковы. Главное — это не убегать.

— Нет, не все места одинаковы,— возразил Роджер.— Уж я знаю. Но там, где поначалу хорошо, потом становится плохо.

— Верно. Но здесь сейчас очень хорошо. Может быть, потом это изменится, но сейчас здесь прекрасно. И ты не будешь один вечером после работы, и я не буду один. Мешать друг другу мы не станем, и увидишь, что тебе пойдет на пользу такая жизнь.

— Ты в самом деле веришь, что я могу написать хороший роман?

— Чтобы знать, нужно попробовать. То, что ты мне сегодня рассказал, великолепный материал для романа, если только ты захочешь писать об этом. Начни с каноэ...

— А кончить чем?

— Дальше, после каноэ, уже пойдет вымысел.

— К чертям собачьим,— сказал Роджер.— Я настолько развращен, что стоит мне упомянуть о каноэ, и сейчас же в нем окажется прекрасная дева-индианка, а потом туда вскочит молодой Джонс, который спешит предупредить поселенцев о приближении Сесиля де Милля и пробирается вплавь, одной рукой цепляясь за сплетения водорослей, а в другой сжимая доброе старое кремневое ружье, и прекрасная индианка при виде его воскликнет: «Это ты, Джонс! Предадимся же любви, пока наш утлый челн скользит к водопаду, который когда-нибудь станет Ниагарой».

— Нет,— сказал Томас Хадсон.— Ты опишешь каноэ, и холодную воду озера, и как твой братишка...

— Дэвид Дэвис. Одиннадцати лет.

— Да. А потом будет вымысел, до самого конца.

— Не люблю концов,— сказал Роджер.

— Никто, вероятно, не любит,— сказал Томас Хадсон.— Но все имеет конец.

— Давай замолчим,— сказал Роджер.— Мне пора начать думать над этим романом. Томми, почему хорошо писать картины — удовольствие, а хорошо писать книги — сплошная мука? Я никогда не был хорошим художником, но даже мои картины доставляли мне удовольствие.

— Не знаю,— сказал Томас Хадсон.— Может быть, в живописи яснее традиция и направление и есть больше такого, на что можно опереться. Даже если отклонишься от главного направления большого искусства, все равно оно есть и может служить тебе опорой.

— А потом, мне кажется, живописью занимаются более достойные люди,— сказал Роджер.— Будь я стоящим человеком, из меня, может, и вышел бы хороший художник. Но, может, я такая сволочь, что из меня получится хороший писатель.

— Ну, знаешь, это чересчур упрощенный подход.

— А я всегда все чересчур упрощаю,— объявил Роджер.— Это одна из причин, почему я ни на что не гожусь.

— Ладно, пошли спать.

— Я еще посижу, почитаю,— сказал Роджер.

Спали они хорошо. Томас Хадсон даже не проснулся, когда Роджер, уже далеко за полночь, вышел на веранду, служившую спальней. Утром, когда все сошлись к завтраку, оказалось, что ветер улегся, на небе ни облачка и можно посвятить день подводной охоте.

— Вы поедете, мистер Дэвис? — спросил Эндрю.

— Непременно поеду.

— Вот и хорошо,— сказал Эндрю.— Я рад.

Как твое настроение, Энди? — спросил Томас Хадсон.

— Боюсь,— сказал Эндрю.— Как всегда. Но раз мистер Дэвис ед
я уже меньше боюсь.

— Никогда не надо бояться, Энди,— сказал Роджер.— Нестояш
это дело. Так меня учил твой папа.

— Все так учат,— сказал Эндрю.— Только тому и учат. А из вс
умных ребят, которых я знаю, один Дэвид не боится.

— Закройся,— сказал Дэвид.— Воображаешь о себе невесть что.

— Мы с мистером Дэвисом всегда боимся,— сказал Эндрю.— Н
верно, потому, что мы лучше всех все понимаем.

— Будь осторожен, Дэви, обещаешь? — сказал Томас Хадсон.

— Обещаю, папа.

Эндрю взглянул на Роджера и пожал плечами.

VII

За длинным рифом, куда они отправились в тот день на подводну
охоту, лежали в глубине железные обломки старого развалившегося п
рохода, и ржавый металл его котлов торчал над водой даже в часы пр
лива. Ветер дул с юга, и Томас Хадсон стал на якорь с подветренн
стороны рифа, но не вплотную к нему, а Роджер и мальчики держа
наготове гарпуны и маски. Гарпуны эти были самые примитивные и в
разные, у каждого на свой вкус.

Джозеф тоже вышел в море на гребной шлюпке. Он взял с соб
Эндрю, и они вдвоем поехали к рифу, а остальные прыгнули с бор
катера и поплыли.

— Папа, а ты что же? — крикнул Дэвид отцу, который стоял на к
стике своего рыболовного катера. Маска с овалом стекла над глаза
носом и лбом Дэвида, резиновый ободок, плотно прилегающий под нос
к щекам и вдавливающийся в лоб, и тугая резиновая полоска, котор
охватывала затылок, делали его похожим на героя псевдонаучны
комиксов.

— Я потом к вам присоединюсь.

— Только не задерживайся, а то дождешься, что мы всю рыбу р
пугаем.

— Риф большой. Весь его вы не оплывете.

— Но я знаю две замечательные ямы там, за котлами. Нашел
когда мы были здесь одни. Туда никто еще не совался. Там полно рыб
и я решил оставить их на тот случай, когда мы будем здесь все.

— Да, помню. Через час я вас догоню.

— Я приберегу их для тебя,— сказал Дэвид и поплыл за остал
ными, держа в правой руке шестифутовый гарпун о двух зубьях, куск
крепкой лески примотанных к грабовому древку. Он плыл, опустив ли
в воду, и разглядывал дно сквозь стекло маски. Дэвид был настоящ
подводным существом, и теперь, когда он, такой загорелый, плыл, выс
вив из воды только мокрый затылок, Томас Хадсон больше чем когд
либо находил в нем сходство с бобренком.

Он следил, как Дэвид не спеша, ровно двигается вперед, взмахив
левой рукой и сгибая в коленях свои длинные ноги, и лишь изредка,
каждым разом все реже и реже кладет голову чуть набок, чтобы сдела
вдох. Роджер и Том-младший плыли, сдвинув маски на лоб, и бы
далеко впереди. Эндрю и Джозеф сидели в шлюпке по ту сторону риф
Эндрю еще не прыгнул в воду. Дул легкий ветер, вода за рифом свет
пенилась, а риф был бурый, и за ним густо синело море.

Томас Хадсон спустился вниз, в камбуз, где Эдди чистил картош
над ведром, стоявшим у него между колен. Он то и дело посматрив
через иллюминатор камбуза в сторону рифа.

— Нельзя мальчикам разъединяться,— сказал он.— Надо поближе к шлюпке.

— Думаешь, что-нибудь появится из-за рифа?

— Вода высокая. Это же весенний прилив.

— А прозрачная-то она какая,— сказал Томас Хадсон.

— В океане много всяких гадин,— сказал Эдди.— Здесь в океане шутки плохи, если они учуют запах рыбы.

— Еще никто ни одной рыбы не поймал.

— Скоро поймают. И пусть сразу складывают ее в шлюпку, пока волна не подхватит запаха рыбы или запаха крови.

— Я поплыву к ним.

— Не надо. Крикните, чтобы держались вместе и бросали рыбу в шлюпку.

Томас Хадсон вышел на палубу и крикнул Роджеру то, что ему сказал Эдди. Роджер поднял гарпун и помахал им в знак того, что понял.

Эдди вышел в кокпит с кастрюлей, полной картошки, в одной руке и с ножом в другой.

— Возьмите то маленькое ружье, оно хорошее, и ступайте на палубу, мистер Том,— сказал он.— Не нравится мне это. Не нравится мне, что мальчики плавают там в такой сильный прилив. Мы ведь уже почти в океане.

— Загоним их сюда.

— Нет. Я, может, просто психую. Плохо спал ночью. Я их так люблю, будто они мои собственные, и у меня из-за них на сердце черт-те что творится.— Он поставил кастрюлю с картофелем на пол.— Знаете, как мы сделаем? Запустите мотор, а я выберу якорь, и мы подойдем к рифу поближе и станем там. При таком сильном приливе и на ветру катер развернется. Давайте поближе к рифу.

Томас Хадсон запустил большой мотор и стал к штурвалу. Когда Эдди выбрал якорь, он увидел всех четверых в воде, и тут же Дэвид вынырнул на поверхность с высоко поднятым вверх гарпуном, на котором трепыхалась рыба, и Томас Хадсон услышал, как он окликнул шлюпку.

— К рифу поворачивайте,— крикнул Эдди, стоя на носу и держа в руках якорь.

Томас Хадсон медленно подвел катер почти вплотную к рифу и увидел большие бурые коралловые полипы, черных морских ежей на песке и лиловые опахала морского пера, покачивавшиеся ему навстречу вместе с приливом. Эдди бросил якорь, Томас Хадсон дал задний ход. Катер развернулся, и риф скользнул в сторону. Эдди травил канат до тех пор, пока он не натянулся как струна. Томас Хадсон выключил мотор, и они закачались на месте.

— Теперь мы за ними уследим,— сказал Эдди, стоя на носу.— Не могу я себе позволить такое беспокойство из-за этих мальчишек. Нарушает пищеварение, черт бы его побрал. А у меня с ним и так неладно.

— Я буду наблюдать за ними отсюда.

— Сейчас подам вам ружье, а сам займусь этой проклятой картошкой. Мальчики ведь любят картофельный салат по нашему рецепту?

— Еще бы. Роджер тоже любит. Только положи в него побольше крутых яиц и лука.

— Картофелины у меня будут целенькие, не разварятся. Вот, возьмите ружье.

Томас Хадсон коснулся ружья, и оно показалось ему бесформенным, тяжелым, в своем чехле из овчины с подстриженной шерстью, пропитанной маслом, чтобы ружье не заржавело на морском воздухе. Он вытащил его за приклад и засунул чехол под настил мостика. Это был «манлихер-шенауер-256» с восемнадцатидюймовым стволом устаревшего образца, уже снятый с продажи. Ложа и цевьё у него побурели, как ядро грецкого

ореха, от смазки и трения, а ствол, в прошлом месяцами тершийся о с
дельный подсумок, был маслянистый, без единого пятнышка ржавчи
То место на прикладе, куда стрелок прижимается щекой, гладко лосн
лось, и, отведя затвор, он увидел вращающуюся магазинную коробк
заполненную тремя пузатыми гильзами с длинными, тонкими, как кара
дашн, пулями, блеснувшими свинцом своих головок.

Ружье было слишком хорошее, чтобы держать его на катере, н
Томас Хадсон так его любил и оно напоминало ему столько всяких соб
тий, стольких людей и столько мест, что он предпочитал иметь его п
себе, тем более, что в овчинном чехле с подстриженной, пропитанной ма
лом шерстью соленый воздух ружью ничуть не вредил. Ружье для того
существует, думал он, чтобы из него стреляли, а не хранили в чехле. Э
ружье очень хорошее, и стрелять из него легко, и обучать стрельбе легк
и оно весьма кстати на катере. Ни одно другое из тех, что у него был
не давало ему такой уверенности в наводке и на близком и на средне
расстоянии, и он с удовольствием вынул его из чехла, отвел затвор и по
лал патрон в ствол.

Катер стоял почти неподвижно под ветром на прибывающей вод
и Томас Хадсон накинул ремень ружья на одну из рукояток штурва
так, чтобы оно было под рукой, и лег на разложенный тут же на мости
надувной матрас. Лежа ничком и подставляя солнцу спину, он смотре
туда, где Роджер и мальчики ловили рыбу. Все они то и дело нырял
оставались под водой кто сколько мог, высовывали головы, чтобы н
брать воздуха в легкие, опять исчезали и кое-когда появлялись с рыб
на гарпуне. Джозеф разъезжал на шлюпке от одного к другому, сним
рыбу с зубьев гарпуна и бросал ее в шлюпку. Томас Хадсон слыша
его возгласы и смех, и когда Джозеф стряхивал или снимал рукой ры
с зубцов и швырял ее в тень на корме шлюпки, Томасу Хадсону бы
видна яркая рыбья чешуя — красная, или красная с коричневыми кр
пинками, или красная с желтым, или в желтую полосу.

— Эдди, будь добр, дай мне чего-нибудь выпить,— крикнул он.

— А чего вы хотите? — Эдди высунулся из кокпита. Он был в стар
фетровой шляпе, в белой рубашке, от яркого солнца глаза у него нал
лись кровью, и Томас Хадсон заметил, что его губы смазаны меркур
хромом.

— Что это у тебя со ртом? — спросил он.

— Так, кое-какие неприятности вчера вечером. Я только сейчас см
зал. А что, очень заметно?

— Ты похож на захолустную шлюху.

— Ч-черт! — сказал Эдди.— Мазнул в темноте, не глядя. Прос
так, на ощупь. Что же вам дать — с кокосовой водичкой? У меня кок
совая водичка есть.

— Прекрасно.

— А «Зеленого Айзека» не хотите?

— Еще лучше. Давай «Зеленого Айзека».

Томас Хадсон лежал на матрасе, пряча голову в тени приборной до
ки, и когда Эдди взошел на мостик с высоким стаканом холодного пить
составленного из джина, лимонного сока, зеленоватой кокосовой воды
мелкого льда с несколькими каплями ангостурской настойки для прид
ния ему ржаво-розового цвета, он поставил бокал в тень, чтобы лед н
растаял, пока он смотрит на море.

— Дела у мальчиков идут неплохо,— сказал Эдди.— Рыбы на об
нам хватит.

— А что будет еще?

— К рыбе — картофельное пюре. Еще салат из помидоров. Да в
этот, картофельный. С него и начнем.

— Звучит аппетитно. А картофельный готов?

— Картофель еще не остыл, Том.

— Эдди, а ты ведь любишь заниматься стряпней?

— Еще как люблю! Я люблю ходить в море на катере, и я люблю стряпать. А чего не люблю, так это скандалить, драться и попадать во всякие истории.

— Во всяких историях ты обычно держался молодцом.

— Я старался не ввязываться в них. Иной раз не избежишь, но я всегда старался.

— А что случилось вчера вечером?

— Ничего.

Ему не хотелось говорить об этом. Он никогда не говорил и о своем прошлом, где всяких историй было предостаточно.

— Ладно. А чем ты нас еще угостишь? Ребят надо кормить как следует. Они растут.

— Я испек дома пирог и захватил его сюда. На льду лежат два свежих ананаса. Нарежу их ломтиками.

— Отлично. А как рыба будет приготовлена?

— Как вам угодно. Выберем что получше из их улова и сварим или поджарим, кто как захочет. Дэвид только что поймал хорошую американскую сельдь. У него еще одна была, но он ее упустил. А эта большая. Только вот далеко он заплыл, слишком далеко. И рыбу все еще не отдал Джозефу, а тот, дьявол, гонит со своей шлюпкой к Энди.

Томас Хадсон поставил стакан в тень и поднялся.

— О, господи! — сказал Эдди.— Смотрите.

Выделяясь на синей воде, точно коричневый шлюпочный парус, вспарывая волны, двигаясь вперед могучими, стремительными посылами хвоста, высокий треугольный плавник приближался к той яме у конца рифа, где мальчик в маске высоко поднимал над водой руку, в которой была рыба.

— О, господи! — сказал Эдди.— Молот-рыба, сука окаянная. О, господи, Том! О, господи!

Поздней Томас Хадсон вспоминал, что его больше всего поразила высота плавника и то, как он поворачивался и вздрагивал, точно собака, идущая по следу, и как он прорывался вперед, будто рыскал из стороны в сторону.

Он поднял свой «манлихер» и выстрелил, упреждая плавник. Получился перелет, вода фонтаном взметнулась вверх, и он вспомнил, что ствол ружья покрыт смазкой. Плавник по-прежнему буравил воду.

— Бросай ей рыбу, бросай рыбу! — крикнул Дэвиду Эдди и спрыгнул с края рубки в кокпит.

Томас Хадсон снова выстрелил, и фонтан воды взметнулся теперь позади плавника. Он почувствовал, как ему свело желудок, будто что-то схватило его изнутри и держит, и выстрелил снова, стараясь целиться как можно точнее и чтобы рука не дрогнула, понимая все значение этого выстрела,— и водяной фонтан взлетел впереди плавника. Плавник шел все с тем же страшным напором. У Томаса Хадсона остался один выстрел, запасных патронов не было, а громадная акула была ярдах в тридцати от мальчика и двигалась к нему, все так же вспарывая воду. Дэвид снял рыбу с гарпуна и держал ее в руке, маска была сдвинута у него на лоб, и он пристально смотрел на приближавшуюся акулу.

Томас Хадсон заставлял себя преодолеть скованность и собраться, заставлял себя сдерживать дыхание и не думать ни о чем другом, кроме выстрела; нажать на спуск и метить, чуть упреждая, в основание плавника, который подрагивал теперь сильнее, чем вначале. И вдруг он услышал, как с кормы застрочил автомат, и увидел, как вокруг плавника запрыгали фонтанчики. Потом короткая очередь, и вода вскипела у самого основания плавника. Он выстрелил, и стрекот послышался снова —

дробный, тугой, и плавник завалился, вода вокруг него закипела, а пото
молот-рыба — такая большая, какой он никогда не видел,— поднялас
из моря белым брюхом вверх и начала бешено крутиться на спине, взб
ламучивая воду, как акваплан. Брюхо отсвечивало непристойной бели
ной, пасть шириной в ярд была как опрокинутая ухмылка, рога огро
ные, с глазами на концах. Она подскакивала и скользила по воде, Эдд
строчил по ней из автомата, всаживал пули в ее белое брюхо, рвал ее
оставляя на нем темные пятна, которые сразу же алели, и, наконец, он
перевернулась на бок и пошла вниз, и Томас Хадсон увидел, как он
крутится волчком, уходя под воду.

— Сюда их, окаянных, гоните,— услышал он голос Эдди.— Не мог
я больше на это смотреть.

Роджер быстро подплывал к Дэвиду, а Джозеф уже спешил к ни
втащив Энди в шлюпку.

— Господи, твоя воля! — сказал Эдди.— Видали вы когда-нибуд
такую акулищу? Слава богу, что они выходят на поверхность, когда иду
за добычей. Слава богу! Они, сволочи, всегда плывут поверху. Видали
как она шла?

— Дай мне коробку с патронами,— сказал Томас Хадсон. Он ед
держался на ногах, его мутило.— Все сюда,— крикнул он.

Они прибились к шлюпке, и Роджер подсаживал в нее Дэвида.

— Теперь уж пусть ловят рыбу,— сказал Эдди.— Теперь все здеш
ние акулы на эту набросятся. Эта весь океан сюда соберет. Видали, ка
она перевернулась брюхом вверх, а потом давай и давай крутиться? О
господи, вот это молот-рыба! А мальчишка-то, видали, собирался ей рыб
бросить. Ах, Дэви, голубчик! Какой же ты у нас молодец!

— Пусть лучше будут на катере.

— Конечно, лучше на катере. Это я просто так говорю. Сейчас и
подвезут. Подвезут, не беспокойтесь.

— Господи, какой это был ужас. Откуда у тебя взялся автомат?

— Комиссар стал ко мне вязаться, что я держу его дома, вот я и
переправил его с берега на катер и сунул в ящик под койкой.

— Стрелять ты умеешь.

— Да как тут не суметь, когда на нашего Дэви, голубчика, шл
акула, а он спокойно ждал ее, хотел бросить ей рыбу. Так прямо н
акулу и глядел. Пусть я больше ничего в жизни не увижу после тог
чего сейчас навидался.

Шлюпка подошла к борту, и все четверо поднялись на катер. Мал
чики были мокрые и очень взбудораженные, а Роджер — сам не свой о
волнения. Он подошел к Эдди и пожал ему руку, и Эдди сказал:

— Нельзя было нам пускать их туда в такой прилив.

Роджер покачал головой и обнял Эдди за плечи.

— Это моя вина,— сказал Эдди.— Я здешний. А вы нет. Вы ту
ни при чем. Я один в ответе.

— И ответили как надо,— сказал Роджер.

— Да ну вас! — сказал Эдди.— На таком расстоянии кто промах
нется.

— Ты ее видел, Дэв? — очень вежливо спросил Эндрю.

— Сначала один плавник, только под конец всю. Я всю ее увиде
еще до того, как Эдди выстрелил по ней, а потом она нырнула и всплыл
на спине.

Эдди растирал Дэвида полотенцем, и Томасу Хадсону видно был
что ноги, спина и плечи у мальчика все еще покрыты мурашками.

— Первый раз в жизни вижу что-либо подобное,— сказал Том
младший.-- Как она вынырнула из воды и перевалилась на спину! Пер
вый раз в жизни такое вижу.

— И вряд ли еще увидишь,— сказал ему отец.

— Весу в ней, наверно, вся тысяча фунтов будет,— сказал Эдди.— Наверно, крупнее и не бывает. Господи, Роджер, видели, какой у нее плавник?

— Видел,— сказал Роджер.

— А может, мы ее выловим? — спросил Дэвид.

— А ну ее к дьяволу,— сказал Эдди.— Она так кувырком и пошла ко дну, и черт ее знает, где опустится. Футов на пятьсот заляжет, и весь океан будет ее жрать. Наверно, все туда ринулись.

— Жалко, мы ее не поймали,— сказал Дэвид.

— Спокойно, Дэви, спокойно, милый. Вон по тебе еще мурашки бегают.

— Ты очень испугался, Дэв? — спросил Эндрю.

— Да,— ответил ему Дэвид.

— А что бы ты стал делать? — почтительным тоном спросил его Том-младший.

— Швырнул бы ей рыбу,— сказал Дэвид, и Томас Хадсон увидел, как его плечи окатило короткой волной мурашек.— А потом ударил бы гарпуном в самую морду.

— О, господи! — сказал Эдди и отвернулся, не выпуская полотенца из рук.— Роджер, что вы будете пить?

— Яда у вас никакого нет? — спросил его Роджер.

— Перестань, Роджер,— сказал Томас Хадсон.— Мы все за это ответственны.

— Безответственны.

— Дело прошлое.

— Ладно.

— Я приготовлю коктейль на джине,— сказал Эдди.— Том как раз пил джин, когда это случилось.

— Мой коктейль так там и стоит.

— Теперь он уже невкусный,— сказал Эдди.— Я вам другой приготовлю.

— Ты молодец, Дэви,— с гордостью сказал брату Том-младший.— Вот подожди, я расскажу про тебя ребятам в школе.

— Они не поверят,— сказал Дэвид.— Если я тоже буду там учиться, не надо им говорить.

— Почему? — спросил Том-младший.

— Не знаю,— сказал Дэвид. И заплакал, как маленький.— Я не стерплю, если они не поверят.

Томас Хадсон поднял его на руки, и он прижался головой к его груди, а двое других отвернулись, и Роджер тоже отвел глаза в сторону, и тут Эдди вышел из камбуза с тремя стаканами в руках, опустив большой палец в один из них. Томас Хадсон понял, что он уже хватил спиртного внизу.

— Ты что это, Дэви? — спросил Эдди.

— Ничего.

— Вот и хорошо,— сказал Эдди.— Такие слова и слушать приятно. Слезай с рук, чертова перечница, кончай хныкать и дай отцу спокойно выпить.

Дэвид стал рядом с ним, вытянувшись во весь рост.

— А в отлив здесь можно ловить рыбу? — спросил он Эдди.

— Лови, никто тебя не тронет,— сказал Эдди.— Мурены попадаются. Но крупнее их ничего не будет. В малую воду крупная рыба сюда не проходит.

— Папа, можно мы в отлив опять сюда приедем?

— Что ж, если Эдди разрешит. Эдди теперь главный командир

— Да ну вас, Том,— сказал Эдди. Он был счастлив, и его губы, красные от меркурохрома, были счастливы, а счастливее всего были его

налитые кровью глаза.— Кто не сумел бы врезать этой паршивой аку из той штуки, тому эту штуку надо выкинуть подальше от беды.

— Здорово ты этой акуле врезал! — сказал Томас Хадсон.— Прос замечательно. Так врезал, я и выразить не могу.

— И не выражайте,— сказал Эдди.— Я эту мерзкую сволочь до ко ца дней своих буду помнить — как она извернулась брюхом вверх. Вид ли вы когда-нибудь такую мерзость?

Они сидели в ожидании ленча, и Томас Хадсон смотрел на море, Джозефа — как он подплывал в шлюпке к тому месту, где акула ушл под воду. Джозеф перегнулся через борт и смотрел в оптическую трубу

— Видно что-нибудь? — крикнул ему Томас Хадсон.

— Глубина слишком большая, мистер Том. Она под риф ушла. Л жит, наверно, на самом дне.

— Эх, достать бы ее челюсти! — сказал Том-младший.— Отбелит бы их и повесить. Да, папа?

— Меня бы, наверно, кошмары из-за них мучили,— сказал Эндрю.- Очень хорошо, что у нас нет этих челюстей.

— Вот был бы трофей! — сказал Том-младший.— Его бы в школ показать.

— Если бы мы достали эти челюсти, их получил бы Дэв,— сказа Эндрю.

— Нет. Их бы получил Эдди,— сказал Том-младший.— Но если б я попросил, думаю, он бы мне их отдал.

— Он отдал бы их Дэви,— сказал Эндрю.

— Пожалуй, не стоит тебе опять идти в воду, Дэв,— сказал Тома Хадсон.

— Да это же не скоро, еще сколько времени после ленча прой дет,— сказал Дэвид.— Ведь надо ждать отлива.

— Я говорю о подводной охоте.

— Эдди сказал, что можно.

— Да, знаю. Но я все еще не отошел от испуга.

— Но Эдди-то знает.

— А может, ты сделаешь мне такой подарок и не пойдешь?

— Если хочешь, папа, пожалуйста. Но я так люблю плавать по водой. Больше всего на свете люблю. И если Эдди говорит, что...

— Хорошо. И вообще подарки выпрашивать не полагается.

— Да нет, папа, я, может, не так сказал. Если ты против, я не пой ду. Но Эдди говорит...

— Ну, а мурены? Эдди говорил про мурен.

— Папа, мурены всегда бывают. Ты сам учил меня не бояться му рен, говорил, как их отгоняют, и откуда их ждать, и в каких ямах они живут.

— Да, правильно. Но я же позволил тебе плавать там, где была эт акула.

— Папа, ведь мы все там были. Не взваливай на себя какую-то осо бенную вину. Я просто слишком далеко заплыл, у меня сорвалась хоро шая сельдь с гарпуна и напустила в воду крови, а ее кровь почуяла акула.

— А как она примчалась — как гончая,— сказал Томас Хадсон. Он пытался освободиться от волнения.— Мне приходилось видеть, как они мчат на такой скорости. Одна жила недалеко от Сигнальной скалы и каждый раз приплывала на запах наживки. Мне стыдно, что я не попал в эту.

— Твои пули ложились почти в цель,— сказал Том-младший.

— Вот именно, почти, а убить ее я все-таки не убил.

— Папа, она не за мной примчалась,— сказал Дэвид.— Она за ры бой.

— Заодно и с тобой бы расправилась,— сказал Эдди. Он накрывал на стол.— Не обольщайся, миленький, и ты бы не уцелел. От тебя пахло рыбой, и рыбья кровь в воде. Она бы и на лошадь напала. На все бы напала, что ей ни подвернись. О, господи! Перестань болтать, хватит. Придется мне еще выпить.

— Эдди,— сказал Дэвид.— А в отлив правда не опасно?

— Конечно, нет. Я же тебе говорил.

— Ты это для того, чтобы доказать что-то? — спросил Дэвида Томас Хадсон. Он успокоился и перестал смотреть на море. Он знал: Дэвид поступает так, как ему нужно; зачем, почему — не важно; и он знал, что не должен тут быть эгоистом.

— Да папа, просто я больше всего на свете это люблю, и день сегодня такой подходящий, и как знать, а вдруг налетит...

— И Эдди говорит...— перебил его Томас Хадсон.

— И Эдди говорит...— во весь рот улыбнулся Дэвид.

— Эдди говорит, пропадите вы все пропадом. Садитесь, ешьте, пока я всю еду за борт не выбросил.— Он стоял, держа на подносе салатницу, блюдо с подрумяненной рыбой и картофельное пюре.— Где этот Джо?

— Он поехал искать акулу.

— Вот псих!

Когда Эдди спустился вниз, а Том-младший стал передавать по столу тарелки с едой, Эндрю шепнул отцу:

— Папа, Эдди пьяница?

Томас Хадсон подвинул к себе холодный салат из картофеля под маринадом, посыпанного черным перцем крупного помола. Он научил Эдди готовить его, как готовили в Париже «У Липпа», и это было одно из лучших блюд, которыми Эдди угощал на катере.

— А ты видел, как он подстрелил акулу?

— Конечно, видел.

— Пьяницы так не стреляют.

Он положил салата на тарелку Эндрю и потом взял себе.

— Я потому спрашиваю, что мне отсюда виден камбуз, и пока мы тут сидим, он уже раз восемь прикладывался к бутылке.

— Это его бутылка,— пояснил Томас Хадсон и положил Эндрю еще салату. Эндрю был сверхбыстрый едок. Он говорил, что научился этому в школе.— Энди, ешь помедленнее. Эдди всегда приносит на катер собственную бутылку. Хорошие повара почти все немножко выпивают. А некоторые и сильно пьют.

— Он восемь раз прикладывался, я видел. Стойте. Вот уже девятый.

— Иди ты к черту, Эндрю,— сказал Дэвид.

— Перестаньте,— сказал им обоим Томас Хадсон.

Вмешался Том-младший:

— Замечательный, прекрасный человек спасает жизнь твоему брату, но стоит ему сделать глоток или несколько глотков из бутылки, как ты обзываешь его пьяницей. Не место тебе среди людей, Энди.

— Я не обзывал его, а просто спросил папу, пьяница он или нет. Я не против пьяниц. Просто мне хочется знать, кто пьяница, а кто не пьяница.

— Как только у меня заведутся деньги, я куплю Эдди бутылку того, что он любит, и разопью ее с ним,— величественно объявил Том-младший.

— Это что такое? — Над трапом появилась голова Эдди с сигарой в уголке смазанного меркурохромом рта и в старой фетровой шляпе, сдвинутой на затылок, так что осталась белая полоска над загорелой частью лица.— Если я увижу, что вы не пиво пьете, а спиртное, смертным боем вас изобью. Всех троих. И хватит этих разговоров. Хотите еще картофельного пюре?

— Пожалуйста, Эдди,— сказал Том-младший, и Эдди спустился в камбуз.

— Вот уже десятый раз,— сказал Эндрю, глядя вниз.

— Замолчи, наездник,— сказал ему Том-младший.— Имей уважение к достойному человеку.

— Возьми еще рыбы, Дэвид,— сказал Томас Хадсон.

— А где тут моя большая сельдь?

— По-моему, она еще не поджарена.

— Тогда я возьму вот эту.

— До чего же они сладкие.

— Когда ловишь гарпуном, они еще вкуснее, если сразу есть, потому что из них вся кровь вышла.

— Папа, можно я позову Эдди выпить с нами? — спросил Том-младший.

— Конечно,— сказал Томас Хадсон.

— Он уже пил с нами. Вы разве не помните? — перебил их Эндрю.— Мы пришли, и он сразу с нами выпил. Помните?

— Папа, можно я позову его выпить с нами еще раз и поесть с нами тоже?

— Пожалуйста,— сказал Томас Хадсон.

Том-младший сбежал вниз, и Томас Хадсон услышал, как он сказал:

— Эдди, папа говорит, чтобы вы приготовили себе стаканчик, поднялись наверх и выпили и поели с нами.

— Да ну, Томми,— сказал Эдди.— Я среди дня никогда не ем. Позавтракаю утром, а потом вечером чего-нибудь пожую.

— Ну хоть выпейте с нами за компанию.

— Я уже парочку пропустил, Томми.

— Давайте со мной выпьем, а я буду пить пиво.

— Давай, Томми, давай,— сказал Эдди. Томас Хадсон услышал, как открылась и захлопнулась дверца холодильника.— За твое здоровье, Томми.

Томас Хадсон услышал, как они чокнулись двумя бутылками. Он взглянул на Роджера, но Роджер смотрел на океан.

— За ваше здоровье, Эдди,— услышал он Тома-младшего.— Выпить с вами — для меня большая честь.

— Томми! — сказал ему Эдди.— А для меня большая честь выпить с тобой. Самочувствие у меня замечательное, Томми. Ты видел, как я подстрелил эту акулищу?

— Конечно, видел, Эдди. А вы не хотите немножко закусить с нами?

— Нет, Томми. Правда не хочу.

— Можно мне остаться здесь, чтобы вам не пришлось пить в одиночку?

— Брось, Томми, брось. Ты что-то не то надумал. Пить мне совсем не надо. И ничего мне не надо, только малость покухарить и заработать себе на жизнь. Самочувствие у меня отличное, Томми. Ты видел, как я подстрелил ее? Правда видел?

— Эдди, лучше этого мне ничего не приходилось видеть. Я просто думал: может, вам хочется побыть с кем-нибудь, чтобы не чувствовать себя одиноким?

— В жизни своей не знал, что такое одиночество,— сказал ему Эдди.— Мне хорошо, и у меня есть здесь кое-что, от чего будет еще лучше.

— Эдди, а мне хочется побыть с вами.

— Нет, Томми. Вот возьми это блюдо с рыбой и иди наверх, где тебе место.

— А я вернусь и посижу с вами.

— Томми, я не болен. Будь я болен, мне было бы приятно, что ты

со мной. А самочувствие, черт подери, у меня сейчас такое, какого никогда не было.

— Эдди, а вам хватит этой бутылки?

— Конечно, хватит! А нет, так я займу у Роджера или у твоего старика.

— Ну что ж, понесу рыбу наверх,— сказал Том-младший.— Мне очень приятно, что у вас хорошее самочувствие, Эдди. Это просто замечательно.

Том-младший принес в кокпит блюдо с американской селедкой, с желтыми и белыми окунями и серебрянкой. Все рыбы были с золотистой корочкой и глубоко, до белого мяса надрезаны по бокам треугольниками, и Том-младший стал передавать блюдо всем за столом.

— Эдди просил поблагодарить тебя, но он уже выпил,— сказал Том-младший.— И среди дня он никогда не ест. Ну как рыба, вкусная?

— Великолепная,— сказал ему Томас Хадсон.

— Ешь, пожалуйста,— сказал он Роджеру.

— Хорошо.— сказал Роджер.— Буду есть.

— А вы еще ничего не ели, мистер Дэвис? — спросил Эндрю.

— Да, Энди. Но теперь поем.

VIII

Просыпаясь ночью, Томас Хадсон слышал ровное дыхание спящих сыновей и в лунном свете видел их всех троих и спящего Роджера тоже. Роджер теперь спал крепко, почти не ворочаясь во сне.

Томас Хадсон был счастлив, что они здесь, у него, и не хотел думать о том, что они снова уедут. Он и раньше, до их приезда, был по-своему счастлив, он давно уже научился жить и работать, не давая чувству одиночества достигнуть невыносимой остроты. Приезд мальчиков нарушал весь уклад жизни, созданный им для самозащиты, но к этим нарушениям он уже тоже привык.

По этому укладу, спокойному и необременительному, всему было свое время и место: усиленной работе, разным житейским делам, содержанию вещей в чистоте и порядке, еде и выпивке и приятному ожиданию того и другого, чтению новых книг и перечитыванию многих старых. По этому укладу прибытие ежедневной газеты было событием, но поскольку ее доставляли не слишком аккуратно, неприбытие тоже особенно не огорчало. Входили в этот уклад разные мелкие уловки, с помощью которых одинокие люди обороняются от одиночества и даже умудряются вовсе его не ощущать; Томас Хадсон сам их придумывал и вводил в обиход, прибегая к ним и сознательно и бессознательно. Но с приездом мальчиков необходимость в них отпадала, и это само по себе было облегчением.

Тем трудней будет, думал он, когда придется все это начинать сначала. Он очень хорошо знал, как это будет. Первые полдня покажется даже приятно, что в доме тихо и чисто, и ничьи разговоры не мешают читать или размышлять, и можно молча смотреть на предметы, никому ничего не объясняя, и работать в полную силу, без помех; но потом, он знал, подступит одиночество. Сыновья успели снова заполнить собой большое место у него внутри, и когда они оттуда уйдут, останется пустота, и некоторое время это будет очень трудно.

Его жизнь обрела прочные устои в работе, и в близости Гольфстрима, и в быте острова, и эти устои помогут ей выровняться. Все его привычки, повадки, ухищрения рассчитаны на то, чтобы справляться с одиночеством, хоть теперь он открыл одиночеству просторы, куда оно

сразу же устремится, как только уедут мальчики. Но с этим ничего не поделаешь. Все равно это будет, а раз так, что пользы страшиться этого раньше времени.

Пока что лето складывалось благоприятно, удачно и радостно. Многое, что могло кончиться плохо, кончилось хорошо. Это относилось не только к таким драматическим происшествиям, как драка Роджера на причале, которая могла кончиться очень плохо, или встреча Дэвида с акулой; даже всякие мелкие происшествия кончались хорошо. Говорят, счастье скучно, думал он, лежа с открытыми глазами, но это потому, что скучные люди нередко бывают очень счастливы, а люди интересные и умные умудряются отравлять существование и себе и всем вокруг. Томасу Хадсону счастье никогда не казалось скучным. Он верил, что счастье — самая замечательная вещь на свете, и для тех, кто умеет быть счастливым, оно может быть таким же глубоким, как печаль. Может быть, это и не так, но он так считал очень долгое время, а этим летом счастье уже длилось целый месяц, и хотя оно еще не оборвалось, он уже ночью тосковал по нему.

Он узнал почти все, что можно узнать, о жизни в одиночестве; и что значит жить с теми, кого любишь и кто любит тебя,— это он тоже знал. Он всегда любил своих детей, но раньше не сознавал, как сильно он их любит и как это плохо, что он живет с ними врозь. Ему бы хотелось, чтобы они всегда были с ним и чтобы мать Тома до сих пор оставалась его женой. Глупое желание, подумал он; с таким же успехом можно желать, чтобы тебе принадлежали все сокровища мира, и ты мог бы справедливо распоряжаться ими по своему разумению; или чтобы ты рисовал, как Леонардо, и был живописцем не хуже Питера Брейгеля; или пользовался бы непререкаемой властью над всяким злом и умел безошибочно распознавать его в самом начале и пресекать легко и просто чем-нибудь вроде нажатия кнопки; и ко всему тому был бы всегда здоров и жил вечно, не разрушаясь ни телом, ни душой. А хорошо бы все это было так, думал Томас Хадсон в эту ночь. Хорошо, но невозможно, как невозможно, чтобы дети были с тобой или чтобы те, кого ты любишь, были живы, если они умерли или ушли из твоей жизни. Но среди всего невозможного кое-что все-таки возможно — и прежде всего способность чувствовать выпавшее тебе счастье и радоваться ему, пока оно есть и пока все хорошо. Было много такого, что в свое время делало его счастливым. Но то, что за этот месяц дали ему эти четверо, во многом не уступало тому, что когда-то умел дать один человек, а печалиться ему пока было не о чем. Совсем не о чем было печалиться.

Даже то, что он не спит, не огорчало его, а он помнил ту полосу в жизни, когда он совсем не мог спать и целые ночи лежал и думал о том, как это вышло, что он утерял всех своих сыновей, каким дураком он был. Думал обо всем том, что он делал потому, что не мог иначе или ему казалось, что он не может иначе, и из одной гибельной ошибки впадал в другую, еще более гибельную. Но теперь это все уже прошлое, и он уже примирился с этим, и раскаяние уже не терзало его. Он был дураком, а дураков он не любил. Но это уже позади, а сейчас мальчики здесь, и они любят его, и он их любит. И пусть все будет так, как оно есть.

Они пробудут с ним весь намеченный срок, а потом уедут, и тогда снова наступит одиночество. Но это будет лишь этап на пути, который минует, и они приедут опять. Если Роджер захочет остаться работать здесь, он не будет в доме один и все будет гораздо легче. Но с Роджером никогда не знаешь, на что можно рассчитывать и чего ожидать. Думая о Роджере, он улыбнулся в ночной тишине. Он было пожалел его, но тут же подумал, что это нечестно по отношению к Роджеру, потому что Роджер не принял бы жалости, и он отогнал ее и под мерное дыхание спящих скоро уснул и сам.

Его разбудил лунный свет, добравшийся до его изголовья, и он стал думать о Роджере и о тех женщинах, с которыми у него возникали осложнения в жизни. Оба они, и он и Роджер, вели себя с женщинами глупо и неправильно. Думать о собственных глупостях ему не хотелось, и он решил думать о глупостях Роджера.

Жалеть его я не буду, сказал он себе, так что ничего нечестного тут нет. У меня самого достаточно было осложнений, а потому нет ничего нечестного в том, что я думаю об осложнениях, которые были у Роджера. Со мной все это по-другому, я только одну женщину любил по-настоящему, и я ее потерял. Я отлично знаю, почему так случилось. Но об этом я больше не хочу и не стану думать. Так что, пожалуй, не стоит мне думать и о Роджере. Но лунный свет не давал ему уснуть, он всегда плохо спал при луне, и он все-таки стал думать о Роджере и его осложнениях с женщинами, иногда серьезных, иногда смешных.

Он вспомнил последнюю парижскую любовь Роджера — они оба тогда жили в Париже,— как она была хороша и какой фальшивой показалась ему с первого раза, когда Роджер привел ее в мастерскую. Роджер не замечал в ней никакой фальши. Она была его очередной иллюзией, и он щедро тратил на нее талант верности, данный ему природой,— пока не отпали препятствия к их браку. А тогда за один месяц Роджеру открылось в ней то, что всегда было ясно всем, кто ее знал. Вероятно, первый день прозрения был для него нелегким днем, но в мастерскую к Томасу Хадсону он явился тогда, когда процесс уже шел полным ходом. Он долго смотрел новые работы, умно и метко покритиковал их. А потом объявил:

— Я сказал этой Айерс, что я на ней не женюсь.

— Рад слышать,— сказал Томас Хадсон.— Она была поражена?

— Не очень У нас уже были кое-какие разговоры. Она — подделка.

— Да ну,— сказал Томас Хадсон.— В каком смысле?

— Во всех. С какой стороны ни возьми.

— А я считал, что она тебе нравится.

— Нет. Я старался, чтобы она мне понравилась. Но ничего не получалось, разве что в самом начале. Я просто был в нее влюблен.

— А что это значит — влюблен?

— Ты бы должен знать.

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Я бы должен знать.

— Разве тебе она не нравилась?

— Нет. Я ее с трудом выносил.

— Почему же ты молчал?

— Она была твоей любовью. И ты меня не спрашивал.

— Я ей сказал. Но нужно, чтобы так на том и осталось.

— Уезжай куда-нибудь.

— Нет,— сказал Роджер.— Пусть она уезжает.

— Мне казалось, что так будет проще.

— Этот город столько же мой, сколько ее.

— Знаю,— сказал Томас Хадсон.

— Тебе ведь тоже случалось выходить из игры, верно? — спросил Роджер.

— Да. В этой игре выиграть нельзя. Но выйти из игры можно. Может, тебе стоит хотя бы переменить quartier [1]?

— Мне и здесь хорошо.

— Знакомая формула. Je me trouve très bien ici et je vous prie de me laisser tranquille [2].

---

[1] Квартал *(франц.)*.

[2] Мне здесь очень хорошо, и я вас прошу оставить меня в покое *(франц.)*.

— Начинается она со слов je refuse de recevoir ma femme [1],— сказал Роджер. И ее произносят, когда является huissier [2]. Но это ведь не развод. Это только разрыв.

— А не будет тебе тяжело встречаться с ней?

— Нет. Это меня быстрей излечит. Особенно если приведется слышать ее разговоры.

— А с ней что будет?

— Пусть сама соображает. Хитрости у нее хватит. Хватало же все эти четыре года.

— Пять.— сказал Томас Хадсон.

— Ну, в первый год она едва ли хитрила.

— Тебе лучше уехать,— сказал Томас Хадсон.— Если ты считаешь, что она не хитрила в первый год, тебе лучше уехать, и подальше.

— Ты не знаешь, какие она умеет писать письма. Если я уеду, будет еще хуже. Нет. Останусь здесь и загуляю вовсю. Это мне поможет излечиться окончательно.

После разрыва с той женщиной в Париже Роджер и в самом деле загулял вовсю. Он сам шутил и смеялся по этому поводу; но внутренне он был зол на себя, что свалял такого дурака, и всячески старался заглушить свой талант быть верным в любви и в дружбе — лучшее, что в нем было наряду с талантом художника и писателя и со многими славными человеческими и животными чертами. Он всем был неприятен в эту пору загула — и себе и другим, и он это знал, и злился из-за этого, и с еще большим азартом крушил столпы храма. А храм был прекрасный и прочно выстроенный, и такой храм внутри себя нелегко сокрушить. Но он делал для этого все что мог.

У него были три любовницы одна за другой, женщины, с которыми Томас Хадсон мог в лучшем случае оставаться в рамках общепринятой вежливости; причем двух последних можно было объяснить разве что их сходством с первой. Эту первую он завел сразу же после своего неудачного романа; она была вроде бы такого пошиба, до какого он прежде не опускался, однако впоследствии сумела сделать карьеру, и не только в постели — отхватила кусок одного из крупнейших состояний в Америке, а другое, не меньшее, закрепила за собой посредством законного брака. Ее звали Таниc; Томас Хадсон помнил, как Роджерс ежился при звуке этого имени и никогда не произносил его сам. Он ее называл суперстервой. Брюнетка с чудесной кожей, она выглядела юным, выхоленным, изощренно-порочным отпрыском фамилии Ченчи. Это было существо с нравственностью пылесоса и душой тотализатора, с хорошей фигурой и с лицом, которому порочное выражение придавало особую прелесть. С Роджером она пробыла ровно столько, сколько ей понадобилось, чтобы приготовиться к начальному скачку вверх.

Она была первой женщиной, бросившей Роджера, а не брошенной им, и это произвело на него такое сильное впечатление, что он нашел себе еще двух, похожих на нее, как сестры. Обеих, впрочем, он бросил сам, бросил почти буквально и, как казалось Томасу Хадсону, испытал от этого облегчение, хоть и не такое уж полное.

Вероятно, есть более тонкие и деликатные способы бросить женщину, чем без всяких ссор и обид попросту спросить разрешения отлучиться в мужскую комнату ресторана «21» и не вернуться назад. Но Роджер уверял, что он во всяком случае аккуратно расплачивался по счету, кроме того, ему приятно запомнить спутницу такой, какой он видел ее последний раз — одну за столиком в углу ресторанного зала, в привычной и милой ей обстановке.

---

[1] Я отказываюсь видеть мою жену *(франц.)*.

[2] Судебный исполнитель *(франц.)*.

Последнюю он хотел было бросить в «Аисте», ее излюбленном рестоане, но побоялся, что это не понравится мистеру Биллингсли, а он как з собирался занять у мистера Биллингсли денег.

— Где же ты ее в конце концов бросил? — спросил Томас Хадсон.

— В «Эль Морокко». Пусть она остается у меня в памяти на фоне лосатых зебр. «Эль Морокко» она тоже любила. Но заветным ее мечком, пожалуй, был «Кубик».

На смену им пришла одна из самых обманчивых на вид женщин, ких Томас Хадсон встречал на своем веку. Она была полной противоложностью тому типу Ченчи или Борджиа с Парк-авеню, к которому носились предыдущие три. Крепкая, ладная, с рыжеватыми волосами длинными стройными ногами, с живым умным лицом. Не красавица, куда привлекательней многих красоток. Особенно хороши были у нее аза. Она с первого раза покоряла своим умом, обаянием и любезностью и при этом была законченной алкоголичкой. Она не напивалась до зобразия, и пьянство еще не сказалось на ее внешности. Но она уже могла жить без алкоголя. Обычно пьяницу можно узнать по глазам; Роджера, например, по глазам сразу было видно, если он запил. Но у ой Кэтлин были удивительно красивые карие глаза, под цвет волос и лой россыпи веснушек на носу и щеках — знак здоровья и добродушого нрава, и по этим глазам ничего нельзя было распознать. Она выглядела как человек, ведущий здоровую жизнь на лоне природы, и как человек, который очень счастлив. А на самом деле она вела жизнь пьяницы. на мчалась по неизвестной дороге неизвестно куда, и на какое-то время рихватила с собой и Роджера.

Как-то утром он пришел в мастерскую, снятую Томасом Хадсоном о приезде в Нью-Йорк, и Томас Хадсон увидел, что вся тыльная сторона его левой ладони покрыта ожогами от сигареты. Вид был такой, как бывает, когда гасят окурок за окурком о крышку стола, только стол заменяла тыльная сторона ладони.

— Это она так забавлялась вчера,— сказал он.— У тебя есть йод? Мне не хотелось идти с этим в аптеку.

— Кто — она?

— Кэтлин. Счастливое дитя природы.

— А зачем ты позволил?

— Ее это развлекало, а наше дело заботиться об их развлечениях.

— У тебя вся кожа на руке сожжена.

— Ничего, пройдет. Но теперь я на время уеду из Нью-Йорка.

— От себя все равно нельзя убежать.

— Да. Но зато от других можно.

— Куда же ты думаешь?

— Куда-нибудь на Запад.

— География — слабое средство против того, что тебя гложет.

— Согласен. Но спокойно пожить и как следует поработать — это всегда на пользу. Пусть я не излечусь, если перестану пить. Но если не перестану, мне наверняка будет еще хуже.

— Ну тогда уезжай ко всем чертям. Может, хочешь на мое ранчо?

— А оно все еще твое?

— Частично.

— А удобно это, чтобы я туда поехал?

— Вполне,— ответил ему Томас Хадсон.— Только жить там до весны трудновато, да и весной не очень-то легко.

— Чем трудней, тем лучше,— сказал Роджер.— Я хочу все начать сначала.

— Сколько раз ты уже начинал сначала?

— Много,— сказал Роджер.— И нечего тыкать мне это в нос.

И вот теперь он опять собирается начинать сначала, и любопытно,

как оно у него получится на этот раз. Неужели он думает, что, впус
расходуя свой талант и работая на заказ, по готовой формуле добы
ния верных денег, можно научиться хорошо и правдиво писать? Все,
ни создает художник или писатель,— часть его ученичества и подгото
к тому главному, что еще предстоит сделать. Роджер извел, истощил, р
менял на мелочи свой талант. Но, может быть, в нем еще хватит жив
ных сил и свободы ума, чтобы начать все снова? Всякий честный пис
тель, наделенный талантом, может написать хотя бы один хороший р
ман, думал Томас Хадсон. Но в те годы, что должны были быть года
ученичества, Роджер нещадно эксплуатировал свой талант, и кто зна
не растратил ли он его до конца. Не говоря уже о métier [1], думал он.
наивно ли думать, что можно не ценить и не совершенствовать масте
ство, пренебрегать им, пусть даже это пренебрежение — только поза,
в то же время рассчитывать, что когда придет время, твой мозг и тв
руки будут по-прежнему мозгом и руками мастера. Мастерству замен
телей нет, думал Томас Хадсон. И таланту нет заменителей, и ни то
другое не хранят в священном сосуде. Мастерство — оно в тебе. В тво
сердце, в твоей голове, в каждой частице тебя. И талант тоже в тебе, д
мал он. Это не набор инструментов, которыми ты наловчился орудова

Художникам лучше, думал он, потому что в их работе участву
больше вещей. И работаем мы руками, и наше métier осязаемо и ко
кретно. А вот Роджеру сейчас нужно снова браться за то, что он прит
пил, испортил, опошлил, а существует все это только у него в голове. Н
основа осталась, и эта основа — нечто тонкое, разумное и прекрасно
Прекрасное — вот слово, которое я бы употреблял с большой осторо
ностью, будь я писателем, подумал он. Но у Роджера есть то, что ест
его сущность, и если бы он мог так писать, как он тогда дрался на пр
чале, получалось бы жестоко, но очень здорово. И если бы он размышля
так разумно, как тогда, после драки, тоже было бы здорово.

Лунный свет соскользнул с его изголовья, и постепенно он перест
думать о Роджере. Думать все равно не поможет. Либо он сумеет напи
сать этот роман, либо нет. А как бы хорошо, если б он сумел. Я рад б
помочь ему. Может быть, мне это удастся, подумал он и с тем засну

(Продолжение следует)

---

[1] Мастерство *(франц.)*.

АМЕРИКАНСКОЙ ЭЗИИ

ОУРЕНС ФЕРЛИНГЕТТИ

На фотографиях Ферлингетти обычно изображают перед витриной принадлежащего ему книжного магазина, который называется «Огни большого города». Магазин стоит на Коламбус-авеню в Сан-Франциско; здесь можно приобрести альбомы Гойи, Эль Греко, Кандинского, Брака, а также книжки стихов не пользующихся особой популярностью или же вовсе безвестных поэтов. Книжки издает сам Ферлингетти; дохода они не приносят никакого, но среди тех, кто начинал с этих тощих брошюрок в черно-желтых переплетах, были и поэты, добившиеся потом заслуженного признания.

Передо мной одна из таких книжек, озаглавленная «Картины ушедшего мира» и напечатанная пятнадцать лет назад. Это первый сборник Лоуренса Ферлингетти. Как водится, книга поэта, чье имя не сверкало в обоймах, осталась совершенно незамеченной. Ее открыли через два года, когда Ферлингетти выпустил в своем крохотном издательстве нашумевшую поэму Аллена Гинзберга «Вопль», когда взволнованные и сбивчивые монологи Джека Керуака нашли в Америке широкий отклик и битничество — движение, в котором сквозь сумятицу души прорывались настроения радикального недовольства жизнью,— охватило часть американской молодежи. Вместе с Керуаком и Гинзбергом Ферлингетти был причислен к глашатаям «разбитого поколения». Его следующая книга, «Кони-Айленд души» (1958), в которой настроения «разбитых» всего ощутимее, даже стала чем-то вроде бестселлера — явление для американской поэзии исключительное.

Сегодня, когда о битниках уже мало кто помнит, антологии, где представлены образцы их литературного творчества, большей частью сохраняют интерес как документы времени — остались жить в литературе лишь некоторые книги Керуака, несколько сборников стихов Гинзберга и Грегори Корсо. Но лучшим стихам Ферлингетти не грозит опасность устареть. Среди других поэтов «разбитого поколения» Ферлингетти всегда выделялся серьезным отношением к поэзии, как искусству, которое не терпит шумной сенсационности, не подменяет экзальтацией настоящее переживание. Вот почему его книги стали явлением настоящей поэзии, пережив не один десяток громких однодневок.

Это не значит, конечно, что битничество было случайным эпизодом в его писательской судьбе. Духовный климат 50-х годов, вызвавший к жизни движение «разбитых», отразился и на Ферлингетти. Он тоже отдал дань стремлению эпатировать общественные вкусы, ошеломлять читателя неожиданностью тем и образов и предельной, нередко излишней откровенностью самовыражения.

Но если для Гинзберга поэзия была «воплем» искалеченной души, то Ферлингетти сравнивал стихотворение с «зеркалом, путешествующим вниз по причудливой улице». И вот эта улица со всеми ее контрастами, «идущая вдоль всего мира», улица, на которой «карнавальные толпы, полуночные цирки, публичные дома и парламенты, заброшенные фонтаны, пляшущие бледные идолы», владеет воображением Ферлингетти, начиная с первой его книги.

Гинзберг и другие битники своей главной задачей считали познание сокровенных тайн души современного человека. Ферлингетти тоже стремится проникнуть в сложную согласованность — или дисгармоничность — составляющих человека психических, интеллектуальных, физиологических характеристик; и все-таки прежде всего его интересует не внутренний, а внешний мир. Его внимание приковано к обыденной американской жизни с ее трагизмом и жестокостью. Итальянец по рождению, выросший во Франции, Ферлингетти особенно остро воспринимает как раз те черты современного

западного общества, которые наиболее наглядно выступают в Америке: механизац
не только быта, но и чувств и сознания; бесформенность, хаос повседневного суще
вования, бездуховность, засилье стандарта, ничтожность достигнутого при огроми
созидательных возможностях цивилизации XX века.

Его мир напоминает печальный луна-парк, нью-йоркский Кони-Айленд, куда о
развлечься, а уходят с ощущением тоски. Все необычно, все причудливо; но это с
щение пропорций веселит только на самый поверхностный взгляд — в уродствах,
печатленных кривыми зеркалами комнаты смеха, отражен действительный облик
временных людей.

Читая Ферлингетти, нередко ощущаешь в формальных поисках поэта прям
перекличку с живописью и поэзией сюрреалистов. Совмещение на плоскости поля
противоположных вещных миров, контрастно выявляющее новые качества в кажд
из них, переплетение образов, навеянных различными, не связанными друг с друг
прямой логической последовательностью микросюжетами,— эти свойственные стих
Ферлингетти черты появились в результате изучения полотен Шагала и ранних к
Тцара.

Но не случайно Ферлингетти назвал свое издательство в честь самого просл
ленного фильма Чаплина. Ферлингетти — не только экспериментатор, тяготеющий т
нарочито причудливой образности, то к замене ритма «колонной слов», которая р
бивает стихотворение на почти полностью изолированные один от другого сегмен
Поэт на свой лад интерпретирует и чаплиновскую тему «маленького человека», о
знающего свою драму и скрашивающего ее грустной иронией. Глазами этого пер
нажа смотрит он на Америку и в «Картинах ушедшего мира», и в книге «Иду
Сан-Франциско» (1958).

Последний сборник Ферлингетти «Тайный смысл вещей» (1968) обратил на с
внимание стремлением поэта к открыто «завербованному» искусству. В «Раге убийств
впервые прочитанной на митинге в Сан-Франциско в день похорон Роберта Кенне
и других стихотворениях этой книги Ферлингетти прямо коснулся болезненных яв
ний, которыми были отмечены в США 60-е годы. В его стихах звучит протест про
наступления политической реакции, против атомной угрозы и войны во Вьетнаме. Э
новые для Ферлингетти тенденции, и они не могут не радовать.

Лоуренсу Ферлингетти сейчас пятьдесят один год. В таком возрасте поэты н
редко начинают пробовать свои силы в иных жанрах, отходят от активного поэтич
ского творчества. На протяжении 60-х годов Ферлингетти написал несколько пь
обращался к прозе. Эти опыты нельзя признать особенно удачными. Ферлингетти-
поэт по самому своему существу, поэт неровный, но несомненно талантливый и сво
образный.

А. ЗВЕР

Длинная улица

Длинная улица
это улица мира
идущая вдоль всего мира
запруженная всеми людьми мира
не говоря уже о голосах
всех людей
когда-либо бывших
Влюбленные и плакальщики
девственницы и сони
торговцы спагетти и «сандвичмены»
молочницы и ораторы
бесхребетные банкиры
хрупкие домохозяйки
в нейлоновых футлярах снобизма
разрекламированные деляги
резвые стайки школьниц
банды студентов
все спорят и спорят
и бродят вокруг

или из окон высовываются
посмотреть что творится
в мире
где все случается
раньше или позже
если случается вообще
И длинная улица
самая длинная улица
всего мира
длинная но не настолько
как это кажется
проходит
через все города через все пейзажи
вниз каждой аллеей
вверх каждым бульваром
по всем перекресткам
на красный свет на зеленый свет
солнечными городами
дождливыми континентами
голодными Гонконгами
перепаханными Таскалусами
Оклендами души
Дублинами воображения
И длинная улица
катится дальше
как громадный пыхтящий поезд
кряхтя
вокруг всего мира
с горластыми пассажирами
и младенцами и корзинами для пикника
и кошками и собаками
и все об одном судачат
кто это там впереди
в паровозной будке
ведет этот поезд
а ежели никого
и поезд кружит вокруг
кружащегося мира
все гадают
о том что впереди
а ежели ничего
и некто высовывается
и всматривается вперед
и старается улучить момент
и увидеть машиниста
в его одноглазой кабине
старается уловить
не мелькнет ли его лицо
перехватить его взгляд
когда выгнется поезд на повороте
но это никак не удается
хотя время от времени
кажется
что удалось
И улица мчит пошатываясь
катит поезд покачиваясь
окна его догоняют

окна свои и окна
всех зданий
на всех улицах мира
что несутся
сквозь день этого мира
сквозь ночь этого мира
светофоры на переездах
всплески летящего света
карнавальные толпы
полуночные цирки
публичные дома и парламенты
заброшенные фонтаны
двери погребов волшебные двери
мимо фигур в квадратах света
пляшущих бледных идолов
покачивается мир
И вот мы попадаем
в уединенную часть улицы
эта часть улицы
проходит через
уединенную часть мира
Но это не то место
где вы можете что-то делать
Это как раз та часть мира
где ничего не бывает
где никто ничего
не делает
где кругом никого
нигде никого
кроме вас
даже зеркала нет
и нельзя удвоиться
ни души
кроме вашей
а может
там даже этого
нет
может
больше она не ваша
может
поскольку вы что называется
мертвы
прибыли вы ваша станция
Выходите

Рага[1] *убийства*

Поставь на стерео
запись раги
и Смертное Телевидение без звука
включи.
За окном на дереве синеют сливы.

[1] Ритуальное индийское песнопение.

«Сила что зеленой волной
гонит цветок»
гонит и Смертное Телевидение.
«Горе тому назад»
Тело опускают беззвучно
в большой самолет в Далласе
в большой самолет в Лос-Анджелесе
с надписью «Соединенные Штаты Америки»
и беззвучно
«Соединенные Штаты Америки»
взлетают
и это Тело уносят.
Звук телевизора выключи
и слушай беззвучно
ослепшие рты моторов
и ситар[1] звучащий со стерео
разгневанной рагой
всей этой черной смерти
всей этой грязной кармы[2].
Ла иллахи иль алла
Нет бога кроме Бога
Сила что красной волной
гонит пулю
гонит иголку по борозде дхармы[3]
и человек — иголка
гонит самолет
«Соединенные Штаты Америки»
в небе американском полном дерьма и смерти
и никогда никогда не кончится небо
а он улетает беззвучно
от этих сучьих городов
чьи имена нам лучше бы не помнить.
В самолете
жена в самолете
беззвучно припала
к гробу.
Вой моторов как неистовое пенье ситара.
Ла иллахи иль алла
Нет бога кроме Бога?
Нет бога кроме Смерти.
С дерева сыплются сливы.
Сила что гонит пулю
в стволе
гонит каждого
а «Соединенные Штаты Америки»
все в незримом полете
сквозь торопливые яростные годы
под мертвым весом Тела
все везут и везут его из Далласа
все везут и везут его из Лос-Анджелеса.
И крыльев не складывая
самолет приземляется
в траур собственной тени

---

[1] Старинный струнный инструмент.
[2] Карма *(древнеиндийск.)* — представление о неизбежной расплате за совершенное, обусловливающей будущие перевоплощения человека.
[3] Дхарма *(древнеиндийск.)* — закон, здесь — в смысле предначертанного.

уходящей в себя
в долгое царство смерти.
Ла иллахи иль алла
Нет бога кроме Смерти
Сила что зеленой волной
выгнала его жизнь
гонит каждого.
Ла илл-лахи иль алла
И Тело везут
везут Тело
по Пятой авеню
мимо миллионов людей.
«Мы здесь очевидно надолго»
болтает
остряк со Смертного Телевидения.
Кортеж проходит беззвучно.
«Прощай прощай!» — выкрикивают из толпы.
Уличное движение течет по сторонам и дальше.
Сила что гонит машины
гонит каждую карму.
Ла иллахи иль алла
Нет бога кроме Смерти.
Сила что гонит жизнь нашу к смерти
так же беззвучно
гонит и звуки ситара.
Ла иллахи иль алла
И Тело поднимают
поднимают Тело
Соединенных Штатов Америки
несут его в кафедральный собор
с пением «Аллилуйя — он будет жить
во веки веков».
И после этого Тело движется
вспять по Пятой авеню.
Пятьдесят семь черных седанов следом за ним.
За цепью полицейских
люди с розами
в недорогих платьях.
А ситар поет о непротивлении и поет
ситар нас заставляет звучать
всей глубиной экстаза
противостоящего смерти и старью.
Ла иллахи иль алла
Ла иллахи иль алла
Сила что бьет по струнам
бьет и по нам.
И похоронный
серебряный поезд
трогается беззвучно
на мертвой скорости
по горячей земле
и вооруженный вертолет над ним.
Дорогу расчищают от убийц.
Голые лица по обе стороны рельсов.
В Нью-Брунсвике школьный оркестр играет
боевой гимн Республики.
Опять застрелили

Опять его застрелили
и опять его застрелят
и опять повезут поездом
и опять опустят
в Вашингтоне в могилу.
Л а и л л а х и и л ь а л л а
День и ночь путешествует гроб
по черной земле
слишком черной сейчас чтоб различить черные лица.
Л а и л л а х и и л ь а л л а
Сыплются сливы и самолеты.
Л а и л л а х и и л ь а л л а
А ситар звучит единственным ответом
ситар поет свой единственный ответ
ситар звучит единственным звуком
который пока еще может любое насилие заглушить.
Л а и л л а х и и л ь а л л а
Нет бога кроме Жизни.
Так говорит ситар так ситар звучит.
Нам ситар говорит: любить любить и ненавидеть
ненавидеть.
Ситар свою душу вдыхает в нас
звучит и звучит своим волшебным ом-ом[1]
Чистый ветер поднимается на каждом шагу.
Л а и л л а х и и л ь а л л а
Люди с розами
за цепью полицейских!

Перевод ПЕТРА ВЕГИНА

■ ■ ■

В парке Золотых Ворот в этот день
муж и жена шли
огромной поляной
что была всемирной поляной
На нем зеленые подтяжки
и разбитая флейта
в руке
у нее была кисть винограда
и ее она
белкам протягивала
словно бы их
дразня

И шла эта пара все дальше
по той огромной поляне
что была всемирной поляной
пока
не нашла местечка где деревья дремали
и ждали как будто именно их
века
они на траву сели
друг на друга не глядя

[1] Священное слово, восклицание, почитающееся символом высшего начала в индуизме и буддизме; употребляется в начале и конце церемоний и молитв.

и апельсины ели
друг на друга не глядя
и кожуру бросали
в корзину которую казалось
они для того и принес
друг на друга не глядя

А потом
он снял рубаху и майку
но шляпу на лоб
надвинул
и не сказав ни слова
тут же уснул
а она сидела рядом
и смотрела как птицы мелькали
и кричали в недвижном
воздухе
будто смысл бытия вопрошая
или пытаясь припомнить забыт

И наконец
она вытянулась в траве тоже
и так лежала ни на что
не гля
и дрожали пальцы на флейте
на которой не играли ни разу
и наконец скользнул ее взгляд
по нему
не выражая ничего особенного
разве лишь только страшную
раздирающую пустоту

■ ■ ■

Павлины ходили
под ночными деревьями
в свете луны
нездешней
когда я вышел
в поисках любви
ночью нежной
в кронах стон голубиный
только ударил дважды
сказав о рожденье
и сказав о смерти
любви
ночью нежной

■ ■ ■

Гремящей мрачной зимой в Париже
когда солнце в Провансе где-то
я случайно прочел стихи
Рене Шара

и Воклюз увидел снова
кузнечиковым летом
там цвели ручьи лепестками
и река неслась вниз
всеми выжженными местами
миндального этого мира
и цвели поля молчаньем
звеневшим песней
сверчков
Но в звучном виденье поэта я не встретил
ни Лорелеи над Роной
ни ангелов высаживающихся в Марселе
только пары нагими сходили в печальные воды
пронзительным сладострастием весны
уравнением лиризма
которое я решаю и сегодня

Перевод В. МИНУШИНА

Литературное наследие

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

■

Перевод с итальянского ЕВГ. СОЛОНОВИЧА

Всякий новый перевод — неизбежное соревнование с предшественниками. Ино эти соревнования бывают легкими (предшественников мало, и они случайны), ино жестокими. Соревнование, в которое вступил Евг. Солонович,— соревнование жесток Стоит лишь вспомнить состав участников. Тон задали такие крупные поэты и знат итальянской музы, как К. Батюшков и Ив. Козлов. За ними последовали А. Майк В. Буренин, Д. Мин, И. Бунин, Вяч. Иванов, В. Брюсов, О. Мандельштам, Ю. Верх ский, А. Эфрос и — совсем недавно — В. Левик. Все они пришли к Петрарке не «вдру За их плечами стоял огромный поэтический и переводческий опыт. Так постепенно в рабатывалась не только форма передачи итальянского сонета, канцоны и баллаты, но конкретно, форма «русского Петрарки», включая поэтический синтаксис и поэтичес словарь.

И тем не менее, оглядываясь назад, не трудно разглядеть Петрарку романтичес го (каким его воссоздал для нас Батюшков и следовавшие за ним другие русские п ты) и Петрарку «символистского» (созданного, главным образом, усилиями Вячесл Иванова). От «символистского» Петрарки не могли отдалиться ни Брюсов, ни Верх ский.

Эти «два Петрарки» несут на себе печать двух разных стадий русского поэти ского сознания и русской поэтической культуры. «Небесные селенья» А. Майкова «угол», в который «аура веет», Ю. Верховского — не спутаешь. Не спутаешь и инто ционные ямбические ходы наших переводчиков XIX века и эпохи символизма. Посл нее издание Петрарки на русском языке (Москва, Гослитиздат, 1963, серия «Сокрови лирической поэзии») дает в этом смысле очень наглядное представление. Видишь ред собой все время «двух Петрарок»: Батюшкова — Козлова и Вячеслава Иванова. беда здесь заключается в том, что по этим переводам мы получаем больше основан судить об их авторах, чем о Петрарке. Возможно ли получить представление о Петр ке более достоверное?

Опыт показывает, что возможно. Сошлюсь на переводы Ив. Бунина и О. Манде штама. К сожалению, обращение этих мастеров к Петрарке было, в сущности, служ ным, и поучительный их опыт не стал традицией. А ведь они доказали, что для дос жения цели вовсе не нужно отказываться от своей поэтической индивидуальности, своего толкования переводимого автора. Но необходимо отказываться от включен переводимого автора в чуждую ему поэтическую школу или группу.

Заслуга Евг. Солоновича как переводчика Петрарки заключается, на мой взгл прежде всего в том, что он снял с него налет привычного романтического и символи ского истолкования. Он избавил его от тех штампов, которые были свойственны не л но Батюшкову, Козлову или Вяч. Иванову, но именно школам, к которым они прин лежали.

Словарь и поэтический синтаксис Евг. Солоновича современен. Иначе и быть может. Странно было бы стилизовать Петрарку под какой-то период в русской поэз Вместе с тем переводчик сумел сохранить патину времени. Он добился этого поси ным изгнанием из живой современной поэтической речи всего того, что реально суще

ет, но еще не отстоялось. Мы можем легко понаблюдать это и в системе его риф-мики, и в словаре, и в фразеологии. Такая установка, последовательно осуществлен-ая, позволила переводчику «приблизить» Петрарку к нам, не зачисляя его в соратники временных наших поэтов.

Евг. Солонович постарался передать замечательную простоту (порой гениальную ивность), конкретность и предметность фактуры петрарковского стиха (речь тут идет об аллегоричности общего смысла или отдельных деталей, связанной с философским атическим мышлением Петрарки).

Думаю, что Евг. Солоновичу в немалой степени помогла его долголетняя работа д переводами из Данте, с одной стороны, и из современной итальянской поэ-и — с другой, отмеченными в Италии литературными премиями Данте Алигьери и ильваторе Квазимодо. Это обострило чувство эпохи и ощущение неувядаемой свеже-и петрарковского стиха.

XI

Ни вечерами, ни в полдневный час
с тех пор, как вы однажды
проникли в тайну негасимой жажды,
я без фаты уже не видел вас.

Покуда, госпожа, вы знать не знали,
что сердце тайной к вам исходит страстью,
лицо светилось ваше добротой,
но выдал бог любви меня, к несчастью,
и тотчас вы, предав меня опале,
надменно взгляд сокрыли под фатой.
И то, из-за чего я сам не свой,
я потерял при этом:
нет больше солнца ни зимой, ни летом,
и я умру, не видя ваших глаз.

XII

Коль скоро боль, которой сердце сжато,
в гроб не сведет меня в мои лета
и вдруг найду я — вы уже не та:
глаза не так лучисты, как когда-то,

и серебром волос сменилось злато,
и в прошлом облачений пестрота,
и с возрастом померкла красота,
что в сокровенных муках виновата,—

тогда, быть может, страх былой гоня,
открою вам, как я не знал свободы,
терзаясь год из года, день из дня,

и если чувств не умерщвляют годы,
пусть ваши вздохи поздние меня
вознаградят за все мои невзгоды.

XX

О вашей красоте в стихах молчу
и уповать не смею на прощенье,
и, силясь пробудить воображенье,
упущенное наверстать хочу.

Но это мне, увы, не по плечу,
тут не поможет все мое уменье,
и знает, что бессильно, вдохновенье,
и я его напрасно горячу.

Не раз я разжимал уста несмело,
но звуки из груди не вырывались.
Кто я такой, чтоб взмыть в такую высь?

Не раз бумага предо мной белела,
но и перо, и разум мой сдавались
всегда пред нею. И опять сдались.

XXII

Когда приходит новый день на землю,
иную тварь отпугивает солнце,
но большинство не спит в дневную пору;
когда же в небе проступают звезды,
кто в дом спешит, а кто — укрыться в чаще,
чтоб отдохнуть хотя бы до рассвета.

И я при первых признаках рассвета
уже отбрасываю тень на землю
и сонных тварей поднимаю в чаще.
Весь день в тени вздыхаю и на солнце,
и плачу, увидав на небе звезды,
и жду с надеждой утреннюю пору.

Когда сменяет ночь дневную пору
и где-то наступает час рассвета,
я на жестокие взираю звезды,
что сделали моим приютом землю,
и день кляну, когда увидел солнце,
и выгляжу, как будто вскормлен в чаще.

Едва ли зверь найдется в дикой чаще,
которого сравнить бы с тою впору,
что красотой своей затмила солнце.
Вздыхая днем и плача до рассвета,
я знаю, что, глядящие на землю,
любовь во мне зажгли все те же звезды.

Я к вам вернусь, сияющие звезды,
но прежде, чем паду в любовной чаще,
покинув тело, что упрячут в землю,
хотел бы я пожить в такую пору,
когда бы от заката до рассвета
в груди моей не остывало солнце.

Я вместе с милой проводил бы солнце,
и нас бы видели одни лишь звезды,
и наша ночь не знала бы рассвета,
не думала бы милая о чаще,
о том, чтоб лавром стать, как было в пору,
когда спустился Аполлон на землю.

Но лягу в землю, где темно, как в чаще,
и днем, не в пору, загорятся звезды
скорей, чем моего рассвета солнце.

LV

Я думал, что погасли в сердце страсти,
что выстудили годы их приют,
однако вновь желанья душу жгут.

Остались искры глубоко в груди,
не все потухли, затаясь до срока,
и худшее, пожалуй,— впереди.
В слезах по-прежнему немного прока,
страданья не боятся их потока,
и незаметно тлеет в сердце трут,—
займется пламя в несколько минут.

На этот раз, похоже, волны слез
с огнем не совладают нестерпимым.
Вновь в жертву бог любви меня принес
огню с водой — врагам непримиримым.
Едва надеждам неосуществимым
предамся, веря, что спасусь от пут,
как вновь черты прекрасные зовут.

LVII

Я счастья жду, но нет его и нет,
и в том не я, а счастье виновато,
которое, чтоб скрыться без возврата,
мелькнет тигрицей — и простынет след.

Увы, скорее снег изменит цвет,
моря иссохнут и страной заката
верховья станут Тигра и Евфрата,
что близнецами родились на свет,

чем кончатся навек мои терзанья,
и за долготерпение в награду,
пусть не сейчас, когда-нибудь потом

познаю счастье — высшую усладу,
отравленную вкусом ожиданья.
Ну что ж, скажу спасибо и на том.

LXI

Благословляю день, минуту, доли
минуты, время года, месяц, год
и место и предел чудесный тот,
где светлый взгляд обрек меня неволе.

Благословляю сладость первой боли,
и стрел целенаправленный полет,
и лук, что эти стрелы в сердце шлет,
искусного стрелка послушный воле.

Благословляю имя из имен
и голос мой, дрожавший от волненья,
когда к любимой обращался он.

Благословляю все мои творенья
во славу ей, и каждый вздох и стон,
и помыслы мои — ее владенья.

CXII

Сеннуччо, хочешь, я тебе открою,
как я живу? Узнай же, старина:
страдаю, как в былые времена,
и остаюсь во всем самим собою.

И та, кому я предан всей душою,
как прежде — то надменна, то скромна,
то снисходительна, то холодна,
то благодушна, то гроза грозою.

Здесь пела, здесь сидела, здесь прошла,
здесь обернулась, здесь, как стрелы, очи
вонзила в сердце, взяв навеки в плен,

здесь грустной, здесь веселою была...
О милой помышляю дни и ночи.
Как видишь, у меня без перемен.

CXIV

Покинув нечестивый Вавилон,
рассадник зла, приют недоброй славы,
где процветают мерзостные нравы,
где я до срока был бы обречен,

я здесь живу, природой окружен,
и на Амура не найдя управы,
слагаю песни, рву цветы и травы,
ищу поддержки у былых времен.

Ни до фортуны, ни до черни дела,
ни до себя мне в этом нет краю,—
любимую бы мне сюда и друга!

Вот только бы любимая сумела
безжалостность перебороть свою,
а друг — освободиться от недуга.

CXVIII

Моей любимой преданность храня,
к черте небытия бреду устало.
Шестнадцать лет — не так уж это мало,
а кажется, что не прошло и дня.

Любовь прекрасна, и, судьбу кляня,
я жизнь молю, чтоб жребий злой попрала,
но только не закрыла б смерть сначала
прелестных глаз, чтоб слов лишить меня.

Я нынче здесь, но прочь стремлюсь отсюда,
и кажется, еще б сильней стремился,
да не могу сильнее, как назло.

Шестнадцать лет прошло, однако чудо
не совершилось. А ведь я стремился
перебороть себя. Не помогло.

CXXXVII

Разгневал бога алчный Вавилон
безбожным небреженьем к чувству меры,
притон, где культом Вакха и Венеры
культ Зевса и Паллады заменен.

Я верю в правый суд — свершится он:
другой султан придет и примет меры
к тому, чтобы единым центром веры
был навсегда Багдад провозглашен.

Конец наступит идолослуженью,
кумиры будут наземь сметены
и преданы дворцы владык сожженью.

Бразды правленья будут вручены
достойным, и столицы украшенью
послужат памятники старины.

CLXIV

Земля и небо — в безмятежном сне,
и зверь затих, и отдыхает птица,
и звездная свершает колесница
объезд ночных владений в вышине,

а я — в слезах, в раздумиях, в огне,
от мук моих бессильный отрешиться,
единственный, кому сейчас не спится,
но образ милый — утешенье мне.

Так повелось, что утоляю жажду
из одного заветного ручья
то мертвою водою, то живою.

И оттого, что бесконечно стражду,
сто раз погибнув, вновь рождаюсь я
и вновь сто раз рискую головою.

CCLXXII

Уходит жизнь — уж так заведено,—
уходит в прошлое неудержимо.
И прошлое ко мне непримиримо,
и то, что есть, и то, что суждено.

И позади, и впереди — одно,
и вспоминать, и ждать невыносимо,
но жаль себя,— лишь этим объяснимо,
что думам путь не преградил давно.

Все, в чем отраду сердце находило,
сочту по пальцам. А вперед поплыл —
и вновь назад отброшен злобой шквала.

В порту штормит. Разорваны ветрила,
сломалась мачта, и гребец без сил,
и путеводных звезд как не бывало.

CCCVIII

Той, для которой Соргу перед Арно
я предпочел и вольную нужду
служенью за внушительную мзду,
на свете больше нет: судьба коварна.

Не будет мне потомство благодарно —
напрасно за мазком мазок кладу:
краса любимой, на мою беду,
не так, как в жизни, в песнях лучезарна.

Одни наброски — сколько ни пиши,
но черт отдельных для портрета мало,
как были бы они ни хороши.

Душевной красотой она пленяла,
но лишь доходит дело до души —
умения писать как не бывало.

CCCLIV

Прошу, Амур, на помощь мне приди —
написано о милой слишком мало:
перо в руке натруженной устало,
и вдохновенья пыл ослаб в груди.

До совершенства строки доведи,
чтоб цели ни одна не миновала:
мадонна равных на земле не знала,
всех далеко оставив позади.

И говорит Амур: «Отвечу прямо,
тебе поможет лишь любовь твоя,—
поверь, что помощь не нужна другая.

Такой души от первых дней Адама
не видел мир, и если плачу я,
то и тебе скажу: пиши, рыдая».

CCCLXI

Все меньше сил. Душа утомлена.
И в зеркале надежном отраженье
все чаще говорит: «Оставь сомненье.
Давным-давно прошла твоя весна.

Не спорь с природой — не из тех она,
кого нетрудно ввергнуть в заблужденье».
И тут же наступает пробужденье
от долгого мучительного сна,

и вижу я, что силился напрасно
противиться теченью быстрых лет,
и ту же мысль душе диктует властно

любовь моя, покинув этот свет,—
та, что была при жизни столь прекрасна,
что ей подобных не было и нет.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В этом году исполнилось 80 лет выдающемуся болгарс му философу-марксисту, видному культурному и обществен му деятелю, члену Политбюро ЦК БКП, почетному предсе телю Болгарской Академии наук академику Тодору Павл Президиум Народного собрания БНР присвоил ему — двукр ному Герою социалистического труда — звание Героя Нар ной Республики Болгарии, а Президиум Верховного Сов СССР наградил его вторым орденом Ленина.

Ниже мы печатаем текст беседы, состоявшейся меж Тодором Павловым и болгарским литературоведом, канди том филологических наук Александром Атанасовым.

Вопрос: Товарищ Павлов, когда и как вы пришли к утверждению реализма в литературе и искусстве?

Ответ: Я выступил как сторонник реализма еще в ученическое время: в 1906 году в предисловии к драматическим сценам «К новой жизни». В этом предисловии я недвусмысленно высказался в защиту реализма, против символизма и не отступал с этих позиций никогда. Конечно, мои взгляды на реализм в литературе и искусстве на протяжении 65 лет и особенно после того, как я 50 лет назад вступил в партию, претерпевали значительную эволюцию, пока я, еще до 9 сентября 1944 года, не пришел к позициям *социалистического реализма.*

Между прочим, пользуюсь случаем, чтоб подчеркнуть, что мы в Болгарии по праву гордимся тем, что еще до социалистической революции в нашей литературе и искусстве уже существовало направление социалистического реализма, представленное такими яркими именами, как Христо Смирненский, Никола Вапцаров, Крум Кюлявков, Гео Милев, Людмил Стоянов, Георгий Караславов, Христо Радевский, Николай Хрелков и др. Это произошло в известной степени под влиянием Горького, в особенности его произведений «Мать» и «Враги», но корни этого явления кроются и в нашей истории. Оно подготовлено было, в частнос работами по эстетике Димитра Благо и пролетарской поэзией Димитра Пол ва; окончательно социалистический реал утвердился у нас позднее в борьбе про декадентских и других буржуазных правлений.

Естественно, что понимание социалис ческого реализма изменялось с течен времени. Иначе и быть не могло, особ но после победоносной Октябрьской ре люции. Я хочу подчеркнуть, что социа стический реализм сегодня не только тому, что его атакуют с разных сторон, прежде всего потому, что он должен шать множество новых, все более услож ющихся социальных, идеологических и тетических задач, мы не можем бол представлять себе так, как мы представ ли его себе несколько десятилетий т назад. Это, однако, не означает отступ ния от позиций социалистического реал ма. Нет! Это означает только укрепле этих позиций, точно так же, как дальн шее творческое развитие марксизма Ле ным в эпоху империализма и пролетарс революций, в условиях социалистическ строительства, которые поставили перед волюционным марксизмом новые и зна тельно более сложные задачи, не предпо

р отрицания основных, принципиальных
ожений революционного марксизма.
подчеркиваю эту сторону вопроса меж-
прочим и потому, что в последнее время
екоторых болгарских и советских журна-
высказываются, например, мнения, буд-
социалистический реализм не может
ержать элементов романтики, потому
романтизм якобы является самостоя-
ным художественным методом, едва ли
равным по значению социалистическому
изму. Очевидно, в силу подобной логи-
мы могли бы принять и символизм, и
тракционизм, и футуризм, и кубизм, и
изм, и другие подобные «измы», стоит
ько их авторам причислить себя к со-
листам.
вопрос совершенно ясен. *Точно так же,*
не может быть синтеза между материа-
змом и идеализмом в рамках марксизма-
низма, не может быть синтеза между
лизмом и романтизмом в рамках социа-
тического реализма. То же самое касает-
и символизма, абстракционизма, футу-
зма, кубизма и пр. Совсем по-иному сто-
вопрос, когда речь идет не о романтиз-
, а о романтике, не о символизме, а о сим-
лах, не об экспрессионизме, а об экспрес-
и не об импрессионизме, а об импрес-
.

В своих докладах и статьях о позиции
Смирненского, Николая Хрелкова, Гео
лиева, Венко Марковского, Младена Иса-
и др. я не раз отмечал в их творчестве
менты романтики, символов, импрессии.
однако делать из этого вывод, что
писатели не являются представителями
циалистического реализма, было бы не-
авильно. Смирненского, например, нельзя
тать поэтом, применявшим два метода—
алистический и романтический, как ут-
ждают некоторые болгарские и советские
тературные теоретики, историки и кри-
ки. Смирненский, как и Вапцаров, Кюлявк
и др., был социалистическим реалистом,
с яркими элементами социалистической
мантики, символики и пр. И это не слу-
йно. Дело здесь не только в том, что
льшинство задач нашей борьбы и нашего
циалистического строительства чрезвы-
йно усложнились, но и в том, что социа-
стический реализм подвергается все более
льным атакам именно за те свои особен-
сти, тенденции и перспективы, которые
у были свойственны и несколько десяти-
тий назад.

Истина состоит в том, что социалистиче-
ий реализм — это самое новаторское, са-
е динамичное, самое сложное и в то же
емя самое действенное и перспективное
кусство. Вопрос стоит так: романтизм
и социалистический реализм — при нали-
и множества нюансов, стилевых особенно-
ей, личных почерков и т. д. — является
и методом, который присущ искусству
ммунистической формации?

Древняя Греция имела свое классическое
кусство; средние века имели свое искус-
во; буржуазия имела свое искусство. Со-
алистическое и коммунистическое общест-
не может не иметь также своего искус-
ства, своего основного или главного художественного метода, своего основного или главного художественного направления. Конечно, наряду с ним существуют и другие, но они не основные, не главные, не решающие для литературы и искусства *нашего* общества. Именно в этом суть вопроса.

Еще в первые дни после 9 сентября я говорил о том, что *нашим* художникам и писателям нужно добиваться первенствующего значения литературы и искусства социалистического реализма не административными мерами, а самим своим творчеством. Я рад, что наше искусство пошло по этому пути и что сегодня в Народной Республике Болгарии, несмотря на то, что движение иногда шло зигзагами, несмотря на попытки атаковать социалистический реализм в лоб, с флангов и с тыла, *он утвердился как основной, главный в нашей литературе и искусстве метод.* И это вовсе не отрицает, а предполагает, что в рамках самого социалистического реализма могут иметь место различные школы, различные стили, различные жанры, различные индивидуальные почерки, различные художественные средства, различные подходы и т. д.

Как видите, мои взгляды на литературу и искусство с 1906 года значительно эволюционировали, но я глубоко убежден, что это произошло потому, что они выражают фактическое положение в современной литературе и искусстве. Именно потому, что социалистический реализм является ведущим методом, он не поддается атакам и влияниям никаких теорий и теориек, будь то, например, «реализм без берегов», «мифотворчество», «фрейдизм» и другие «измы» современного упадочного искусства, эстетики и критики

Само собой разумеется, что в буржуазных странах развивается не одно лишь декадентское искусство. Есть иные художественные течения. Появляются художественные произведения и теоретические исследования, направленные на то, чтобы создать и защитить прогрессивное искусство, иногда даже приближающееся к социалистическому реализму или сливающееся с ним. Даже в некоторых декадентских произведениях можно в отдельных случаях отметить известные достижения, особенно в области языка и других художественных средств. *Однако они по сути своей качественно отличаются от новаторского по своей природе нашего искусства. А оно является поистине новаторским, потому что нова в истории человечества социалистическая революция, ново социалистическое общество, уже переходящее в Советском Союзе в коммунистическое, новы задачи и реальные перспективы нашего исторического развития, ново воспитание человека, нов сам человек, хотя он все еще не освободился от некоторых пережитков буржуазного быта, психологии и т. д.*

Истинно новаторское искусство не может

быть создано в отрыве от объективно-реальной действительности, художник не может замкнуться в своем «я» и ограничиться личными идеями. чувствами, радостями, страданиями, трагедиями, страхами. Так может создаваться только упадочное искусство. Жизнерадостное, оптимистическое, воспитывающее, творческое, истинно художественное произведение создается, когда яркая творческая личность не порывает, а укрепляет контакты со своей общественной средой, со своим классом и партией, борется за революционное изменение действительности, а следовательно, и самого себя, как об этом говорил еще Маркс.

Вопрос: Как следует, по-вашему, понимать отношение Ленина к индивидуальности и партийности искусства в связи с идеологическими спорами вокруг понятия «отчуждение»?

Ответ: Я неоднократно высказывался по этим вопросам. Ленин действительно особо подчеркивает, что всякому искусству присуща индивидуальность, но в то же время в известной статье «Партийная организация и партийная литература», где он защищает этот тезис, он подчеркивает также, что литература должна быть частью партийного дела. Октябрьская революция была делом рабочего класса и трудящихся народных масс, коммунистической партии и ее ЦК во главе с Лениным. Именно в революционной борьбе за победу социализма выделилась неповторимая личность Ленина. Я не знаю личности более яркой, чем Ленин, как не знаю более великой революционной перспективы развития человечества, чем реальная перспектива социалистического и коммунистического строительства. И особенно замечательно, что именно в социалистических странах *героизм становится массовым явлением.* Иными словами, коммунистическое общество не обезличивает человека, а наоборот; в то же время развитие коммунистической личности как таковой не отрицает роли и великих перспектив социалистического общества в целом, социалистического коллектива, а как раз наоборот. Чем прогрессивнее, революционнее само общество, тем крупнее, прогрессивнее, революционнее личности, возникающие в его среде. Особенно если иметь в виду, что история создается самими людьми в процессе познания существующих объективных общественных и природных условий. *Литература социалистического реализма, именно как литература социалистическая и реалистическая, отражает эти факты и в силу этого приобретает все большее воспитательное и преобразующее значение для личности и общества. В этом отношении она не имеет себе равных и является новаторской в истинном смысле слова.*

Что же касается *«отчуждения»*, то уже давно доказано, что именно Маркс, Энгельс и Ленин вскрыли его экономические и социальные корни. Они впервые в истории человечества высказали идею, что теория социалистической революции и строительства социализма может и должна быть внесена в стихийное рабочее движение, тогда оно не только перестанет быть стихийным, но и превратится в высшую степень творческого революционного движения, какого история человечества до тех пор не знала. «Отчужденные» пролетарии в процессе революционной борьбы становятся титанами и прометеями, героическими личностями, способными на массовый героизм, творцами нового общественного строя и новой культуры, небывалой по своим достижениям и реальным перспективам. Марксизм-ленинизм, рабочее движение, социалистическая революция и социалистическое строительство превратили «отчужденных» в личности и создали условия, чтобы они в дальнейшем выросли в настоящих гигантов, борцов и творцов, каких история человечества также до тех пор не знала.

В наш век технической революции суть проблемы состоит в том, что абсолютизация, переоценка, фетишизация технического прогресса за счет общественного и духовного прогресса приводят к отрицанию социальных проблем, к отрицанию классовой борьбы, к отрицанию социалистической революции и строительства социализма, к сведению всех противоречий к техническому развитию двух мировых систем, которые именно путем технического прогресса должны прийти к так называемой *конвергенции.* Никто из коммунистов не выступает против технического прогресса, потому что без высокой техники и высокой производительности труда нет и не может быть социализма и коммунизма. Но точно так же, при наличии *только* технического прогресса не может быть ни социализма, ни коммунизма. Мы не являемся ни технократами-объективистами, ни утопистами-субъективистами. Мы являемся и должны быть последовательными до конца марксистами-ленинцами и, признавая роль материальной базы, а следовательно, и технического прогресса, не должны недооценивать решающей роли общественных отношений, роли идеологии и в первую очередь творческого развития марксизма-ленинизма.

Именно этим целям могут и должны служить и наша литература социалистического реализма, и литературная теория, история и критика.

Вопрос: Я хотел бы попросить Вас остановиться на специфической сущности искусства и в том числе литературы.

Ответ: У искусства есть своя специфика, участвуя вместе с публицистикой или, например, социологией в решении общих задач класса, революции и социализма, оно имеет и свои специфические задачи.

По этому вопросу много уже писали и говорили и все еще много пишут и говорят. Я остановлюсь здесь только на некоторых его сторонах.

Прежде всего, я убежден, что непрекращающиеся до сих пор споры между так называемыми «природниками» и так называемыми «общественниками» в области эстетики, истории, литературы и критики основаны на недоразумении. *Несомненно,* что

кство — это типично общественное яв-
е. Пение соловья доставляет эстетиче-
наслаждение, хотя влюбленные или
дающие различно воспринимают его
. Он поет инстинктивно, как пели его
ки, пока соловьиха высиживала в гнез-
тенцов. Однако никто не называет со-
, или пчелу, или бобра, или танцую-
глухаря творцами произведений искус-
В этих случаях художественное твор-
о отсутствует, а есть естественное
ство, способность, которые являются
ьтатом физических, химических, гене-
ских и др. закономерностей в жизни
низмов, в том числе и человека, по-
ку он является также и биологическим
ством.

расота девушки или юноши является
м самой природы, а не художника,
они и усиливают свою красоту одеж-
и иными украшениями, но это уже
той вопрос. До появления человека на
е соловьи пели точно так же, как поют
дня, цветы имели ту же окраску, какую
от сейчас, глухари танцевали точно
же, как танцуют сейчас. Одним сло-
наряду с физическими, химическими,
тическими и другими закономерностями
ормами, относящимися к растениям и
отным — а в известном смысле это
ется и кристаллов (и космоса в
чие от хаоса), *существовали также*
номерности и формы, которые мы на-
ем красивыми, симметричными, гармо-
ными, пропорциональными и пр. Челo-
как естественно-биологическое сущест-
не является исключением из общего
вила. Одиако человек — это не только
ственно-биологическое, но и социаль-
существо. И как социальное, то есть
ественное существо он не только восхи-
тся прекрасными свойствами, формами
роды, но и сам создает предметы, совер-
т действия (песии, танцы и пр.), в ко-
ых наряду с тем, что характерно для
ю как для общественного существа кон-
тной определенной общественной форма-
и эпохи, мы находим также и проявле-
эстетической сущности, имеющей не ес-
твенно-биологический, а именно общест-
но-исторический характер и значение.
Следовательно, спор между «природника-
» и «общественниками» происходит из-
смешения естественно-эстетического с
ественно-эстетическим или, что то же
ое, с художественно-эстетическим. В лю-
виде искусства человек проявляется
жде всего как человек, то есть как су-
тво, которое носит глубоко в себе *сово-*
ность определенных общественных отно-
ний. Однако общественная природа че-
ека и его искусства недостаточна, что-
дать нам возможность увидеть и опре-
ить специфику искусства. Искусство не-
лимо, если оно не является обществен-
определенным, действенным, значимым.
то же время оно должно быть именно
ожественно-действенным, художествен-
определенным, художественно-значимым,
чем не в том смысле, в каком это отно-
тся к естественно-эстетическому, которое, повторяю, существовало еще до появления человека и существует независимо от него и сейчас, а в смысле именно общественно и исторически обусловленного и развивающегося художественного явления (форма, действие и пр.) *Таким образом, между «естественно-эстетическим» и «общественно-эстетическим» (то есть искусством) есть определенное диалектическое родство и в то же время качественное отличие.* Это родство особенно ясно видно в художественных ремеслах, когда мастер вносит в свои произведения элементы естественно-эстетического. Позднее он пытается вносить уже элементы (нли моменты) и общественно-идейного значения. «Естественно-эстетическое» оказывается неспособным их выразить. *И именно тогда человек приступает к созданию искусства в точном смысле этого слова, которое имеет, с одной стороны, общественно-идейное, эмоциональное содержание и, с другой стороны, общественно-эстетическую, художественную форму. Оказывается, следовательно, что без определенной общественной идеи, или цели, или идеала, или, если хотите, правды не может быть искусства. Но в то же время оно невозможно без присущей ему художественной формы, которая при этом не тождественна, хотя и не оторвана метафизически от естественно-эстетических явлений в неорганическом и органическом мире.*

«Общественники» не любят читать Дарвина и его последователей. Иначе они бы не утверждали, что до человека и независимо от человека не было и не могло быть ничего эстетического, что все в природе носит только механический, физический, химический характер. «Природники», со своей стороны, не изучая конкретно историю человеческого общества, культуры и искусства, не видят и не оценивают по достоинству различие между *естественно-эстетическим и художественно-эстетическим, между прекрасным в природе и прекрасным в искусстве* или, что одно и то же, между, скажем, красивым юношей или девушкой, которые такими родились, и красотой человека, *сложившегося как творческое общественно-эстетическое, чувствующее и действующее существо.*

Только марксистско-ленинской эстетике, литературной теории и критике впервые удалось поистине целостно и последовательно поставить и решить вопрос об отношении между эстетическим в природе и в искусстве.

Здесь можно было бы затронуть много важных вопросов, но я не буду останавливаться на них, потому что неоднократно по разным поводам и в различном контексте делал это в трудах по теории и истории эстетической мысли и, в частности, литературной теории, истории и критики.

Вопрос: Как, по-вашему, стоит вопрос о взаимоотношении между содержанием и

формой в искусстве социалистического реализма, а в связи с этим и о так называемой «деформации», о которой много говорится в последнее время, особенно в работах о декадентских направлениях западного искусства?

Ответ: Этот вопрос очень стар и, по-моему, теоретически давно уже решен, но мы как-то искусственно его усложняем и поэтому путаемся в ряде противоречий и трудностей. В сущности, нет и не может быть формы вообще, а обязательно конкретная форма чего-то. *Нет и не может быть также художественной формы вообще, а обязательно конкретная художественная форма чего-то.* Только условно и относительно можно отделить форму от содержания, в частности, художественную форму от художественного содержания. В действительности они диалектически связаны и неотделимы друг от друга. Красота розы дана в самой розе, а не в пустом мировом пространстве. Красота героического подвига революционера дана в самом героическом подвиге, а не вне его, без него, независимо от него. Но, повторяю, мы нередко говорим условно о красоте и ее содержании как об отдельных вещах, часто при этом забывая, что содержание не всегда и не обязательно является духовным или идейным, а может быть и материальным. Красота розы, например, не несет в себе какой-либо идеи, а «Марсельеза» или Пятая симфония Бетховена, несомненно, заключают в себе идейное содержание, так же как «Илиада», «Война и мир», «Владимир Ильич Ленин» Вл. Маяковского, баллада Ботева «Хаджи Димитр», «Свадьба» Вейко Марковского, «Сентябрь» Гео Милева и др.

Как раз эта мысль о диалектическом единстве художественной формы и идейного содержания или правды в произведении искусства неоднократно уже ставилась как мысль о диалектической взаимосвязи правды и красоты. Правда-красота или красота-правда — это, в сущности, одно и то же. Если подходить более строго, произведение, которое только правдиво, но в нем нет никаких элементов или моментов красоты, не имеет отношения к искусству, а могло бы быть, например, произведением философским, публицистическим, социологическим и пр. И наоборот, если создание художником не выражает никакой общественно-исторической правды, то есть не имеет соответствующего идейного содержания, то оно тоже не является искусством, а лишь изящной игрой красок, линий, слов, звуков и движений, которые, в сущности, сами по себе ничего не означают, ничего не говорят тем, кто их воспринимает. Художники-декаденты вольны вкладывать в свои ребусы и бессмысленные сочетания линий, цветов, объемов, консервных банок, ржавой проволоки и пр. такое содержание, какое они хотят, но для зрителя или слушателя совершенно невозможно через эти ребусы добраться до идеи художника. *Искусство таким образом теряет всякую способность к коммуникабельности, перестает иметь какое бы то ни было значение как средство общения между людьми, средство их объединения ради прогресса, правды, красоты.*

Подобно языку искусство с самого начала выполняло определенные коммуникативные функции в человеческом обществе и без них оно немыслимо как искусство. Точно так же только этими функциями искусство ограничиться не может, потому что средства коммуникации могут быть и недожественными, в то время как в искусстве они именно художественные. И как правило они зачастую более действенны и значимы, чем, скажем, логические изложения доказательства. Марксистско-ленинская эстетика не отрицает тенденциозности в искусстве. Суть вопроса в том, что искусство должно быть не только правдивым, но художественным, или, что то же самое, тенденциозность должна быть именно *художественной тенденциозностью,* а не грубо не навязанной извне, без органической связи с самой темой и развитием характеров и событий в художественном произведении. Эти два значения тенденциозности обычно смешивают, и отрицается вообще всякая тенденциозность искусства. А истина состоит в том, что в истории искусства не было подлинного искусства, которое бы так или иначе, в той или иной степени не было — *именно как искусство — тенденциозным.*

В сущности, сама жизнь человека и человек, само общество не только могут, но и должны быть прекрасны. Будущее коммунистическое общество мы представляем себе не только могущественным благодаря высокому развитию техники и производительности труда, не только справедливым и гуманным вследствие отсутствия всякой эксплуатации и притеснения человека человеком, но и прекрасным, со всеми атрибутами красоты, которые могут быть присущи человеку и обществу.

В связи с этим, когда мы говорим о недожественном творчестве, мы ни в коем случае не должны связывать понятие творчества только с понятием художественной формы, как это делает большинство современных декадентов. *Без нового содержания, как было сказано выше, нет и новой художественной формы,* а когда форма «придумана» без наличия нового и прогрессивного содержания, такая форма оказывается бесплодной, как евангельская смоковница, и в конце концов ни в коем случае не может заменить подлинно художественную форму подлинных, то есть имеющих соответствующее художественное содержание, произведений искусства.

Отношение между содержанием и формой глубоко диалектично, в нем нет ничего механического и метафизического. Между ними несомненно есть различия или противоположность, но в то же время есть взаимные переходы и диалектическое единство.

А что касается так называемой «деформации», то действительно нет искусства, нет художественного произведения там, где художественный образ является механическим, фотографическим изображением пред-

или явления. Если снабдить фотоап- соответствующим электронным при- блением, все, что будет двигаться пе- бъективом аппарата на определенном оянии, будет заснято, и если предмет бразен, он будет заснят именно в сво- езобразии, а если он красив, если это, имер, красивая роза, юноша, девушка, удет заснят в своей красоте. Механиче- действующий фотоаппарат не прибавит отнимет ничего от того, что попадет объектив, но каждый кинорежиссер , что фото- или кинокамерой можно ать также и художественные снимки и ы. Во всяком искусстве (в том чис- в художественных фотографиях, и те- кинофильмах) творец-субъект всегда то прибавляет к изображаемому пред- или что-то отнимает от него, преобра- его в том или ином смысле и степени, *временно стараясь сохранить все, что ично и характерно для предмета, для чтобы, рассматривая или воспринимая ое художественное произведение, не ивать отраженный предмет с другими ъектами.* Некоторые теоретики утверж- т, что в этом смысле «деформация» уща всякому искусству. Я думаю, гово- так было бы неправильно. Правильнее о бы сказать, что всякий художествен- образ несет в себе определенные субъ- ивные черты своего творца, в результате о, когда тысячи художников рисуют од- и то же лицо, например Ленина или стого, каждый художник вносит что-то е, так что их портреты отличаются в ьшей или меньшей степени один от дру- о. Иными словами, каждый художник сит в свое произведение то, что обуслов- о его индивидуальностью, а каждый дмет искусства содержит в себе то, что него специфично и в этом смысле не- торимо. Эта проблема индивидуально- предмета всякого искусства и индиви- альности всякого художественного твор- тва очень сложна и все еще недостаточ- разработана в нашей марксистско-ленин- й эстетике.

Некоторые теоретики и критики искусст- забывают, что индивидуальное содержит себе не только особенное, но и общее, и этому художественное произведение все- имеет характер субъективного отобра- ния реальных вещей, так как всякая ху- жественная идея или переживания субъ- та носят субъективный характер или, нее, представляют собой художествен- е субъективное отражение объективно альных явлений. Часто смешивают про- сс *восприятия* и процесс *воплощения* ху- жественного образа-идеи в картине, дви- нии, звуках и пр. Искусство не может ществовать без коммуникабельности. *Ес- художник замкнется в себе, если он пе- станет воплощать то, что эстетически он е воспринял, искусство станет ис- рически ненужным и невозможным.*

Что же касается отношения между содер- нием и формой в свете приложения ки- рнетики к области эстетических явлений, жно считать уже доказанным, что кибер- нетические исследования способны охватить определенные стороны искусства, имеющие характер общих ч, следовательно, повторяющихся элементов, но ни в коем случае не могут охватить индивидуальность, а следовательно, действительную красоту искусства, тем более, что кибернетика вообще не может заменить человеческую индивидуальность и коллективную творческую мысль.

Вопрос: Большую остроту имеет в наши дни проблема взаимосвязи между национальным и интернациональным в искусстве. Хотелось бы знать Ваше мнение по этому вопросу.

Ответ: Теоретики и историки искусства приходят иногда к идее, что в будущем коммунистическом обществе вообще не должно быть наций и национального искусства, а только интернациональная общность и интернациональное как по форме, так и по содержанию искусство коммунистического общества.

Вопрос не так прост, как нам иногда кажется. Социализм не разрушает личность, наоборот,— он создает все экономические, социальные, культурные и другие предпосылки для ее развития. Решительно невозможно, например, правильно объяснить и оценить величие, силу и красоту таких людей, как Маркс, Энгельс, Ленин, Георгий Димитров и другие, если не видеть в них прежде всего активных членов и деятелей социалистического революционного движения, социалистической революции, социалистического строительства. А тот факт, что героизм во время социалистической революции и социалистического строительства становится впервые в истории *массовым явлением*, свидетельствует, что *массовым явлением становится и появление при коммунизме ярких, крупных личностей.*

Оспаривая утверждение, что при социализме и коммунизме нации будут обезличены, я считаю верным как раз противоположное, однако это не означает, что это будут нации *буржуазного типа.*

Нация *социалистического типа* положительно использует свое культурное наследие, но критически его переоценивает и творчески разрабатывает далее в условиях социалистического сотрудничества и взаимопомощи между социалистическими нациями. Этот процесс начался в Советском Союзе, в наши дни идет во всей социалистической общности, а при коммунизме распространится на весь мир.

Можно ли отрицать, что, скажем, русская нация, украинская нация, азербайджанская нация, эстонская нация, казахская нация и другие нации как раз в эпоху социалистического развития и несмотря на все большее сближение между собой на базе социализма *проявляют себя все более ярко?* Это еще один важный вопрос, на который историки и теоретики социалистического по содержанию, национального по форме искусства

должны обратить большое внимание, особенно в свете задачи нашей борьбы на идеологическом фронте, борьбы с явно неверным тезисом, будто при социализме личности и нации *«обезличиваются»*.

Как всякое общество не является скоплением нулей, а единством личностей, несущих в себе совокупность данных общественных отношений, так и социалистическая нация несет в себе исторически сложившиеся социалистические отношения в конкретно данной социалистической общности, не теряя своих национальных особенностей и не превращаясь в нуль.

В жизни социалистических наций можно проследить тенденцию к их все большему превращению не только в экономически, политически и социально свободные, но и во все более богатые в эстетическом отношении. Можно сказать (разумеется, не забывая о том, что социалистическое общество не имеет ничего общего с рабовладельческим или классовым обществом), что при социализме искусство вновь обрело особую роль и значение, которое оно имело в античном мире. Различие было отмечено, как мы знаем, еще Марксом, но история уже дает примеры определенного сходства в этом отношении. Наши историки и теоретики искусства также должны предпринять более конкретное и всестороннее исследование этих проблем, которые, несомненно, будут иметь особое значение в нашей наступательной борьбе за утверждение принципов марксистской эстетики.

Вопрос: Как при современном состоянии науки, техники и общественной практики следует рассматривать вопрос об отношениях между философией и другими науками, в частности, между философией и эстетикой?

Ответ: Известно, что над вопросом об отношении между философией и другими науками давно и, я бы сказал, углубленно работают болгарские философы. Однако действительно сейчас, в свете конкретного, усилившегося к нему интереса, он нуждается в дополнительном разъяснении и уточнении; особенно это касается взаимоотношений между философией и эстетикой.

До недавнего времени в нашей марксистской научной и критической литературе вопросы психологии искусства, социологии искусства, его технологии, отношения между логикой и психологией искусства и т. д. обсуждались недостаточно. В последнее время на эти вопросы обращают большее внимание, и это безусловно правильно, так как их постановка и решение дают возможность правильно поставить и решить также *вопрос о структуре и структурной закономерности искусства как общественно-исторического явления.*

В сущности говоря, этот последний вопрос имеет несколько сторон, а именно: о структуре и структурных закономерностях объекта (или предмета) искусства; о структуре и структурных закономерностях понимания эстетической идеи предмета, которая создается в сознании художника или зрителя; о воплощении этой идеи с помощью линий, звуков, слов, красок, да[ний] и т. д.; о раскрытии структур[ы] структурных закономерностей воздейс[твия] произведения искусства как на его созд[ателя], так и на его потребителя. Как видит[ся] данном случае мы имеем нечто подо[бное] тому, о чем говорится в кибернетике и [теории] информации об обратной связи, [которая] вызывает новые действия субъект[а] отсюда и новые художественные зам[ыслы] и так далее.

Недавно на русском языке вышел т[руд] «Теория отражения и современность», в [котором] исследовано отношение Ленин[а] философским и нефилософским вопро[сам] современной ему физики, химии и дру[гих] естественных, а также и общественных [наук], например, экономики и статист[ики]. Любая наука не может так или иначе [не] касаться философских проблем.

Интересно, что в прошлом и в наши[х дней] некоторые авторы, даже и среди мар[ксистов], выступают сторонниками того, [что] эстетика — это философская наука. Ист[ина] состоит в том, что вопросы эстетики м[огут] в качестве особой составной части в[ходить] чаться в философию, рассматривают[ся] самые общие вопросы развития природ[ы], общества, но преимущественно с той их с[тороны], которую *Энгельс назвал главным [вопросом] основным вопросом философии, а им[енно] вопросом об отношении между бытие[м] сознанием, между общественным бытие[м] общественным сознанием.*

В своем труде «Проблемы историко-[философской науки»][1] Т. И. Ойзерман пи[шет], что этика и эстетика, возможно, в недал[еком] будущем станут самостоятельны[ми] научными дисциплинами, но в наше вр[емя] они представляют собой составные ч[асти] марксистско-ленинской философии. Я[сно], что автор прав, когда имеет в виду ф[ило]софские вопросы эстетики и этики. [Но] если обратиться к вопросам структ[уры] и структурных закономерностей предме[та] эстетики и этики, истина состоит в том, [что] ие в будущем, пусть недалеком, а уж[е в] настоящем они не могут не быть частны[ми] или специальными науками, которые, о[дно]ко, так или иначе касаются философс[ких] вопросов и подвергаются влиянию той [или] иной философии и наоборот — оказыва[ют] влияние на развитие современной филос[офс]кой мысли.

Отношение предмета (взятого в совок[упно]сти содержания и формы, в том числ[е] в своих объективных эстетических сво[йст]вах) к художнику-субъекту или точно т[ому] же к художественному сознанию субъе[кта] является, несомненно, проблемой, имею[щей] философский характер и значение. Но ка[ки]ми психологическими мотивами, движен[ия]ми, действиями, какими материальны[ми] другими средствами, при каких общест[вен]ных условиях и задачах художник вос[при]нимает и воспроизводит данный предм[ет] или событие, это уже вопросы структур[ы] структурных закономерностей как худо[же]

[1] Ойзерман Т. И. Проблемы историко-[философской] науки М., «Мысль», 1969 г

нно отраженного предмета, так и само-
процесса художественного отражения, в
орый входит процесс обратного воздей-
ия созданного им художественного пред-
, когда творец-субъект проверяет ре-
тат своего творчества и одновременно
ит себе новые творческие задачи, за-
ивающие уже не только этот предмет.
Если мы хотим обобщить эти несколько
южений частных эстетических исследо-
ий, мы можем сказать, что художествен-
сознание и художественное действие,
и всякое созиание и действие, находят-
в диалектическом единстве, а не разоб-
ы, не могут существовать самостоятель-
в человеческом сознании.

Обвинения, выдвинутые противниками
инской теории отражения, будто бы она
оценивает или не признает творческого
актера процесса познания (научного,
тического и пр.) оказываются таким
азом явно беспочвенными, если не
зать сильнее. Марксистская гносеология
дполагает диалектическую связь теории
рактики, мысли и языка, логического
ания и эмоционального переживания.
тического созерцания и эстетического
действия субъекта на предмет искусст-
или обратно — предмета искусства на
ность и т. д.

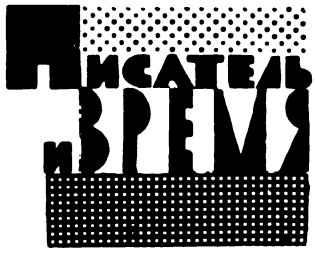
Мне кажется, что именно эти проблемы нуждаются в наши дни во всесторонней, более углубленной коллективной разработке и дальнейшем усовершенствовании. *Но это ни в коем случае не означает, что правы те фальсификаторы ленинской теории отражения, которые полностью и метафизически отрывают теорию от практики, познание от творчества, индивидуальное восприятие мира от коллективного (классового в классовых обществах) восприятия и изменения его.*

Правильное понимание этих вопросов позволит нам не только отразить все и всяческие идеалистические, фидеистические и другие атаки на марксистско-ленинскую эстетику и социалистическое и коммунистическое искусство, не только защищать марксистско-ленинскую эстетику от разных «левых» и «правых» уклонов и извращений, но и *творчески разрабатывать ее в современных общественных условиях.*

Это будет способствовать укреплению и развитию социалистического реализма во всех областях литературы и искусства. Таким образом, будет конкретизирована и правильно применена в современных условиях гениальная мысль Ленина о партийности искусства. Литература и искусство, не теряя своей индивидуальности, являются частью нашего пролетарско-классового и партийно-коммунистического дела.

исар

Перевод с болгарского С. ПАРХОМОВСКОЙ


Писатель и время

АННА ЗЕГЕРС О СЕБЕ И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВ

*В этом месяце, 19 ноября 1970 года, Анне Зегерс испо-
няется 70 лет.*

*Имя это не надо представлять нашим читателям — о
знакомо миллионам. Вот уже сорок лет, с первых ее шагов
искусстве, книги Анны Зегерс читаются в нашей стране; о
завоевали такую популярность, которая редко выпадает на д
лю зарубежного писателя. Ее трудная и славная жизнь, жиз
борца, ее замечательные книги, книги писателя-реалиста, ус
ремленного в будущее, неотделимы от судеб немецкого нар
да, его социалистического авангарда, его антифашистских с
Социалистическое искусство новой Германии раскрывает в
всегда новаторском творчестве свою силу и жизненность.*

*Мир знает Анну Зегерс не только как писателя; он зна
ее как общественного деятеля-интернационалиста, борца
мир. Анна Зегерс — член Всемирного Совета Мира, лауре
Международной Ленинской премии «За укрепление мира ме
ду народами».*

*О жизни и творчестве Анны Зегерс написано много; н
мало известны ее — немногочисленные — свидетельства о со
ственном творчестве. Сегодня, приветствуя выдающуюся неме
кую писательницу, нашего верного друга, мы печатаем ее бес
ды, в которых затрагивались вопросы ее творчества и жизне
ного пути. Эти автосвидетельства, позволяющие проникну
в «творческую мастерскую» писательницы, представят больш
интерес для всех наших читателей.*

*Беседы с Анной Зегерс, которые вели известные литерато
ры ГДР Вильгельм Гирнус, Криста Вольф и Гюнтер Каспа
были в разное время опубликованы в журналах «Зинн ун
форм», «Нейе дейче литератур» и в еженедельнике «Зоннтаг
Все они, за исключением интервью о романе «Доверие» («Зонн
таг» № 43 от 27/X-1968), вошли в сборник эссеистически
работ А. Зегерс «Вера в земное» (Лейпциг, 1969). Здесь ж
впервые опубликовано письмо автора к литературоведу Рена
те Франке об истории возникновения «Карибских рассказов».*

Тексты печатаются с некоторыми сокращениями.

Определено чувством революции

Вильгельм Гирнус. Дорогая, глубокоуважаемая Анна Зегерс! Для нас особая честь и в то же время очень большая радость приветствовать вас сегодня здесь перед микрофоном. Мы будем любопытны — в интересах наших читателей. Нам бы хотелось кое-что узнать о вашей жизни и о том, как она была связана с Октябрьской револю-
цией. Вряд ли найдется на земле челове
которого тем или иным образом не затро
нуло бы это эпохальное событие. Особен
это относится, конечно, к писателям. Я хоч
спросить: когда вы впервые осознали зна
чение этого события? Что в нем произвел
на вас особое впечатление и как вы все эт
видите теперь?

Анна Зегерс. Вы так ставите вопрос, до
рогой товарищ Гирнус, что мне будет труд
новато отвечать. Потому что я скажу не

ду, если стану утверждать, будто Ок-ская революция тотчас же повлияла мое сознание, образ мыслей и т. п. Ну, жде всего, ни для вас, ни для других не ется секретом мой возраст. Я была а молодой девушкой...

рнус. В 1917 году вам было семнад-ь лет.

герс. Да, и к тому же я жила в не-ьшом городе на Рейне. Прошло некото-время, прежде чем это событие в виде ичных толков, слухов и пересудов, как орится, дошло до меня. Причем в таком ливоречивом и зачастую странном виде, я сама не слишком во всем разобра-ь. Но очень скоро я задумалась над м событием, и очень скоро оно оказа-ь для меня связанным с новым пред-влением — да, скажем так: с новым, яр-, небывалым представлением о справед-ости. Пожалуй, именно это было тогда вым преобладающим чувством, когда я ничего не понимала в политике. Вперв, прежде чем мне это кто-нибудь объяс-, я по-настоящему осознала, что сущест-т верхи и низы, высшие и низшие. То, называют классами,— тогда, совсем мо-ой, я поняла это на свой лад.

Гирнус. А в чем это выражалось?

Зегерс. Я как бы по-новому увидела, что ь люди, которые одеты хуже, чем дру-, есть люди, которые ходят в плохой уви. Я не хотела носить обувь лучшую, и они. Я испуганно смотрела, как через од вели человека в кандалах, человека, торый бунтовал против чего-то. Я ведь знала, почему его вели по городу поли-ейские... Все это очень, очень далеко от го великого события, и все-таки для меня о с ним связано.

Гирнус. Да, а потом появились ваши ли-ературные рабсты. Прежде всего, конечно, едует, как всегда, упомянуть «Восстание ыбаков»[1]. Как связан ваш приход к этой ме с вашим новым взглядом на мир, на ир человеческих отношений?

Зегерс. Ваш вопрос заставляет меня помнить еще об одном обстоятельстве всем другого рода, которое подготовило ня к тому, чтобы лучше понять события России, затем в Советском Союзе. Я уже ворила, что жила в Майнце, в области, купированной позднее французами. И вот ли до меня дошла, скажем, книга Барбюса Огонь» — то есть мысль о несправедливо-и войны, лозунг «хлеба и мира»,— я к ому уже была готова. Теперь вы меня рашиваете о том, что я написала. Но это ло много позже; я поняла, что такое ре-люция — то есть поняла не только чув-вом, но и умом,— когда встретилась в иверситете со многими студентами-эми-антами из стран, где была подавлена ре-люция.

Гирнус. Эти люди, с которыми вы встретились, впоследствии тоже нашли место в ваших произведениях?

Зегерс. Да, верно. Но сначала я написала небольшую книгу «Восстание рыбаков», в которой есть много непосредственного и потому, наверно, привлекательного, если мне позволено об этом судить; я писала ее с большой любовью к тому, что меня тогда привлекало больше всего,— с одной стороны, к природе, то есть к морю, а с другой — к великим событиям в Советском Союзе. В университете от молодых студентов, покинувших свои страны и ушедших в эмиграцию, я получила еще и объяснение тому, что сама уже чувствовала...

Гирнус. Когда же вы в первый раз встретились с действительностью, созданной Октябрьской революцией? Иными словами, когда вы увидели впервые Советский Союз?

Зегерс. В первый раз я была в Советском Союзе на Харьковском конгрессе[1][...] Там я своими глазами увидела то, о чем раньше только читала,— а это нечто совсем иное, чем книги, такие, как «Цемент» и многие другие, все не перечислишь[...]

Я думаю, все мое поколение в основном читало эти книги, видело такие фильмы, как, например, «Броненосец «Потемкин» или «Потомок Чингисхана», «Путевка в жизнь». Эти книги и фильмы произвели на меня невероятное впечатление. Ничего подобного я никогда не видела и не слышала.

И вот, приехав в Советский Союз, я, как всякий наивный путешественник, невольно испытала чувство, будто не книги и фильмы отразили жизнь людей, а люди в Советском Союзе сошли со страниц этих книг. Было такое ощущение, будто вот это — живой герой «Цемента», это тот самый человек, которого я видела в том или ином фильме. Потом для меня огромным впечатлением стала поездка на Украину. Я побывала на Днепре, где строилась великая электростанция Днепрогэс, которую впоследствии, перед приходом немецких войск, русские сами взорвали, чтобы она не попала в руки фашистов, а затем вновь восстановили. Там я увидела нечто, особенно взволновавшее меня, и не только меня одну, но и всех, кто был со мной в поездке: соревнование между двумя бригадами. Каждый берег заполнял цементом деревянную опалубку, чтобы укрепить склон. И ночью, в темноте, появились светящиеся цифры. Было видно, какой берег побеждал в этом соревновании.

Я была также удивлена, когда мне показали уже переведенную за сравнительно короткий срок на украинский язык книгу, о которой вы меня только что спрашивали,— «Восстание рыбаков». Мне ее подарили комсомольцы, я была очень взволнована и рада.

---

[1] **«Восстание рыбаков»** («Der Aufstand der cher von St. Barbara», 1928) — первое крупное юизведение Зегерс, посвященное жизни етонских рыбаков. Повесть была отмече-литературной премией им. Г. Клейста и инесла писательнице широкую извест-сть. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[1] Имеется в виду Международная конференция революционных писателей в Харькове, 1930 год.

АННА ЗЕГЕРС О СЕБЕ И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ

Гирнус. Вероятно, еще и самим фактом, что молодежь там проявляет такой необычайно живой интерес к литературе?

Зегерс. Да, что они эту книгу знали, читали, обсуждали, они говорили со мной об этом.

Гирнус. Затем произошел роковой переворот в Германии — захват власти фашистами; вы оказались в эмиграции. В какой степени все, что вы в свое время осознали с помощью Октябрьской революции, что стало благодаря ей неотъемлемой частью вашей личности, помогло вам перенести, осмыслить случившееся и не утерять при этом мужества, веры в возможность обновления Германии?

Зегерс. Не хочу преувеличивать, но думаю, что все пережитое, увиденное, прочитанное помогло мне удержать верное направление в жизни. Только что я вам рассказывала о молодых людях в университете, которые многое объяснили мне в революции. И вот вспоминаю, как мы, группа немцев, первый раз встретились в Париже, и одна молодая женщина сказала мне: теперь мы сами стали твоими «Спутниками»— так называлась эта книга...[1]

Но как бы то ни было, во Франции я работала точно так же, как и прежде. Я написала там несколько книг. А когда начались события в Испании, я вместе со многими другими отправилась на Мадридский конгресс[2]. Думаю, что события в Испании — если вообще позволительно устанавливать такого рода шкалу ощущений — после событий в СССР (я говорю сейчас, естественно, не о личных, а о мировых событиях) произвели на меня наибольшее впечатление.

Гирнус. Что именно?

Зегерс. Испанский народ, испанская природа, вооруженная борьба против фашизма. После того, как у себя на родине я пережила победу фашизма без вооруженной борьбы, там я теперь увидела — пусть и окончившуюся трагедией — вооруженную борьбу. И я увидела, как это до глубины души меняет людей, преображает их, делает сильнее. Большое впечатленне произвели на меня также интербригады, в которых было много знакомых мне немецких товарищей и писателей.

Гирнус. Могу ли я вернуться немного назад? В Москве состоялся съезд писателей, на котором выступал Горький. Вы на нем не присутствовали... Если можно так выразиться, вы искали своего нового «героя»; вы находились тогда в Австрии.

Зегерс. Ну, не говорите так — как раз такого рода поисками я никогда не занималась. Человек приобретал для меня значение или нет, я его видела или не видела. Но я действительно отправилась в Австрию после путча Дольфуса и столкновений рабочих с войсками в Вене. Я побывала не только в Вене, но и в некоторых маленьких городах, слушала процессы, особенно против рабочих, участников боев

Гирнус. Так возник ваш рассказ «Последний путь Коломана Валлиша»[1].

Зегерс. Да. У меня была «идея фикс» пройти этот путь через горы до самого Клагенфурта.

Гирнус. И там вы отыскали следы этого Коломана Валлиша...

Зегерс. Я не отыскивала их. Там каждый знал, откуда он пришел, где он собирался со своими людьми, как они расходились, что с ними стало.

Гирнус. Борьба австрийских рабочих объективно и послужила поводом для этого рассказа?

Зегерс. Да. Был небольшой роман «Путь через февраль» и «Коломан Валлиш» — рассказ.

Гирнус. А затем появился роман, который произвел такое большое впечатление здесь в Германии после 1945 года, но еще раньше стал известен за ее пределами — «Седьмой крест». Что послужило поводом для напнсания этого романа и какова была его судьба?

Зегерс. Когда я заканчивала книгу, немецкие войска подошли совсем близко к Парижу, и я плакала, сжигая рукопись, чтобы она не досталась немцам и чтобы в случае, если они займут этот дом, не подвергать опасности тех, кто в нем жил. Мы тогда отправились в путь, хотели уйти от немцев. У всех была одна мысль: перебраться через Луару. Однако войска нас настигли. Впрочем, один экземпляр рукописи еще раньше попал в Соединенные Штаты, к Францу Вайскопфу. И Франц Вайскопф позаботился о том, чтобы она дошла до издательства.

Гирнус. Вы ведь были не одни, когда уходили от нацистских оккупантов, с вами были двое ваших детей.

Зегерс. Конечно, я была не одна, нас было десятки тысяч. Кроме того, со мной действительно были двое моих детей. Но мы неверно рассчитали, войска двигались быстрее: они были моторизованы, а мы шли пешком. Пришлось вернуться, и еще долгое время мы оставались в Париже, а затем с помощью Жанны Штерн[2] перебрались в неоккупированную часть Франции.

Гирнус. Темой «Седьмого креста» стала история, которую вы сами не пережили, поскольку вы еще раньше вынуждены были покинуть Германию. Как вы пришли к этой теме?

Зегерс. Мне часто рассказывали о том, что происходило в концентрационных лагерях[...] Я разговаривала со многими беженцами, и кто-то рассказал мне об этой необычайной истории — необычайной и в то же время ужасной, звучавшей более неве-

---

[1] «Спутники» («Die Gefährten», 1932) — роман о революционерах-коммунистах разных стран; многие его герои оказались в эмиграции.

[2] Второй Международный конгресс писателей в защиту культуры, Мадрид, 1937 год.

[1] «Последний путь Коломана Валлиша» («Der letzte Weg des Koloman Wallisch», 1936), «Путь через февраль» («Der Weg durch den Februar», 1935) — произведения, посвященные геронческой борьбе австрийских рабочих в феврале 1934 года.

[2] Жанна Штерн (род. в 1908 г.) — немецкая писательница-антифашистка, автор киносценариев, очерков о Вьетнаме и т. д.

тно, чем все, что только можно себе ставить: о кресте, к которому был при- ан пойманный после побега заключен- . Во мне все больше росло — как это вать: желание? — не то, чувство? — не стремление? — совсем не то... Как у че- ека, который, скажем, спрашивает себя, каком месте лучше всего строить, так и мне зрело ощущение, даже уверенность, если я хочу написать о Германии, лучше го взять в качестве главного персонажа человека, который спасся. Я хотела по- ать, почему другие не спасались и поче- спасся этот один. Тут я, наверно, долж- вам сказать еще вот что. Во время моей ездки в Испанию кто-то обратил мое вни- ие на один роман, которого я прежде знала. Вряд ли кому-нибудь придет в ову, но тематически этот роман повлиял мой «Седьмой крест». Может быть, вы чайно знаете классический нтальянский ман «Обрученные»...

Гирнус. Алессандро Мандзони «I promessi osi».

Зегерс. Да, именно. В этом романе на имере одного события как раз дается з всей народной жизни, и я тогда поду- ла, что этот побег — тоже событие, на тором я бы могла дать такой срез.

Гирнус. Это очень интересно. Вы, собст- нно, говорите, что факт спасения одного заключенных имел определенный симво- ческий смысл. То есть что в народе име- сь силы, способные спасти и себя, и Гер- нию.

Зегерс. Да, конечно. Между прочим, ме- часто спрашивают, почему эта книга на ведь вначале была издана на англий- ом языке в США, во времена Рузвельта) звала такой отклик и вне Германии, ведь м знали и с полным правом писали об касах, которые творили немцы. Вероятно, оди увидели по этой книге, что Гитлер режде всего обрушился на свой собствен- й народ, на антифашистов в собственной ране. Люди это увидели и были удивлены.

Гирнус. Затем, при очень тяжелых об- тоятельствах — сначала вы были со свои- и детьми в Вернэ,— вы попали на судно, правлявшееся на Мартинику, к Антиль- им островам. Имеются литературные идетельства и этих пережитых вами со- тий. А оттуда вы попали в Мексику. Что десь произвело на вас наиболее сильное печатление?

Зегерс. Прежде всего сами Антильские строва. Признаюсь, что написала я об нтилах гораздо поздней... Вероятно, это ыла ностальгия, мне доставляло удоволь- твие писать о тамошних людях и тамош- ей жизни. Но кое-что я написала и о Мек- ике[...]

Мексика — это страна, где выражают ебя преимущественно с помощью изобрази- ельного искусства. Если бы там был Гит- ер, он вынужден был бы не жечь книги, соскабливать со стен фрески. Потому что амошние художники изображали историю своего народа на стенах. Я рассказываю б этом, поскольку вы меня спросили, что не там понравилось и почему мне там понравилось. Мне там понравилось чрезвычайно, я многому научилась в этой стране и мечтаю еще раз туда попасть[...]

Гирнус. Ваше творчество очень разнообразно. Большей частью действие происходит в Германии, но оно развертывается также и в Высокнх Татрах, в Австрии, на Антильских островах, в Мексике. Очень многообразны и проблемы, и темы, которые вызывали у вас желание писать. Как вы открываете материал, как вы находите материал? Как попадает в поле вашего зрения та или нная тема: внезапно или не так уж внезапно?

Зегерс. Это бывает совершенно по-разному, и, сказать по правде, мне кажется неверным утверждать, что должно быть либо так, либо вот так. Думается, такого закона не существует ни для одного писателя или художника; для меня его, конечно, тоже не существует. Относительно себя я знаю точно, что его не существует. Нельзя сказать, что вот об этом я должна написать сразу — нередко я знаю материал лишь отчасти, и только спустя лет десять он становится для меня ясней... Но может случиться и так, что о какой-нибудь теме захочется написать поскорей,— например, тот же «Последний путь Коломана Валлиша». Тогда я, разумеется, изучаю предмет, и меня тянет по-репортерски быстро написать об этом. Но еще вопрос, всегда ли то, что написано тотчас, написано хорошо. Вопрос также, всегда ли хорошо то, что бесконечно долго заставляет себя ждать. Бывает по-разному. И я вообще не могу указать никакого правила, как я прнхожу к теме; это невозможно [...]

Гирнус. Хочу задать вам вопрос, чтобы подвести итог нашей беседе. Можно ли сказать, что Октябрьская революция помогла вам осознать свои задачи художника?

Зегерс. Само собой разумеется, она имела для меня огромное значение. Я пишу с тех пор, как научилась держать в руках перо; еще совсем ребенком, когда я учила азбуку и бывала больна, я иногда писала маленькие истории к своим переводным картинкам. Потом я писала сказки, новеллы и тому подобное. Но когда я начала понимать, что происходит в мире — а я вам только что рассказывала, что смысл справедливости по-настоящему открылся мне благодаря Октябрьской революции,— тогда все это, само собой разумеется, перешло в мои работы, и уже невозможна была никакая тема, которая сознательно или неосознанно не была бы в какой-то степени определена чувством революции.

1967

Книги и судьбы

Криста Вольф. Играет ли какую-то, хотя бы косвенную, роль в ваших произведениях биографический элемент?

Анна Зегерс. Я думаю, что о судьбе писателя и о его взглядах можно с предельной ясностью судить по его творчеству, без специальной биографии... Должна сказать, что я написала уже много работ биографического характера, но автобиографической — ни одной.

Вольф. Верно, меня интересует биографический элемент, но не сам по себе, а в той степени, в какой он оказывается преображенным в творчестве художника[...] В своем эссе о Достоевском вы писали о ваших ранних литературных впечатлениях и подчеркивали, например, особое волнение, которое у вас и ваших друзей периода вашей учебы вызвал Достоевский[...] Раз мы уже заговорили о книгах: какие вообще писатели этого столетия оказали на вас влияние? Последнее время было столько дискуссий и споров о традициях и образцах, которым чувствуешь себя обязанным...

Зегерс. Сначала о понятии «традиция». Мне кажется, тут, по существу, не может быть предмета для спора, поскольку ясно: все, что делается сегодня, основано, в частности, и на том, что сделано прежде. Крестьянин, вспахивающий свое поле, опирается на вековой опыт, и трактор отнюдь не делает этот опыт излишним. Наоборот, опыт крайне необходим. И разве вы сами не употребили только что слова «чувствовать себя обязанным»? На меня повлияли многие произведения мировой литературы — и не только немецкой[...] У кого-то я училась, что-то, наверно, в той или иной мере, прямо или косвенно восприняла. Я вряд ли могу представить, как сумела бы жить и писать без некоторых таких впечатлений.

Видите ли, мне трудно быть в этом вопросе совсем точной, и все же я хочу постараться ответить как следует. Для меня оказывались важными самые разные люди и, повторяю, в совершенно разной степени: и Пруст, и Кафка, хоть и не очень сильно, и, разумеется, не только они, но и Бальзак, и Стендаль, и опять же не только они. Они все принадлежали к миру, у которого я училась. И конечно же, не только Дос Пассос, но куда в большей степени Драйзер, куда в большей степени Джек Лондон, в значительной мере Теодор Фонтане. Всех их я хотела читать, все это было нужно, чтобы по возможности больше понять в мире, который меня окружал. Затем я выделяла то, что считала правильным, и то, что мне казалось неправильным, что я считала важным и что неважным.

Вольф. В своем эссе о Толстом вы говорили о том, как путем долгого и сложного процесса преобразуются в произведениях Толстого впечатления внешнего мира. Это относится и к любому писателю, к любому произведению. Меня интересует, как вам стала близкой среда ваших ранних повестей: «Грубеч», «Циглеры», «Восстание рыбаков» — то есть повестей двадцатых годов? Откуда вы знаете эти пролетарские дворы, или ремесленную среду, или этих рыбаков или такой вот остров в Северном море?

Зегерс. Из наших прежних бесед вам известно, что я выросла в небольшом городе, я отнюдь не жительница большого горо Мне приходилось встречаться с разны людьми. Я никогда не была связана с к кой-то средой в собственном смысле. В что меня тогда, маленькую, интересова я видела очень точно.

Вольф. Как-то вы рассказывали о вост ге, который вызвало у вас Северное мо Было ли ваше раннее знакомство с Сев ным морем предпосылкой для написа «Рыбаков»?

Зегерс. Я всегда очень любила море, л лю его до сих пор. Большую ли роль игра эта любовь, я вам со всей точностью ск зать не могу. Часто я не писала о море п тому, что не очень охотно пишу о то что мне нравится и что я люблю, но ч знаю все же недостаточно основательно; ведь не моряк. Определенную роль почти всех моих рассказах и романах играет ре

Вольф. Продолжаю о Толстом и о ваш интерпретации Толстого. Говоря о творч ском процессе, вы часто упоминаете о «тр ступенях»: сначала свежо и непосредстве но пережить действительность, затем попы таться осмыслить ее во всех взаимосвязях наконец, если позволяют талант и услови достичь третьей ступени, когда передума ное становится как бы второй натуро И вы говорите, что у нас, как и повсюду есть художники, которые начинают и ко чают второй ступенью. Как вы это предста ляете и отчего, по-вашему, так происходит

Зегерс. Лучше, чем это сделал Толстой нам не объяснить, самое большее — мы мо жем применить сказанное им. Я думаю так: бывает, что писатели — и молодые у нас в ГДР, да и старые — из ложно по нятой партийности любую частицу действи тельности осмысливают в каждый момент по отдельности. Нет впечатления, что что-то подействовало на них свежо и непосредственно. Не создается также и впечатлени (а это необходимо), что правильно понятое ими стало, как это называл Толстой, на второй натурой. Их писательские работы выглядят так, будто они все время, пока пишут, натужно стараются показать любую отдельную деталь во всех ее социальных взаимосвязях. Но если они действительно хотят быть художниками и если они взрослые люди, это надо преодолеть. Это уже должно стать для них само собой разумеющимся.

Вольф. Мое внимание всегда привлекало то обстоятельство, что вы постоянно, даже во времена наивысшей опасности, обращались к сказочным и легендарным темам и сюжетам. Откуда у вас эти темы и мотивы?

Зегерс. Я и сама не знаю, как приходят те или иные темы,— я их нашла, вот и все. Некоторые я уже знала из сказок и легенд. Кое-какие мотивы я заимствовала, например, миф о Язоне и о корабле аргонавтов.

Вольф. А разбойник Войнок — тоже заимствованный сюжет?

Зегерс. Нет. Если вы захотите потревожить в гробу профессора Фрейда, возможно он отыщет какие-то ассоциации. Но, насколько честно я сама могу о себе судить, эта история — моя находка, и нашла я ее

вно. У меня такое чувство, будто я ее ала всегда. Когда я была маленькой, у ня не было никого, кто бы мне расска вал сказки, тем более такие сказки должна была рассказывать их себе сама.

Вольф. Меня еще интересуют книги, для торых вы предварительно изучали мате ал[...] Вы однажды рассказывали, что ли в Боринаже [1] — отсюда у вас впечат ния о среде, которая играет важную роль «Спасении», то есть в романе о горняках. ило ли это сознательным изучением об новки?

Зегерс. Да. Пожалуй, здесь я должна ъяснить несколько более точно, чтобы пра льно выразиться и быть правильно поня й. Это так называемое изучение, как вы о немного преувеличенно назвали, в част сти, в Боринаже, было предпринято по му, что я еще раньше задумала книгу, уже знала материал — знала приблизи льно; это был роман о безработице. Пос того, как силы этих людей под землей азались исчерпанными, шахту закрыли, они остались без работы. Я спросила бя, как сложилась их жизнь дальше. Но скольку я была в эмиграции, попасть на мецкую шахту я не могла, однако я по вала в Боринаже, в Шарлеруа [2] и тому добных местах, куда я в ту пору имела ступ.

И еще я полагаю, что не меньше, чем нтазия, необходима и очень точная, очень рьезная работа. Во многих случаях, если ворить об исторической теме, нужна трогая хронологическая подготовка[...]

Вольф. Делаете ли вы для таких больших манов, как, например, «Мертвые остаются олодыми», предварительный план, чтобы глядно видеть широко разветвленное южное действие? Пишете ли вы за ы в хронологической последователь сти или вы работаете здесь совсем аче, чем над небольшими рассказами? сна ли вам судьба героев с самого начала ли она меняется по ходу работы, как и ход событий?

Зегерс. Мне кажется, в вашем вопросе единились два. Первый: остается ли неиз енной судьба персонажей или она меняется процессе работы? Думаю, бывает и так и ак. Самое важное для меня остается неиз енным с начала до конца. Но именно по тому, делая своих героев ясней для чита еля, а прежде всего для себя самой, я вы ждена бываю что-то менять — именно для ого, чтобы утвердить важнейшее в судьбе, характере.

Далее, вы спрашиваете меня, придержи лась ли я хронологии в таком большом мане, как «Мертвые остаются молодыми». гда я пишу, я смотрю, что происходило, пример, в Германии в период между дву войнами; затем я представляю, что роисходит за это время с моими героями, чем они думают, что делают.

Вольф. Как вы пишете: от первой главы последней по порядку или, написав от дельные главы, возвращаетесь затем опять к началу?

Зегерс. Нет, пожалуй, я пишу скорей так, как строят. Что я под этим имею в виду? Сначала я делаю фундамент своего дома. То есть, скажем, если я хочу найти, прояснить характер какого-то персонажа, я чаще всего набрасываю сначала для пробы некоторые сцены, основные для характера этого человека, определяющие его поведение в самые важные моменты. И когда я напишу ряд таких сцен и почувствую, что материал схвачен, что я представляю его правильно, тогда я, конечно, могу писать все по порядку с начала до конца.

Вольф. Бывало ли у вас, что события, придуманные вами во время работы, впоследствии оказывались «подлинными»?

Зегерс. Знаете, когда я написала роман «Мертвые остаются молодыми», я некоторое время спустя получила одно письмо. И у меня мороз прошел по коже. Женщина, которую я знала, но за это время потеряла из виду, писала мне, что я, наверно, имела в виду судьбу ее мужа и ее сына. Муж был известным функционером КПГ и как раз в первые годы нацистского режима погиб в Грюневальде. А сын ее, который ходил в ту же школу, что и мои дети, и которого я подавно потеряла из виду, был убит примерно так же, как и его отец. И женщина мне пишет, что я, вероятно, имела в виду ее мужа и ее сына. Но я понятия об этом не имела, я только из ее письма узнала об их судьбе.

Вольф. Вы часто завершаете или продолжаете судьбы героев своих больших романов в более мелких рассказах, например, в таких, как «Конец», «Саботажники» или «Сорок лет Маргареты Вольф».

Зегерс. Да, пока я пишу, герои постепенно становятся мне знакомыми, как близкие люди, так что я ощущаю потребность не расставаться с ними. Я выясняю, как идет их жизнь дальше, когда книга моя уже закончена...

Вольф. В какой обстановке вам лучше всего работается? Где и когда вы пишете? Регулярно и каждый день определенную норму?

Зегерс. Лучше всего мне работается на пароходе или в людном кафе — ни той, ни другой возможности в Берлине у меня, как известно, нет. Почему мне там нравится? Потому, что тогда вокруг меня много людей, я не одна, но этому множеству людей нет до меня дела. Если бы здесь в Берлине у меня было хоть немного свободного времени — к сожалению, у меня его нет, потому что каждая неделя, каждый день с избытком приносят новые дела,— то я обязательно работала бы как положено, каждый день несколько часов. Мне кажется, я в этом нуждаюсь, каждый пишущий человек в этом нуждается... Я иногда себя спрашиваю, что бы сказали врачи, если бы их отрывали от операции, или металлист, или

[1] Боринаж — угледобывающий район в ельгии.

[2] Шарлеруа — бельгийский город, центр ольной промышленности.

плавильщик? Как раз в разгар работы он должен идти к телефону, бог знает зачем.

Вольф. Каждый наверняка скажет, что вы правы, а телефон все-таки будет звонить... Вы однажды заметили: «То, о чем рассказано, уходит в прошлое». В каком смысле «уходит в прошлое»? Речь ведь наверняка идет не о периоде времени, а об «уходящей» проблеме, о внутреннем отношении к этому.

Зегерс. Когда пишешь по-настоящему, то думаешь не о вечном и не о преходящем, это тогда совершенно безразлично, думаешь только о том, как все правильнее, яснее, лучше изобразить. Сейчас уже нет рыцарей, но Дон Кихот ведь не потерял значения. напротив, ветряная мельница стала гигантским символом, хотя поначалу была всего лишь простой мельницей. Не знаю, думал или Сервантес о вечности [...]

Вольф. Вы сказали однажды, что искусство за две тысячи лет породило очень мало основных тем, но вариаций существует множество. Видите ли вы новые, характерные для нашего времени вариации этих вечных тем, достойные, чтобы о них написать?

Зегерс. Да, наши темы — отношение человека к человеку, человеческий труд. Мы, я думаю, еще только начинаем.

1965

История «Карибских рассказов»

28 февраля 1963 года

Дорогая Рената Франке!

Рассказываю вам, как обещала, о возникновении моих антильских новелл. Я уже говорила вам, что ваши вопросы побудили меня все это записать, так далеко зашли мои воспоминания.

Во время второй мировой войны мы отплыли из Марселя к острову Мартиника, чтобы оттуда добраться до Мексики.

Гитлеровские войска оккупировали север Франции. Маршал Петен правил из Виши. Немецкие антифашисты, испанские республиканцы и многие борцы против фашизма из других стран были заключены в концентрационные лагеря и тюрьмы. Тогда правительство Мексики во главе с президентом Карденасом предложило политическим эмигрантам убежище.

Это был тот самый Карденас, который в 1938 году национализировал американские и английские нефтяные компании, беззаконно эксплуатировавшие мексиканские нефтяные месторождения. Об этом рассказано в маленькой истории из моего цикла «Первый шаг».

Так как мы надеялись добраться до Мексики с антильского острова Мартиника, мы выплыли из Средиземного моря в Атлантический океан. Над Гибралтаром стояла дымовая завеса. Мужчины и женщины спали раздельно в грузовых отсеках судна, которые с помощью деревянных перегородок были превращены в спальные помещения. Когда мы через несколько недель прибы на Мартинику, самую западную точку Фр ции, где еще царил режим Виши, и интернировали.

Выяснилось, что прямого судна на Ме сику в настоящее время нет. Наши ви истекали. Мы искали какой-то промежуто ный пункт, чтобы оттуда кружным пут проехать в Мексику (в моем романе «Тра зит» много сказано о мертвенном бюрокр тизме той поры). Удалось раздобыть ви в Сан-Доминго.

Мы отплыли на одном из немногих суд принадлежащих этому маленькому госуда ству. Формально оно имеет собственное пр вительство, но экономически полностью з висит от Соединенных Штатов. Находит оно примерно в двух днях морского пути Мартиники, на одном из Антильских остр вов, который состоит из двух частей: Сан-Доминго и из Гаити. Это две негритя ские республики. Язык Гаити французски Сан-Доминго — испанский. (Гражданам Гаити являются франкоязычные поэты Ж Румен и Жак Стефен Алексис.) [...]

В каждой каюте висела фотография знакомого мне человека: это был Трухиль диктатор Сан-Доминго. Его неизменно в личают «бенефактор», что значит «благ детель». Этот «бенефактор» в голодну пору, когда безработные негры из Гаи пришли на его часть острова, велел их вс прогнать в море. Мы узнали об этом ли гораздо позже.

Передо мной на палубе, обессиленны вероятно, точно так же, как и я, лежали дв женщины-испанки. Они разговаривали по-испански с матросами-неграми. Я слушал их — хотя многого не понимала,— и дл меня вдруг открылись размеры и мощ бывшей испанской колониальной держав размеры конкисты, давних испанских завое ваний, которые привели к тому, что здес в самой дальней точке земли, которой когда-либо достигала, часть населения г ворила по-испански.

Как я уже сказала, я была тогда слишко усталой, чтобы изучать свое окружени Я и в Сан-Доминго уловила только то, чт случайно видела: маленький колониальны город, остатки испанского барокко, совре менные виллы на берегу, за ними убоги лачуги. Я нашла кафе с вентилятором. По ка мы дожидались попутного судна, я част заходила туда писать свою книгу «Тран зит», которую начала еще в Марселе продолжала в пути на пароходе.

(Мне кажется, вопрос «писать ли спуст какое-то время или сразу» ставится в большей части неверно. Роман «Транзит писался примерно в то же самое врем когда происходит его действие. О каком-т впечатлении писатели рассказывают тотчас а иногда о том же — через десятилети Толстой описал свои кавказские впечатле ния, будучи молодым человеком, а уже глубокой старости из этого опыта возни «Хаджи-Мурат».)

Вскоре мы узнали, что в Мексику нельз выбраться из Сан-Доминго, только из Сое диненных Штатов. На этот раз мы был

пернированы на Эллис-Айленд. Пока мы
ы жили, произошло нападение Гитлера на
оветский Союз.

Однажды полицейские доставили нас в
вань на судне, которое шло на Кубу
рез Веракрус. Оттуда поездом мы добра-
сь до города Мехико, лежащего высоко
горах.

Больше я Сан-Доминго не видела. Но
здпее, в Мексике, я получила книгу о Гаи-
и Сан-Доминго. Я узнала историю ост-
ва, который видела своими глазами.
прочла на английском языке биографию
ссен-Лувертюра, одного из самых значи-
льных людей, выдвинувшихся в эпоху
ранцузской революции. До этого я ничего
нем не знала. Мы ужасно мало учим и
аем о событиях и людях Латинской
ерики.

Теперь из этой книги, которую я с жад-
стью прочла, мне стали известны раз-
ные факты, использованные мною снача-
в рассказе «Свадьба на Гаити». Это не
думка, это исторический факт, что сын
рея-ювелира был секретарем у Туссена.
самые трудные времена он ушел с ним
есте в леса. Из той же книги я узнала и
судьбе Саспортаса. Я узнала, что он был
слан Директорией на Антилы из Парижа,
обы содействовать на Ямайке освобожде-
ю английских рабов-негров. Что он был
едан. Что его друг и соратник Дебюиссон
ас свою собственную жизнь ценой приз-
ния.

Я, помнится, собиралась сразу написать
и антильских рассказа. Решилась я на
о после моего возвращения в Германию.
много думала о странах и островах, по-
нутых мною. Они отчетливо стояли перед
ними глазами. Увиденное я дополняла тем,
о узнала из книг.

Сначала в Берлине и в Париже я напи-
ла «Свадьбу на Гаити». С этой целью я
очла довольно много исторических источ-
ков. Отвечу на ваш вопрос: в концепции,
ложенной Туссеном в основу своего го-
дарства, многое напомнпает сегодня о
лодых национальных государствах, кото-
е выросли на месте бывших колоний.
гда я писала рассказ «Свадьба на Гаи-
», наша республика еще не была основа-
, и проводить исторические параллели,
к вы думаете, я не могла. Лишь позднее
которые проблемы нашего собственного
роительства напомнили мне иные пробле-
строительства островной республики во
емена французской революции.

Должно быть, название «Свадьба на
ити» ассоциировалось для меня с «Обру-
нием на Сан-Доминго» Клейста. Не вина
ейста, которого я очень чту, что он мало
ал и мало разбирался в негритянской ре-
люции. Сан-Доминго было для него чем-
фантастическим, экзотическим.

Написать новеллу «На Гваделупу вер-
лось рабство» мне помог случай. После
нгресса во Вроцлаве[1] я была в Варшаве.
ранцузские друзья дали мне перед поезд-
й книгу Шёльхера «Рабство и колониа-
лизм». На Мартинике стоит памятник Шёльхеру, так как во время революции 1848 года он помогал освобождению рабов. Его имя носит гимназия на Мартинике.

Введение к этой книге написал негритянский поэт Сезэр, который выступал во Вроцлаве. Когда я прочла его введение, он уже успел вернуться в Париж.

Наверно, он был удивлен, когда в Париже я спросила его, располагает ли он материалами по истории негров Гваделупы... Он ответил: «Я депутат от Мартиники и Гваделупы, и, к сожалению, у меня нет времени, и должен уезжать». Он дал мне несколько брошюр из своей библиотеки. Я спросила у него о человеке по имени Юг, проводившем, как я знала из книг, освобождение негров Гваделупы.

Сезэр, уже готовый к отъезду, в большой спешке ответил: «Ну да, это он делал довольно хорошо, только кончил плохо».

Я ушла неспокойная. Я спрашивала себя: почему этот Юг плохо кончил?

В поисках ответа я пошла в Национальную библиотеку. Там стоял биографический словарь. Я нашла имя. Из статьи я узнала, что Юг был обвинен в морском разбое. Вероятно, дело было в том, что Юг со своими островитянами задерживал корабли эмигрантов, которые хотели вывезти свои драгоценности и добро. Но не это было тем позорным пятном, о котором говорил депутат Гваделупы. Он перешел к Бонапарту. Он хотел, чтобы Бонапарт утвердил его в чине и должности.

Тот же Сезэр во время нашего минутного разговора сказал мне, что, получив известие о восстановлении Бонапартом рабства, комендант-мулат взорвал себя и свой форт. Об этом я позднее много читала.

Я намеревалась сразу же написать свою третью новеллу, действие которой должно было происходить на Ямайке, английском острове. Я уже знала многое о некоторых из важнейших персонажей. Я начала новеллу, написала несколько страниц, но эти страницы мне не понравились. Я отбросила их и новеллу отложила.

Много позднее, закончив роман «Решение», я вернулась к этой третьей новелле. В общем и целом контур остался прежний: матрос приносит известие о человеке, который в совсем иной ситуации когда-то пожертвовал своей жизнью ради освобождения негров-рабов. Но на этот раз мне, кажется, удалось написать лучше о том, что я хотела. Во всяком случае, писала я рассказ с большой радостью. В библиотеке я нашла много материалов. Из Англии и Франции друзья по моей просьбе прислали мне книги по истории и о путешествиях, которые мне помогли. Пейзажи были мне знакомы. Как я вам уже говорила, важнейшие имена и персонажи рассказа «Свет на виселице» взяты из действительности. В мою книгу вошли некоторые страницы из старых описаний: они довольно рано, как вы

[1] Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту мира, Вроцлав, 1948.

заметили, в 1805 году, были переведены на немецкий язык. Я была рада, что в этом старом переводе вновь смогла найти имена, знакомые мне из первой английской биографии Туссена.

Вот вы и узнали от меня, дорогая Рената Франке, историю возникновения трех новелл. Надеюсь, она сможет вам пригодиться.

Ваша
Анна Зегерс

О «Решении»

Криста Вольф. Ваш роман «Решение» повествует непосредственно о нашей современности. Как, судя по вашему опыту, можно изобразить кусок жизни, еще близкий нам, чтобы он воспринимался как эпизод истории, о котором можно составить точное, законченное представление?

Анна Зегерс. Обдумываешь, как определенные люди, которых можно точно себе представить, действовали бы в определенной ситуации, спрашиваешь себя, как реагировал бы на нее вот этот Роберт или Рихард, в каких событиях с предельной полнотой раскрылся бы его характер. Конечно, я делаю все от меня зависящее, чтобы поставить их в решающие ситуации... Но я принадлежу к числу писателей, которые не слишком хорошо умеют говорить о том, что они пишут, и когда я прочту этот ответ, он мне, возможно, покажется вовсе неверным...

Еще раз: если ситуации, о которых я говорю, описаны точно и ясно, как это было в действительности, с учетом всех известных фактов, тогда они воздействуют как документы. Вероятно, это и есть то, что вы назвали историческим ощущением: я стараюсь сделать из происходящего по возможности простые, ясные документы.

Вольф. А как вы определяете, что событие, которое вы по возможности точно описываете, было именно таким, как вы его увидели?

Зегерс. Социализм — не моя выдумка. Он существует в действительности. Раз я сама сторонница социализма, то, верно описывая действительность, я показываю то, что способствует социализму. Я показываю то, что заставляет одних людей помогать социализму, а других мешать ему.

В нашей жизни есть много разного, и хорошего и плохого. В ней можно заметить и что-то, возможное лишь в наше время, у нас, и то, что существует издавна. Все это вместе входит в книгу, наполняет ее соками и силой, помогает читателю узнать и понять себя.

Вольф. Что бы вы назвали основной темой вашего романа?

Зегерс. Книга называется «Решение». Главным для меня было показать, как трещина, расколовшая мир на два лагеря, оказывает в наше время влияние на любые, даже самые интимные области жизни; брак, семья, работа, так же как и политика и экономика, не остаются в стороне от этого решения. Никому не дано уклониться, каждый оказывается перед вопросом: за кого ты и против кого? Это я и хотела показать на примере разных человеческих судеб.

Вольф. Есть ли прототипы у ваших героев или у некоторых из них?

Зегерс. Я никогда не изображаю точно знакомых мне людей. В литературном образе смешиваются действительность и вымысел.

Вольф. В вашей книге множество персонажей. Вероятно, разным читателям покажутся особенно близкими разные герои. Я, например, больше всего привязалась к Роберту Лозе.

Зегерс. Другие говорили мне, что ближе всего Ридль или Томас... Мне нравится Лозе, потому что ему приходится не легко. К людям, которым все дается легко и которые выглядят слишком сияющими, относишься немного недоверчиво, покуда они не подвергнутся испытанию. Впрочем, у Лозе меня особенно интересовала одна тема, которая в этой книге разработана еще недостаточно... Я имею в виду отношение между способностями человека и его достижениями. Мне это представляется важной для нашего времени темой.

Решение великого вопроса «за или против нас?» выпало на долю Роберта Лозе еще во времена нацизма, оно, стало быть, относится к предыстории романа. В книге речь идет о том, что Роберт, которому за это время пришлось пройти не одну проверку, должен и теперь, когда его класс победил, по-прежнему бороться за то, чтобы остаться на высоте, не расслабиться. Речь идет о том, в состоянии ли он развить свой талант. Станет ли он еще учителем? Не слишком ли он уже стар? Не погубило ли нелегкое прошлое его способностей, хоть он и стремится что-то сделать и тяжело переживает свое отставание? Для общественного строя, в котором живет человек, это важный критерий: имеет ли человек возможность развиваться в меру своего таланта и своих способностей или что-то ему постоянно мешает, отбрасывает его назад. Раньше большей частью было делом случая, попадет ли человек в условия, которые действительно позволят ему идти вперед. Сейчас одаренным людям у нас гораздо легче. Мне кажется, эта проблема связана для людей со многими противоречиями, со многими личными конфликтами.

Вольф. На примере этой проблемы тоже отчетливо видно, как быстро шло наше развитие в последние годы. Читая книгу, я часто спрашивала себя: действительно ли у нас тогда было так тяжело, так трудно? Вероятно, многие читатели дополнят прочитанное своими собственными воспоминаниями. И даже когда действие прерывается, ясно, как оно пойдет дальше: каждый, основываясь на собственном опыте, бессознательно дописывает его. Хочу вас в связи с этим спросить: в вашей книге трое, Рентмайр, Катарина Ридль и Герберт Мельцер, должны умереть?[...] Трех мертвых на нашей стороне мне жалко. Например, Катарина: **должна ли** она была умереть как раз тогда, когда она **решила прийти к нам?**

Зегерс. Я с самого начала рассматривала дьбу этих двух любящих друг друга лю-ей, Катарины и ее мужа, как трагическую. рнувшись с Запада без Катарины, Ридль мал: если бы она пошла со мной, она бы талась у меня надолго, она бы потом, на-рно, вросла в нашу жизнь. Но она не гла идти с ним для пробы: можно быть бо по ту, либо по эту сторону. Она позво-ла страху одолеть себя. Она пришла ишком поздно.

Наверно, кто-нибудь спросит: а какое мне ло до ее судьбы? Я думаю, автор не мо-ет оставлять людей одних. Во время чте-я каждый должен чувствовать: смотри-, вот кто понимает меня, даже там, где бственный муж, где лучший друг, где ть меня уже не понимают. Вот кто знает ои заботы и протягивает мне руку, вот кто о-то знает обо мне. Если бы Катарина здумно и весело перескочила через гра-щу — кто знает, помогла бы она людям к, как это, может быть, делает сейчас? думаю, что судьба героя книги не обяза-льно должна быть сама по себе оптими-ичной, чтобы вызвать оптимизм, правиль-ю реакцию у читателя. Катарина и Ридль ражают что-то очень типичное для наше-времени, людей такого рода много. Мно-е имели и сходную судьбу, но оставались ивы.

Вольф. А Герберт Мельцер? Он тоже дол-ен умереть?

Зегерс. Должен? Что вы под этим подра-меваете? Вы уже заметнли, что я неохот-говорю о людях, которые были для меня жны во время работы. Думаю, с Мельце-м дело обстоит так: это человек, оказав-йся между классами. Вероятно, он мог и не погибнуть. Он колебался, его несло уже далеко. Ну, а поскольку он шел дорогу обратно, он ставит на карту е: жизнь и смерть. После того, как он ре-л прийти к подлинной, не вторичной жиз-, эта жизнь встречает его тотчас со всей щью.

В истории Мельцера для меня было жно еще следующее: трое воевавших в спании, Рихард Хаген, Роберт Лозе и Гер-рт Мельцер, сначала были вместе. Их осало в разные стороны, жизнь их протек-ет в разных странах и при разных обстоя-льствах. Герберт, который попадает в не-агоприятное окружение, не перестает пом-ть о двух других. Он думает, что они ртвы. В действительности оба они живут работают. А ему предстоит погибнуть.

Вольф. Действие вашей книги распростра-ется, как вы сами сейчас сказали, на раз-ые страны.

Зегерс. Да, это хорошо. Многие события, оисходящие в ГДР, сказываются на собы-ях в разных странах. Я сама бывала во огих странах, поэтому вижу связь между бытиями, которые кажутся иногда отда-нными. Я думаю, важно сознавать, что связан со многими странами даже тог-, когда ты не двигаешься с места.

Вольф. Основное место действия вашего мана, где пересекаются важнейшие нити, происходит развитие важнейших персо-нажей — при всем при том, что действие распространяется также на другие страны и континенты,— советская зона оккупации, а впоследствии наша республика. И в ре-спублике — сталелитейный завод.

Зегерс. Не какой-то конкретный завод. Вымышленный.

Вольф. Но вам знакомы сталелитейные заводы?

Зегерс. Да, и в других странах, и у нас. Но недостаточно.

Вольф. Вероятно, вы выбрали сталели-тейный завод потому, что в то время стальная индустрия была важнейшей отраслью нашего хозяйства?

Зегерс. Нет. Сознательно я так не дума-ла. Сталелитейный завод производит такое впечатление, как море или высокие горы, только здесь хозяин—человек. Здесь можно увидеть, как разворачивается его сила; че-ловек, укрощающий огонь, выглядит могу-щественным. Весь этот реальный процесс кажется порой сказочным. Мартеновскую печь не сравнить ни с чем.

Вольф. Знакомы ли вы с техническими проблемами сталелитейной промышленно-сти?

Зегерс. Мне помогали товарищи. Я о мно-гом расспрашивала на заводах. Читала книги. Многое старалась уяснить. Несмотря на это я знаю не много. Конечно, технику можно и нужно изображать поэтически, но в то же время верно... Мы должны, основы-ваясь на собственном ощущении, показать отношение человека к технике, к машине.

Вольф. Какие материалы вы использова-ли для подготовительной работы над рома-ном?

Зегерс. Брошюры того времени, когда происходит действие романа, многие иллю-страции, технические книги. Важным мате-риалом стали для меня газеты, у меня их было много за прошлые годы. Например, «Фольксбетриб»... Когда я их читаю, я знаю, о чем тогда спорили рабочие, знаю также, что тогда читал, например, сам Роберт. Кроме того, я интересуюсь, что писали до меня на близкие темы другие писатели. Когда в голове у меня примерно прояс-няется идея, действие, главные персонажи, я пишу для пробы несколько сцен. Тут я чувствую, что из этого выходит, и у меня самой пробуждается интерес к целому. На этот раз первыми уже несколько лет назад были некоторые любовные сцены Роберта и Лизы. Если я тогда замечаю, что что-то вы-ходит, я двигаюсь дальше, не в хронологи-ческой последовательности.

Вольф. Когда появляются таблицы, кото-рые я у вас видела?

Зегерс. Я люблю для каждого соответ-ствующего года набрасывать таблицу боль-ших и маленьких событий — у нас и в дру-гих странах. Сюда же относятся и действия важнейших героев[...] Я пользуюсь этим для многих работ, даже иногда сказочного ха-рактера. Мне это нужно едва ли не всегда.

1959

АННА ЗЕГЕРС О СЕБЕ И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ

О «Доверии»

Гюнтер Каспар. Можно ли считать «Доверие» продолжением романа «Решение»?

Анна Зегерс. Не в строгом смысле слова. Многие события, которые произошли между этими романами, я опустила. В общем, я думаю, «Доверие» можно читать как самостоятельный роман. Люди и события, которые там происходят, понятны сами по себе.

Каспар. Вы продолжили здесь ряд образов и тем «Решения», сосредоточившись, по-моему, и в географическом, и в политическом отношении на Коссине, на заводе.

Зегерс. Я не совсем с вами согласна. Люди, которые находятся совсем в других местах, могут зависеть от Коссина, быть с ним связанным. Тот, кто в Коссине в первый раз, столкнется там с людьми, которых раньше не видел.

Каспар. У каждого читателя есть свои любимые персонажи. Мне пришлись по сердцу Роберт, Томас и Вальдштейн. В «Доверии» мне ближе всего Ридль. Значительной фигурой стала для меня Элла Буш, и не только потому, что она погибает... Относитесь ли вы, «создательница» этих людей, ко всем им одинаково?

Зегерс. Трудно на это ответить. Симпатии писателя зависят не только от моральных или политических достоинств персонажа. Элла Буш — да, я люблю ее. С благородным, сдержанным Рихардом я сродни-лась. Но мне близки и некоторые своеобразные ребята, которые встречаются на пути всего однажды. Например, эта ужасная и веселая девчонка Пими. Или Бетлер — конечно же, не ангел, но человек, к которого надо принимать всерьез.

Каспар. Мне жаль профессора Берндта, которого интриги Бютнера изгнали из Коссина. Что станет с ним? Означают ли сцены, где вы сталкиваете Берндта с маленьким мексиканцем Мигелем, какой-то поворотный пункт для Берндта?

Зегерс. Спрашивать писателя о будущем его героев — дело довольно рискованное, он ведь не может отвечать как прорицатель. Но все же у меня есть чувство, что Берндт не вернется. Думаю, что он слаб. Берндт проходит мимо Мигеля. У Мигелито есть лишь небольшой эпизод, но можно заметить, что он — в противоположность Берндту — у себя на родине и что Берндт замечает это чувство родины у незнакомого юноши. Мне казалось, что было бы слишком назойливым добавлять к этой сцене что-то еще.

Каспар. Готовите ли вы план третьего романа?

Зегерс. Типичный вопрос газетчика! Я не давала обязательства писать трилогию. Но возможно, если выявятся какие-то взаимосвязи, из этого может получиться третий том. Однако этого может и не быть. Единственно верный ответ: я этого еще не знаю.

1968

Составление и перевод М. ХАРИТОНОВА

ХОСЕ ДОМИНГО

КНИГИ И ЦИФРЫ

Письмо из Мадрида

По статистическим данным ЮНЕСКО, опубликованным в связи с «Международным днем борьбы с неграмотностью», в Испании неграмотные составляют 1,94% всего населения. Это количество распределяется весьма неравномерно по различным районам страны: в то время как в некоторых провинциях, где много городов, такое зло почти полностью искоренено, в других, преимущественно сельских, число неграмотных колеблется между 10% (провинция Хаэн) и 9% (провинция Бадахос). В Испании существовала поговорка: «Голоден больше, чем школьный учитель». Правда, Вторая республика с самого начала своего существования (1931 г.) приступила к созданию многочисленных школ и высоко подняла авторитет учителя, но теперь, почти сорок лет спустя, эта кампания сведена на нет, и трудно возобновить ее, пока общественный уклад испанской деревни страдает от засилия латифундий и от абсентеизма — двух своих вековых недугов.

Но вышеприведенные цифры еще не дают правильного представления о возможном числе читателей. Изрядная часть лиц, отнесенных статистикой к числу грамотных, едва научилась разбирать по складам книги для начального чтения да более или менее разборчиво выводить свою фамилию. От этого еще очень далеко до читателя, способного понять смысл текста, над которым надо поразмыслить. Хотя официальные круги выражают надежду покончить с неграмотностью за два года, эта задача не может быть решена, пока не будет существенно поднят культурный уровень страны. Проект нового закона об образовании, широко освещавшийся в правительственной прессе, сулит реформу, по которой в среднюю школу впервые будут допущены широкие общественные слои. Но подобная реформа окажется эффективной лишь в том случае, если будет сопровождаться мерами, которые обеспечат обязательное начальное обучение; иначе говоря, мерами, которые позволят беднейшим семьям обходиться без заработка своих детей,— разумеется, более чем скромного.

С другой стороны, если обратиться к деятельности издательств, Испания занимает среди стран Западной Европы не последнее место по числу опубликованных произведений — тут она идет следом за Великобританией, Францией и ФРГ. В 1968 г. в Испании было издано свыше 20 000 названий книг и брошюр, однако это нельзя считать большим культурным достижением, ибо малые тиражи сводят число опубликованных экземпляров всего к 123 миллионам, что в среднем составляет тираж, едва превышающий 6000 на каждое название,— цифра весьма низкая по сравнению с упомянутыми странами и даже более низкая, чем в Италии, стране, которая по числу названий стоит позади Испании. Надо к тому же принять в расчет, что часть произведений, изданных в Испании, поступает в продажу в странах Латинской Америки, не способных конкурировать с испанской книгой по причине большей дороговизны своих изданий. А ведь и без того многие произведения в первом издании имеют тираж не выше 3000 экземпляров; если оставить в стороне поэзию, то лишь книги некоторых общепризнанных национальных поэтов — Гарсиа Лорки, Антонио Мачадо, Хуана Рамона Хименеса да еще кое-кого, в виде исключения, - достигают названного тиража

Хочу еще отметить, что в эти данные включены также издания на языках национальных меньшинств — каталонском, баскском и галисийском. Первые два жестоко преследовались по окончании гражданской войны: было даже запрещено пользоваться ими в каких-либо печатных изданиях. Ныне, когда подобные ограничения большей частью отменены, каталонский язык, коренной язык народа с прочными историческими традициями (ведь Каталония — самый мощный промышленный район страны, самый богатый и густонаселенный), стал основой высокой культуры, что отражается в значительном росте числа изданий, составляющих 2,2% от общеиспанской книжной продукции. Нельзя сказать того же о древнем баскском языке, на котором теперь говорит лишь население сельских районов страны басков да известная часть националистов, развернувших активную оппозиционную деятельность в политике, но не в сфере культуры (если не считать отдельных попыток в этом направлении). Галисийский, родной язык ряда лучших писателей XX века, писавших по-испански, переживает сейчас примечательное возрождение, особенно в области поэзии, где он имеет столь славную предшественницу, как Розалия де Кастро.

До сих пор распространению испанской книги в народе больше всего мешает ее дороговизна — из-за низких тиражей и общего направления издательской политики, при которой отдается предпочтение роскошным изданиям в кожаных или матерчатых переплетах, доступным лишь самым зажиточным слоям общества, перед изданиями популярными, «опасными», ибо они могут разойтись среди народа. Несколько лет назад разрешался выпуск полных собраний сочинений некоторых авторов, но запрещалось издавать их отдельными книгами более удобного формата; так случилось, например, с Гальдосом, Бласко Ибаньесом, Мопассаном и Анатолем Франсом. В последнее время испанские издательства, побуждаемые скорее экономическими соображениями, нежели альтруизмом, упростили оформление книг и значительно удешевили их, что, естественно, обернулось ростом тиражей и более широким распространением изданий. Так называемые «карманные» книги за несколько месяцев наводнили книжный рынок Испании, и теперь редкое издательство не выпускает своей карманной серии, куда входят как переиздания нашумевших произведений, так и новые названия. Некоторые фирмы взяли курс на социально-политическую тематику, переиздав в Испании, после стольких лет запрета, даже марксистскую литературу, например, «Капитал» и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Карла Маркса, а также сборник статей Маркса и Энгельса, озаглавленный «Революция в Испании».

Если просмотреть списки бестселлеров, ежемесячно составляемые по данным опроса в книжных магазинах главных испанских городов, то выяснится, что в 1968—1969 годах в каждом из них главное место занимает, по крайней мере, одна книга на тему полового воспитания. Понятен интерес испанцев, столько лет воспитывавшихся в ханжеском замалчивании всего, что касается проблем пола, к такому типу произведений. Но к этому примешивается тяга к эротике, все шире распространяющаяся в капиталистическом обществе; и хотя от этого эротического течения Испания все еще надежно ограждена церковной традицией, которой не коснулись новые течения aggiornamento[1] (несмотря на то, что молодые слои испанского духовенства стремились к этому), все же и наше общество шире распахивает двери эротике, одобряя книги, более или менее проникнутые ею. Некоторые из этих книг стоят на грани слегка завуалированной порнографии, сурово караемой в Испании.

Средн наиболее читаемых сегодня произведений фигурируют также несколько, имеющих прямое отношение к гражданской войне. Через тридцать лет после официального конца конфликта, расколовшего испанцев на два лагеря и стоившего миллиона человеческих жизней, книги, посвященные событиям, предшествовавшим войне, и самим ее превратностям — будь то испанские или иностранные издания, — все еще захватывают огромное число читателей. Правда, гражданская война не представляет большого интереса для молодежи, слишком занятой, как правило, своими собственными проблемами, чтобы обратить взор к тем годам, когда ее не было еще на свете. Но большинству людей, воевавших, сражавшихся почти три года на полях и в окопах той войны, которая послужила прологом к новой, вскоре залившей кровью Европу и значительную часть мира, сейчас уже пятьдесят с лишним лет, то есть это люди, находящиеся в поре полной интеллектуальной зрелости и активно работающие на всех общественных поприщах. Многие из них, сломив долголетнее сопротивление, утвердились среди интеллектуального меньшинства страны, где теперь составляют маленький отряд побежденных, которых по-прежнему волнуют исторические проблемы, связанные с недавним прошлым Испании.

Только так можно объяснить шумный успех некоторых произведений, например, слабой по своему литературному уровню трилогии Хосе Марии Хирональи, вызвавшей настоящую ярость в лагере победивших, для которых неприемлемо любое отношение к причинам и ходу войны, кроме безоговорочного согласия с их точкой зрения; или успех

[1] Обновление *(итал.)*. Имеются в виду течения католической церкви, выступающие за приведение в соответствие с духом времени ее догматики.

романа Михеля Марии де Леры «Последнее знамена» — итогового романа этого плодовитого писателя, начавшего работать над ним после долгого тюремного заключения; или успех недавно вышедшей книги «Три дня в июле» барселонского романиста Луиса Ромеро — широкой документальной панорамы, повествующей о первых днях мятежа против республики. Разумеется, в Испании не были разрешены исторические труды о войне или книги на военную тему Хью Томаса, Джеральда Бренана, Туньона де Лары, Саусворса, Джэксона и Кольцова и романы Макса Луба (его многотомная фреска «Испанский лабиринт» была полностью издана в Мексике); в Испании изданы лишь те произведения Макса Ауба, которые меньше всего вторгаются в сферу политики, и, однако, интересующиеся читают все его книги. Последняя книга Макса Ауба о гражданской войне, «Поле миндаля»,— волнующий рассказ об агонии республиканцев, укрывшихся в конце войны в Аликанте и тщетно ждавших прибытия судов стран, придерживавшихся политики невмешательства,— снискала даже хвалебные отзывы в некоторых наших литературных журналах.

Среди самых захватывающих новинок в списках бестселлеров вот уже много месяцев стоит роман «Сто лет одиночества» колумбийца Габриэля Маркеса[1]. Это художественное произведение представляет собой настоящую эпопею о превратностях судеб латиноамериканских стран, и критика единодушно причислила его к шедеврам литературы на испанском языке. Появление этой книги в Испании, где временно проживает ее автор, стало настоящим событием, которое, можно надеяться, окажет на нашу литературу весьма плодотворное влияние. В самом деле, вот уже несколько лет латиноамериканский роман переживает такой подъем, что стоит теперь выше современного испанского. В известной мере это объясняется поддержкой некоторых испанских издательств, которые, не колеблясь, присуждают самые значительные свои премии романистам с той стороны Атлантического океана. Так, перуанец Марио Варгас Льоса, другой выдающийся латиноамериканский романист, получил премии имени Леопольда Аласа за рассказы (в 1958 г.) и «Библиотека Бреве», специально учрежденную, чтобы поощрять новаторство в технике повествования. Среди лауреатов этой премии фигурируют, в частности, мексиканцы Карлос Фуэнтес и Висенте Ланьеро, венесуэлец Адриано Гонсалес Леон. Растет влияние таких отличных романистов, как кубинцы Алехо Карпентьер и Лесама Лима, мексиканец Хуан Рульфо или аргентинцы Хулио Кортасар и Эрнесто Сабато, чьи произведения всколыхнули инертных испанских романистов, вынудив их покинуть традиционное русло.

Нет нужды повторять, что испанский роман по-прежнему является духовной пищей почти исключительно буржуазных читателей, хотя правильно будет различать крупную буржуазию — землевладельцев и финансовых воротил, а также бюрократическую прослойку, созданную консолидацией господствующего режима, с одной стороны, и либеральную мелкую буржуазию, включающую и изрядную часть интеллигенции — с другой. Наиболее многочисленная группа читателей с живейшим вниманием следит за животрепещущими проблемами литературы и за всякого рода новшествами. Необходимы глубокие, капитальные преобразования, чтобы рабоче-крестьянские массы страны заинтересовались литературой, творимой вне их среды и лишь в считанных случаях сумевшей отразить их нужды и тревоги.

Разумеется, книги на религиозные темы по-прежнему находят в Испании многочисленных читателей. Традиционализм испанского католика, раньше, как правило, замкнутого в рамках своего вероисповедания, отвергавшего все, кроме воинствующей догматики, был сильно поколеблен, и обновленческие течения, возникшие после II Ватиканского собора, нашли благоприятную почву среди наиболее молодой части верующих. Не удивительно поэтому, что ныне в Испании читают труды Тейяра де Шардена и других богословов; некоторые из этих трудов переведены одновременно на испанский и каталонский языки.

Приходится скорбеть по поводу ощутимого пробела в чтении испанцев; я имею в виду чтение классиков, в узком смысле этого понятия, то есть сюда не входят современники, хотя бы и достойные такого звания. Классическая испанская литература, начиная со средних веков, обладает такими богатствами, что ей не приходится завидовать другим национальным литературам; вместе с живописью она являет миру высочайший взлет испанского гения. Блестящая плеяда романистов, поэтов, драматургов, летописцев и эссеистов — от анонимного автора «Песни о моем Сиде» (XII век) до писателей критического направления, писателей-реформаторов XVIII века — составляет литературную сокровищницу непреходящей ценности. Достаточно назвать в подтверждение имена Гонсало де Берсео, Хуана Руиса, Фернандо де Рохаса, Гарсиласо де ла Вега, Луиса де Леона, Сан-Хуана де ла Круса, Терезы де Хесус, Сервантеса, Матео Алемана, Лопе де Веги, Кальдерона де ла Барки, Тирсо де Молины, Кеведо, Гонгоры, Грасиана, Сааведры-и-Фахардо, Фейхоос, Ховельяноса.

---

[1] См. «Иностранную литературу» №№ 6—8, 1970 г.

ХОСЕ ДОМИНГО
КНИГИ И ЦИФРЫ

Вышеупомянутый колумбийский романист Габриэль Гарсиа Маркес недавно в разговоре со мной о «Книге об основании монастырей» Тересы де Хесус сказал, что черпает лексические богатства у классиков, не находя их у нынешних писателей. Но как это ни печально, испанский народ не знает своих классиков; он почти не читает их, а если и читает, то не понимает. Если не считать поверхностного знакомства с высочайшей вершиной испанской словесности, «Хитроумным идальго Дон Кихотом Ламанчским» Мигеля де Сервантеса — книги, которую большинство «проходило» в школе, не вникнув глубоко в ее смысл, а часто даже не дочитав ее до конца,— за вычетом одного-двух плутовских романов, какой-нибудь драмы Лопе де Веги и Кальдерона, средний испанец понятия не имеет о своих классиках, и никто, увы, не стремится восполнить этот пробел. Есть, конечно, отдельные хорошие собрания классиков, но не хватает изданий популярных, с простыми комментариями, которые не подавляли бы читателя эрудицией, с современной орфографией и вступительными статьями, которые давали бы должную оценку автору, освещали эпоху, когда он жил, и помогали сегодняшнему читателю понять проблемы и переживания классика. Столь важное начинание должно было бы исходить от самого государства, при полном отказе от всякой погони за прибылью.

Было бы упущением не назвать здесь громадное количество спортивных журналов и газет, многие из которых имеют колоссальные тиражи — спортивная газета «Марка», например, обладает, быть может, самым высоким тиражом в стране; эта периодика направляет в русло спорта энергию и страсти значительного числа испанцев; но спорта как зрелища, а не занятия для молодежи. Рядом с ними можно поставить романы «ковбойские», детективные и шпионские — низкопробный жанр в стиле североамериканских телевизионных фильмов. Несомненно, этот род изданий весьма выгоден для издательств нашей страны. Большое число приверженцев среди читателей — вернее, читательниц — имеют также иллюстрированные журналы, начиненные всякими сенсациями: репортажами о кинозвездах и недавних принцессах, тоскующих на международных курортах о потерянном престоле. На мало читающую испанскую женщину рассчитан и так называемый «фотороман», имеющий большой спрос, и так называемый «розовый роман» — оба жанра приносят мало пользы для развития культуры.

Справедливость требует отметить растущий интерес публики к технической и научно-популярной литературе, которая вытесняет художественную; но большая часть таких произведений — переводы с языков стран, более развитых технически, нежели Испания.

Коль скоро речь зашла о переводах, не лишним будет упомянуть, что первое место в этой рубрике занимает английский язык (1575 названий в 1968 г.), за ним следует французский (1180 названий), затем немецкий (509), итальянский (255) и русский (свыше 90). Хотя число переведенных русских книг может показаться незначительным, следует принять во внимание, что еще не так давно число это было почти равно нулю. Большая часть этих переводов падает на долю русских классиков, но и многие современные писатели занимают видное место. В каталоге Национальной книжной ярмарки, состоявшейся в Мадриде в 1969 г., значатся двадцать два издания произведений Достоевского — преимущественно «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы» и «Идиот». Достоевский пользуется в Испании прочной славой, которую не поколебали многочисленные перемены во вкусах и эстетических взглядах. За ним идет Лев Толстой — четырнадцать изданий, среди которых выделяются «Анна Каренина» и «Война и мир». В последние годы были также переизданы произведения Горького и Алексея Толстого и очень хорошо была встречена эпопея Шолохова «Тихий Дон». Среди недавно переведенных советских авторов назовем Юрия Тынянова, Симонова, Айтматова, Казакова, Бондарева, Каверина, Александра Бека, Тендрякова, Полевого. Испания располагает в настоящее время группой переводчиков, отлично знающих и любящих Советский Союз и советский народ, так же как русский язык, что позволяет выпускать действительно образцовые переводы. Надо полагать, что взаимный интерес к культуре наших стран еще больше увеличит в Испании внимание к советской литературе и науке.

НАШИ публикации

ТРИ ПИСЬМА ДЖОНА РИДА

С письмами Джона Рида мы почти незнакомы. Единичные публикации, небольшое число извлечений из его переписки в специальных работах о Риде — вот и все, что пока известно читателям.

Между тем эта часть литературного наследия Рида имеет немалую ценность. Письма очень существенно дополняют его книги и журналистику, дают обильный материал для биографа. Они имеют бесспорный историко-революционный и публицистический интерес как документы эпохи, открывают новые яркие факты его жизни и деятельности, проясняют многое в замечательной личности Рида.

В особенности нам интересны все письма Рида, связанные с его пребыванием в России в 1917—1918 годах; с историей создания «Десяти дней, которые потрясли мир» и борьбой Рида в США за правдивое освещение Октябрьской революции и первых шагов пролетарского государства; с последним его пребыванием в Советской стране в 1919—1920 годах.

Мы здесь публикуем три письма Джона Рида, характерные для тех боевых лет.

Первое, от 17 сентября 1917 года (по новому стилю), адресованное Бордмену Робинсону, написано Ридом через несколько дней по прибытии в Петроград (он приехал 4-го или 15-го). Адресат письма — американский художник, близкий друг Рида, который был его спутником в поездке по восточноевропейским фронтам в 1915 году (вместе с ним Рид тогда, без разрешения царских властей, проник с румынского фронта в Россию и был выслан из Петрограда под угрозой военно-полевого суда). Из этого письма к Робинсону («Майку») видно, как быстро и жадно входит будущий автор «Десяти дней» в русскую жизнь («у меня уже тысячи новых друзей»), как он воодушевлен и захвачен нарастанием революционных событий, как жаждет их описать.

Второе письмо, от 16 мая 1919 года, написано Ридом в США через два месяца после выхода в свет «Десяти дней», в обстановке жестоких полицейских преследований антисоциалистического террора. Рид ничего не пишет о полицейских преследованиях. Он обращается к активистам социалистической партии, которым нечего растолковывать, кто их враги. Письмо чисто делового характера. Рид разъясняет, как в сложившихся трудных условиях распространять «Десять дней», почему это в данный момент столь исключительно важно, говорит, что сделано им для того, чтобы удешевить книгу, как продавать «Десять дней», чтобы притом пополнить кассу местных рабочих организаций. Письмо дышит героикой будней, повседневной упорной борьбы.

Третье письмо, из Москвы, от 26 августа 1920 года, адресовано Луизе Брайант, жене и соратнику Рида. В канун своего отъезда в Баку для участия в Съезде народов Востока[1] Рид направил это письмо в Петроград, где со дня на день ждали из США Луизу Брайант, пересекавшую с необычайными трудностями «санитарный кордон», установленный капиталистическим миром против Советской России. Рид называет в письме Н. М. Коллонтай, В. В. Воровского, эстонского коммуниста Виктора Кингиссепа, французского Жака Садуля и других своих близких друзей и знакомых, к которым должна, по приезде, обратиться Луиза Брайант.

В свете недавних попыток в США представить в превратном виде политическую позицию Рида в 1920 году (сблизить его взгляды с взглядами американских анархистов) приобретают особую остроту его строки в этом письме об анархисте Петровском. Речь идет о Петровском (Нельсоне), американском синдикалисте, участвовавшем в 1917 году в Петрограде в Октябрьской революции (Рид упоминает его в «Десяти

[1] Съезд народов Востока в Баку, на котором присутствовало около двух тысяч делегатов, представлявших 32 народа колониальных и полуколониальных стран, продолжался с 1 по 8 сентября 1920 года. Рид принимал активное участие в работе съезда

днях»), но в 1920 году критиковавшем Советскую власть с анархистских позиций. «Давай веры тому, что он будет тебе говорить о Советской России»,— пишет Рид Луиза Брайант.

К тому времени Рид был членом Исполкома Коммунистического Интернационала и одним из наиболее авторитетных и образованных руководителей коммунистического движения в США. К несчастью, ему оставалось жить меньше двух месяцев. Он скончался 17 октября 1920 года в Москве и похоронен у Кремлевской стены.

ДЖОН РИД — БОРДМЕНУ РОБИНСОНУ

Петроград, гостиница «Англетер», 17 сент. 1917.

Дорогой Майк, на несколько дней, пока не удастся найти что-нибудь подешевле (а это не так просто), мы поселились в известной тебе берлоге[1]. Все были, конечно, крайне удивлены, когда появился тот самый тип, которого раз уже выставили из здешних чертогов полицейской рукой.

Дороговизна ужаснейшая; рубль упал до четырнадцати центов; хлеб только черный, совсем сырой; сахару почти нет; раз в десять дней выдают водянистое молоко.

Но города не узнать! Те, что грустили, ликуют, а кто ликовал, грустят. Мы в самом центре событий и, поверь, это — потрясающе. Столько драматического, о чем нужно писать, что я просто не знаю, за что браться; но если только мне суждено, я опишу все это... По колориту, ужасу и величию то, что мы видим здесь, далеко превосходит Мексику[2]. Надеюсь сейчас или несколько позже проехать по всей стране.

Никто не помнит меня, кроме желчных американских корреспондентов и парня в американском консульстве, который был и тогда. Остальные прибыли позже и вполне с нами любезны. Сегодня вместе с Луизой я пошел в английское посольство навестить Брюса, но он вел себя как английский лорд, не предложил даже присесть. Второй раз мы к нему не пойдем. Тебе он просил кланяться. Как все дипломаты, все журналисты и вообще все иностранцы, за вычетом нас двоих, он считает, что здешняя революция не отвечает хорошему тону. Любопытная ситуация! Можешь поверить, что меня здесь встретили замечательно, и у меня уже тысячи новых друзей.

Передай Максу[3], что мне нужно побыть здесь четыре-пять месяцев самое малое; это важно до крайности. Я послал ему Стокгольма три очерка и интервью. Де мне хватит еще на два месяца, конечно, путешествий.

Я написал матери, но не знаю, дойдет письмо. Черкни ей, что у меня все в рядке.

Адрес: дом Викершема, Портленд, шт Орегон.

Луиза шлет вам обоим привет.

Дж

Никто о таком, конечно, никогда еще писал.

ДЖОН РИД—АКТИВИСТАМ МЕСТНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИ В США

Кротон-на-Гудзоне, Нью-Йор 16 мая 1919.

Дорогой товарищ, обращаюсь к Вам ли но и непосредственно по поводу моей кн ги «Десять дней, которые потрясли мир вынуждаемый к этому сложившимися о стоятельствами.

Во-первых, вы должны знать, что за в четом двух-трех случаев капиталистич ская печать молчит о «Десяти днях, кот рые потрясли мир», пытаясь таким образ помешать распространению книги. Книжн магазины отказываются брать ее для пр дажи сколько-нибудь крупными партиям даже в тех случаях, когда имеются предв рительные заказы. Так что ее почти нево можно купить нигде, кроме больших город на востоке страны. Поскольку все эти сте нения представляют собой часть специал но проводимой кампании, ставящей се цель скрыть правду о Советской России о большевиках, я решил обратиться с эт письмом ко всем тем товарищам, которы как мне известно, сочувствуют Социальн революции в Европе.

Во-вторых, я хочу Вам сообщить, что снизили цену книги; цена была очень выс кой из-за того, что в книгу пришлось вкл чить много документов, цитат и обширн приложения.

Для меня лично в денежном отношен неважно, много или мало моих книг буд продано. Я уже свел свою долю дохода минимуму, чтобы снизить стоимость кни сделать доступной читателю. Я знаю, ч цена все еще высока (в рознице два до лара); но в этом нет вины ни моей, ни дателей.

Я пишу Вам об этой книге прежде все потому, что для социалистического раб

[1] Речь идет о гостинице «Англетер» в Петрограде, где Рид с Робинсоном жили в свой первый приезд в Россию. Рид и Луиза Брайант вскоре переменили свой петроградский адрес. В письме к жене Робинсона, отправленном несколько позже, Рид сообщает: «Мы уехали из гостиницы и живем на частной квартире (большая комната, самовар, готовый обед и т. д.) по Троицкой улице, дом 23, квартира 36».

[2] Рид говорит о Мексиканской революции 1910 года. Он отправился тогда в Мексику в качестве журналиста и был свидетелем и участником революционных событий.

[3] Макс Истмен — редактор левого американского журнала «Мэссиз», корреспондентом которого Рид прибыл в Россию.

го движения в Соединенных Штатах исключительно важно знать правду о том, то происходит в Россни, знать, как там ершилась и продолжает свершаться Социальная революция.

Для членов социалистической партии мы ерь устанавливаем специальную цену, ниженную на 40%. Книга будет им продаться по 1 доллару 20 центов. Это делает для того, чтобы социалистнческне организации могли брать книгу большими партиями и продавать местным товарищам и собраннях. Те, кто возьмет от 100 до 250 земпляров, получат еще дальнейшую идку. Как показывает наш опыт в восточных районах страны, книга идет очень успешно, в особенности на митингах, посвященных Русской революции и революционному двнженню в Европе.

Я очень надеюсь, что хотя цена книги все це высока для кармана рабочего человека, Вам удастся распространить ее среди ленов партии и сочувствующих, выручить еньги для Вашей местной организации и, целом, принести много пользы. Говорю ам заранее, что Ваши книжные магазины дут всегда отвечать, что у них нет такой ниги. Но то, что уже известно о книге, и), что Вы сами сумеете о ней рассказать, ожет Вам с выгодой продавать ее не олько партийным товарнщам, но и вообще тающей публике. Издательство Бонн и иверайт (105, Вест, 40-я улнца, Нью-Йорк) ыстро выполнит Ваши заказы, а в случае, ли будет нужен кредит, обращайтесь ично ко мне, и я постараюсь договориться издательством.

С братским прнветом
Джон Рнд

ЖОН РИД — УИЗЕ БРАЙАНТ

Москва, 26 августа 1920.

Моя дорогая, я ужасно огорчен, что не имею встретить тебя, когда ты приедешь в оссию. Я уже был готов выехать в Петроад, а если удастся, то и дальше, на се-ер, чтобы вместе потом приехать сюда. Но ера мне сообщили, что мне надо ехать в аку, на Кавказ вместе с другими членами сполнительного комитета для участня в онгрессе народов Востока. Я подумал, оя дорогая, что и ты, наверно, была бы не очь поехать туда. Я попросил разрешеия остаться и потом догнать их вместе с обой. Но мне отказали. Тогда я просил, тобы тебя отправили вслед за нами. Но и то оказалось невозможным. На юге гражданская война; мы едем в бронированном поезде; никаких других поездов не будет.

Итак, я еду, поручив Кингисеппу телеграфировать мне, как только ты будешь в России, чтобы я мог вернуться сюда при первой возможности. Уезжаем сегодня вечером. Пробудем там дней десять — хотелось бы думать, что меньше.

Я получил все твои последние письма с дороги и ждал тебя с нетерпением. Я очень встревожился, когда вчера вечером мне передали твою записку, что ты из Стокгольма направляешься в Мурманск, ведь за последнее время многих схватили. Наркоминдел повсюду дал телеграммы, чтобы тебя хорошо встретили и как можно скорее везли сюда.

Когда ты будешь в Москве, то сразу иди в гостиницу «Деловой двор» и спроси там коменданта; с ним договорено, чтобы он дал тебе комнату. Также пойди к Розенбергу в Наркоминдел, в помещении гостиницы «Метрополь». Рейнштейн живет в Первом доме Советов (гостиница «Националь», где мы с тобой жили в 1917-м); его комната — 214. Этель Бернстайн живет в отеле «Савой» и работает в Наркоминделе в отделе у Розенберга.

Коллонтай в «Национале» и Балабанова тоже, если только она в Москве (хотя нет, кажется, она живет в «Деловом дворе»); Балабанова тебя очень любит. Воровский живет в Кремле, ты легко узнаешь, где именно. Он тоже к тебе прекрасно относится. Не знаю, здесь ли сейчас Жак Садуль,— узнай у Боди, который работает в Петрограде у Кингисеппа,— если Садуль здесь, повидайся с ним. Он тебе непременно во всем поможет.

В Петрограде в «Астории» можешь найти Петровского (Нельсона). Он — ничего, но не давай веры тому, что он будет тебе говорить о Советской России.

Быть может, тебе будет удобнее обождать меня в Петрограде; тогда я вернусь с юга и встречу тебя сам.

Даже трудно сказать, как я жажду увидеть тебя, моя дорогая. Словно прошли годы...

Меня заботит одно. Скоро пора возвращаться домой, а пересечь отсюда границу крайне трудно, и особенно женщине. Вот почему я так старался тебе передать, чтобы ты ждала меня по ту сторону. Но когда я узнал, что ты все-таки едешь сюда, я был страшно рад, что скоро тебя увижу.

Я люблю тебя всем сердцем, моя дорогая, и счастлив, что мы увидимся.

Твой Биг[1]

[1] Большой *(англ.)*. Кличка Рида.

Публикация, перевод с английского и комментарии А. СТАРЦЕВА

ПУБЛИЦИСТИКА

У. РАЙАН,
С. САММЕРЛИН

ОБЛАКО НАД КИТАЕМ

Основу книги американских журналистов Уильяма Райана и Сэма Саммерлина, отрывки из которой публикуются ниже, составляет биография ведущего китайского ученого-ракетчика Цянь Сюэ-шэня, получившего образование в США, более двадцати лет занимавшегося там проблемами космонавтики, удостоенного наград и титула полковника военно-воздушных сил США, а затем высланного из США и выехавшего в Китай, где в мае прошлого года он был введен в состав ЦК КПК.

За последние годы имя Цяня не раз появлялось на страницах мировой печати. Интерес к личности этого «китайского Вернера фон Брауна», как его окрестили западные газеты, вновь оживился в связи с запуском первого китайского искусственного спутника Земли, к которому он имеет непосредственное отношение.

Авторы книги «Облако над Китаем», вышедшей в свет в 1967 и переизданной в 1968 году,— сотрудники американского агентства Ассошиэйтед Пресс. Позиция их — охранительная по отношению к интересам американского империализма — в конечном счете вполне согласуется со взглядами тех, кому они служат. Однако фактический материал, собранный в их работе — в известной части достоверный и злободневный,— не умещается в рамки их собственной концепции.

В недавно напечатанной заметке[1] выходящая в Париже американская газета «Интернэшнел геральд трибюн», вновь обращаясь к подробностям высылки Цяня из США, обошла при этом полным молчанием историю длительного преследования его маккартистами, собственно и приведшего, как показывают авторы «Облака над Китаем» и материалах судебного процесса по делу Цяня, к его аресту и последующей высылке из Соединенных Штатов наряду с другими китайскими специалистами и сыгравшего таким образом, немаловажную роль в дальнейшем укреплении ядерного потенциала Китая.

Авторам книги к моменту ее завершения, видимо, не было ясно, к какому берегу прибьют Цяня волны «культурной революции», разбушевавшиеся после его возвращения на родину. Обрывается она текстом посланной в Америку открытки Цяня с туманной фразой о «цветах, которые цветут и в ненастье»...

«Жэньминь жибао» воспроизведет другие его слова — свидетельство эволюции, закономерно завершившей путь националиста,— о «короткой дороге», которой, «избегая ошибок», следуют ученые, если они «руководствуются идеями Мао Цзэ-дуна, как командной силой», об «успешном взрыве первой атомной бомбы», позволившем «поразить мир»...

Примечательная невольной «полемикой» с нынешней позицией американской газеты, книга Райана и Саммерлина заставляет задуматься над не менее примечательными причинами и следствиями превратности судьбы высоколобого технократа, начавшего с рассуждений о гуманных целях науки.

16 октября 1964 года. Ровно в три часа дня по пекинскому времени громадный огненный шар опалил осеннее небо над Синьцзяном, отбросив мрачный багровый отсвет на унылые просторы пустыни Такла-Макан. Ветер пронес отравленное грибовидное облако над Монголией и дальше на восток к Японии.

Ученые на станциях наблюдения от Дальнего Востока до Алеутских островов и Мэриленда, замерев, следили за бешеными скачками сейсмографов. Чувствительные приборы чертили электромагнитные импульсы далекого ядерного взрыва.

[1] См. журнал «За рубежом» № 19, 8—14 мая 1970 г.

Американские самолеты-шпионы «У-2», кравшиеся высоко над Китаем, втягивали свои чувствительные носовые воздухозаборники радиоактивные осадки. Американский спутник-шпион проносился на громадной высоте над пустынным северо-западом тая. Его мощная оптика с высоты двухсот миль была нацелена на район Лобнора и леные пески Такла-Макана.

За тысячу миль оттуда американский инженер в космическом центре нажал на опку, включив сложное переплетенье камер на летящем по орбите спутнике. Чувительные объективы нащупали огненные тайны Такла-Макана и засняли на пленку вное событие этого дня.

На другой стороне земного шара, в Вашингтоне, светилось лишь несколько окон. льшинство американцев спало глубоким сном, когда в предрассветной тишине в нтагоне и Белом доме задребезжали телефоны. Они принесли новость. Пятое госурство в мире только что взорвало атомную бомбу.

За три недели до китайского дебюта государственный секретарь Дин Раск опубковал заявление, предсказывающее китайский взрыв. Это дало возможность подгоить американцев к новости и успокоить нервы. Раск заверил американцев в том, что зрыв первого устройства не означает наличия запасов ядерного оружия и современ их средств доставки».

Реакцией, типичной для многих, был отклик одного уважаемого научного журла, который сообщил, что, согласно оценке специалистов, красный Китай «не будет ть таких достаточно эффективных средств доставки, как ракеты, которые могли бы му-либо угрожать, до середины 70-х годов... До того времени, пока Китай не в сояние донести бомбу дальше своего двора, по мнению наблюдателей, нет причин я тревоги».

Президент Линдон Б. Джонсон сказал: «Военное значение этого не должно переениваться. Много лет и большие усилия отделяют испытания первого ядерного тройства от создания запасов надежного оружия с эффективной системой средств ставки».

Но некоторые в США уже тогда поспешили выразить свою озабоченность.

«Песок времени может похоронить нас, если мы будем проводить страусовую литику в вопросе о значении ядерного дебюта красного Китая»,— заметил р Ральф Лэпп, сыгравший значительную роль в Манхэттенском проекте, результам которого явилось создание первой американской атомной бомбы.

Впрочем, вряд ли американцы помнили, что сами Соединенные Штаты внесли малый вклад в ядерную программу Китая.

В середине 60-х годов американцы уже почти забыли эпоху истерии, которая, дившись в первые месяцы 1950 года, с началом корейской войны выросла в волну рахов и подозрений, поднявшую на своем гребне такую всемирно-известную фигуру, к сенатор Джозеф Маккарти, которому под кроватью каждого американца мерелись подрывные элементы. Обстановка, сложившаяся в США в разгар холодной йны, во многом явилась причиной, заставившей Америку попросту выгнать в красный тай многих опытных специалистов китайского происхождения. Их знания соединили омную бомбу с китайской ракетой, создали водородную бомбу и привели китайских енных на путь создания ракет среднего радиуса действия и межконтинентальных ллистических ракет.

Но ученые-то помнили, что в Китае находятся такие люди, как специалист по ратам Цянь Сюэ-шэнь и физик-ядерник Чжао Чжун-яо, у которых были причины ненадеть Америку после того, как когда-то они любили ее.

Чжао мог бы мысленно вернуться к тому дню, когда он вырвался из клещей ериканского закона и летел в свой родной Китай, обогащенный знаниями и секреии, накопленными за время участия в американских ядерных испытаниях; Цянь мог вспомнить, как он провел пять лет в одиночестве и забвении, осужденный и отргнутый американцами, для которых он столько делал.

Чжао и Цянь могли поразмышлять с мрачным удовлетворением о том, что их звращение в Китай так же, как приезд других талантливых китайцев, во многом дрешил качество и сроки выполнения китайской ядерной программы и окончальное соединение боеголовки с ракетой. Пусть и охотники на ведьм в США поразслят над плодами своего сверхпатриотического рвения и увлечения тотальной зопасностью.

Кое-кто в США может с горечью вспомнить, как в тот период неразберихи и гнания духов один из членов федерального правительства сказал о Цяне: «Я скоо пристрелил бы его, чем выпустил из страны. Он слишком много знает».

Но Цянь уехал. Уехал и Чжао. Уехали другие талантливые китайцы, взращенные период с 1930 по 1950 год в самых знаменитых колледжах США. Они увезли с собой юго горечи и большое количество информации.

Для Чжао Чжун-яо, физика, который в свое время присутствовал в качестве официального наблюдателя на американских ядерных испытаниях на атолле Бикини, и для которых его китайских коллег история их пребывания в США закончилась бегством

от американских властей, тщетно пытавшихся помешать им. Другие китайские стипе
диаты и ученые незаметно исчезали с американской сцены.

С. Ш. Цянь, как он называл себя в США, собирался стать американским гра
данином и посвятить свои исследования новой отчизне. Стук ФБР в его дверь вдр
безги разрушил эту мечту.

Однако история тихого гения ракетостроения из Шанхая началась задолго д
того, как Цянь Сюэ-шэнь возмечтал поехать в Соединенные Штаты. Она началась в
заре жаркой эры в истории Америки, эпохи, окрашенной Великой депрессией, зате
страшным кровопролитием второй мировой войны и последовавшей за ней глобал
ной политической войной.

Китайскому мальчику Цянь Сюэ-шэню, которого отец готовил к научной карьер
было десять лет, когда на противоположной стороне земного шара в Сан-Луисе, шт
Миссури, рослый молодой ветеран первой мировой войны обдумывал способ прим
нения своих особых талантов. Возможно, если бы парень из Сан-Луиса не был т
захвачен мечтами о Калифорнии, все пошло бы по-другому. Но Уильям Ф. Хайн
принял решение. Он едет на Запад. Через пятнадцать лет молодой китаец тоже пр
нимает решение. Он тоже поедет в Калифорнию.

Мельница судеб закрутилась. Мелкие и разрозненные факты истории постепен
но вставали на свои места.

Уильям Ф. Хайнс был патриотом. Ему едва сравнялось семнадцать, когда он д
бровольцем записался в армию Соединенных Штатов. К началу первой мировой войн
он уже был произведен в лейтенанты. К концу войны он потерял большой палец в
правой руке, правда, не в бою, а в мотоциклетной аварии. После увольнения из арми
в 1919 году Хайнс не находил себе места, а на Западе лежала манящая Калифорни

Молодой верзила поехал туда и в конце концов нашел прибежище и призвани
в управлении полиции Лос-Анджелеса. Его армейское прошлое очень помогало ему
Офицерская властность, уверенная манера держаться и рвение карьериста спосо
ствовали быстрому продвижению по службе.

Как и многие люди его времени, Хайнс был загипнотизирован призраком бол
шевизма. В коммунистах он видел потенциальных возмутителей спокойствия и угроз
американскому образу жизни. Он ненавидел само слово «коммунист». Заметив эт
и принимая во внимание его усердие, начальство предложило ему снять значок и пи
столет и потереться среди коммунистов.

Хайнс пробрался в забастовочный комитет ИРМа и стал его секретарем. Он внед
рился настолько глубоко, что даже стал редактором «Забастовочного бюллетен
ИРМа». Он выжидал удобный случай и дождался своего часа. В 1923 году ирмовц
призвали к общенациональной забастовке.

Билл Хайнс искусно сыграл свою роль. Забастовка в Южной Калифорнии был
задушена. Сбросив маску, Хайнс, для которого все ирмовцы были коммунистами, вы
ступил с показаниями против руководителей организации. Он немало потрудился дл
окончательного разгрома ИРМа в Южной Калифорнии.

В полицейском управлении коллеги прозвали его «красным». Это была дань ег
личному участию в борьбе против коммунистов, которая велась «красным отделом
лос-анджелесской полиции.

В 1924 году «красный» Хайнс впервые встретил Уильяма Уорда Кимпла. Это был
своего рода историческая встреча. Хайнс искал подходящий материал. Кимпл инте
ресовался работой разведывательных служб, и что-то в этом высоком молодом чело
веке с настороженным взглядом заинтересовало Хайнса.

Хайнс пригласил Билла Кимпла в «красный отдел». Придется ли Кимплу по душ
работа разведчика? Вскоре Кимпл стал надежной опорой капитана Хайнса.

В те дни было нелегко завоевать доверие ставших подозрительными левых. Кимп
превратился в потертого автомеханика, не принадлежащего ни к какой партии и обо
зленного на всех и вся.

Это была мрачная и неблагодарная жизнь, но он был ревностным служакой
Кроме того, всегда рядом была Клара. Когда Кимпл впервые встретил эту вдову по
лицейского комиссара, она служила секретаршей в полицейском управлении. Вскор
она стала его незаменимой помощницей. Умная и обаятельная, она преуспевала боль
ше, чем он, в завоевании доверия левых.

Билл Кимпл и Клара любили друг друга, но начальство возражало против е
женитьбы, опасаясь, что брак помешает ее службе.

Клара очень понравилась Хайнсу — настолько, что он взял ее на службу в каче
стве осведомителя.

Голливудская ячейка приняла Клару в члены компартии под партийным именем
Клара Освальд. Это случилось в 1927 году. А через год благодаря дружбе с Кларой
в партию проник Уильям Кимпл, известный под кличкой Билл Уорд. Ему сказали, чт
поскольку он ходит вместе с Кларой на все собрания и слушает все, о чем там гово
рят, то он вполне может перейти из «сочувствующих» в члены партии.

Вскоре пришла «черная пятница», день, когда курс биржевых акций рухнул

ану охватила паника. Один за другим прогорали банки, закрывались предприятия. рмеры разорялись...

Капитану Уильяму Ф. Хайнсу и его «красному отделу» не приходилось сидеть жа руки. Кризис, безработица и очереди за хлебом всколыхнули страну. Коммуни- Лос-Анджелеса, как и всей Америки, вели борьбу за интересы безработных. мпл регулярно докладывал начальству об их тактике.

Для Хайнса коммунисты всегда были врагом номер один.

Позже Кимпл вспоминал: «Если бы ему позволили, Хайнс еще тогда уничтожил коммунистическую партию в Калифорнии. «Красный» ходил бы туда, где они собиотся, разгонял бы демонстрации, доставал списки участников и арестовывал бы их любому поводу, к которому он смог бы придраться,— даже за плевок на тротуар».

Для своих соседей Хайнс оставался обычным, богобоязненным государственным жащим, жившим хорошо, но не напоказ. Если у него и были какие-то проблемы, держал их при себе.

Двадцать лет плели Хайнс и Кимпл свою сеть. В конце концов эта сеть будет заошена в мрачное американское море подозрений и истерии, чтобы выловить жертпопавшие в нее.

■

По студенческой визе Цянь впервые приехал в США в сентябре 1935 года, с тем бы учиться там два года с правом остаться еще на год. Он выбрал Массачусетский нологический институт в Кембридже и занялся подготовкой диссертации по аэротике. Спустя год он получает ученую степень магистра и решает уехать на Запад, бы встретиться с человеком, с которым он еще не был знаком, но который был кумиром.

Цянь без колебаний согласился на предложение д-ра Теодора фон Кармана аться в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Не будь этого реше, быть может, и не пересеклись бы в конце концов пути С. Ш. Цяня — молодого ного из Шанхая и пути Уильяма Ф. Хайнса, из Сан-Луиса, рьяного охотника за мунистами.

Ненаучному миру имя фон Кармана почти ничего не говорило. Для людей, не занных с наукой, фон Карман до самой своей смерти в 1963 году оставался незаным венгерским эмигрантом, преподававшим в Калифорнийском технологическом итуте. Однако для мира науки фон Карман был светилом первой величины. Цянь ходил фон Карману, и он тут же взял его к себе.

Цянь с головой ушел в работу и говорил знакомым по институту, что собирается идти дальше по пути, проложенному его учителем.

В то время приток студентов из Китая в Соединенные Штаты был весьма незначителен, в Калтехе (Калифорнийском технологическом институте) их вообще была стка. И тем не менее мало кого из них Цянь знал близко. Так, например, он ько слышал о том, что в институте работал еще один китайский ученый, который ими открытиями в области физики создал себе имя еще за десять лет до приезда я в Калифорнию. Исследованиями по основным проблемам ядерной физики Чжао ун-яо завоевал блестящую репутацию в Калтехе.

Однажды Цянь с двумя коллегами ощупью пробирался между рядами на свои ста в темном зале кинотеатра. Шепча каждую секунду «простите, пожалуйста», они и в середине ряда на свои места. Граждане Пасадены слева и справа с нескрываей враждебностью смотрели на молодого китайца.

Цянь видел, как человек с крайнего в ряду кресла поднял руку, подзывая билея. Они пошептались о чем-то, и билетер, посмотрев в сторону Цяня, кивнул голоБилетер подошел к Цяню и сидящим с ним и тронул китайца за плечо.

— Прошу извинить меня, сэр,— сказал билетер с преувеличенной вежливою.— Не смогли бы вы пересесть?

— Почему? —позволил себе спросить Цянь.

Билетер объяснил. Люди, сидящие рядом, не хотят находиться в одном ряду с айцем. Цянь и его друзья поднялись и покинули зал. Этого эпизода он никогда забывал.

Не удивительно поэтому, что Цянь искал общества людей, которые принимали его таким, как он есть, а не судили бы о нем по цвету кожи. Он сходится с ом Вейнбаумом.

Цянь впервые встретил д-ра Вейнбаума в Калтехе. Молодой китайский ученый и новый товарищ по институту живо интересовались одними и теми же областями ки. Сидней Вейнбаум, подобно Цяню, оказался страстным любителем музыки.

Вейнбаум, эмигрант из России, бывший на одиннадцать лет старше Цяня, полууниверситетский диплом в Калифорнии, а затем проработал четыре года в химиой компании. Вернувшись в Калифорнийский технологический в качестве научного рудника, он в тот же год защитил с отличием диссертацию по физике.

Цянь все чаще и чаще стал заглядывать к Вейнбауму, он знал, что там его всегда т интересная беседа и отличная коллекция пластинок.

Иногда на этих вечерах Цянь встречался со знаменитым физиком Малиной и его ой Лилиан, студентом-биохимиком Джоном Дубновом и его женой Белл. Бывал на

них и Фрэнк Оппенгеймер, брат знаменитого физика Роберта Оппенгеймера. Фр
играл на флейте, и ему блестяще аккомпанировал на рояле д-р Вейнбаум.

Ядром этой группы было то, что в партии называлось «ячейкой-122». Факты с
детельствуют о том, что Цянь вряд ли мог знать даже о ее существовании. Ячей
была создана где-то в 1936 или 1937 году. Тщательно зашифрованные документы п
тии не дают ответа на то, кто и когда организовал эту ячейку. Некоторые из тех,
принимал участие в этих встречах, знали о связях знакомых д-ра Вейнбаума с парти
другие не были в это посвящены.

Под эгидой «ячейки-122» собиралась самая разнообразная публика. Несколь
врачей, химик, один аспирант, художник с киностудии; принимал участие в этих вс
рах, как было упомянуто, и Фрэнк Малина — жизнерадостный человек, уверенн
в том, что однажды он сможет послать ракету на Луну.

Цянь любил приходить к этим людям, так как они с симпатией относились к
родному Китаю. Цянь часто говорил своим друзьям, что он считает себя своего ро
полпредом Китая в Соединенных Штатах и поэтому должен вести себя так, чтоб
ничто не бросило тени на его страну.

Обязанности сборщика партийных взносов в конце 30-х годов в Лос-Анджел
выполняла не кто иная, как Клара Освальд. Клара, а теперь и Билл Кимпл, тоже ст
ший партийным функционером, пользовались доверием партии. С 1935 года Ким
был помощником председателя мандатной комиссии. Билл Кимпл знал все о верб
щиках и их работе. Он имел доступ ко всем документам, которые те сдавали д
пересылки в вышестоящие партийные органы штата в Сан-Франциско. В обязанно
Кимпла входило заполнение карточек на вступающих в партию. Часто Билл вмес
с Кларой ездили по ячейкам, проверяя состояние уплаты партийных взносов. За в
годы тайной полицейской службы Билла Кимпла в компартии Цянь ни разу не попад
в поле его зрения. Естественно, и Цянь не имел ни малейшего представления о суш
ствовании Кимпла или Хайнса.

К тому времени, когда над Европой нависла угроза войны, Цянь с отличием з
щитил диссертацию в области аэронавтики и математики и успешно работал вмес
с Фрэнком Д. Малиной в области ракетных исследований.

Гитлер направил нацистские полчища в Польшу. Англия и Франция объяви
войну Германии. В Соединенных Штатах раздавались голоса в пользу нейтралите
Некоторое время мир наблюдал на западном фронте то, что было названо «страни
войной» или «сидячей войной». Ничего не происходило. Франция чувствовала себя
безопасности за линией Мажино. Но вот гитлеровские армии неожиданно вторгл
в Бельгию и Голландию, а затем во Францию.

Эти события ускорили подготовку Соединенных Штатов к войне. Калтех вел эк
перименты в широком масштабе.

Жизнь ученых в Пасадене быстро менялась. То, что раньше называлось «Аэр
джет инжиниринг корпорейшн», получило новое название — «Аэроджет дженерал ко
порейшн». Со временем ей предстояло сыграть важную роль практически во во
американских космических программах. Корпорация была зарегистрирована в мар
1942 года с доктором фон Карманом в качестве президента, казначеем был избр
Малина, а вице-президентами Парсонс, Форман и Мартин Саммерфилд. Трое посл
них почти полностью посвятили себя исследованиям в области твердого и жидко
топлива для ракетных двигателей. Цянь занялся секретными исследованиями в облас
аэронавтики. С д-ром Сиднеем Вейнбаумом он больше не встречался. Тот уехал
восток для работы в военной промышленности.

Исследованиям фон Кармана и Ф. Д. Малины в области ракет придавалось ес
более важное значение в связи с сообщениями английской разведки о создании но
цами ракетного центра в Пенемюнде. Д-р Цянь был привлечен в качестве эксперта
работам, проводимым фон Карманом, и к подготовке доклада для ВВС относитель
перспектив создания летательных аппаратов дальнего радиуса действия с ракетны
двигателями. Этот доклад, направленный в Вашингтон в ноябре 1943 года, носил гр
Лаборатории реактивного движения.

Фон Карман был срочно вызван в Вашингтон. Генерал Арнольд попросил е
организовать научный совет при начальнике штаба американских ВВС. В функц
этого совета будет входить исследование перспектив использования авиации в будущ
войнах. Фон Карман, передав руководство компанией Ф. Д. Малине, выехал
столицу.

«Из всех экспертов, которых я в 1945 году предложил для работы в научно
совете при ВВС,— позже напишет в своих мемуарах фон Карман,— мой др
С. Ш. Цянь в свои тридцать шесть лет был бесспорным гением, чьи работы явили
громадным вкладом в достижения в области аэродинамики высоких скоростей и ре
тивного движения. Вот почему я предложил его в качестве члена научного совет

Цянь принял это предложение. Ему было присвоено звание полковника ВВС СШ
После капитуляции Германии фон Карман и Цянь вылетели в Шварцвальд прощупа
тех, кто имел отношение к производству наводивших страх самолетов-снарядов «фау

ау-2», которые в конце войны были использованы для бомбардировки Англии. осмотрел созданные немецкими учеными аэродинамические трубы и был одним х, кто рекомендовал аналогичную программу исследований для Соединенных ов.

Америка обласкала Цяня, особенно за его деятельность во время войны. Военинистерство и ВВС объявили ему благодарность за «достойную гражданскую бу», отметив его «выдающиеся заслуги при исполнении долга». Он также получил дарность артиллерийского управления ВВС «за выдающиеся заслуги, проявленна посту руководителя группы в Лаборатории реактивного движения Калифорого технологического института в период с сентября 1939 года по сентябрь года».

Джеймс Б. Конант и Ваневар Буш из управления по научным исследованиям вали Цяню официальное письмо, где отмечалось его участие в работах, организных управлением, которые «послужили вкладом в успешное завершение второй вой войны».

«От имени правительства Соединенных Штатов Америки,— говорилось там,— мы чаем Ваши выдающиеся заслуги при исполнении служебного долга».

В дополнение ко всем этим наградам Цянь получил официальную благодарность боты в области применения ядерной энергии в реактивных двигателях.

Д-р Малина и д-р Саммерфилд, вооруженные теперь результатами испытания ты «Капрал» и той подробной информацией, которую они получили от Цяня и фон ана о немецких ракетах «фау-2», начали серьезно изучать перспективы космичеполетов.

Цянь был назначен вначале ассистентом, а затем адъюнкт-профессором кафедры навтики в Калифорнийском технологическом институте, но в 1946 году он полувание профессора в Массачусетском технологическом институте и покинул Калию. Цянь уехал на восток в Массачусетс, а двое других ученых — Ван Гань-чжан Ло-гэн едут на запад; еще один, по имени Чень Вэй-чжан, уезжает из Калии в чанкайшистский Китай. Все трое в дальнейшем сыграют важную роль в бе д-ра Цяня.

В Массачусетсе Цянь не занимался секретными разработками. В то время с американскими ядерными экспериментами был как никогда тесно связан его коллега и чественник физик Чжао Чжун-яо. Как уважаемый и признанный специалист-ядер проживший в Соединенных Штатах двадцать лет, Чжао считался своим среди американских ученых. Он ассимилировался в США, слился с американской средой, и к относились дружелюбно. Его приняли, ему доверяли.

Спустя некоторое время Цянь получил письмо из чанкайшистского Китая с изве о смерти матери. Теперь Цяня беспокоила судьба шестидесятисемилетнего отца вестки, живших в Шанхае. Он не видел их уже двенадцать лет. Он решает дить в Шанхай.

■

В Шанхае, в доме 111 по улице Ю-юань за двенадцать лет мало что изменилось, в самом городе было не много перемен.

Цянь пустился на поиски бывших студентов д-ра фон Кармана, которые теперь тали в Китае, чтобы иметь возможность потом рассказать о них своему коллеге. в же он встретился с Юнь Цзян, которую не видел уже много лет. Отец Юнь мал важный пост в чанкайшистской армии, и за эти годы она имела возможность чить все, что хотела, включая европейское образование.

Они поженились летом 1947, и какое-то время Цянь всерьез собирался обоснося в Китае. Он был рекомендован в президенты своего родного Цзяотунского рситета, но чанкайшистский министр просвещения счел, что тридцативосьмилетний слишком молод, чтобы занять столь высокий пост, и его кандидатура была отена.

Жизнь в Китае угнетала Цяня. В своих письмах к фон Карману и другим он в ном свете обрисовывал условия, с которыми столкнулся во владениях Чан Кай-Через три месяца он понял, что его пребывание на родине, пожалуй, затянулось. решает вместе с женой вернуться в Соединенные Штаты. 26 сентября они са в самолет, летящий через Гонолулу в Америку.

Вернувшись в Соединенные Штаты, Цянь признавался друзьям, что не сомнеся в непрочности режима Чан Кай-ши, держащегося последние дни. Он предскал, что победа Мао Цзэ-дуна и коммунистов в гражданской войне — лишь вопрос ени.

Цянь вернулся в Калтех в то время, когда другие китайские ученые в Соединен Штатах, Ван Гань-чжан, например, уже укладывали вещи, готовясь к отъезду тай. Казалось, Цянь решил навсегда осесть в Соединенных Штатах. Его первый нок, сын Юн-ган, которого он называл Юкон, родился американцем, а сам Цянь лнил декларацию с просьбой о предоставлении ему американского гражданства. щее рисовалось ему в самом радужном свете.

Калифорнийский технологический и Принстон наперебой приглашали Цяня к с
Оба вуза имели теперь центры по исследованию реактивных двигателей, создан
на средства фонда Даниэля и Флоренс Гуггенгеймов. Цянь не раздумывал слиш
долго. Он хотел работать вместе с фон Карманом.

В Калифорнию Цянь вернулся профессором кафедры реактивного движения.
интересовали возможности применения ядерной энергии, и он собирался заня
исследованиями этой проблемы в Центре реактивных двигателей.

В тридцать девять лет Цянь был на вершине успеха. Он решает посвятить с
изучению возможностей применения реактивных двигателей для нужд граждан
авиации, ему грезятся необъятные перспективы. Фонд выделил Калтеху и Прин
скому центру пятьсот тысяч долларов на семилетнюю программу исследований в
области, а это означало, что Цянь мог рассчитывать на тридцатитысячный годо
бюджет и получать любое необходимое оборудование. Он был готов к вторжени
неведомое — в область сверхзвуковых скоростей.

Итак, летом 1949 года Цянь решил обосноваться в Калифорнии, но он знал,
ему придется столкнуться с трудностями. Война не уменьшила антипатии к азиа
и в Пасадене их особенно не любили. Цянь обосновался в другом пригороде
Анджелеса, Алтадене...

Шла осень 1949 года, и Цянь был доволен настолько, насколько вообще мог
доволен китаец, живущий в Южной Калифорнии. Мир был полон важными собы
ми. Они происходили и в лаборатории Цяня. Он заканчивал работу по теории р
тивных двигателей, которую много лет спустя все еще будут считать классиче
в этой области.

И все-таки, как ни был он увлечен своим делом, тревога не оставляла его.
беспокоили вести, приходившие из нового, коммунистического Китая. Он уже слы
о письмах, которые получали из дома другие китайские ученые, теперь и он пол
такое письмо. Твердой уверенности, что письмо писал отец, у него не было, хотя
черк был похож. Письмо содержало много новостей, между строк звучала тре

С. Ш. Цянь снова и снова перечитывал письмо. Дрожащий почерк напом
отцовскую руку, но все же чувство недоверия не покидало его. Это были не те сл
которые мог написать его отец.

В письме говорилось, что мать-родина зовет его обратно. Теперь Китай стал
родным Китаем». Под руководством великого Мао Цзэ-дуна все как один стрем
принять участие в «героическом созидании». «Наш героический пятимиллионный Ш
хай стал великими морскими воротами народного Китая. Полным ходом рабо
текстильные фабрики. Крестьяне заполнили рынки. Широкие улицы и бульвары, на
торых иностранцы столько лет унижали наш народ, теперь принадлежат истинным
зяевам. Никогда впредь империалисты не будут эксплуатировать Шанхай...»

Отец, говорилось в письме, тяжело болен и нуждается в повторной опер
желудка, он стар и перед смертью мечтает снова увидеть сына. Цянь задумался. О
уже шестьдесят девять, и он совсем один. Цянь, как и большинство китайцев,
воспитан в духе уважения и почитания родителей. Что будет с доживающим пос
ние годы стариком, если сын не вернется?

Он знал о письмах, которые стали получать из КНР многие китайцы в Амер
Они были полны уговоров и скрытых угроз. Он слышал о своих соотечественни
которых против воли заманили в Китай,— ученых, у которых были жены-америк
или родившиеся в США дети. Ученым сулили блестящее будущее на родине. Им пр
лагали переслать через посольство нейтральной державы билеты на самолет.
встречи с представителями можно было вылететь, например, в Женеву или, если р
шла о западном побережье США, в Гонконг. Предлагалось съездить на родину, п
даться с родителями. Их встретят с почетом. А шансы на возвращение из Китая б
практически равны нулю.

Цянь хорошо знал историю, которая произошла с одним из его коллег, кото
пренебрег письмами из дома и решительно отказался ехать. Письма продолжали п
ходить, в них содержалось все больше угроз по отношению к родственникам учен
Кончилось тем, что тот попал в клинику с нервным расстройством,— случай, одн
многих, касавшийся проживающих в Соединенных Штатах китайцев, которые б
сочтены полезными для нового Китая.

Китай, страна, которую он так любил, переживала теперь штормовые рево
ционные перемены. Он подумал о том, как сейчас выглядит Пекин — спокойно и б
мятежно под белой пеленой снега, но как, должно быть, обманчиво это спокойст
Страна переживала бурные события. Конечно, он мог бы быть полезен Родине, ес
ему дали возможность полностью раскрыть свой талант и никто бы не мешал
Но только было бы все это так, как хотелось думать?

А тем временем отношение к китайцам в Соединенных Штатах становилось
более и более прохладным. Вряд ли это могло коснуться академического духа Ка
форнийского технологического института, но вне его стен все давно переменилось.
проходило дня, чтобы радио не разражалось воплями политиканов, пытающихся от
кать виновных в том, что «потеряли Китай».

«Потеряли Китай»? Разве он когда-либо принадлежал Соединенным Штатам, что его можно было «потерять»? Газеты были полны громовых разоблачений, изрыгаемых сенатором Джозефом Маккарти, который убеждал всех, что госдепартамент шел подрывными элементами, что именно благодаря американской политике Чан Кай-ши потерпел поражение от коммунистов.

Некоторые из китайских ученых и студентов в Соединенных Штатах были просто терроризированы деятельностью службы иммиграции и натурализации. Одним из них назвался Хуа Ло-гэн, математик из Университета штата Иллинойс. Хуа начал свою учебу как стипендиат Боксерского фонда в Берлинском университете, затем он переехал в Кембриджский университет в Англии, а оттуда — в Соединенные Штаты и провел четыре года в Иллинойсе. Хуа начал получать письма с родины, полные обещаний и скрытых угроз по отношению к его семье. Он ускользнул из Соединенных Штатов в феврале 1950 года. Цянь знал Хуа лично и по его научным работам. Он был весьма встревожен, узнав о неожиданном отлете Хуа вместе с последовавшими за ним тридцатью китайскими студентами.

В Гонконге Хуа встречали китайские коммунисты. Трудно установить, что из сказанного и сделанного им в Гонконге было добровольным. Тем не менее он обратился с письмом «К китайским студентам в Соединенных Штатах».

В письме говорилось, что было три причины, заставившие его покинуть Америку. Первой и главной были иммиграционные законы, второй — расовый конфликт в Соединенных Штатах и третьей — ограничение свободы для китайцев в Америке. Он призывал всех китайских ученых покинуть Америку.

На пути в Китай их встретил пекинский эмиссар Цао Бай-чан. От него студенты Хуа узнали, на что рассчитывает в данном случае китайская пропаганда и какая работа их ожидает дома. Сразу же по приезде Хуа был назначен руководителем вычислительного отдела Академии наук, созданного по программе ядерных исследований. В дальнейшем он стал директором Института математики АН КНР и получил широкую известность в связи с успехами в китайской программе создания ядерного оружия.

Цяня беспокоило изменение обстановки в Америке. Это отражалось на нем и на других китайцах. Но он сумел преодолеть свои личные тревоги и полностью погрузиться в новые исследования, приближавшие возможность завоевания космоса. Он уже имел репутацию блестящего специалиста в области математического анализа основных проблем высоких скоростей. Под руководством доктора Цяня лаборатория реактивных двигателей занималась исследованиями в области их применения в гражданской авиации и промышленности. Он внес «существенный вклад в дело развития аэродинамики высоких скоростей и реактивных двигателей в США»,— писал его старый друг и наставник д-р фон Карман в 1950 году. Однако к этому времени Цянь уже не имел возможности сотрудничать в лаборатории, финансировавшейся военными ведомствами. В октябре 1949 года он, как обычно, подал документы в комиссию по проверке благонадежности, что делал неоднократно во время работы над секретными военными проектами. Такие проверки проводились и раньше и считались простой формальностью, тем более применительно к правительственному консультанту и советнику компании «Аэроджет дженерал». После фон Кармана он считался самым ценным консультантом компании.

Но жизнь готовила новые испытания.

Страна была охвачена штормом маккартистских процессов. В Калифорнийском университете члены правления единодушно проголосовали за смещение 157 преподавателей университета, отказавшихся официально подтвердить, что они никогда не принимали участия в организациях, имеющих целью силой свергнуть правительство Соединенных Штатов. На востоке Америки правительство обратилось в Апелляционный суд с поддержкой обвинения против одиннадцати лидеров коммунистической партии, которым инкриминировался «шпионаж, заговор с целью захвата власти, удушения американской экономики, уничтожения американских свобод и советизации Америки».

Маккартистские процессы и общая атмосфера истерии заставили государственные учреждения лихорадочно просматривать списки сотрудников в поисках возможных подрывных элементов. Никто не хотел быть захваченным врасплох разгулом маккартизма. Учреждения, занятые в наиболее важных отраслях, начали проверку тех, кто имел допуск к секретной работе. Одной из первых жертв этого усердия стал старый друг Цяня.

В апреле 1949 года д-р Сидней Вейнбаум, как обычно, обратился в армейские органы за получением допуска к секретной работе. И, как обычно, допуск был получен. Однако спустя три месяца д-р Вейнбаум был поражен новостью о том, что армия отменила допуск. Спустя два месяца он был вызван в армейскую комиссию по проверке благонадежности и допрошен о его деятельности в конце 30-х годов. Был ли он когда-нибудь членом коммунистической партии? Поддерживал ли он когда-нибудь деятельность по свержению правительства США с помощью силы или насилия? Использовал ли он когда-нибудь псевдонимы или партийные клички? Ученый ответил отрицательно.

Допрос Вейнбаума явился предзнаменованием грядущих событий. Истерия охоты

на коммунистов стала еще более интенсивной после падения Чан Кай-ши и усиле напряженности в Азии.

События в Корее стали поворотным пунктом для многих талантливых китайск ученых в Соединенных Штатах. Все, кто учился или работал в американских высш учебных заведениях, попали под строгое наблюдение Службы иммиграции и натур лизации. Замешательство и тревога царили среди тех китайцев, у которых истек срок визы. Они могли быть подвергнуты депортации или попросту арестованы, ес бы попытались выехать.

Для Чжао Чжун-яо, физика, который в свое время был вхож в высшие сфер американских специалистов по ядерному оружию, трагическая сага закончилась поб гом от американских властей и возвращением в Китай, накануне вступления кита ских добровольцев в корейскую войну. Следом за ним выехали многие талантлив ученые, вооруженные наиновейшими достижениями американской науки. Другие пр сто исчезли.

Для С. Ш. Цяня, снискавшего уважение и признание своих ученых коллег на вс американском континенте, жаркое и страшное лето 1950 года явилось прелюдией дл тельной агонии, начавшейся с появления в его доме агентов ФБР.

Агенты были вежливы, но настойчивы. Они сообщили, что располагают инфор мацией относительно пребывания д-ра Цяня в коммунистической партии. Старший и агентов заглянул в свои записи и уточнил, что речь идет о пребывании в «ячейке 12 пасаденской организации в 1939 году. Является ли он в настоящее время членом коммунистической партии?

Естественно, Цянь сообщил им, что никогда не был членом коммунистическо партии и тем более не мог иметь партийной клички, как на этом настаивали агент ФБР.

— Вы не называли себя Джоном М. Декером?

Он ответил, что никогда не носил имя Джон М. Декер.

Знал ли он д-ра Сиднея Вейнбаума? Да. Знал ли он Фрэнка Д. Малину? Да. Зна ли он Фрэнка Оппенгеймера? Да. Джекки Оппенгеймер, жену Фрэнка Оппенгеймер Нет. Джона Дубнова? Да, он знал его.

— В то время, о котором идет речь, в период между 1938 и 1941 годами, пр ходилось ли вам, д-р Цянь, бывать дома у этих людей?

— Да, мы были близко знакомы, нас сближала любовь к музыке и их интер к Востоку.

— Они симпатизировали Китаю?

— Да, и именно это привлекало меня в них. Я китаец. И мне всегда было прия но знать, что кто-то еще симпатизирует Китаю.

— Вас приглашали в эти дома?

— Иногда я приходил, даже не предупредив их заранее.

Иногда он заставал там других людей, добавил Цянь.

Вопросы становились все более резкими и враждебными.

Платил ли он когда-нибудь партийные взносы? Нет, конечно, не платил. Посеща ли он собрания коммунистической партии? Нет, насколько ему известно, не посеща

Вопросы сыпались то от одного агента, то от другого, но в конце концов иссяк ли, и агенты вежливо откланялись. Что будет дальше? Конечно, агенты не могли ск зать об этом прямо, но было ясно, что он больше не получит допуска к секретны работам. Неожиданно Цянь почувствовал, как рушится весь его американский мир.

Удар был нанесен в весьма критический момент. Цяня очень беспокоило зд ровье отца, который, вероятно, крайне нуждался в повторной операции желудка.

Он уже не сомневался, что ему не продлят допуск. Это означало, что он больш не сможет работать над проектами для ВВС. Расстроенный всем этим, Цянь реш действовать. Он раздумывал не очень долго, прежде всего решил изложить суть де непосредственному начальству.

Он отправился к своему шефу в Калтехе, высокому, неторопливому, но реш тельному д-ру Фредерику Линдваллу, который в то время возглавлял инженерны факультет.

Затем Цянь посетил д-ра Э. Ватсона, декана своего факультета. Твердо сж губы, Цянь стоял перед деканом.

— Я возвращаюсь домой,— объявил он.

Д-р Ватсон с удивлением уставился на него.

— Ради бога, скажите почему? Вам же хорошо здесь.

Цянь выпрямился, поднял подбородок, сквозь металлическую оправу очко сверкнули темные глаза. Он говорил медленно, с трудом.

— Меня всегда учили, что когда ты в гостях, ты ничем не должен обремен своих хозяев. Я гость в вашей стране. Я нежелательный гость в вашей стране, и возвращаюсь домой.

В середине июня он узнал, что лишен допуска к секретным работам. Цянь р шил заказать билеты на пароход «Президент Вильсон» американской пароходной ко пании «Президент лайнз».

22 июня 1950 года газеты вышли с огромными заголовками, кричащими об аресте кого друга Цяня — д-ра Сиднея Вейнбаума, который был задержан в своем доме кадене и должен был предстать перед судом в конце августа. Это событие тольрепило намерение Цяня уехать из Соединенных Штатов. Петля затягивалась туже.

В июле Цянь направил письмо в организацию, носившую название Ассоциация йствия международной торговле. Ему сказали, что эта организация, находившаяся Сиэтле, штат Вашингтон, может помочь ему в получении гонконгской визы. Поть визу в Британском консульстве в Лос-Анджелесе было очень трудно. Китайские ья Цяня в Калтехе, пытавшиеся получить ее там, столкнулись с теми же труднои, кто-то из китайских студентов, принявших решение уехать из Америки, сообщил о существовании этой организации.

Затем он написал еще одно письмо, на этот раз в Государственный департамент. было недвусмысленное предупреждение о намерении покинуть Соединенные ты. Цянь запрашивал о том, что именно он должен был для этого предпринять. аты обескураживали. Трудностей было слишком много, чтобы успеть преодолеть отходу парохода «Президент Вильсон». Но из Сиэтла Цяню сообщили, что, если решит отправиться не морем, а лететь самолетом компании «Кэнедиен пасифик айнс», то можно будет получить гонконгские транзитные визы. Поэтому он заказ на середину августа билеты на самолет этой компании.

Цянь снова поставил в известность свое начальство о том, что к концу августа собирается уехать. И снова факультет, боясь потерять его, просил изменить ре-ие.

Совершенно очевидно, что Цянь не собирался ускользнуть потихоньку. Он привался к мнению своего начальства в Калтехе, оценивал их позицию, пробовал ть на их место. Все это и привело к решению обратиться с просьбой о новой верке на благонадежность.

По совету президента Калтеха Ли Дубриджа, Цянь 21августа летит в Вашингтон. сразу же направился к Дану Кимбаллу, заместителю военно-морского министра.

— Меня обвиняют в том, что я коммунист,— сказал Цянь.

— Цянь, я не думаю, что вы коммунист,— быстро ответил Кимбалл.— Я вообще амечал за вами интереса к политике.

— Меня лишили допуска. Я не могу делать многое из того, что я собирался ать. Я решил вернуться в Китай. Конечно, еще и потому, что я китаец. Мне отелось бы участвовать в создании оружия для убийства соотечественников. Здесь так понятно.

Это заявление насторожило Кимбалла.

— Вы не можете уехать. Вы слишком ценны.

Цянь продолжал настаивать на своем. Но он сообщил Кимбаллу, что институт очет его отпускать.

— Я совершенно согласен с ними,— сказал Кимбалл.— Мне кажется, вы должны иться в Калтехе.

А не предлагал ли ему Калтех, поинтересовался Кимбалл, пост профессора матики, который не требует никакого допуска к секретным работам?

Цянь ответил положительно. А затем безмерно удивил Кимбалла, неожиданно ив остаться. Он сказал, что согласен занять пост профессора математики, по ней мере до тех пор, пока не будет решен вопрос о допуске. Он не покинет ну без письменного разрешения Кимбалла и президента Калтеха Дубриджа.

По совету Кимбалла, Цянь пошел к адвокату Полю Портеру, которому и изложил все свои злоключения. Разбор просьбы Цяня о получении разрешения на допуск назначен на следующий день, 23 августа, но за такой короткий срок Портер не л возможности подготовиться к процессу. Утром 23 августа Цянь по просьбе Порещe раз посетил Кимбалла с просьбой отложить слушание дела. Оно было отлоо на неопределенный срок.

Цянь дал обещание остаться — но не навсегда. Все зависело от решения комис-Могло случиться так, что ему придется обратиться к Кимбаллу и президенту риджу с просьбой освободить его от данного слова.

— Теперь, когда процесс отложен на неопределенный срок, я могу вернуться лифорнию и подумать о случившемся,— сказал Цянь Кимбаллу.— Я извещу вас оем решении.

В полдень Цянь сел на самолет, вылетавший в Лос-Анджелес.

Как только за Цянем закрылась дверь, Кимбалл поднял трубку и позвонил в мерство юстиции.

— Ни при каких обстоятельствах,— сказал он,— Цянь не должен покинуть Соединые Штаты.

«Пускай лучше его пристрелят, чем дадут ему уехать,— рассказывают, говорил балл друзьям.— Где бы он ни был, он стоит трех или пяти дивизий».

Кимбалл до работы в Вашингтоне был президентом компании «Аэроджет дженеи прекрасно понимал ценность Цяня для США, равно как и его потенциальную ость для враждебной державы. Цянь, вероятно, был самым важным из консуль-

тантов «Аэроджет дженерал» — корпорации, играющей значительную роль практ
ски во всех ракетных и космических программах США. Кимбалл обратился в минис
ство юстиции с просьбой оставить Цяня в покое и подождать развития событий.

Все получилось наоборот. Министерство юстиции отдало распоряжение Слу
иммиграции и натурализации не спускать глаз с Цяня и следить, как бы он неожи
но не ускользнул из Соединенных Штатов. Иммиграционные власти организов
слежку за Цянем, что, как оказалось, было абсолютно излишним.

Хотя Цянь и наводил справки относительно отъезда и даже подготовил кой-ка
имущество, включая бумаги, к отправке в Китай, было очевидно, что он не собир
возвращаться до получения разрешения от Кимбалла. Цянь дал слово.

Он не заметил, как самолет уже кружил над полночным маревом Лос-Анд
леса. Самолет подрулил к стоянке, Цянь встал, расправил плечи после долгой доро
Дверь распахнулась, впустив в салон духоту августовской ночи и главного следоват
американской Службы иммиграции и натурализации Аллана Г. Джула.

Возвышаясь над миниатюрным китайцем, агент тоном, не терпящим возражен
зачитал Цяню приказ, запрещающий ему покидать Соединенные Штаты. Приказ
подписан Г. Р. Ландоном, районным шефом Службы иммиграции и натурализац
Министерство юстиции очень быстро отреагировало на звонок Кимбалла. Вероятно,
было вызвано сообщением из Лос-Анджелеса о захвате бумаг Цяня.

Цянь еще не знал, что в день его отъезда в Вашингтон таможенные вла
наткнулись на восемь ящиков с книгами и документами, которые он через Гонк
собирался отослать на шанхайский адрес отца. Судья Бен Гаррисон отдал приказ
хватить все тысячу восемьсот фунтов бумаг, и целая дюжина федеральных агент
явилась за ними на склад лос-анджелесского порта.

Цянь отказался от намерения покидать Соединенные Штаты. То, что произош
в порту Лос-Анджелеса, новое распоряжение о невыезде и обещание, данное К
баллу, делали невозможной даже мысль об отъезде. Цянь отменил заказ на ав
билеты.

На следующий день после приезда из Вашингтона супругов Цянь видели в ба
Алтадены. Со счета Юнь и из ее сейфа они взяли двести долларов, облигации во
ного займа на сумму около четырех тысяч долларов и драгоценности Юнь. Как о
яснял Цянь:

— Двадцать четвертого я все еще думал, вернее, мы думали, что, возмож
жена с детьми поедут в Китай. Двадцать четвертого мы считали, что я должен оста
ся, поскольку мне это приказано, а миссис Цянь и дети могут ехать.

Д-р Дубридж пригласил Цяня в свой кабинет, чтобы расспросить его о резу
татах поездки в Вашингтон. Цянь рассказал ему не только о том, что произошл
Вашингтоне, но и о распоряжении о невыезде, которое ему было передано ночью
аэропорту. Он сообщил Дубриджу о том, что он остается, а жена и дети, возмож
уедут в Китай без него. Д-р Дубридж выразил сожаление, что Цяню придется раз
читься с семьей. Но через несколько дней Цянь передумал. Было решено — с
остаются всей семьей.

Тем временем инцидент с захватом бумаг разросся в сенсацию и служил пищ
для американской антикоммунистической истерии, которая с началом войны в Кор
все больше разрасталась. «Секретные данные захвачены в грузе, отправляемом
Китай»,— кричали газетные заголовки. Правительство, по заявлению агентов, захват
кодовые и шифровальные книги, фотографии и зарисовки, негативы и синьки, запи
и заметки, огромное количество технических данных по ракетостроению и исследо
ниям в смежных областях. Правда, потом выяснилось, что многие из «кодовых» ко
оказались просто логарифмическими таблицами.

(Прежде чем дать Кимбаллу слово остаться в Соединенных Штатах, утративш
все иллюзии Цянь начал приготовления к отъезду. Он подготовил к отправке св
бумаги — записи лекций, различные документы, на многих из которых все е
стоял штамп «для служебного пользования» или «секретно». Он обратился к пасад
ской упаковочной фирме «Бекинс Ван энд Сторадж» с просьбой помочь ему с отпр
кой материалов. По воле случая, в эту же фирму с такой же просьбой обратился
лантливый физик-ядерник из Калифорнийского технологического института д-р Чж
Чжун-яо, который тоже считал, что в Америке Маккарти ему нет места.

Агент фирмы заверил, что с таможней не возникнет никаких осложнений.

— Все материалы, отобранные для отсылки в Китай, относились к тем исслед
ваниям, которые я вел, и было естественным, что, если я собирался заниматься
Китае тем же, они были необходимы мне,— говорил Цянь. Вернувшись в Китай,
собирался заняться преподаванием.

Цянь настаивал на том, что все материалы были рассекреченными, не исполь
вались и устарели. Время доказало его правоту. Все бумаги были возвращены ем
за исключением нескольких документов, которые были признаны собственност
ВМС США и Национального совета по аэронавтике.)

Когда его попросили дать разъяснение по поводу этих бумаг, Цянь заявил, что
дает честное слово, что никогда не передаст второму государству никакую инфор
цию, имеющую хоть какое-либо значение для обороны или безопасности США».

Если люди, следившие за Цянем, и хотели скрыть свое постоянное присутствие, не прилагали к этому особых усилий. Ученый все время чувствовал, что нахо- под наблюдением. Глядя из окна своего дома в Алтадене, он видел фигуру века, сидящего в темном автомобиле, который стоял за железной изгородью, ждающей широкую лужайку перед домом на Буэна-Лома Корт. Человек в машине, ювину скрытой мягкой зеленью эвкалиптов, почти не двигаясь, всматривался в Мир вокруг Цяня разрушался медленно, но неумолимо. Он ежедневно читал в ах о ходе процесса над его другом, д-ром Вейнбаумом, все больше убеждаясь и, что скоро наступит и его очередь. Несколько дней он совсем не показывался боратории реактивного движения. Агенты, приставленные следить за ним, сбились т, пытаясь хотя бы увидеть ученого. Вероятно, они были в панике, думая, что он в и уже находится где-нибудь на пути в Китай.

Агенты связались с Вашингтоном в надежде получить разрешение на арест Цяня. 6 сентября неопределенность закончилась. К вечеру, когда солнце позолотило ю-красные стены дома Цяня, еще одна машина остановилась у ворот. Из машины ли двое. Цянь, глядя из окна, тут же узнал одного из них. Это был тот самый век, который две недели тому назад встретил Цяня в аэропорту и сообщил ему прещении покидать страну. Теперь этот высокий человек стучал в его дверь.

Джул, как обычно неторопливо, зачитал ордер на арест. Министерство юстиции шло к выводу, что Цянь Сюэ-шэнь является «иностранцем, который был членом низации, ассоциации, общества или группы, намеревающейся, пропагандирующей проповедующей свержение правительства Соединенных Штатов с помощью силы насилия».

Цяня заперли в камеру предварительного заключения. В субботу в полдень, из девять дней после ареста, его посетил адвокат Грант Купер, с ним пришли друг чальник Цяня д-р Фредерик Линдвалл и Дубридж. Все они пытались выяснить, писал в письме к заместителю министра Военно-морского флота Кимбаллу Дубридж, «некоторые загадочные обстоятельства этого дела, которые вызывают озрение относительно Цяня, по крайней мере, с точки зрения министерства юсти-». Дубридж писал Кимбаллу:

«Я могу отклонить их обвинение в его принадлежности к коммунистам, ибо ничто того, что нам представлено, не свидетельствует о его членстве в партии. Его жба с теми, кого знали в качестве членов партии, была широко известна и легко яснима, но я убежден, что его знакомство с этими людьми не имело ровно ника- отношения к политике и что он никогда сознательно не посещал никаких комму- тических собраний.

Те приготовления, которые он сделал в связи с предполагаемым отъездом в ай, несомненно имеют длительную и сложную историю, которую он нам подробно ожил.

Нам представляется, что предпринятые им шаги были абсолютно логичными, по- ными и открытыми. Он попытался зарезервировать места на пароход, отплывав- из Лон-Анджелеса в конце августа, однако позже ему было сообщено, что нет можности предоставить билеты на этот пароход. Он запросил Госдепартамент отно- льно возможности выезда, и отдел Госдепартамента, ведающий научным обменом, омендовал ему воспользоваться квотой для китайских студентов, возвращающихся родину.

В этом письме он разъяснял Госдепартаменту свои намерения уехать и просил ходимого содействия. Позже, когда выяснилось, что вероятность его отъезда студенческой квоте почти исключена, он через авиакомпанию «Кэнедиен пасифик» езервировал места на самолет, следующий через Ванкувер, Британская Колумбия онконг. Бюро путешествий при «Кэнедиен пасифик» оказало ему содействие в полу- ии подтверждения по всему маршруту и виз, необходимых для транзита через бри- скую территорию в Канаде и Гонконге. Насколько я знаю, он никогда этого не ывал. Напротив, он делал все приготовления открыто и информировал институт своих планах. Я знаю, что он сообщил это Вам и господину Портеру во время своего ита в Вашингтон.

Последнее и самое важное, д-р Цянь заверил нас, что у него больше нет намере- пытаться выехать из Соединенных Штатов, и я в настоящее время располагаю ьмом, написанным по своей воле и собственноручно д-ром Цянем, которое дати- вано 16 сентября 1950 года. В письме говорится следующее:

«Я, Цянь Сюэ-шэнь, настоящим обещаю и клянусь Вам, д-р Ли Дубридж, и Вам, Дан Кимбалл, что я не уеду и не буду пытаться выехать из Соединенных Штатов получения разрешения в письменной форме от Вас и каждого из вас.

Подписано: Цянь Сюэ-шэнь
С подлинным верно:
Грант Б. Купер
Фредерик К. Линдвалл».

Лично я уверен, что это обещание сделано искренне, я также уверен, что он ни каких обстоятельствах не нарушит и не будет пытаться нарушить его. Если и Вы рены в нем, то Ваш звонок в министерство юстиции, возможно, будет действенным

для освобождения д-ра Цяня. Мы заранее благодарим Вас за все, что Вы в состо
сделать».

Кимбалл принял самое горячее участие в деле Цяня. Он приехал в Лос-Ан
лес, чтобы посоветоваться с Грантом Купером, который был привлечен руководс
института к процессу Цяня в качестве защитника. Кимбалл предложил, чтобы Ц
был освобожден из заключения, однако министерство юстиции, по-видимому, реш
раз и навсегда объявить Цяня коммунистом, подлежащим высылке.

После долгого разбирательства Цянь был выпущен под залог в пятнадцать т
долларов и получил возможность вернуться к жене и детям. Однако главные испыт
его ждали впереди.

Д-р Цянь вернулся домой, чтобы ждать и гадать, как развернутся дальнейшие
бытия. Две недели разглядывания рыбных складов и нефтехранилищ, которые бы
видны из окна его камеры, окончательно убедили его в том, что в Соединенных Шта
нет места ни для него, ни для его жены и детей. Он был растерян. Хотя по нат
Цянь был не слишком разговорчивым, ему хотелось поделиться с кем-нибудь, кто
бы понять его и посочувствовать его положению.

Уильям Циш, который в то время занимал пост вице-президента компании «Аэ
джет дженерал», симпатизировал Цяню, считал его, как он писал позже, «наибо
ценным и важным из всех консультантов, которыми располагала компания».

Узнав об освобождении Цяня, Циш как представитель компании позвонил е
домой. По плану, через несколько дней Цянь должен был ехать на один из завод
а компания до сих пор не получила распоряжения, запрещающего допуск Цян
секретным материалам.

Циш решил не ставить Цяня в неловкое положение, встретиться с ним, чтобы
судить все вопросы и, возможно, дипломатично предложить ему отказаться от поез
на завод. Цянь пригласил Циша к себе, и тот, рассчитывая провести у ученого вс
лишь несколько минут, отправился в Алтадену.

Когда он вошел в обычно уютный и чистенький домик, его поразила открывша
взору печальная картина. Вся мебель была сдвинута, ковры сняты со стен, в пус
комнатах гулко отдавались звуки шагов. Все говорило о том, что люди собирались
кинуть дом.

Цянь выплеснул на Циша бурный поток слов. Казалось, что он, даже против с
ственной воли, спешит рассказать всю свою историю первому встречному, любо
кто согласился бы выслушать его. Ему хотелось, как он сказал Цишу, вернуться на
сток, но он не собирался уезжать в красный Китай.

«У меня создалось впечатление,— позже вспоминал Циш,— что Цянь просто хот
вывезти в Гонконг отца, где тот мог провести остаток жизни».

Цянь все рассказывал и рассказывал, они даже не заметили, как стемнело.
говорил о д-ре Теодоре фон Кармане, и было видно, что он действительно любит с
рого ученого и ценит его гений. Ему очень хотелось бы остаться и продолжить раб
под руководством своего любимого наставника, быть рядом со стареющим ученым
воплощать его идеи и замыслы.

Он рассказал об агентах ФБР, которые нагрянули к нему и заявили, что они зна
о его принадлежности к коммунистам, так как имеют копию его партбилета.

«Это было неправдой»,— горячился Цянь. Циш даже не спрашивал его об эт
он сам спешил опровергнуть обвинение.

Ученого особенно беспокоили вопросы агентов о его дружбе с Фрэнком Мал
ной. Цянь считал Фрэнка Д. Малину одним из своих лучших и ближайших друзей. О
пытались осудить Цяня за его дружбу с товарищем по работе, поскольку подозрева
Малину в том, что он был коммунистом.

Затем они заговорили о Китае. «Китай всегда останется Китаем,— уверял Цянь
Что бы ни произошло — коммунизм или что угодно,— но Китай всегда будет кит
ским».

«Невозможно было,— вспоминал Циш,— убедить его в том, что в конце конце
все образуется... Спустя некоторое время после этого я рассказал своим помощника
что, судя по тем высказываниям Цяня, которые я слышал, он не имеет ничего общ
с коммунистическими идеями, и я верю ему».

Что касается бумаг, которые Цянь собирался отправить в Китай через Гонконг,
совершенно очевидно, что история с их отправкой — результат шока, полученно
Цянем после обвинения в его адрес и лишения его допуска к секретным работам.

«Кларк Милликан, занимавший пост директора Гуггенгеймовской Аэронавтическо
лаборатории в Калтехе,— вспоминает Циш,— публично выступил в прессе с заявлением
что документы, которые Цянь собирался вывезти, не были секретными, и вообщ
всячески поддерживал Цяня в прессе».

■

— Ваше имя?
— Цянь Сюэ-шэнь.
— Говорите и понимаете вы по-английски?

— Да, понимаю.

— Попрошу вас встать и поднять правую руку. Можете ли вы торжественно по-
ясться, что те показания, которые вы дадите, будут правдой, только правдой и ни-
м, кроме правды. Да поможет вам бог.

— Клянусь.

Сила и величие Соединенных Штатов противостояли д-ру Цяню в грязной ма-
нькой комнате десять на двадцать футов в центре Лос-Анджелеса. Комната казалась
же меньше оттого, что стены были выкрашены безжизненной бледно-зеленой крас-
й. Хотя уже было 15 ноября, от жары лица сидевших покрылись испариной. Ком-
та не была оборудована кондиционером. Окна не открывали, так как они хоть
много защищали от режущего уши рева грузовиков и шума машин, мчавшихся по
львару всего этажом ниже. Жалюзи были приспущены, чтобы хоть как-то защи-
ться от солнечных лучей, падавших на пол, покрытый коричневым линолеумом.

Обвинение возглавлял Альберт Дельгуэрсио — представитель Службы иммигра-
и и натурализации министерства юстиции. Энергичный и неумолимый прокурор, ра-
отавший в этой системе с 1920 года и имевший огромный опыт ведения подобных дел.
редседательствовал Рой Вадделл. Стенографистка Мэри Клинтон была сосредоточен-
и готова к длительной и трудной работе. Небольшое количество публики и репор-
ров, скучая, дожидалось конца официальной части.

Цяня защищал Грант Б. Купер, который снискал уважение участием в многочис-
ленных процессах, включая несколько сенсационных дел об убийствах.

Председатель Вадделл продолжал официальный ритуал.

— Вы обвиняетесь в том, что находились в Соединенных Штатах в нарушение
жона об иммиграции, что выразилось во въезде в страну через Гонолулу, территория
вайских островов, 27 сентября 1947 года. Вышеуказанное попадает под действие
кта от 16 октября 1918 года и поправок к нему, поскольку до въезда в страну вы
лючались в разряд лиц, определенных параграфом № 1, акта от 16 октября 1918 го-
, как иностранец, являющийся членом организации, ассоциации, общества или груп-
, намеревающейся, пропагандирующей или проповедующей свержение правитель-
ва Соединенных Штатов с помощью силы либо насилия. Поняли ли вы полностью
ть обвинения?

— Да, я понял.— Цянь вспомнил сентябрь 47-го года, когда он, только что поже-
вшись с Юнь, приехал в Соединенные Штаты и, читая обычную анкету иммиграци-
нной службы, автоматически ответил «нет» на вопрос о том, был ли он когда-нибудь
леном коммунистической партии.

Его снова попросили назвать имя, и он продиктовал его по буквам. Он дал пока-
ния в том, что родился в Шанхае 2 сентября 1909 года, впервые приехал в США
тнадцать лет назад на стипендию в полторы тысячи долларов, которую ему выпла-
вали Соединенные Штаты из денег, полученных в качестве контрибуции за Боксер-
ое восстание. Он показал, что потом перешел в Калифорнийский технологический
ститут и что в то время там находилось около пятнадцати других студентов-китайцев.
н заверил допрашивающего, что там не было другого С. Ш. Цяня. Затем Дельгуэрсио
ерешел к сути дела.

— В то время, когда вы находились в Калифорнийском технологическом инсти-
те, а именно, в период с 1938 по 1939 год, использовали ли вы когда-нибудь имя
жона М. Декера?

— Нет,— ответил Цянь.

— Эрда?

— Нет.

— Дэкера?

— Нет.

— Во время ваших занятий в Калифорнийском технологическом институте в пе-
иод с 1938 по 1939 год были ли вы членом Коммунистической партии Соединенных
татов?

— Нет.

— Во время вашего пребывания в институте посещали ли вы когда-нибудь со-
рания коммунистической партии?

Купер возражает. Он предлагает сформулировать это, как «сознательно посещал».
тот протест был отклонен. Во время слушания дела он будет протестовать неодно-
ратно, и почти всякий раз председательствующий Рой Вадделл будет отклонять его
возражения. Цяню было предложено отвечать.

— Насколько мне известно, я никогда не посещал собраний коммунистической
артии.

Затем начались вопросы, касающиеся друзей Цяня.

— Знаете ли вы Сиднея Вейнбаума?

— Да, знаю.

— Вы знаете его с 1938 года?

— Да.

— Знали ли вы его в 1939 году?

— Да.

— Тот ли это Сидней Вейнбаум, который привлечен судом Соединенных Шта за лжесвидетельство?

— Да.

— Знаете ли вы Джона Дубнова и его жену Бэлл Дубнов?

— Да, знаю.

— Знакомы ли вы с Фрэнком Оппенгеймером?

— Я хочу уточнить. Говоря «нет», я хочу сказать, что мы не были друзьями. Я был дружен с Фрэнком Оппенгеймером. ...Я только видел его в Калифорнийском ституте.

Дельгуэрсио зачитал список фамилий. Некоторых Цянь знал, других нет. Он в делил Малину как близкого друга, «даже очень близкого».

— Вы хотите сказать, что Фрэнк Д. Малина был одним из ваших самых близк друзей в этой стране?

— Да, это так.

Цянь вот уже два года ничего не слышал о Малине. Его старый друг жил в изгн нии в Париже.

— Знаете ли вы, что Фрэнк Д. Малина является членом Коммунистической парт Соединенных Штатов?

— Я не знал этого.

— Говорил ли он вам когда-нибудь, что является членом коммунистическо партии?

— Нет, не говорил.

— Не помните ли вы, давал ли он показания Комиссии по расследованию анти американской деятельности?..

Купер собирается вмешаться. Он решает дождаться окончания вопроса и заявит протест.

Но Дельгуэрсио не стал заканчивать вопрос. Вместо этого он снова спросил, ра сказывал ли когда-нибудь Малина о том, что он состоял членом партии.

— Он или не состоял в партии или так говорил мне,— ответил Цянь.

Снова имена из прошлого...

— Мистер Цянь,— нацелился Дельгуэрсио,— во второй половине 1938 и 1939 году посещали вы или нет собрания, где присутствовали все или некоторые и упомянутых мною людей?

Купер протестует и требует, чтобы Дельгуэрсио определил, какого рода собра ния имеются в виду. Председательствующий снял вопрос и перефразировал его.

— В ответ на мой вопрос, посещали ли вы собрания коммунистической партии 1938 и 1939 годах, вы ответили, что не посещали. Правильно ли я понял вас?

Купер запротестовал, что это не ответ Цяня. «Он сказал, что, насколько он знает не посещал».

— Тогда,— сказал Дельгуэрсио Цяню,— объясните свой ответ.

— Хорошо, я объясню.

И Цянь вновь объяснил, как он ходил на вечера, но не знал, были они или нет ор ганизованы коммунистической партией.

Дельгуэрсио снова акцентирует внимание на «собраниях». Теперь его интересует «обсуждался ли на них коммунизм».

— Я не помню, чтобы коммунизм как принцип или философия обсуждался н этих собраниях. Я совершенно уверен, что при обсуждениях подразумевался комму низм — упоминался... но как сила на мировой политической арене.

— Это было в пользу коммунизма, эти дискуссии?

— Никогда не было полного согласия,— отвечает Цянь,— молодым свойственн спорить. Я не помню, чтобы во время этих дискуссий когда-либо было единогласно единодушное мнение. Всегда кто-нибудь был против чего-нибудь, насколько я помню.

Цянь мог вспомнить лишь три дома, где он бывал на таких встречах — у Малины Вейнбаума и Дубнова. Возможно, были и другие. «Если мне случалось подвозить Сид нея Вейнбаума куда-нибудь в гости, то хозяева, если они видели меня в машине, обыч но предлагали зайти. Я либо отказывался, если был занят, или соглашался, но я не помню, где это было,— не могу припомнить имен хозяев».

Дельгуэрсио еще немного посражался с Цянем и его защитником, вспомнил рас поряжение «не выезжать», сделанное в аэропорту Лос-Анджелеса, допросил Цяня о его сверхсекретной работе в Лаборатории реактивного движения, затем перешел к книгам и бумагам, которые Цянь упаковал для отсылки из страны, и к тому, как эти документы были перехвачены Соединенными Штатами.

— С какой целью вы собирались поехать в Китай?

— Я собирался поехать в Китай с тем, чтобы привести в порядок мои семейные дела, там оставались мой отец и невестка.

— И вы собирались там остаться?

— Я не собирался, но на деле я, вероятно, должен был пробыть там некоторое время.

Наконец Дельгуэрсио добрался до сути дела.

— Кому вы храните верность?

— Я храню верность китайскому народу.

— Кого вы считаете китайским народом?
— Четыреста пятьдесят миллионов живущих там.
— Четыреста пятьдесят миллионов живущих под коммунистическим правлением?
— Некоторые из них, да.
— Вы не считаете, что храните верность националистическому правительству
ая?
— Если они у власти, если они работают на благо людей, тогда я верен им.
— Так ли это сейчас?
— Это мы еще увидим.
— В глубине души вы не совсем уверены, что это так?
— До сих пор они не очень старались доказать это.
— Как вы считаете, работает ли на благо китайского народа нынешнее прави-
ьство коммунистического Китая?
— Я не располагаю подобной информацией.
— Вы не располагаете подобной информацией, однако вы собирались туда?
— Если я буду там, я постараюсь получить ее.
— Что вы собирались делать с материалами, которые намеревались вывезти,—
ературой по аэронавтике и реактивному движению?
— Это часть моих знаний, и это принадлежит мне.
— Что вы собирались с этим делать?
— Это касается только меня.
— Собирались ли вы сделать это достоянием Китая, коммунистического Китая?
— Это моя собственность. Я имею право отдать это кому-либо другому так же,
к могу поставить свои способности на службу кому угодно.

Защитник Купер снова сцепился с Дельгуэрсио и напомнил ему, что Цянь напи-
л заявление с просьбой предоставить ему американское гражданство, что свиде-
ьствовало о его лояльности по отношению к Соединенным Штатам. Дельгуэрсио
овь углубился в далекое прошлое: поездка Цяня в Китай в 1947 году, его женитьба
Юнь и рождение в Соединенных Штатах его двух детей. Затем он вернулся к глав-
му вопросу о лояльности.

— Позвольте задать вам один вопрос. Вы являетесь постоянным жителем этой
аны?
— Да.
— Следовательно, вы попадаете под действие Закона о военной службе?
— Да.
— В случае конфликта между нашей страной и красным Китаем будете ли вы
ажаться на стороне Соединенных Штатов против Китая?

Купер пытался протестовать, но его протест был отклонен.

Цянь отвечал теперь очень спокойно.

— Я не могу ответить на этот вопрос, так как описанная вами ситуация еще не
зникла. Другими словами, Соединенные Штаты сейчас не собираются объявлять
йну коммунистическому Китаю, и мне надо как следует подумать над этим.
— То есть вы не можете сейчас сказать, будете ли вы или нет сражаться на сто-
не Соединенных Штатов против КНР в случае войны?
— Я не решил этот вопрос.

Купер выступил с протестом, но следователь сказал, что он дает Цяню на ответ
юбое время, которое потребуется для этого».

Купер вновь протестует.

— Такой вопрос нельзя решить в пять минут. Если вы хотите дать ему возмож-
ость как следует подумать над этим, дайте ему время. Если он будет думать об этом,
ы можем прождать здесь и шесть месяцев.
— Будем ждать и шесть месяцев,— парировал Дельгуэрсио.

Купер спросил Цяня, может ли он решить этот вопрос в течение пятнадцати ми-
т, Цянь ответил, что он попытается, и Купер попросил его обдумать это.

Прошли долгие пять минут. Цянь молчал в раздумии. Затем, поглядев на следова-
ля, он сказал, пряча едва заметную улыбку:
— Я не могу сейчас ответить на этот вопрос.
— Вы не можете или не хотите сейчас отвечать на вопрос? — настаивал Дель-
рсио.

Это задело и разозлило Цяня.

— Я могу, **могу** ответить на ваш вопрос сейчас,— отрезал он,— и мой ответ
ков: как уже говорилось, я полностью верен народу Китая и, если война Соединен-
ых Штатов против коммунистического Китая служит интересам китайского народа, а
к мне кажется, это может быть именно так, я готов сражаться на стороне Соединен-
ых Штатов — это несомненно.
— Но вначале вы должны решить, служит или нет эта война интересам китайско-
народа?
— Да, я должен буду решить это.
— Вы не позволите правительству Соединенных Штатов принять это решение
вас?
— Нет, это невозможно.

Дельгуэрсио обратился к событиям в Корее. Он спросил Цяня, хотел бы
сражаться там на стороне Соединенных Штатов? Купер возразил, что вопрос вы
за рамки обсуждаемого предмета, его протест был вновь отклонен. Но Цянь, каза
отвечал с охотой.

— Фактически я уже дал свой ответ, когда отвечал на вопрос, часто задава
мне: хотел бы я с оружием в руках защищать Соединенные Штаты? Ответ
является общим, а что касается моего ответа на вопрос о Китае, то, поскольку он
ма специфичен и сложен, я рассматриваю его во всех аспектах и деталях и пот
даю подобный ответ, но, если вам угоден мой ответ в целом, то тогда «да».

— Позвольте спросить вас, предоставите ли вы на службу Соединенным Шта
те знания, которые вы получили в этой стране?

— Я уже предоставил свои знания на службу Соединенным Штатам.

— Еще один вопрос... смогли бы вы в дальнейшем применить свои знания в
ласти аэронавтики для использования Соединенными Штатами против Китая?

— Ответ на этот вопрос такой же, как и ответ на вопрос о том, смогу ли я п
нять оружие против КНР.

Из забытья прошлого на свет снова появился Уильям Ф. Хайнс — «красный» Ха
из «красного отдела». Сам драматизм ситуации питал сенсационные заголов
«Иностранный ученый! Выходец из страны, находящейся под властью коммунист
Самые секретные данные! Оборонные исследования! Тайная деятельность полиц
Секретные документы!»

Светлые волосы Хайнса потемнели, в них появились седые пряди, но он все е
имел бравую выправку полицейского, хотя уже семь лет был в отставке. Хайнс с бо
шим интересом впервые разглядывал человека, в судьбе которого он сыграл так
зловещую роль. Сейчас он выступал как свидетель против д-ра Цяня. Дельгуэрсио
прашивал его.

— Являлись ли вы когда-либо членом Коммунистической партии Соединен
Штатов либо организации, бывшей ее предшественницей?

— Да, сэр,— спокойно ответил Хайнс.

— В какие годы?

— В 1922 году и в течение примерно восьми месяцев 1923 года, когда она бы
известна под названием Рабочая партия Америки.

— Вы заявили, что располагали в 1938 году агентом или агентами, которые, яв
ясь членами партии, докладывали вам о ее деятельности?

— Да, полицейское управление Лос-Анджелеса располагало тайными агентам
которые следили за деятельностью как партии, так и ее отдельных членов.

— Одним из таких тайных агентов был Уильям Уорд Кимпл?

— Да, в течение нескольких лет.

Дельгуэрсио вернулся к событиям конца 1938 года. Показывал ли ему Ким
какие-нибудь регистрационные карточки коммунистической партии?

Да, Кимпл показывал карточки, которые отсылались в Нью-Йорк в связи с пер
регистрацией 1939 года.

Купер возражает, что Хайнс не мог знать, чем занималась коммунистическая па
тия в Нью-Йорке, но Дельгуэрсио отвел это возражение.

Хайнс проявил осведомленность о работе партии и ее системе регистрации член
организации. Купер возразил, что его показания основаны лишь на слухах. Ведущ
допрос разрешил Хайнсу продолжать показания.

— Билл Кимпл, он же Уорд, привез партийные карточки,— продолжал бывш
шеф «красного отдела», несмотря на протесты защиты,— и регистрационный журн
членов партии за 1938 и 1939 годы.

— Что вы делали с этими документами?

— Я снимал копии, я и господин Кимпл. Мы переносили данные на уже нап
чатанные на мимеографе специальные бланки с теми же вопросами, я сам перепис
вал данные...

— Вам пришлось переписывать данные С. Ш. Цяня?..

Купер возразил, но допрос был продолжен.

Дельгуэрсио показал Хайнсу копию регистрационной формы с именем
С. Ш. Цяня.

— Да, я узнаю,— сказал Хайнс,— и свой почерк, и сам документ.

Мимиографированные копии были четко заполнены карандашом и датированы де
кабрем 1938 года.

Копия была сделана с формы регистрации членов партии в 1939 году, которая
имеет типографский номер типографии компартии США. Все данные с этой формы он
Хайнс, переписывал на отдельные листки.

— За тот период, пока я занимался коммунистами, я убедился в том, что появле
ние этого номера на документах совпадает с номером, напечатанным почти на всех
материалах партии, выпущенных официально за пределами Нью-Йорка.

Купер возразил, назвав это чистейшим вымыслом. Он обратил внимание на то,
что регистрационная форма заполнена рукой Хайнса и нет оригинала, доказывающего
что д-р Цянь когда-либо подписывал или заполнял такую карточку.

На форме стоял значок «1938 Book NM» и сразу под этим «NB». Хайнс объяснил: «NM» обозначает «Вновь принятые» в 1938 году, «NB» означает, что партийный билет выдан.

В руках у Дельгуэрсио была мимеографированная форма, обозначенная как «вещественное доказательство номер шесть». Оно-то и служило основанием для обвинения д-ра Цяня.

Спустя много лет Аллан Джул, следователь Службы иммиграции и натурализации, очень живо вспоминал «вещественное доказательство номер шесть».

«Листок бумаги,— скажет он, держа в руках его копию,— который все раскрыл».

В одном углу рукой Хайнса было написано «С. Ш. Цянь», в другом партийная кличка «Джон М. Декер».

Фотокопия документа и была представлена в качестве вещественного доказательства. Хайнс настаивал на том, что, насколько он знает методы работы коммунистов, это является копией оригинала.

— Основывая свои показания на этой копии и инструкциях партии по проведению регистрации, я утверждаю, что, судя по этой записи и копии книги 1939 года, С. Ш. Цянь во время этой регистрации являлся членом партии и входил в 1938 году в коммунистическую ячейку в Пасадене,— сказал Хайнс.

Дельгуэрсио представил в качестве «вещественного доказательства номер восемь» двадцать пять сделанных Хайнсом копий, которые претендовали на то, чтобы быть регистрационными карточками других членов «ячейки 122», включая карточки, выписанные на имя Малины, Вейнбаума, Дубнова и Фрэнка Оппенгеймера. Хайнс свидетельствовал, что эти копии были сняты той ночью в декабре 1938 года в столовой его квартиры, в присутствии Кимпла и Клары Освальд.

Хайнс показал, что в партийной регистрационной книге 1939 года было записано имя «Джон М. Декер».

— В книгу,— настаивал он,— вписывались только партийные клички, в тех случаях, когда человек представлял важность и раскрытие его настоящего имени могло принести ущерб партии.

Больше вопросов к Хайнсу не было. Из прошлого на сцену вышла еще одна фигура — Уорд Кимпл, партийная кличка Билл Уорд. Он был приведен к присяге. Как и Хайнс, Билл Уорд, оставшийся в зале в качестве зрителя, впервые видел Цяня, чью жизнь он так резко изменил.

Кимпл вспомнил, как в 1928 году он с помощью Клары Освальд вступил в Голливуде в коммунистическую партию.

— В 1938 году,— сказал он,— я был членом мандатной комиссии коммунистической партии в Лос-Анджелесе.

В его обязанности входил контроль за регистрацией членов партии, их перемещениями и занятиями, за тем, как они соблюдали устав.

— Я был помощником председателя комиссии,— продолжал он после тщетных возражений Купера,— и должен был следить за движением из организации в организацию, проверять различные организации, с тем чтобы они не теряли своих людей, предотвращать текучесть кадров. Раз в год мы проводили общую регистрацию, заполняли новую книгу и проверяли уплату членских взносов, чтобы убедиться, что все члены партии регулярно платят взносы.

Попадала ли в руки Кимпла, когда он был членом мандатной комиссии, «регистрационная карточка члена коммунистической партии», выписанная на имя С. Ш. Цяня?

— Да, я видел ее,— ответил Кимпл, после того как снова были отведены возражения защитника Купера,— я перевозил эту карточку из дома одного члена партии, который был назначен заполнять регистрационную книгу 1939 года. Вместе с другими карточками я вез ее из его дома в Бойль Хайтс в Лос-Анджелес... И именно эти карточки я привез в дом капитана Уильяма Ф. Хайнса, где мы сняли с них копии.

Председательствующий показал «вещественное доказательство номер шесть», подтверждавшее факт регистрации Цяня.

— Это как раз и есть копия, которую мы сняли в доме капитана Хайнса,— ответил Кимпл.

— Сняли с чего?

— Сняли с оригинала регистрационной карточки 1939 года, принадлежавшей товарищу Цяню.

Грант Купер потребовал, чтобы суд предъявил «любой документ, подписанный доктором Цянем, который свидетельствовал бы о его принадлежности к коммунистической партии». Купер заявил, что если это будет сделано, то он с разрешения Цяня отстранится от ведения процесса. Это требование Купера никогда не было выполнено.

Купер провел перекрестный допрос Кимпла.

— Позвольте спросить вас: лично вы когда-нибудь присутствовали на собрании ячейки-122»?.. Присутствовали ли вы на собрании именно этой ячейки?

— Этого я не могу вспомнить, сэр,— ответил Кимпл.

Они обсудили различные методы вербовки — личные контакты, встречи и т. д.

Купер неожиданно спрашивает:

— Когда вы впервые встретились с д-ром Цянем?

— Насколько я знаю, до сегодняшнего дня я никогда не встречался с г-ном Цянем.

— Теперь позвольте спросить вас относительно «вещественного доказательства номер шесть». Знаете ли вы, кем была сделана эта форма? Была ли она подготовлена так называемой коммунистической партией или была сделана полицией для собственного удобства?

— Эту форму придумал я,— ответил Кимпл.

— «Вещественное доказательство номер шесть» (имелось в виду то, что считалось копией регистрационной карточки Цяня) было подготовлено вами во время вашей работы в полиции?

— Да, сэр.

— Это не служило в качестве официальной формы ни одной организации, за исключением полиции?

— Нет, сэр.

— Другими словами, добросовестно пытаясь узнать все о людях, которые были членами партии или считались членами партии, вы либо капитан Хайнс собственноручно снимали копию с регистрационной карточки, занося данные на заранее подготовленные вами формы?

— Совершенно верно.

— Вы снимали копии с регистрационных карточек?

— Совершенно верно, сэр.

— Они не были заполнены рукою самого члена партии?

— Нет, сэр.

— Они были заполнены рукою кого-то, кто подозревался в принадлежности к коммунистической партии?

— В чьи обязанности входило...

На этот раз возразил Дельгуэрсио, который был против использования слова «подозревался». Он заявил, что совершенно очевидна принадлежность этих материалов к официальным документам коммунистической партии. Купер начал спорить со следователем, и в конце концов Дельгуэрсио снял свой протест. Поэтому Кимпл ответил, что регистрационные карточки, с которых он снимал копию, были заполнены рукой человека, подозреваемого в принадлежности к коммунистической партии.

В свою очередь Дельгуэрсио спросил Кимпла, свидетельствуют ли регистрационные карточки, попавшие в распоряжение полиции, о том, что Цянь вступил в партию в 1939 году. Кимпл просто ответил, что, «насколько он помнит», «вещественное доказательство номер шесть» включает вступивших в 1938 году. Дельгуэрсио настаивал, и Кимпл признал, что членский билет коммунистической партии № 1004 был выдан Цяню в 1939 году.

За Кимпла снова берется Купер.

— Г-н Кимпл, уж не хотите ли вы всерьез доказать нам, что вы с 1939 года по сегодняшний день держите в памяти номер членского билета 1004?

— Я не помню номер, но я знаю, что сверял членский билет с регистрационной карточкой перед тем, как билет передавался для отсылки в организацию, чтобы иметь уверенность, что в процессе регистрации не было допущено ошибки.

— Вы когда-нибудь видели членский билет, выписанный на имя С. Ш. Цяня?

— Нет, сэр.

— Сейчас вы решили, что этот билет должен иметь номер 1004, потому что вы видели его на «вещественном доказательстве номер шесть».

— Да, это так.

— Вы не помните этого? Совершенно очевидно, что увиденное сегодня не позволяет вспомнить номер, который был на билете в то время.

— Нет.

— У меня все.

Казалось, было полностью разрушено государственное обвинение. Было достаточно убедительно показано, что нет доказательств ни того, что Цянь подписывал что-либо, ни даже того, что он лично подавал заявление о приеме в партию. За него это мог сделать кто угодно, даже без его ведома.

— Были ли у вас недоброжелатели, которые, чтобы досадить вам, могли зарегистрировать вас в качестве члена коммунистической партии?

— Я давал присягу и могу говорить только правду. И я ничего не могу сказать по интересующему вас вопросу.

— Другими словами, вы никак не можете объяснить эту регистрацию и допускаете, что она может быть правильной?

— Нет, я просто не могу объяснить то, о чем я не имею ни малейшего понятия.

— Не могли бы вы заявить под присягой, что вы не испытываете никакой симпатии к коммунистическому Китаю?

— Я не знаю о том, что происходит в Китае и...

— Вы просто уходите от ответа. Вы не хуже других знаете о том, что там происходит.

Это снова вызвало спор с адвокатом. Затем Дельгуэрсио спросил Цяня:
— Вы верите в диктатуру пролетариата? В любой стране.
— Я не верю в это.
— Не является ли нынешнее китайское правительство диктатурой?
— Я не знаю об этом и отвечаю так потому, что собственный опыт подсказывает ..., что события в Китае, особенно относящиеся к его государственной политике, ос...щаются здесь не объективно.

26 апреля суд огласил решение. Цянь был объявлен «подлежащим депортации на ...новании того, что он был признан ...иностранцем, бывшим членом Коммунистической ...ртии Соединенных Штатов».

«Я так же, как, в сущности, все работавшие с нами, не сомневался в том, что Цянь ...был членом коммунистической партии, и дело не заходило дальше простого зна...мства с людьми, которые позже были объявлены коммунистами или симпатизирую...ми коммунистам»,— спустя несколько лет напишет фон Карман.

Фон Карман был убежден, что Служба иммиграции действовала исключительно ...основании слухов, а многие американские коллеги Цяня считали, что Служба имми...ации и натурализации действовала исключительно глупо и попала в ловушку собст...нной бюрократической системы.

В то время, когда разразилась корейская война, в американских колледжах и ...ниверситетах было зарегистрировано больше китайских студентов, чем когда-либо за ...е сто лет со дня приезда первого китайского студента в США. Около 3600 человек ...чилось в 454 колледжах и университетах в сорока семи штатах США и Федерального ...круга Колумбия, плюс еще тысяча человек, которые работали там или проходили ...тажировку. За все время второй мировой войны число китайских студентов, подго...овленных в США, составило почти десять тысяч человек. На заре ядерного века они ...чились в США преимущественно в технических вузах. Китайцы составляли, не считая ...внадцев, самую большую группу иностранных студентов, учившихся в США. Почти ...оловина из них занималась отраслями, так или иначе связанными с ядерными иссле...ваниями.

В этом заключалась ни с чем не сравнимая ирония. В Соединенных Штатах нахо...ились сливки китайской научной мысли. Многим из ученых, занимавшимся в важных, ...точки зрения государственной безопасности, отраслях науки, было официально заяв...ено, что они ни при каких условиях не имеют права покидать Соединенные Штаты, но ...лупость Вашингтона и косность части общественного мнения словно сговорились, что...ы заставить колоссально одаренных людей покинуть их новую родину и вернуться ...неизвестное и даже зловещее будущее — в Китай. Одна из комиссий американских ...кспертов, которая через несколько лет занялась разборкой груды бумаг, касающихся ...ребывания китайских студентов и ученых в Соединенных Штатах, пришла к выводу, ...то главным виновником их отъезда была Служба иммиграции и натурализации. Слу...илось так, что им было приказано остаться, но они были вынуждены уехать.

Многие из китайцев не испытывали никакого желания возвращаться. Они боялись ...нового режима. Большинство из приехавших учиться были выходцами из буржуазных ...семей и относились как раз к тем, кто попадал в КНР в категорию «врагов народа». ...Возможно, некоторым не терпелось уехать и принять участие в строительстве обещан...ного Мао Цзэ-дуном общества, но даже и они могли попасть под подозрение как люди, ...подвергшиеся слишком долгому влиянию западной и американской идеологии. Возмож...но, эта идейная разобщенность и могла быть использована как средство для того, чтобы ...заставить колеблющихся среди наиболее талантливых китайских ученых остаться в Сое...диненных Штатах. Но этот шанс был потерян в дебрях вашингтонской бюрократии.

«Участие китайских коммунистов в корейской войне породило целую серию меж...ведомственных войн в Вашингтоне, одна из которых шла между Госдепартаментом и ...Министерством юстиции за судьбу китайских студентов в Америке»,— писал журналист ...Джеймс Рестон в «Нью-Йорк таймс». Он привел слова одного профессора, осуждав...шего мрачную атмосферу подозрительности, вашингтонскую истерию против «попусти...тельства» коммунистам, бесчувственность властей по отношению к китайским сту...дентам.

«Преступно,— сказал профессор,— высылать друзей, но высылать врагов является ...полным идиотизмом, тем более что все из них прошли прекрасную подготовку. Ни ...одно разумное правительство не дало бы им возможности уехать в Пекин, независимо ...от того, хотели они этого или нет,— тем более что девяносто процентов из них этого ...не хотело!»

Университеты присылали запросы о помощи китайским студентам, но вашингтон...ская бюрократическая улита не торопилась. Когда в конце концов было решено выде...лить помощь из федеральных средств, для большинства она была запоздалой и слиш...ком ничтожной. Некоторые из талантливых выпускников, имеющих кандидатские и ...докторские звания, попали мойщиками посуды в рестораны, работали в китайских ...прачечных, служили швейцарами и торговали китайским рагу с лотков, чтобы хоть ...как-то заработать на жизнь. Даже когда им удавалось получить временное разреше...ние на работу, они были в трудном положении, поскольку не имели американского ...гражданства, а получить гражданство было крайне трудно. Даже если китайцу удава-

лось сменить статус иностранца на статус иммигранта, с видом на постоянное жите
ство, должно было пройти пять долгих лет, прежде чем он мог получить гражданст
Без гражданства китаец не имел права поступить на государственную службу
занять пост ни в одной из государственных школ или университетов, равно
не мог работать во многих частных компаниях, имевших государственные контракт
Адвокаты, врачи, дантисты не могли иметь практику, поскольку у них не было
цензий.

В Пекине были отлично осведомлены о том, что происходило с китайскими ст
дентами в Соединенных Штатах, и старались извлечь из этого наибольшую польз
В то время как американцы были глухи к крикам о помощи попавших в затрудн
тельное положение китайских студентов, пекинская пропаганда всячески играла
преследовании студентов. Д-р Чжи Мэн, директор американского Института Кита
опубликовал просьбу и предупреждение. Он просил по крайней мере пять миллион
долларов для помощи китайским студентам в США. Он предупреждал, что многие
его наиболее талантливых соотечественников, доведенные до отчаяния, уедут
коммунистический Китай, увезя с собой все те знания, которые они получили в Со
диненных Штатах. Д-р Мэн, живший в студенческие годы в одной комнате с Чжо
Энь-лаем и лично знавший Мао Цзэ-дуна еще до того, как тот пришел к власти, обр
тился с предупреждением к Америке:

«Если мы оставим их на произвол судьбы (китайских студентов в США), вы н
сможете убедить миллионы китайцев в своей дружбе, но если мы поможем им сего
дня, это будет иметь больший эффект, чем любое количество военных добровольцев»

Совет не был услышан. И многие блестящие китайские ученые, к тому же обес
покоенные пропагандистскими письмами и угрозами из Пекина, боясь того, что могл
случиться с их семьями, пришли к выводу, что у них нет выбора. Некоторые несмотр
ни на что остались. Но слишком многие, а среди них и самые талантливые, уехали.

Многие оказались в том же положении, что и д-р Цянь Сюэ-шэнь: приговорен
ные к депортации, они задерживались, поскольку считались слишком ценными, чтобы
получить разрешение на выезд.

Цянь снова погрузился в работу. Несмотря на клеймо, которое оставалось на
нем, он продолжал пользоваться большим уважением в научном мире. В июле
1953 года он вновь выступил на заседании американской ракетной ассоциации.

На этот раз он говорил о полетах на Луну. По его выкладкам этого можно было
достичь с искусственной платформы, выведенной на орбиту на высоте нескольких ты
сяч миль над Землей. Он представил множество формул, доказывающих, как с по
мощью космической платформы можно будет решить проблему посадки на Луну.

«Надеюсь,— писал он в заключении,— что сегодняшние исследования дадут бу
дущим поколениям космических инженеров рациональную основу для создания косми
ческих кораблей».

Еще на два года Цянь углубился в свои исследования — его занимала киберне
тика, космические проблемы. И хотя теперь он уже не имел допуска к секретным
исследованиям, его работы оставались предметом глубочайшего интереса для науч
ного мира. Он не встречался ни с кем из друзей. Сидней Вейнбаум, просидев три
года из четырех в тюрьме на острове Макнейл, вышел на свободу и обратился к
декану Калтеха Ватсону с расспросами о судьбе Цяня. Ватсон посоветовал ему не хо
дить к Цяню, поскольку этот визит мог еще более усложнить положение китайского
ученого. Возможно, агенты ФБР все еще следили как за Цянем, так и за Вейнбау
мом, поэтому Вейнбаум решил не ходить к своему старому другу. Больше им не до
велось встретиться.

Письмо пришло в дом Цяня в Алтадене 5 августа 1955 года. Цянь, едва взгля
нув, знал содержание.

«Уведомляем Вас,— гласил текст,— что решение Службы иммиграции и натура
лизации от 23 августа 1950 года аннулировано, и Вы можете выехать из Соединенных
Штатов.

Чтобы не возникло никаких затруднений при выезде из Соединенных Штатов, мы
рекомендуем держать данное учреждение в курсе всех Ваших планов, касающихся
отъезда».

В вежливой форме Цяню сообщали, что его высылают. Решение Службы, на
которое ссылалось письмо, было запрещением выезжать из страны, о котором он
был извещен пять лет назад в аэропорту Лос-Анджелеса, после возвращения из бес
плодной поездки в Вашингтон, куда ездил выяснять вопрос о проверке благонадеж
ности.

Цянь вместе с женой собрал свои вещи и заказал билеты на пароход «Прези
дент Кливленд», идущий в Гонконг.

Несколько человек — старые друзья и коллеги по Калтеху — пришли проститься.

Дан Кимбалл, который был начальником Цяня в компании «Аэроджет» и одно
время заместителем военно-морского министра, теперь уже не входил в прави
тельство.

«Цянь дал мне слово, что он никогда не уедет по собственной воле,— вспоминает Кимбалл.— Его выслали. Я обращался в Госдепартамент, я обращался в военно-морское ведомство, объясняя им, что они должны выразить свой протест, поскольку Цянь был слишком ценен, чтобы **позволить** ему покинуть страну. Если бы хоть что-то зависело от меня, я не разрешил бы ему покинуть страну **ни при каких** обстоятельствах. Он знал слишком много. Он был слишком талантлив».

■

Цянь сразу же был назначен директором Института механики Академии наук КНР. Он сотрудничал в академических отделениях физики, математики и химии. Он вошел в Китайский национальный комитет по науке. Его назначили председателем Китайского Аэродинамического общества и общества астронавтики. Ему было поручено заведование отделом современной механики в Институте науки и техники. Однако в партию его не принимали — вероятно, требовалось время для очищения после столь долгого пребывания в Соединенных Штатах,— по крайней мере, прошло уже три года после его возвращения в Китай, а он еще не состоял в КПК.

Ко времени его возвращения в Китай Чжао Чжун-яо, Хуа Ло-гэн, Ван Гань-чжан и другие питомцы знаменитых американских учебных заведений уже полностью были заняты работой над китайской ядерной программой. Чжао был заместителем директора Института ядерной энергии, он же был его основателем. Как и Цянь, он входил во множество научных отделений и комиссий. Это же относилось к Хуа Ло-гэну, который к моменту возвращения Цяня был вторым человеком в Отделении физики, химии и математики Академии наук, директором Института математики, директором Института вычислительной техники, где Цянь вскоре тоже начал сотрудничать.

Чэнь Сань-цзян, питомец Парижского университета и ученик Фредерика Жолио-Кюри, был назначен директором всей китайской программы ядерных исследований, а Ван Гань-чжан из Калифорнийского университета — его заместителем. Не Жун-чжэнь, изучавший физику в Европе, имел чин маршала и был военно-политическим руководителем программы.

Среди двухсот крупнейших ученых Китая, которые всерьез могли принять участие в разработке китайской ядерной программы, более трех четвертей получили подготовку за границей, причем из них главные восемьдесят — в Соединенных Штатах.

Как только коммунисты пришли к власти в Китае, новый режим предпринял отчаянные попытки заполучить из Америки китайских ученых. Пекин незамедлительно начал активную кампанию с целью заставить их покинуть Соединенные Штаты. Коммунистическая партия, располагавшая полным списком китайцев, которые при Чан Кай-ши были направлены на учебу в США, объявила, что вернувшихся ожидает особый почет и особое отношение.

Кроме ракетчика Цяня и физика-ядерника Чжао, в Калтехе было еще несколько человек, сделавших, вероятно, бесценный вклад в пекинскую программу. Сяо Чэнь, которому летом 1950 года исполнилось тридцать лет, в том же году защитил в Калтехе диссертацию по физике. Он занимался исследованиями в области физики высоких энергий и космических лучей. Никто в Калтехе не мог вспомнить, как он исчез.

«Сяо пришлось уехать неожиданно,— вспоминал лауреат Нобелевской премии д-р Карл Андерсон, который учился в одно время с Чжао и Сяо.— Я помню, что он узнал что-то о своей семье и уехал. Это и решило все дело».

Возможно, что и Сяо получил скрытую угрозу из Пекина.

Го Юн-хуай защитил диссертацию по аэродинамике в Калтехе. Ему протежировал д-р Цянь, чьим помощником в области ракетостроения он был. Он вырос в серьезного ученого. Го не интересовался политикой. Он был вежливым, приятным молодым человеком и очень дружил со своим учителем. Го стал блестящим специалистом в своей области. До приезда в Калтех он занимал должность профессора в Корнельском университете. Там Го встретил свою соотечественницу и женился на ней, но она бросила его, вернувшись в Китай. Когда д-р Цянь попал в опалу, Го исчез.

Ху Нин во время второй мировой войны тоже работал вместе с д-ром Цянем над ракетными проблемами в Калтехе. Спустя несколько лет он исчез...

Мэн Чжао-ин защитил в Калтехе диссертацию по физике. В конце концов он оказался в Университете Циньхуа в Куньмине.

Чан Цзяо-хуа, физик, защитил диссертацию в Университете Вашингтона, в Сан-Луисе. Вернулся в Китай в середине 50-х годов.

Ши Жу-вэй учился в Иельском университете. Он стал одним из крупнейших китайских ядерных физиков.

В этот длинный и впечатляющий список входят такие люди, как:

Дан Дин-юань, Чикагский университет, защитился в 1950 году, стал научным сотрудником Института физики Академии наук Китая.

Ли Чжэн-у, защитился в Калтехе в 1951 году, специализировался в области ядерной физики, научный сотрудник Института физики Академии наук Китая.

Сян Жэнь-шэн, физик, выпускник Рутжеровского университета.

Гэ Дин-суй, специалист по исследованиям металлов, Чикагский и Калифорнийский университеты.

Хоу Ю-чунь, Мичиганский университет, спектрохимические исследования.

Чжу Гуан-я, специалист в области ядерной физики, Калтех и Мичиганский университет.

Чан Вэнь-ю, Принстон, 1945—1949, специалист по космическим лучам и наблюдениям альфа-частиц и гамма-лучей при мю-мезонном распаде ядра.

Хуан Чжан-шан, Массачусетский технологический институт, 1948 год, стал член-корреспондентом Академии наук, Институт прикладной физики АН КНР.

Гэо Дин-суй, Калифорнийский университет, 1944 год, физик, принимал участие в секретных американских работах, стал действительным членом Академии наук КНР, отделение физики, математики и химии.

Чжу Гуан-я, Мичиганский университет, защитился в 1950 году, ядерная физика, стал профессором Пекинского университета.

Ма Да-и, учился в Гарвардском университете, стал заместителем директора Пекинского института электроники.

Ин Чэн-фу, Университет Броуна, защитился в 1952 году, вернувшись в Китай, работал в области применения ультразвука в физике твердого тела.

Этот список можно продолжать и продолжать.

Европа дала Чэнь Сань-цзяна, который стал директором китайской ядерной программы; там до отъезда в Соединенные Штаты начинали свою подготовку многие, включая заместителя Чэня — Ван Гань-чжана и математика Хуа Ло-гэна.

Чэнь Сань-цзян и его жена Хо Чэ-хуа изучали физику в Парижском университете под руководством известных своими крайне левыми взглядами Фредерика и Ирэн Жолио-Кюри. Те, кто знал Чэня по Парижу, считали, что тогда он был далек от коммунистов. Но как только в Китае коммунисты пришли к власти, новое правительство предложило ему большие льготы и привилегии, поскольку в то время он был одним из немногих в Китае, кто мог составить ядерную программу. Родившийся в 1910 году в провинции Чжэцзян, Чэнь в 1936 году закончил физический факультет Университета Цинхуа и на стипендию, полученную от чанкайшистского правительства, уехал учиться во Францию. За исследования в области гамма- и альфа-лучей и ядерного распада урана он в 1946 году получил премию по физике Французской Академии наук. Его считали блестящим ученым.

Китай все еще находился под властью Чан Кай-ши, когда в 1948 году Чэнь вернулся, чтобы получить кафедру ядерной физики в своей alma mater. Когда к власти пришли коммунисты, он получил почетный пост заместителя председателя Всекитайской федерации демократической молодежи. Это был испытанный способ вовлечения ученых в политическую деятельность. Многие из ученых, включая ракетчика Цяня, были назначены заместителями председателя этой Федерации.

Ван Гань-чжан, питомец Калифорнийского университета, родился в 1907 году в провинции Ганьсу в семье провинциального врача. В 1934 году он лучшим на своем курсе закончил университет Цинхуа и на стипендию чанкайшистского правительства был направлен в Берлин. Там он занимался под руководством известного физика-ядерника д-ра Лизы Мейтнер. Во время второй мировой войны Ван вернулся в Китай, но сразу же после окончания войны уехал в Калифорнийский университет в качестве научного сотрудника кафедры физики. Он вернулся в Китай в 1948 году, когда страна все еще находилась под властью Чан Кай-ши. Год спустя, когда коммунисты пришли к власти, Ван стал главным китайским специалистом в области ядерной физики.

Не Жун-чжэнь учился на инженера во Франции, изучал естественные науки в Бельгии, получил военное образование в Советском Союзе. Он был настолько же солдатом и политиком, насколько ученым. Это была идеальная фигура для военно-политического руководителя китайского похода в науку. Не Жун-Чжэнь попал в высшие круги партийного руководства и до отмены всех званий был маршалом.

■

Пекин праздновал. По всей столице расцвели огромные иероглифы: на автобусных остановках, на зданиях фабрик, в витринах магазинов красовались надписи: «Успешное Испытание Ядерной Бомбы». На улицах танцевала молодежь. Премьер Чжоу Энь-лай вкрадчиво объявил, что взрыв атомной бомбы «является важным вкладом в дело защиты мира во всем мире».

Бомба стоила дорого со многих точек зрения. Она стала результатом десятилетий концентрированных усилий, за которые было заплачено дорогой ценой бесчисленных трудностей и лишений для миллионов голодных китайцев, ценой разрыва с русскими союзниками, ценой все большей изоляции от коммунистического мира и от других стран. Однако пекинские политиканы находили этому оправдание.

С того времени, когда на башне в соленых песках Такла-Макана было взорвано первое китайское ядерное устройство, прошло семь месяцев. Было сообщено, что второй взрыв 14 мая 1965 года был ненамного мощнее первого — он был почти равен эквиваленту первой американской бомбы в двадцать килотонн, которая была испытана двадцать лет назад в Аламогордо.

Китайская ядерная программа предопределяла рост внутренних неурядиц из-за снижения жизненного уровня населения. Она предусматривала громадные расходы, на которые должна была пойти голодная и отсталая страна.

Что касается заграницы, то там бомба помогла Китаю потерять друзей и углуа изоляцию, которая еще более усилилась после начала «великой пролетарской ьтурной революции». Бомба значительно ухудшила и без того напряженные отноения между Пекином и коммунистическими странами.

■

Огромная полоса огня прочертила небо почти в десяти тысячах футах над прорами пустыни Такла-Макан. Белый дым тут же окутал пламя, а потом, распускаясь вно кочан цветной капусты, принял форму округлого облака.

Это случилось 9 мая 1966 года. Со времени последнего китайского ядерного рыва прошел целый год. На этот раз облако таило в себе зловещий смысл.

Прежде всего имелись признаки, что китайцы создали термоядерное устройство. этом говорило то, что в пробах, кажется, содержались ингридиенты, используеые при создании водородной бомбы. Далее, китайцы смогли создать устройство статочно компактное, чтобы быть сброшенным с самолета, то есть они могли здавать запасы «доставляемого» оружия.

Взрыв был мощней первых двух по крайней мере в шесть раз.

Означало ли это, что китайские ученые натолкнулись на какие-то новые откры? Может быть, они обнаружили лучшие и более простые методы производства щепляемых материалов? Означало ли это, что путь Китая к положению могущественной ядерной державы окажется более быстрым, чем кто-либо на Западе мог бе представить?

Первый, второй и третий ядерные взрывы были тщательно сняты на цветную енку для показа в кинотеатрах по всей стране. В конце концов, фильм был куплен кийской радиовещательной компанией и попал в Японию. Фильм удалось получить помощью разваливающегося, но еще действующего Японо-китайского общества ружбы.

Фильм и прочие пропагандистские мероприятия, связанные с взрывом, по-видиому, имели целью успокоить умы китайцев, думавших о ядерной войне: в конце рицов бомба не так уж страшна, фильм можно было бы назвать китайской версией а тему «как я научился любить бомбу».

В одной из сцен было показано, как из клетки, явно находившейся в районе зрыва, выходит курица. Она весело хлопала крыльями и завершила эту демонстрацию безопасности, снеся отличное белое яйцо среди здоровых и благоухающих цветов.

На других кадрах кролики резво прыгали в том же районе среди ярко зеленею-ей травы после атомного взрыва и выпадения радиоактивных осадков.

Во время демонстрации фильма на экране вспыхивали изречения из красой книжечки под названием «Мысли Мао Цзэ-дуна». Аудитория громко и весело в нисон распевала цитаты.

Судя по фильму, китайский народ ликовал, когда услышал официальное объявлие премьера Чжоу Энь-лая о первом взрыве. Показывались кадры, рисующие торества в провинции Синьцзян — районе испытаний и в других районах по всей тране.

Были показаны солдаты, пробивающие себе путь сквозь песчаную бурю в пусты-е Такла-Макан к району Лобнора, где происходили испытания. В фильм вошли кады, демонстрировавшие различные детали ядерного устройства, и особый акцент мера делала на жутковато мерцавшие лампочки. Однако ничего нового или предтавлявшего интерес с технической точки зрения показано не было. Зато в фильме ыло уделено много внимания сидящим в клетках животным, которых доставили в йон испытаний, вероятно, для проверки воздействия радиации на живые организы. Собаки, кошки, обезьяны, цыплята были показаны в клетках до взрыва, а затем вредимые после него.

Конечной целью всего этого была попытка заставить искушенного зрителя задуаться: по крайней мере на этой стадии, эта еще несовершенная китайская бомба — ак ее называют французы — является скорее политической бомбой, чем военной. осторги, которыми были встречены взрывы, пусть даже они были направляемы сверху, бедительно свидетельствовали о роли национализма в ядерной гонке Китая.

В фильме показывалось, как сразу же после взрыва в районе испытаний были роведены военные учения, которые должны были продемонстрировать, что атомный зрыв не так страшен, как об этом твердят. Это полностью соответствовало мыслям ао Цзэ-дуна о том, что ядерное оружие «бумажный тигр», а исход войны решает е оружие, а люди.

Мао и его сторонники наметили программу создания не одной, а трех бомб.

Одна была «духовной атомной бомбой», изобретение которой Мао скромно приисал своим идеям. Ее тайной целью было создание маяка, который когда-нибудь светит революционерам путь к созданию послушного управляемого мира.

Другой была «великая пролетарская культурная революция» — политическая бома Мао, которая создаст «покорный скот», как представляла себе это китайская пропаганда. Каждый мужчина и женщина будут солдатами, автоматически выполняющими юбые приказы сверху, не желающими ничего, кроме стремления «не думать о себе» о имя труда и родины.

Третьей, конечно, была военная. Одной из ее главных целей было завоевание

для Китая престижа великой мировой державы и получение богатых дивиден с будущего шантажа стран Азии и других отсталых стран.

■

Казалось совершенно очевидным, что Мао не доверяет никому, кто был извест своим «буржуазным» происхождением, а все его ведущие ученые были выходцам из семей, процветавших до прихода коммунистов и имевших деньги, чтобы посыла своих детей за границу для получения образования. Все ведущие ученые бы осквернены контактами с Соединенными Штатами и другими странами Запада. Нек торые из них, такие как Цянь Сюэ-шэнь, Чжао Чжун-яо, Ван Гань-чжан, Хуа Ло-г подолгу жили за границей, и Мао боялся их.

Некоторые—Хуа, «Джимми» Чэнь и другие—попали под огонь в период «Ста цв тов». Но, по-видимому, они мало пострадали и подверглись лишь короткому перев питанию да еще от них потребовали формального раскаяния. Им не пришлось с правиться «в горы и поля», как звали лозунги, чтобы исправительные работы научи их смирению и покорности и превратили в настоящих пролетариев. Мао мог напада на любых интеллигентов, но не на физиков — они были нужны ему.

Вряд ли кто-нибудь из ученых верил, что идеи Мао Цзэ-дуна могут созда ядерное оружие, даже несмотря на приказ, предлагавший «рассматривать труды Ма Цзэ-дуна в качестве наилучшего руководства для всей своей работы». Они с усме кой выслушивали призывы «отдавать предпочтение политике» и увещевания «избега копирования чисто буржуазных исследований».

Вице-премьер Не Жун-чжэнь, изучавший ядерную физику в Европе, был назнач военно-политическим шефом программы создания сверхоружия. Небольшого рост пожилой, но еще крепкий, Не Жун-чжэнь являл собой образец современного кита ского «врага ревизионизма и американского империализма».

Когда руководящая группа партии призвала хунвэйбинов-«красногвардейцев» н чать невиданную по размаху травлю тех, кому не доверял Мао, были приняты мер чтобы оградить от беспокойства представлявших ценность ученых. Инструкция № шестнадцатого инструктивного коммюнике гласила:

«Что касается ученых, техников и простых рабочих, которые являются патриот ми, хорошо работают и не имеют никаких недозволенных связей с иностранны государствами, во время нашей кампании мы будем проводить по отношению к ни политику «единства, критики, единства». Особое внимание должно быть уделено те ученым и научно-техническому персоналу, которые сделали открытия. Необходим приложить усилия, чтобы помочь им постепенно изменить свой взгляд на мир и стил своей работы».

Ученые, и прежде всего работавшие над ядерной программой, были в относ тельной безопасности. Подобная политика, дававшая какую-то защиту ученым, занятым в стратегически важных для Китая областях науки и техники, в перспективе была направлена против науки вообще. Она не останавливала создание бомб и ракет, однако серьезно тормозила развитие других отраслей науки, которые могли бы содей ствовать поднятию жизненного уровня китайского народа.

«Железная метла», как назвал движение хунвэйбинов председатель Комитета по делам «культурной революции» ЦК КПК Чэнь Бо-да, прошлась по всей стране. Юнцов вдохновляли строками из стихотворения Мао Цзэ-дуна:

«Золотая обезьяна гневно подняла тяжелую дубину и очистила от грязи яшмовый небесный свод».

Призыв к битве снова и снова печатался в партийной прессе.

«Сокрушим причуды, сметем чудовища»,— напутствовал молодежь Чэнь Бо-да, и они с безрассудным энтузиазмом крушили «четыре пережитка» — старое искусство, культуру, обычаи и привычки,— разбивали вся и все, что напоминало о прошлом.

Толпы испуганных людей молча наблюдали, как молодежь опустошала частные дома, била окна, разбивала мебель, выкидывала на улицу украшения, одежду и обувь, которые были сочтены «буржуазными». Люди молча смотрели, как кровожадные молодчики хватали мелких собственников, выволакивали их на улицы, били палками, затем вешали на них таблички «капиталист» или «контрреволюционер» и уводили их в неизвестном направлении.

Пожилые мужчины и женщины, одетые в шутовские колпаки, медленно тащились по улицам, подгоняемые пинками юнцов. Учителя, писатели, ученые, интеллигенция были подвергнуты небывалым унижениям. Некоторых довели до самоубийства. Некоторые, насколько известно, погибли от пыток.

Иностранцы не составляли исключения. Хунвэйбины ворвались в дом, где жило около ста семей иностранных дипломатов, и на каждой двери повесили по огромному портрету Мао Цзэ-дуна. Другая банда вломилась в существовавшую в Пекине уже сто лет римско-католическую академию «Святого сердца», оскорбляла французских монахинь, установила бюст Мао и обвешала все стены плакатами, на которых было написано: «Иностранные дьяволы, убирайтесь вон», «Прогоним цепных псов империализма».

В Пекине был создан пункт по сбору драгоценностей и других вещей, конфискованных хунвэйбинами в частных домах и квартирах. Туда сносили ванны, мебель и великое множество самых разнообразных предметов, включая даже коллекцию морских раковин. Все эти вещи были сочтены буржуазной роскошью.

Всем гражданам было приказано доказать свою лояльность Мао, развесив его портреты в домах и выставив в окнах плакаты с его цитатами. Некоторые, для пущей безопасности, носили его изречения на одежде. В городе едва ли можно было найти велосипед, рикшу или такси без большого щита с цитатами Мао Цзэ-дуна. Магазины бойко торговали портретами Мао. Каждому водителю автобуса было приказано вывесить портрет Мао. Реклама, горевшая неоновыми иероглифами, была заменена цитатами Мао.

Толпы юнцов врывались в магазины, выбрасывали на улицу предметы парфюмерии и косметики.

Они требовали прекратить производство этих товаров, поскольку «косметика и парфюмерия служат буржуазии и красавицам», и заменить это грубым и жестким мылом.

Во многих городах хунвэйбины устраивали форменную охоту на юношей и девушек, носивших «буржуазные» прически. Их хватали на месте, брили наголо, надевали на грудь плакат и под крики улюлюкающей толпы водили по улицам.

Демонстранты призывали к отмене таких старых обычаев, как посещение родственников и покупка фруктов и сластей для этих целей. «Все люди,— провозглашали они,— имеющие феодальные и буржуазные имена, должны по собственной инициативе явиться в народную милицию и поменять их». «Выходя из дома, домовладельцы, контрреволюционеры, подрывные элементы, правые и капиталисты должны носить на себе знак с надписью «подонок», и все должны видеть это».

Юнцы начали широкую кампанию «по переименованию» в масштабах всей страны. Кайланьские угольные копи были с полным сознанием долга переименованы в «Антиимпериалистические угольные шахты». Аптекарь в Нанкине был вынужден назвать свой магазинчик «Долой буржуазную аптеку», другого заставили назвать свой магазин «Аптека красного сердца». Фотограф неожиданно обнаружил, что он работает в «Антиревизионистской фотостудии». Зеленщик сменил свою вывеску на «Продуктовый магазин «Ветер с Востока».

«Ревизионистские» и «буржуазные» граммофонные пластинки и ноты подлежали уничтожению. Сюда включался Бах, Моцарт, Бетховен и такие русские композиторы, как классический Чайковский и современный Шостакович. Большинству книжных магазинов было приказано торговать только трудами Мао Цзэ-дуна. Художественные салоны под угрозами распоясавшихся юнцов спрятали все классические картины, заменив их портретами Мао. Ношение солнечных очков было объявлено буржуазной привычкой. Шахматы были слишком русскими, даже китайские шашки были признаны слишком буржуазными, декадентскими и феодальными.

Хунвэйбины потребовали, чтобы были изменены цвета светофоров. Поскольку красный цвет был революционным, машины должны были ехать на красный и останавливаться на зеленый.

Тем, кто пил, было приказано не пить. Курящим приказали не курить. Мао Цзэдун и Чжоу Энь-лай были заядлыми курильщиками, но широких масс это не касалось. Ресторанам было приказано готовить только дешевые блюда, доступные рабочим и крестьянам.

В Шанхае на кладбище Хуанхуакан состоялся массовый митинг «хунвэйбинов и революционных учителей». Они решили, что статуя богини Свободы должна быть свергнута, а богиню нужно судить. «К черту богиню Свободы»,— кричал плакат.

Для хунвэйбинов писались новые песни. Вот некоторые из названий наиболее популярных песен: «Работы председателя Мао светят золотыми лучами», «Книги председателя Мао — сокровище революции», «Сердцам пастухов близки идеи Мао Цзэдуна», «Больше всего мы любим изучать работы Мао Цзэ-дуна», «Председателя Мао мы любим больше, чем отца и мать», «Рабочие, крестьяне и солдаты в авангарде революции».

В полдень 25 августа, по сообщению агентства Синьхуа, переданному на китайском языке, «революционный огонь» был направлен на Центральный институт искусств, чтобы разрушить скульптуры императоров, королей, генералов, министров, ученых и красавиц, изображения Будды и ниши, где они устанавливались. Революционные студенты и преподаватели Института заявили: «Мы сокрушили и разрушили не просто несколько скульптур, но весь старый мир».

Взамен институту вручили красочный портрет председателя Мао.

Хунвэйбины получали удовольствие от ежедневных провокаций у советского посольства. Однажды молодчики из пекинского Института общей медицины пришли к посольству, неся огромные плакаты, на которых было написано:

«Наши сердца пронизаны ненавистью и обидой. Мы никогда не забудем этого— через сто, тысячу или десять тысяч лет. Когда придет время, мы сдерем с вас кожу, разорвем мясо, сожжем ваши трупы, а прах развеем по ветру».

Затем они установили громкоговорители и начали периодически выкрикивать все это в окна советского посольства.

Хунвэйбины съезжались в Пекин со всех концов страны. Они без дела слонялись по улицам, не желая знать ничего, кроме маленьких красных цитатников Мао Цзэ-дуна, готовые обрушить на постоянно указываемых маоистской прессой настоящих и выдуманных врагов всю необузданную жестокость распирающих их молодых сил.

В стране, где старые боги были уничтожены, культ Мао заменял религию. В этих условиях даже ум ученого мог оказаться в сетях фанатизма.

■

Стоял один из обычно мягких и тихих октябрьских пекинских дней, когда поступило это сообщение и китайская пресса захлебнулась от восторга.

«27 октября 1966 года,— гласило коммюнике,— Китай над своей территорией успешно провел испытания управляемого ракетно-ядерного оружия. Полет ракеты прошел нормально, и ядерная боеголовка точно поразила цель, находившуюся на заданном расстоянии. Был осуществлен ядерный взрыв».

Это был четвертый взрыв. Не вызывало никаких сомнений, что именно д-р Цянь присоединил ядерную боеголовку к ракете.

Хунвэйбины, на чьи молодые плечи была возложена маоцзэдуновская великая «культурная революция», танцевали на улицах. Они били в гонги и стучали в барабаны. Они пришли огромной, восторженной толпой к находящемуся недалеко от площади Тяньаньмынь — Ворот Небесного спокойствия — зданию Центрального Комитета и устроили там шумный митинг. Они сложили кучу плакатов с приветствиями под огромным, ярко освещенным портретом Мао. Снова и снова они выкрикивали: «Да здравствует Председатель Мао» и «Да здравствует великая пролетарская культурная революция».

Перед зданием редакции «Жэньминь жибао» люди выстраивались в огромные очереди, чтобы получить, и на этот раз бесплатно, специальный выпуск газеты. Специальный ночной выпуск открывался огромным заголовком, напечатанным красными иероглифами: «Добрые вести!»

«Добрые вести» 28 декабря 1966 года состояли в том, что коммунистический Китай провел пятое испытание ядерного оружия. Югославские коммунисты писали в этой связи:

«Пятое китайское испытание ядерного оружия свидетельствует о том, что современный Китай, находящийся в тисках потрясений и внутренних беспорядков, ищет выхода из создавшейся ситуации на путях полной милитаризации страны. По всем признакам Китай хочет поразить весь мир и достичь, по крайней мере, некоторых из своих великодержавных и националистических целей, которые становятся все более очевидными».

Четыре ярко раскрашенных воздушных шара поднялись в голубое небо над пустыней Такла-Макан. С них свисали длинные красные и белые полотнища с лозунгами: «Да здравствует наш великий председатель Мао», «Да здравствуют непобедимые идеи Мао Цзэ-дуна», «Да здравствует Китайская коммунистическая партия», «Да здравствует великая пролетарская культурная революция».

Офицеры торжественно поднимали пятизвездные красные знамена. Звучали отрывистые команды. Военные, техники, инженеры и ученые покорно выстроились и громко повторяли цитаты из книжечки «Избранные мысли Мао Цзэ-дуна».

«Нам необходимы энтузиазм и трезвость ума, интенсивность и упорядоченность в работе,— распевали они хором.— Наш долг сделать себя полезными для людей».

Закончив хоровую декламацию, техники и инженеры последний раз проверили сложное оборудование. Каждый винтик, каждую деталь электроники, каждое соединение. Ответственные лица прошли в командный бункер. Нервно мерцали сигнальные лампы. Солдаты натянули защитную одежду, маски, надели защитные очки. Офицеры заняли свои места на наблюдательных пунктах.

Искусственная молния разорвала жаркое голубое небо. Необычайной силы грохот сотряс землю пустыни. Появился громадный огненный шар, отбрасывающий в небо страшные красные и багровые отсветы.

Огненный шар исчез. К небу поднималось грибовидное облако. Отравленные тучи гнало на восток к Японскому морю.

Утром 17 июня 1967 года коммунистический Китай взорвал свою первую водородную бомбу...

Когда затих гул взрыва, люди, принимавшие участие в испытаниях, продекламировали еще одну цитату Мао Цзэ-дуна. Некоторые, вслед за своими руководителями, разразились песней «В море не обойтись без кормчего». Другие толпились у необъятного портрета Мао, выкрикивая изо всех сил цитаты, цитаты. «Некоторые, со слезами на глазах, танцевали, размахивая маленькими красными книжками с цитатами Мао Цзэ-дуна»,— цветисто расписывала пекинская печать.

Новость пришла в Пекин в полночь, и, судя по сообщениям агентства Синьхуа, люди высыпали на улицы, чтобы отметить это событие. Синьхуа писало: «Люди запускали фейерверки, били в гонги и барабаны, кричали «Да здравствует наш великий вождь Председатель Мао!»

Все заслуги по созданию бомбы были приписаны идеям Мао Цзэ-дуна. Как и во время всех предыдущих испытаний, заслуги ученых упоминались в последнюю очередь.

Цянь Сюэ-шэнь, Чжао Чжун-яо, Хуа Ло-гэн, «Джимми» Чэнь, Сяо Чэнь и множе-

тво других китайских ученых, которые проникли в тайны ядерной энергии и реактивных двигателей в американских университетах, теперь, вероятно, могли испытывать довлетворение от сознания своего огромного вклада в программу коммунистического Китая, которая стала предметом глубокой озабоченности для американцев.

У многих из них были причины испытывать горечь, вспоминая свое пребывание Америке. Но было похоже, что большинство одновременно почувствовало, что круг нова замкнулся. Антииностранная, антиинтеллигентская, направленная против азиатов стерия, которую они пережили в Америке, была лишь слабым подобием того, что роисходило теперь у них на родине.

Они приходили к убеждению, что даже самые выдающиеся ученые, представляющие наибольшую ценность для китайских ядерных притязаний, не могут чувствовать себя в безопасности от диких эксцессов «культурной революции». В середине 1967 года в Академию наук КНР — цитадель исследований, проводимых коммунистическим Китаем, ворвались «пролетарские революционеры». Кто-то отдал приказ провести «массовую революционную кампанию отречения» и начать яростные атаки против Лю Шао-ци и его агентов в Академии наук. «Революционные повстанцы» заставляли делать «покаянные заявления» тех, кто подозревался в не очень ревностном отношении к идеям Мао Цзэ-дуна.

«Пролетарские революционеры и революционные массы Академии наук КНР часто устраивали симпозиумы для ученых, чтобы убедить их принять участие в великой революционной кампании отречения и изменить свои общественные взгляды в соответствии с курсом борьбы»,— было сообщено народу.

Возможно, что физики и те, кто находился в высших сферах китайской программы ядерных исследований, смогли избежать этих мероприятий, но, без всякого сомнения, никто не мог позволить себе относиться к ним равнодушно. «Культурная революция» уже нанесла громадный урон образованию в Китае. Школы, институты и университеты больше года как были закрыты, а те, что оставались открытыми, к середине 1967 года были поглощены беспорядками.

Впрочем, даже и ученые, принимавшие непосредственное участие в ядерной программе, не оказались полностью освобожденными от преследований молодых маоистских бунтарей-антиинтеллектуалов. Среди них оказался Хуа Ло-гэн — математик, приехавший в Китай из Иллинойсского университета.

Когда «культурная революция» достигла апогея, он неожиданно обнаружил, что и ему предъявлены обвинения. Хуа Ло-гэн, которому в то время было пятьдесят шесть лет, возглавлял Институт математики Академии наук КНР и пользовался большим авторитетом.

Хунвэйбины расклеили в Пекине плакаты, в которых ученого обвиняли в том, что до того, как коммунисты пришли к власти, он восхищался Чан Кай-ши. На одной из самых оживленных улиц столицы юнцы поносили Хуа Ло-гэна и всех тех, кто почитал его за одного из создателей китайской атомной бомбы. Они называли его антисоциалистическим элементом, говорили, что он был против маоцзэдуновского «Большого скачка», хорошо отзывался о советской науке, нападал на китайскую политику «опоры на собственные силы».

Что же произошло с Цянь Сюэ-шэнем? Ко времени, когда над Китаем разразилась буря «культурной революции», рожденному в Америке сыну Цяня было восемнадцать лет, а дочери шестнадцать. Это был возраст хунвэйбинов. Возможно, что обоих детей Цяня заставили принять участие во всем этом, как это случилось с другими детьми, которых принуждали следить за своими родителями и доносить руководству о малейших подозрениях на их «буржуазное поведение». Цянь и его супруга очень любили западную музыку, таких композиторов, как Бах, Моцарт и Бетховен. Все они были объявлены «ядовитыми всходами».

Возможно, Цянь, занимавший высокое положение и имевший определенные привилегии, смог избежать всего этого. Однако вряд ли его радовало то, что происходило вокруг...

Время от времени из Китая просачивались сведения о Цяне. Он жил в квартире, которая по пекинским стандартам считалась шикарной. У него был даже рояль, на котором его жена могла играть столь любимую ими классику...

Иногда друзья за границей получали вести от Цяня. Одно письмо пришло в форме вежливого отказа от поста в Международной астронавтической организации. Отказ был мотивирован тем, что туда был избран представитель чанкайшистского режима. Второе известие пришло, когда американские друзья Цяня прислали ему извещение о смерти его наставника и кумира д-ра фон Кармана. Цянь направил в Калтех короткую телеграмму с выражением своего соболезнования.

Это все, за исключением новогодней открытки, отправленной из Пекина в адрес коллеги Цяня по Калтеху Дина Ватсона. На открытке, украшенной нарисованными в типичнo китайской манере цветами, четким почерком Цяня было написано: «Это цветы, которые цветут и в ненастье».

Перевод с английского МИХ. НОСОВА

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ВОПРЕКИ ЗАКЛИНАНИЯМ ДОНА ХУАНА ЛИСКАНО

Буквально за несколько часов до открытия III конгресса латиноамериканских писателей, собравшегося в Каракасе в июле текущего года, венесуэльский поэт, критик и эссеист, он же главный редактор-издатель литературного журнала «Зона франка», Хуан Лискано поспешил опубликовать в газете «Эль насьональ» статью по поводу этого конгресса.

Нет, дон Хуан — как явствует из его пространной статьи — отнюдь не намеревался следовать общепринятым нормам гостеприимства и приветствовать — тем более со страниц крупнейшей в его стране газеты — коллег по перу, прибывших в венесуэльскую столицу из многих республик Латинской Америки. На сей раз сеньора Хуана Лискано занимало совсем иное.

Бегло перечислив вехи не столь уж долгой истории Сообщества латиноамериканских писателей, созвавшего конгресс в Каракасе, Лискано напоминает, что идея создания этого Сообщества (юридически оформленного на предыдущем конгрессе, в 1967 году, в Мексике) родилась во время встречи в Генуе группы литераторов из Латинской Америки. Вместе с тем Лискано настаивает, что эта встреча происходила в 1963 году и что именно

> «в том году наивысшей градации чуть ли не во всей Латинской Америке достигло кастристское повстанческое движение»,

а посему, утверждает он:

> «группа, участвовавшая в совещании в «Колумбианум», была в сильнейшей степени оттенена левыми тенденциями, и надо было опасаться, что проектируемая этой группой организация станет одной из тех, которые создавались под любым предлогом, но подчинялись чисто революционным целям».

Пугая читателя респектабельной газеты подобными ужасами, Хуан Лискано, некогда похвалявшийся своим архилиберализмом, счел возможным «бросить тень» на группу латиноамериканских писателей, выдвинувших идею объединения литературных сил континента, однако не посчитал нужным сделать кое-какие и, совсем немаловажные, уточнения. О чем, скажем, забыл дон Хуан? Во-первых, значительную часть, если не большинство, этой группы составляли литераторы, далекие от мысли о «чисто революционных целях» (кто будет приписывать такого рода помыслы, например, участвовавшим в генуэзской встрече старому мексиканскому католическому поэту Карлосу Пельисеру или владельцу солиднейшего аргентинского издательства Гонсало Лосаде, не говоря уж об уругвайском критике Эмире Родригесе Монегале, впоследствии занявшем пост главного редактора издаваемого Соединенными Штатами в Париже журнала «Мундо нуэво»!). Во-вторых, эта группа латиноамериканских писателей, как известно, заседала в Генуе под эгидой католического учреждения «Колумбианум», возглавлявшегося иезуитом падре Арпой, которого так же трудно заподозрить в «левых тенденциях», как и приписать ему «чисто революционные цели». И, наконец, в-третьих, автор статьи в «Эль насьональ» почему-то указывает 1963 год, и неоднократно, хотя на самом деле совещание, о котором идет речь, происходило в январе 1965 года. Что ж, повторяю, Хуана Лискано интересовало совсем другое.

И вот это другое высказано им весьма четко, даже весьма откровенно:

> «Ничто так не омрачает соотношение между человеком творческого труда и ценностью его произведения, как политические обязательства. В этом смысле мы переживаем один из наихудших этапов интеллектуальной жизни. Похоже, что уже

никак нельзя оценивать жизнь и деятельность творческой личности без того, чтобы тотчас не коснуться ее политической позиции. Подобная аберрация в политизировании разделяет, отдаляет, раскалывает, пятнает и деформирует. Дело доходит до того, что писателя оценивают скорее по его политической деятельности, чем по литературной. И как только какой-нибудь писатель выдвинется вперед, так сразу же начинают выяснять его политическую позицию».

Политическую позицию самого Хуана Лискано, к слову сказать, нет надобности выяснять: он сам весьма недвусмысленно ее определил. Уже давно он отказался от жонглирования «либеральной» фразеологией, уже давно его публичные выступления доказывают, насколько занимаемая им позиция чужда силам демократии и прогресса, которые борются за лучшее будущее народа Венесуэлы, народов всей Латинской Америки.

Впрочем, дон Хуан Лискано без околичностей выкладывает свою концепцию:

«Вследствие идеологической перенасыщенности, возведения в миф революции, навязчивой мысли изменить мир путем трансформации общества — а все это является продуктом рационализма, ставящего теории и схемы над жизнью,— уже действительно стало непостижимым, что человеческое существо может оставаться индифферентным перед политикой. Высказывания некоторых писателей, как их послушаешь, почти всегда разочаровывают. Эти писатели либо злословят, либо говорят о политике...»

Взяв на себя роль Сивиллы-прорицательницы, Лискано вещает:

«Самое важное заключается в том, что путем политической активности человек никогда не придет к самоусовершенствованию».

Для чего дону Хуану потребовались такого рода теоретические выкладки? Он не скрывает своих расчетов:

«Надо предположить, что поскольку кубинцы и прокубинцы не принимают участия в Сообществе, то на конгрессе, проводимом в Каракасе, не возникнут столь бесплодные, столь мало согласуемые со специфической деятельностью писателя дебаты, как это случилось в Мексике».

Здесь формулировки дона Хуана опять требуют уточнений и дополнений.

Что же «случилось в Мексике»? На II конгрессе латиноамериканских писателей, происходившем три года назад в Мексике, кубинская делегация высказала свое отрицательное мнение, поддержанное несколькими делегатами из других стран Латинской Америки, по вопросу о составе Сообщества,— в которое, по предложению его организаторов, могут входить писатели всех политических взглядов, как отмечал гаванский журнал Каса де лас Американас», «от антиимпериалистических до проимпериалистических»,— и ввиду этого приняла решение воздержаться от участия в Сообществе. Вместе с тем кубинскими делегатами выделены позитивные акции конгресса: после всестороннего обсуждения писатели Латинской Америки решили направить президенту США протест против бомбардировок Вьетнама, заявив, что

«отзыв сил, ведущих военные действия в этой стране, вернет вьетнамскому народу его полное право на самоопределение, будет содействовать делу мира и взаимопонимания между народами».

Кроме того, писатели Латинской Америки потребовали от президента США

«снять военную, экономическую и культурную блокаду Республики Куба, поскольку эта блокада представляет собой ненавистную агрессию против страны, входящей в латиноамериканское сообщество».

И это все Хуан Лискано определяет «бесплодными, столь мало согласуемыми со специфической деятельностью писателя дебатами»! Опять подвела Лискано его тенденциозность. Он твердит о «явно сектантской и исключительно политической деятельности одной группировки», а по данным мексиканской печати за политические требования, содержащиеся в приведенных выше телеграммах президенту США, голосовали в первом случае все делегаты единодушно, а во втором — при одном воздержавшемся, ни одного против...

С завидным упорством Хуан Лискано пытается противопоставлять политику и литературу. Будучи апологетом теории «автономии» литературы и литераторов, он призывает к «аполитизации» писателей, развивая с этой целью активную *политическую* деятельность. Он так хотел бы «аполитизировать», «нейтрализовать» прогрессивных, демократических писателей Латинской Америки! «Аполитизацию» по Лискано можно представить себе, полистав издаваемый им «журнал литературы и идей» под широковещательным названием «Зона франка», что должно было бы обозначать «свободную зону» для всех литераторов, но в каждом номере редакция предупреждает: «Печатаются труды, лишь запрашиваемые от авторов»,— и «посторонним», не разделяющим мировоззрение Лискано, вход в эту «зону» строго ограничен, а то и совсем закрыт. «Аполитиза-

ция», по Лискано,— это политического характера выпады против социалистическ реализма, против социалистических литератур, против идей социализма и коммуни

Однако призывы к «аполитизации», увещевания, заклинания Хуана Лискано в р рес делегатов III конгресса латиноамериканских писателей, судя по венесуэльской пр се, не достигли цели. «Политика», предаваемая анафеме доном Хуаном, в той или ин мере сквозила в выступлениях литераторов даже весьма умеренного толка, и они могли не коснуться некоторых жгучих проблем латиноамериканской действительност

Честные художники Латинской Америки — и, конечно, прежде всего те, кто связ свою судьбу, свои творческие искания с революционным движением, с судьбой и борьб народных масс,— отдают себе отчет, что в развернувшейся битве идей нельзя оставать в стороне, «над схваткой».

Это понимал и не разделявший идей коммунизма маститый аргентинский по Леопольдо Маречаль, который незадолго до своей кончины писал в ответе на анке уругвайского либерально-буржуазного еженедельника «Марча»:

«...Соединенные Штаты достигают желаемых для себя результатов, подчиня себе более или менее откровенно важнейшие органы культуры: прессу, радио, т левидение... Единственный способ борьбы — серьезное изучение стратегии врага, тем чтобы не попадаться ему в сети, порой весьма коварные (в переводе на язы долларов). Необходимо последовательно отстаивать национальные и континен тальные формы культуры».

Суждение Леопольдо Маречаля развивает в ответе на ту же анкету венесуэльски романист и новеллист Сальвадор Гармендиа, участвовавший в работах III конгресс латиноамериканских писателей:

«Можно без преувеличения говорить о гигантском заговоре против наше страны, запланированном заранее и осуществляемом с такой беспрепятственно свободой в выборе средств, которые запущены в ход с единственной целью — повсюду насаждать субкультуру, деформирующую и духовно обедняющую чело века, субкультуру, которая содержит определенный идеологический подтекст нацелена против всей шкалы культурных ценностей».

Почти во всех странах Латинской Америки, по словам Сальвадора Гармендиа,

«писатель не имеет свободного доступа к телевидению или радио. С каждым днем ему все труднее попасть на страницы журналов и газет... Однако и при этих усло виях наш писатель должен использовать все возможности для того, чтобы изоб личать истинные цели проникновения. Мы, как члены общества, должны активно участвовать в каждом движении, которое служит непосредственно социальному переустройству и сохранению национальной целостности».

В этом свете вполне объяснимо, почему первым пунктом повестки дня III конгресс латиноамериканских писателей было поставлено: «Профессиональные проблемы писате ля перед социальной действительностью». Сам по себе этот факт показывает, насколько тщетны вещания сивилл «деидеологизации» литературы насчет «свободы» писателя от общества, от борьбы народных масс, насчет «отчуждения» писателя от социальной, по литической действительности Латинской Америки. Очевидно, прав известный венесуэль ский романист и поэт Мигель Отеро Сильва, который в дни конгресса в Каракасе, обра щаясь к корреспонденту «Эль насьональ», сказал:

«Ты веришь, что писатели имеют какое-нибудь влияние на жизнь народов? А по моему убеждению, как раз жизнь народов оказывает решающее влияние на писателей».

Открывая III конгресс, председатель его оргкомитета венесуэльский поэт доктор Хосе Рамон Медина, как сообщает венесуэльская печать, заявил:

«Тематика этой встречи отражает тревогу и надежду, интересы и коллектив ные чаяния значительного сектора латиноамериканских народов, которые ныне решили окончательно преодолеть барьер инерции и застоя, на что были осуждены пресловутым вассальным положением в области культуры, порожденным в про цессе усиления экономической зависимости... Литературное произведение писателя должно быть непременно устремленным на то, чтобы отражать повсеместную борьбу народа, на то, чтобы активнее и глубже быть связанным с нуждами, забо тами, испытаниями и надеждами народа».

Поэтому мексиканский писатель и философ Леопольдо Сеа виес на рассмотрение конгресса доклад «Колонизация и деколонизация латиноамериканской культуры».

Поэтому, выступая на конгрессе, эквадорский литературовед Бенхамин Каррион говорил:

«Уже никто легко не поверит тем писателям, которые пишут прекраснодуш ные произведения, но в своей общественной деятельности идут на службу импе риализму, диктатурам... В нашей Латинской Америке,— где примерно в трина дцати или четырнадцати странах господствуют диктатуры, а примерно в трех-

четырех странах царит псевдодемократия,— люди, услужающие диктаторам, могут расписывать чудеса из чудес, но убедить кого-либо им уже не удастся».

Поэтому с исключительной силой прозвучал на конгрессе в Каракасе голос Пабло Неруды:

«Тут мы пока что населяем континент горечи. Разоблаченные на этом конгрессе репрессии в Гватемале и Санто-Доминго, униженное положение Пуэрто-Рико, преступный мрак, окутывающий Гаити, повседневные пытки в Бразилии... Куба окружена бойкотом, что Север (т. е. США.— *Юр. Д.*) заставил принять наши республики, бойкотом, запрещающим провоз продуктов, медикаментов, и книг. В Парагвае тюрьмы переполнены забытыми заключенными. В Чили, на моей родине, вошло в обычай открывать огонь против групп рабочих или студентов. Я говорю об этой боли, потому что она продолжается, она нас окружает, она призывает нас выполнить наш общий долг — долг мысли и совести... Пусть совесть каждого из нас найдет более правильный путь, чтобы помочь освобождению и восстановлению достоинства народов скорбной Латинской Америки,— в этом смысл нашей жизни, нашей любви, нашей бурной судьбы».

Жоржи Амаду в своем послании конгрессу в Каракасе призвал писателей Латинской Америки вложить больший вклад в борьбу народных масс «против отсталости, против эксплуатации и угнетения, против находящихся у власти диктатур, против политической и экономической зависимости».

Другие крупные писатели Латинской Америки: Мигель Анхель Астуриас, Хулио Кортасар, Марио Варгас Льоса, Агустин Яньес, Хаиме Торрес Бодет, Аугусто Роа Бастос — выразили свою солидарность с целями и решениями конгресса.

Перед Сообществом латиноамериканских писателей еще много больших и сложных проблем — на рассмотрение отдельных проблем оказывают свое воздействие известные и вполне понятные противоречия в самом Сообществе, где также действуют силы, незаинтересованные в участии писателей в национально-освободительном, антиимпериалистическом движении, силы, враждебные этому движению. Но все же чаще и чаще, сильнее и сильнее раздаются трезвые голоса, крепнут голоса тех, кому дороги чаяния народов Латинской Америки.

Именно об этом свидетельствуют резолюции, принятые конгрессом в Каракасе. Делегаты конгресса осудили эскалацию войны, развязанной империализмом США в Индокитае, подтвердив «осуждение политики геноцида, проводимой североамериканским империализмом на территории Вьетнама». Делегаты конгресса вновь потребовали снять блокаду, установленную Соединенными Штатами вокруг Кубы. Делегаты потребовали предоставления независимости Пуэрто-Рико, осудили диктаторские режимы Гаити, Парагвая, некоторых других стран Латинской Америки. Делегатами III конгресса, по сообщению газеты «Эль насьональ», было определено:

«Долгом латиноамериканского писателя является содействие посредством всех имеющихся у него возможностей осуществлению фундаментальных перемен в социально-экономической и политической структуре наших стран... Долгом латиноамериканского писателя является также содействие борьбе против империалистического господства в политической, экономической, социальной и культурной областях и, в частности, против поддержки латиноамериканских диктаторов и олигархии...»

Несмотря на все и всяческие заклинания, увещевания, а то и другие методы воздействия, несомненно бóльшая часть писателей Латинской Америки вновь подтвердила, что она — на стороне народа.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

«НОВЫЙ ЯЗЫК» И НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Исторические процессы редко развиваются в соответствии с условным делением потока времени на десятилетия, столетия или полустолетия. Однако людям, занимающимся историей — в том числе и историей искусства,— редко удается устоять перед соблазном охарактеризовать истекшее десятилетие как некое целое. В этом сказывается потребность ума в систематизации. Поэтому вряд ли следует удивляться, что в самых разных областях сделаны попытки осмыслить, что же принесли с собой 60-е годы. Делаются такие попытки и в области кино.

Передо мной статья английского критика Дэвида Моуэта, опубликованная в апрельском номере журнала «Энкаунтер» за 1970 год. Называется она «Новый язык кино». Рассмотреть западное кино 60-х годов под углом зрения развития новых выразительных средств — такова задача, которую ставит перед собой автор. И он сразу же выделяет проблему, волнующую его в первую очередь: новые приемы киностилистики, предложенные режиссерами-новаторами в начале минувшего десятилетия, были необычайно быстро подхвачены эпигонами, обесценены, превращены в штампы.

«Для тех, кто ждет от кино нового слова, знаменующего революцию в кинематографе,— пишет Д. Моуэт,— начало 60-х годов было утром, сулившим великолепный день. Ребенок, едва умевший ковылять, вдруг начал бегать и почувствовал свою силу. Перед кино открылись возможности, от которых захватывало дух; одно за другим мир ослепили имена: Трюффо, Малль, Рене, Годар, Феллини, Антониони, Пазолини,— каждый новый шаг, который делала техника кино, казался событием исторической важности: остановленный кадр, рваный монтаж, ручная камера, съемка против солнца, импровизация. Целая армия режиссеров принялась снимать свои первые фильмы. Критики заволновались и начали говорить о новом языке».

Но, продолжает Д. Моуэт, по прошествии десятилетия

«чуда больше не ждут. Только фанатики отказываются признать, что некогда великие режиссеры начали снимать плохие фильмы... Новый язык кино стал всеобщим достоянием, приемы, совершившие в кино переворот, сделались штампами. Это неизбежно, ничто не остается новым вечно... Нас интересует другое — искажение языка, основанное на непонимании его».

Внесем сразу же несколько частных уточнений. Феллини никак не относится к тем, чьи имена «ослепили мир» в начале 60-х годов; его творчество достигло расцвета уже в 50-е годы, равно как и творчество Алена Рене, хотя вплоть до 1959 года («Хиросима, моя любовь») этот французский режиссер работал только в области короткометражного фильма. А коль скоро мы, вместе с Феллини и Рене, вышли из 60-х годов в предыдущее десятилетие, то нельзя обойти молчанием и такие имена, как Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Орсон Уэллс, Луис Бунюэль, Робер Брессон, Ингмар Бергман (об этом последнем вскоре вспоминает и сам Д. Моуэт). Все они — фигуры первой величины, с творчеством которых связаны принципиальные художественные завоевания. А раз так, то утверждение Д. Моуэта, будто до начала 60-х годов западное киноискусство было «ребенком, едва умевшим ковылять», является по меньшей мере преувеличенным.

Переворот в кино, о котором пишет Д. Моуэт, действительно имел место. Но, во-первых, его следует отнести не столько к 60-м, сколько к 50-м годам, а во-вторых, его нельзя сводить к открытию новых приемов киноязыка. Следует задуматься о характере и причинах этого переворота; тогда, возможно, нам станет яснее и природа той девальвации художественных ценностей, которая дала о себе знать к концу 60-х годов.

Суть обновительного сдвига состоит, как нам кажется, в том, что к середине нашего века прогрессивное западное кино (в его «высоком» выражении) становится искусством обобщающих философских идей. Такие моменты, как зрелищность, занимательность, пластическое совершенство и вообще профессиональная «сделанность», равно как бытописание, психологизм и т. д., отступают на второй план, занимают подчиненное место. Основой фильма все чаще становится движение авторской мысли, диалектика идей. Личность автора-режиссера приобретает все большее значение и выступает, не таясь. Киноискусство тяготеет к жанру философского эссе и лирической исповеди, к метафоричности и документализму, к иносказанию и прямому социологическому исследованию.

Сказанное выше не означает, будто индивидуально-творческий, авторский подход к кино стал определяющим для всей массы кинопродукции капиталистических стран. В количественном отношении подавляющая ее часть по-прежнему состоит из фильмов развлекательных, коммерческих, грубо (или тонко — это все равно) потакающих обывательским вкусам, рассчитанных на удовлетворение потребностей в приятном времяпрепровождении, в нравственном и интеллектуальном комфорте. Однако лучшая, *качественно* наиболее значительная часть фильмов характеризуется *сознательным* стремлением к разрушению успокоительных стереотипов мышления, к утверждению прав индивидуальной, творческой, критической мысли, к созданию в кино атмосферы нравственного беспокойства. В таких фильмах с разной мерой таланта и идейной зрелости выражен конфликт человеческой личности и буржуазной цивилизации.

Напор кинематографа идей оказался настолько сильным, что даже коммерческие режиссеры в своих по сути дела глубоко буржуазных, пассивно-приспособленческих фильмах стали симулировать напряженную работу мысли, нравственные искания, имитируя связанные с ними черты киностилистики. К середине 60-х годов выразительные средства, еще недавно составлявшие боевой арсенал новаторов, стали расхожей монетой западного кино. Даже в рекламных аннотациях, на тех же правах, что и жанровые определения типа «полицейский фильм», «музыкальная комедия» или «сентиментальная драма», стала употребляться характеристика — «авторский фильм». Увидев ее, зритель уже привычно ожидал сдвинутой хронологии, композиционной незавершенности, размытой интриги, документальных вставок, философских разговоров, пародийного остранения, смены психологических ракурсов и стремительных монтажных скачков. Теперь каждый режиссер мог выбирать то, что ему ближе и сподручней, дабы придать своему произведению признаки современности и остроты.

Вот тут-то мы и подходим к тем явлениям, которые справедливо отмечает и темпераментно обличает Д. Моуэт. Использование новых приемов, пишет он,

«может создать фильму славу «новаторского», «авангардистского», «экспериментаторского». Но ведь такого рода фильмы привлекают внимание не органическим соответствием формы содержанию, а лишь оригинальностью формы. Сейчас кино

располагает самое меньшее сотней таких методов и приемов, из которых по крайней мере десять превратились в клише. (Заметим в скобках, что 1 : 10 — это еще очень оптимистическая пропорция! — *В. Б.)* Оригинальное новаторство — клише — непременный оборот нового языка: вот путь, который быстро проходит почти каждый прием. При темпе, свойственном современному кино, он проходит этот путь слишком быстро и слишком бездумно».

Свою мысль о деградации киноязыка Д. Моуэт иллюстрирует преимущественно примерами из английского кино, проявляя здесь крайнюю суровость, хотя английские кинематографисты, право же, не обладают монополией на эпигонство, а такие фильмы, как «Вкус меда» или «В субботу вечером, в воскресенье утром», внесли свой вклад в развитие современной киностилистики.

То, что принято называть «авторским кино», не является, по нашему мнению, ни направлением, ни школой, а характеристикой определенной стадии зрелости, достигнутой прогрессивным западным киноискусством. Нет ничего удивительного в том, что борьба за право на авторский подход первоначально сопровождалась стремлением избавиться от «тирании зрелищности» и обязанности во что бы то ни стало «рассказывать истории». После того, как право на выражение в кино индивидуально-авторского мировосприятия было утверждено, оказалось, что ни зрелищность, ни повествовательность больше не помеха. Помехой, как всегда, оставалась коммерческая рутина, которая завладевала вновь найденными приемами и принципами художественного подхода, превращая их в общеупотребительные штампы.

По мнению Д. Моуэта, вся беда в «искажении языка, основанном на непонимании его». Однако дело обстоит куда более серьезно. Речь идет о том, что буржуазное общество враждебно творческому, личностному началу, что оно как бы автоматически усредняет достижения искусства, ставит их на конвейер. Кино не составляет здесь исключения. Просто в области кино эти процессы проявляются более наглядно и, может быть, более драматично. Художник вынужден искать все новые и новые формы, чтобы уйти от стандарта. Но и эти формы очень быстро стандартизируются. Идет непрерывная гонка между искусством и коммерцией. Ремесленник пожинает плоды и процветает. Талант работает на износ.

Одной из форм «усреднения» достижений культуры является мода. Первоначально роли *авторов* дерзали выступать лишь немногие, наиболее значительные режиссеры, действительно обладавшие ярким индивидуальным восприятием мира. На сравнительно раннем этапе развития кинематографа такими художниками были Чаплин, Гриффит, Эйзенштейн. 50-е годы дали целую плеяду авторов-режиссеров. Сейчас авторами хотят быть все, авторское кино стало модой. Кому не хватает собственной индивидуальности, тот натягивает чужую маску или строит гримасы. Широко распространились фильмы-ребусы, фильмы-загадки. Кинокритики соревнуются в остроумии, разгадывая их. Считается, что это и есть «интеллектуальное кино».

Не скрывая своего раздражения безудержной эксцентрикой и стилистическим произволом, характерными, например, для такого режиссера, как Ричард Лестер, Д. Моуэт требует, чтобы образ человека, человеческий характер вновь занял на экране подобающее ему место:

> «Главным в фильме должен быть характер человека: его восприятие мира определяет характер и стиль картины. А мы (автор имеет в виду английских кинематографистов.— *В. Б.*) кладем в основу всего сюжет или, того хуже,— стиль...»

Разумеется, плохо, когда сюжет отрывается от человеческих характеров и превращается в произвольную череду трюков и эскапад, а стиль конструируется эклектически, по принципу: «с миру по нитке — голому рубашка». Однако увлеченный полемикой Д. Моуэт сам впадает в крайность, которая приводит его к столь же категорическому, сколь и одностороннему требованию: «*не* сюжет, *а* характер». Так, анализируя «Земляничную поляну» И. Бергмана, он утверждает, будто режиссер «отказывается от сюжета», «рассказывает не о каком-то событии, а о человеке».

В другом месте своей статьи он пишет:

> «И снова встает проблема: характер или сюжет? Если вы хотите расстаться с сюжетом — расстаньтесь, но сделайте это честно, не ограничивайтесь полумерой. Почти начисто лишены сюжета такие блестящие, талантливые фильмы, как «Затмение», «Вакантная должность», «Ночь». Но они (в этом их величайшее достоинство) дают глубокий и тонкий анализ образа. Режиссер в них отступает в сторону — признак истинной силы,— не оказывая давления на героя (героиню) своего фильма в определении, какое восприятие для него органично. Он оставляет себе техническую сторону, не претендуя на большее...»

Английский критик следует здесь в русле некогда (и, видимо, все еще) популярной на Западе теории авторского самоустранения. У Д. Моуэта получается странная вещь: фильм, оказывается, создает не автор, а главное действующее лицо. При этом как-то упускается из вида то, что главный герой фильма — это ведь тоже аккумуляция жизненного опыта и создание творческой фантазии автора-режиссера. Между тем ковернанье киноязыка, вызывающее такое негодование критика, во многом связано именно с самоустранением режиссера, с попыткой возместить отсутствие обобщающей творческой идеи произвольными стилистическими построениями.

Но гораздо большую тревогу, чем упражнения эпигонов, вызывают признаки ус
лости в творчестве действительно значительных художников. Д. Моуэт справедливо
шет о Бергмане как о режиссере, чьи картины «способствовали подготовке перевороте
кино», отмечая в то же время кризисные явления в последних его работах. Объясн
он эти кризисные явления все тем же: погоней за кинематографической модой, стрем
нием синтезировать в чистом виде «современный киноязык» и даже «собственной ш
френией» режиссера.

Не говоря уже о том, что психиатрические диагнозы совершенно неуместны в уст
киноКритика, его эстетическая диагностика также вызывает возражения. Бергман
принадлежит к числу режиссеров, гоняющихся за модой или предающихся чисто фо
мальным экспериментам. И если его творчество с середины 60-х годов вступило в полос
кризиса, то это — кризис содержания, а не формы, точнее: кризис содержания, а *те
самым* и формы.

Еще сравнительно недавно Бергман мечтал о том, чтобы его искусство служил
людям. Выражая свою мысль метафорически, он говорил, что хотел бы принять участ
в сооружении собора, который вознесся над равниной. Теперь он признается, что и
кусство стало для него всего лишь средством для изживания своих личных кошмаров
наваждений. Когда-то гордый своей независимостью, своей индивидуальной свободой
даже своим индивидуальным страданием, Бергман дерзал бросать вызов творцу и мир
зданию. Теперь, как больной, открывший в себе неизлечимый недуг, он думает лишь
том, чтобы «протянуть» еще несколько лет. «Ибо,— пишет он в авторском введении
фильму «Persona»,— желая быть совершенно откровенным, я нахожу, что искусство
не только кино) лишено смысла».

Не менее характерна, хотя и в совершенно ином плане, эволюция, которую претер
пела в последние годы творческая позиция Жан-Люка Годара, режиссера, который, быт
может, в наибольшей степени способствовал внедрению в современное кино того хаоти
ческого стиля, которым ныне так злоупотребляют некоторые кинематографисты и, не
последнюю очередь, сам Годар. На грани 50-х и 60-х годов он выдвинулся в первы
ряды европейской «новой волны» благодаря таким фильмам, как «На последнем дыха
нии», «Жить своей жизнью», «Солдатик». Он поразил зрителей и критиков своим пре
небрежением к канонам «хорошо сделанного фильма» и стремлением сойтись впрямую
с острыми проблемами времени, не дожидаясь, пока они откристаллизуются и наме
тится возможность их решения. Потому-то он и стремился запечатлевать жизнь на ходу,
на бегу, в виде стремительных, моментальных снимков того, что происходит в данное
мгновение,— причем это относилось не только к объективной реальности, но и к внут
реннему миру действующих лиц и самого автора, где мысли и чувства сменялись в стре
мительном и все убыстряющемся темпе.

Стремительность и динамизм Годара были до поры до времени его сильной сторо
ной. Они как бы позволяли режиссеру бежать чуть-чуть впереди жизни, улавливая ино
гда то, что становилось актуальным несколько месяцев, несколько недель, несколько
дней спустя. Недаром некоторые его фильмы середины 60-х годов стали выглядеть зад
ним числом как предчувствие и предвестие студенческих мятежей 1968 года. С самого
начала Годар боялся неподвижности, заторможенности, боялся остановиться,— это зна
чило бы для него потерять самого себя. И вот уже десять лет, как задыхающиеся, стре
мительные, мелькающие его фильмы мчатся наперегонки с жизнью. Это похоже на по
пытку убежать от собственной тени. Фильмы Годара становились все более калейдоско
пичными, дробными — осколками какой-то разбитой вдребезги мозаики. Его излюблен
ными зрительными лейтмотивами стали искореженные дорожными катастрофами авто
машины — опрокинутые, разбитые, сплющенные, горящие, с застрявшими внутри окро
вавленными телами мертвых или агонизирующих людей,— а также разнообразное, пре
имущественно огнестрельное оружие в руках героев, которые это оружие перевозят, пря
чут, играют им, убивают друг друга и посторонних легко и как бы невзначай. Если ран
ше движущим элементом в его фильмах была мысль — цепь отрывочных, парадоксаль
ных, иногда анархических, часто друг другу противоречащих идей,— то теперь фильм
строится как чередование жестоких, кровавых, эротических, кошмарных и гротескно-
пародийных сцен, как своего рода «монтаж аттракционов». За этим превращением кине
матографа идей в кинематограф жестокости и абсурда вырисовывается — предчувствуе
мый и ожидаемый автором — переход «цивилизации потребления» в «цивилизацию
истребления». И фильмы режиссера, захваченного, завороженного этим процессом, напо
минают уже не калейдоскоп, а какую-то мясорубку.

В конце 60-х годов в западном кино возникло нечто вроде паузы: старые темы и
идеи казались исчерпанными, а новые еще не возникли. Отсюда и бессодержательность и
неорганичность многих экспериментов в области киноязыка,— о чем, собственно, и напи
сана статья Д. Моуэта. Создавалось впечатление, что пауза затянется на многие годы.
Однако вскоре обнаружилось, что социальная реальность капиталистического общества
чревата новыми потрясениями; что ни грубое подавление со стороны властей, ни сытое
оцепенение большинства не могут сковать общественные силы, стремящиеся к обновле
нию. И искусству, как всегда, предстоит сказать новое слово.

В. БОЖОВИЧ

Рыбак из Эдфу. 1969 г.

Из работ Инжи Эфлатон (ОАР).

Хлеб нашей жизни. 1963 г.

осел. 1969 г.

Сбор хлопка. 1969 г.

ЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
КУССТВО
За рубежом

'ворчество Инжи Эфлатон

Каир, Александрия, Рим, Париж, Сан-Паоло, Венеция, Варшава, Москва — вот да-ко не полный перечень городов, где экспонировались работы известной египетской дожницы Инжи Эфлатон. Своеобразна манера ее письма — нервные, пульсирующие, привычно длинные, извивающиеся мазки, из которых она как бы ткет живописную нь картины. Избранная ею палитра, яркая и солнечная, созвучна естественным крас-м природы Египта. Наполненные светом и воздухом декоративные полотна художницы отражают различные стороны современной жизни этой древней страны. Разнообразные по тематике, они рассказывают об ее народе, об его обычаях и обрядах, о пряженных трудовых буднях и веселых праздниках, об экзотической природе и ядром солнце, о плодах земли и труда.

Расстилающееся до горизонта зеленое поле покрыто белой пеной созревшего опка, расцвечено синими, красными, лиловыми огоньками одежд крестьян, собирающих урожай. «Сбор хлопка» — тема, которая в разных вариантах повторяется в нескольких работах художницы. Она то показывает издали обширную панораму поля, то заставляет вглядеться в позы и лица феллахов, проникнуться красотою ритма их слаженных движений.

Окраина небольшого селения. Бесхитростные постройки из камня лепятся по стонам пустынной дороги, взбираются по склонам холма. Колеса колодезного ворота мерли в ожидании работы. Нехотя везет усталую хозяйку синий осел. Лучи предкатного солнца озарили фантастическим светом утомленную дневным зноем дерев-и, перед тем как погаснуть, создали волшебный по краскам пейзаж. Как много, азывается, кроется за словом «феллах», какое разнообразие видов деятельности и рактеров египетских крестьян оно включает! Инжи Эфлатон — мастер портрета. Быая кисть художницы мгновенно фиксирует все самое важное, типичное, не останавваясь на деталях. Садовник, рыбак, несущий невод, увлеченно работающие гончары, стушка, стерегущая коз,— образы конкретные и вместе с тем обобщенные, создане с натуры и одновременно обогащенные творческим видением художника.

Но, пожалуй, более всего увлекательны произведения, сюжетом для которых пожил старинный народный обряд или обычай. «Деревенская невеста» — одна из таких картин. На первом плане дородная девушка в оранжевом с розовым костюме. За й — пиршество красок, море голов, рук, тел — это пляшущие на свадьбе гости. На не дома, около которой сидит невеста,— отпечатки ладоней. Они должны охранить вушку от дурного глаза. Веселая пестрая палитра созвучна радостному настроению родного праздника.

Развертывая красочную повесть о народе и земле Объединенной Арабой Республики, Инжи Эфлатон далека от увлечения идиллическими мотивами. Она свящает свои работы теме борьбы арабских народов за свободу и независимость. еррор оккупантов», «Синайская беженка», «Палестина»...

Инжи Эфлатон родилась в 1924 году в Каире. Свою художественную деятельность чала в 16 лет, став активной участницей движения «Искусство и свобода», которое ложило основы современной египетской живописи. В ранние годы, подобно многим лодым художникам Египта, она испытала сильное воздействие французской постим-

прессионистской живописи. Упорный многолетний труд и талант помогли обрести с
стоятельность.

В 1941, 1942 и 1944 годах Инжи Эфлатон успешно участвовала в выставках дв
ния «Искусство и свобода». С 1952 по 1969 год было организовано девять ее персон
ных выставок, состоявшихся в Каире, Риме и Париже. В 1956 и 1957 годах ее ра
получили награды на выставках в «Каирском салоне», а в 1959 году она завоевала
вый приз Министерства культуры ОАР за лучший египетский пейзаж. В 50-х и 60-
неоднократно участвовала в экспозициях бьеннале в Сан-Паоло и Венеции и в бьен
стран Средиземноморья. В 1966 году ее приглашают принять участие в «Салоне неза
мых» в Париже. Картины Инжи Эфлатон вошли в собрания музеев современного ис
ства в Каире и Александрии, в Риме, в собрание Государственного музея искусства
родов Востока в Москве, а также в частные коллекции Франции, Чехословакии, Кан
Швейцарии и других стран.

Художники и критики не раз подчеркивали реалистический характер творче
Инжи Эфлатон.

«Она не отвергает ничего, что ведет к современному реализму, реализму но
му, более богатому и выразительному, чем реализм старый»,— писал в сент
1956 года известный мексиканский художник Хосе Альфаро Сикейрос.

«Ее искусство таит в себе глубину духа современного реализма и поэтому д
ясное представление об арабском мире»,— заметил в 1967 году Ренато Гуттузо.

Картины Инжи Эфлатон привлекают не только сочностью красок, виртуозной
нерой письма, экзотическим сюжетом. Жизнеутверждающие, солнечные, наполнен
подлинно гуманистическим содержанием, они достойно продолжают традиции ре
стического искусства.

Т. ЕНИКЕ

Из индийской палитры

В первой половине 60-х годов, когда многие художники Индии отдавали дань моде абстракционизма, один из ее ведущих мастеров, Макбул Фида Хусейн, заявлял: «Как я могу быть абстракционистом? Как могу закрыть глаза и заткнуть уши, когда 500 миллионов моих соотечественников стоят передо мной и непрестанно слышен их голос? Пройдет и 10 и 20 лет, а я буду и буду писать людей». Художник и поныне верен этой жорной интерпретации темы человека, своего современника.

Вопрос Хусейна «как я могу?», обращенный к самому себе, может и должен задать себе каждый художник, и тот, кто действительно задает его, находит ответ и по праву становится гордостью искусства современной Индии.

Передовая часть художников Индии слила свой талант и вдохновение с жизнью своего народа. Осознание общественной значимости творчества предопределило выбор путей и средств, которыми достигаются высокие гуманистические цели искусства.

...Все так же легка поступь индийской танцовщицы в уверенных набросках Кришны Хеббара, и это — дань восхищения бессмертным искусством индийской хореографии. Но сегодня на мольберте Хеббара появляется холст, который еще условно называется «гонгми»: небольшого формата полотно написано в зловещей коричнево-зелено-черной гамме. На первом плане американский солдат насилует вьетнамскую женщину. Этой горизонтали первого плана противопоставлен вертикальный ряд второго — группа расстреливаемых вьетнамцев...

Сомнатх Хор — один из самых талантливых графиков современной Индии. В его серии, которую можно назвать «взрослые и дети»,— графические листы, посвященные простым людям Индии с их сложными и порой трагичными судьбами,— тоже звучит вопрос Хусейна.

Читтапрасад вошел в искусство тридцать лет тому назад листами, запечатлевшими ужасы бенгальского голода 1943 года. Тогда его обличающие английских колонизаторов гравюры обошли весь мир...

Скоро минет четверть века с того дня, как Индия обрела независимость. Многое изменилось в стране к лучшему, но немало еще и такого, что мешает утверждению нового. Так, в октябре 1969 года художники Индии собрались в Дели в своем центре, Лалит Кала Академи, чтобы опубликовать манифест, в котором они гневно осудили коммуналистские погромы, вспыхнувшие в результате национал-шовинистской пропаганды правых сил. Этим актом художники Индии сегодня присоединяют свои голоса к тем, кто отстаивает в стране единство сил прогресса и социальной справедливости.

Небольшая подборка рисунков, публикуемых на этих страницах, не может, разумеется, представить полно не только многообразную пеструю картину современного индийского искусства, она не претендует и на обозрение успехов реалистического направления в этом искусстве.

Однако и в этих нескольких работах известных индийских художников можно верно ощутить пластику и ритм современного искусства Индии в той его части, которая связана с судьбами реализма и обращена против крайних модернистских тенденций, имеющих в наши дни значительное распространение в этой стране.

С. ПОТАБЕНКО

К. Хеббар. Танцовщица.

иттапрасад. Иллюстрация к эпосу «Рамаяна».

омнатх Хор. Голод.

Читтапрасад. Старик с трубкой.

I ВЕК — ВЕК РЕВОЛЮЦИИ

Владислав Ванчура. Три реки. Перевод с чешского В. Чешихиной. Предисловие О. Малевича. Москва, «Художественная литература», 1969. 286 стр.

В серии «Зарубежный роман XX века» впервые на русском языке вы- роман выдающегося чешского писате- Владислава Ванчуры «Три реки». До пор у нас переводились лишь его пове- и рассказы.

Большой и своеобразный мастер слова, рой Сопротивления, расстрелянный фаши- ми, Ванчура принадлежит к тем писате- м, которые составили силу и славу шской литературы XX века. Его имя по аву ставят рядом с именами Я. Гашека К. Чапека. Певец цельных и ярких ха- ктеров, он был в то же время неутоми- им экспериментатором в области жанров, мпозиции, и прежде всего — в области ыка; с именем Ванчуры связана совер- нно особая тенденция в новой чешской озе.

Роман «Три реки» (1936) относится к иболее зрелому периоду в творчестве пи- теля. Один из зачинателей пролетарского правления в чешской литературе (по- сть «Пекарь Ян Маргоуль», 1924), Ван- ра прошел во второй половине 20-х го- в сквозь искус чисто формального экспе- ментаторства. Но в необычайно нака- нной предгрозовой атмосфере 30-х годов вновь обратился к большой социальной ие и вместе с Майеровой, Пуйманово- ьбрахтом, Кратохвилом выступил одним из основоположников социалистического реализма в Чехословакии.

В центре романа «Три реки» — герои протестующие, не боящиеся жизни и не желающие мириться с ее несправедливостью. На широком материале чешской и русской действительности писатель поставил здесь сложнейшую проблему: человек и революция.

Ванчура описывает переломный исторический период: действие романа начинается в 1889 году, а заканчивается изображением растущего народного протеста в октябре 1918 года — накануне падения Австро-Венгерской монархии. В основе сюжета — история Яна Костки, младшего сына упрямого и дерзкого хуторянина Эмануэля Костки. Ян появился на свет в морозную вьюжную ночь, мать его умерла от родов, был он болезненным, слабым, и казалось, судьба не сулит ему ничего хорошего. Но местный хирург Гуго Манн спасает мальчику жизнь; батрак Черногус выхаживает его заботливее любой няньки, а драки с мальчишками только идут ему на пользу. Выросший в конюшне у Черногуса, младший сын Эмануэля Костки обнаруживает недюжинные способности к музыке и древним языкам, распознать и развить эти способности помогает все тот же Гуго Манн. Ян становится студентом, но мировая война превращает его в солдата. При первой возможности он сдается в русский плен. В бурлящей революционной России завершается возмужание Яна. На родину он возвращается убежденным бунтарем.

Свое заглавие роман получил по трем рекам: Скаличке (Влтаве), на берегу которой Ян родился, Бугу и Оми, на которых происходят русские сцены романа. Но оно имеет и переносный смысл. Как герой народной сказки, Ян находит правду «за тремя реками». Ведь Скаличка, Буг, Омь — это Чехия, Украина, Сибирь. И везде бушует единая и непреодолимая стихия революции.

В «Трех реках» Ванчура использовал опыт своей работы в кино в качестве сце-

нариста и режиссера. Роман сделан, как цепь быстро сменяющихся эпизодов, действие свободно переносится с хутора Костки в революционный Петербург 1905 года, оттуда — в замок наследника австрийского престола и опять — на берега Скалички. Но любопытно, что Ванчура, который в романе «Уголовный процесс, или Пословицы» (1930) первым из чешских писателей виртуозно использовал прием воспроизведения одних и тех же событий сквозь призму воспоминаний различных героев, в «Трех реках» строго придерживается хронологической последовательности, словно бы стремясь передать непрерывность течения жизни, историческую неотвратимость революции. Повествование ведет рассказчик, который, ссылаясь на свое мнение о происходящем, одни события выписывает подробно, о других лишь упоминает вскользь, то замедляет, то ускоряет развитие действия, непосредственно обращается к читателю, приглашая его радоваться либо возмущаться вместе с героями. Но он нигде прямо не высказывает своих оценок, он, так сказать, лишь сообщает факты, предоставляя читателю самому сделать конечные выводы.

Особенность реализма «Трех рек» — в акценте на событийной стороне, а не на детальном раскрытии психологии героев. Это специально подчеркивает рассказчик. Вот Эмануэль Костка намеревается прогнать Черногуса: «...батрак стоял, опустив голову. Он исподлобья оглядывал горницу, сожалея, что приходится распрощаться с усадьбой.

Но подобные мысли не заслуживают упоминания. И вы и я жаждем событий, и одно из них уже надевает шпоры».

В подобных заявлениях есть и полемика с гипертрофированным психологизмом, нередко встречавшемся в современном Ванчуре романе, с психоаналитическими копаниями в духе фрейдизма, но есть и своего рода лукавинка. Ведь перенос центра тяжести на поступки героев отнюдь не равнозначен психологической упрощенности. Через действие, через столкновения героев Ванчуре удалось вылепить характеры крупные, сильные, непростые.

Ванчура был противником шаблона и схемы в языке, в сюжете, во взгляде на героя; был решительным противником мелодрамы и сентиментальности. Исследователи его творчества справедливо отмечают пристрастие писателя к людям «с чудинкой». И роман «Три реки» населяют люди интересные — каждый сугубо в своем роде. Они далеко не ангелы, много раз они совершают ошибки, но писатель призывает судить их не по внешности, не по мелочам, а по главному в них, по готовности отстаивать правду.

Ян Костка равно вдохновенно поет, правит лошадьми и читает наизусть латинских поэтов. То застенчивый, то слишком горячий, он много путает в своей жизни, но он не боится труда, помнит добро, и вот этот чешский студент оказывается своим и среди одесской голытьбы, и среди домовитых сибирских крестьян. Хирург-виртуоз Г Манн, начисто лишенный светского ло комичен в своей любви к глупой и рас ной супруге, но в его сердце живет и ство прекрасного, и великодушие, он ни ред кем не ломает шапки — и у читат не остается сомнений, что такой чело найдет свое место в революции. Резо груб даже с самыми близкими людьми Яна, но об его неуступчивость разбива все хитрости слуг наследника австрийск престола, пытающихся согнать его с на женной земли. А батрак Черногус — п дувная бестия, знахарь и браконьер — по бает от палок жандармов, но не пред своего хозяина.

Авторское отношение к героям выраже в романе достаточно определенно. Оно редается посредством богатейшей га оттенков того грубовато-насмешливого на, в котором ведет повествование расск чик: от добродушного юмора в изобра нии людей, может быть неказистых и отесанных, но в сущности хороших и д рых, до язвительной иронии, когда р заходит об австрийском эрцгерцоге, по ном-доносчике Горечке, русских контр волюционерах. Без громких фраз и дл ных рассуждений Ванчура показал в ро не назревание революции: в необычай остроте конфликтных ситуаций, в са характерах людей.

Большую трудность для писателя все представляет изображение жизни чуж страны. При описании русской действит ности Ванчура основывался на личных в чатлениях от поездки в СССР в 1927 го на серьезном изучении советской литер ры и различных материалов. И хотя «р ская» часть романа уступает «чешской» новизне художественных открытий, писа лю удалось нарисовать убедительные к тины коренной революционной ломки России — а это очень существенно для щей концепции романа.

Важное место занимает в романе об русского профессионального революцио ра Эбердина. Его родители были убиты

и еврейского погрома в Харькове, вме-
с Гуго Манном он изучал в Берлине
цину, затем целиком посвятил себя ре-
ционной деятельности, жизнь его бы-
олна опасностей и лишений. И все же
е сумел найти правильного пути в ре-
ции. Его пугало и отталкивало неве-
во масс, он не научился уважать то-
щей по борьбе, он слишком увяз в тео-
ческих выкладках, не улавливая живо-
ечения времени. После Февральской ре-
ции Эбердин стал яростным защитни-
Временного правительства и войны до
дного конца. И революция отбросила
дина и его фразерство: в конце романа
видим его в сибирской деревне, жал-
и растерянного.

связи с этим образом хотелось бы
ворить с отдельными положениями в
м очень интересного предисловия к
кому переводу «Трех рек», которое на-
л О. Малевич — знаток чешской прозы
века. В образе Эбердина Малевич от-
ает «недосказанность и упрощенность»,
ясняя это отказом Ванчуры от дости-
ий психологического реализма, что не
волило писателю проникнуть во внут-
ний мир героя, тогда как Эбердин —
еллигент, а «...поведение интеллигенции
азрывно связано с борьбой идей и ду-
ными противоречиями» (стр. 19). Но с
ьбой идей связано поведение не одной
ько интеллигенции. Стоит ли устанав-
ать столь тесную зависимость между
иальным положением героя и творче-
м методом, пригодным для его изобра-
ия? Ведь сам Малевич говорит, что
бразе Яна Костки, по существу тоже
еллигента, «писатель удачно преодолел
скрытые трудности избранной им ху-
кественной манеры» (стр. 20). А с дру-
стороны, та же «недосказанность», что
образе Эбердина, есть, к примеру, и в
разах рабочих-социалистов. Она идет не
ько от подчеркнутой «событийности»
лизма Ванчуры, которая, конечно же,
ем-то и ограничивает писателя, но и, как
е кажется, от общей концепции револю-
и в романе.

Ванчура больше всего увлечен показом
ихийной силы революции. Эбердину он
отивопоставляет образ отважного рево-
ционного матроса Фомки, беспощадного
врагам и чуткого к товарищам, противо-
ставляет образ восставших масс, стихию
волюционного взрыва. Но мы не найдем
романе с той же основательностью выпи-
нный образ профессионального револю-
онера-большевика.

Замысел Ванчуры состоял в том, чтобы
казать: революция побеждает, когда она
лается народом и для народа, в соотт
ствии с требованиями живой жизни.
ождя этой революции Ванчура представ-
ет, как плоть от плоти народа. Так си-
рский крестьянин пересказывает народ-
ю молву о Ленине: «А когда этот мужи-
к откроет рот, всяк слышит свой голос
собственные думы». Народная революция
беждает, сметая со своего пути догмы и
гматиков.

В заключение несколько замечаний о русском переводе «Трех рек». Переводить Ванчуру необычайно трудно. Как передать особенности сказовой манеры, где за видимостью простоты — глубина мысли, высокая напряженность эмоций? Как передать своеобразие языка Ванчуры, о котором известный чешский критик Б. Вацлавек писал: «С одной стороны, он напоминает язык старинных чешских переводов Библии и средневековых религиозных сочинений, из которых писатель словно бы черпает множество слов, сильных и ярких, а с другой — грубоватый, необычайно сочный и эмоциональный язык простонародья»?

Перевод «Трех рек» сделан опытной рукой, но характер стиля Ванчуры не всегда удалось донести. Порой, к сожалению, изобретательные находки Ванчуры «переводятся» на уровень привычного. Если писатель, например, употребляет (по отношению к Эбердину) свое образование от слова «честный» — нечто вроде «честнюли», «честняги», то в переводе ему соответствует безликое «честный человек» (стр. 278). Местами в переводе досадно теряется ванчуровская интонация.

Вот рядом с эрцгерцогом идет его супруга: «Смею ли я утверждать, что она прекрасна? Смею ли утверждать, что ей это идет?» А в русском тексте: «Смею ли утверждать, что *быть прекрасной приличествует ее сану?*» (стр. 61). Но если у Ванчуры эта дама шествует рядом «с господином супругом», то в переводе просто «с супругом». И уже исчез столь существенный для Ванчуры легкий оттенок иронии.

Но надо еще раз вспомнить, что переводить Ванчуру — в высшей степени сложно. И пусть не все трудности удалось преодолеть — русский перевод «Трех рек» уже существует.

Читатель получил увлекательный чешский роман о людях революционной эпохи, о вызревании великой революции, которой ознаменован наш век, о ее сокрушительной и созидательной силе, об ее исторической правоте.

С. ШЕРЛАИМОВА

ПОЭТ ТРАДИЦИЙ И НОВАТОРСТВА

Мирза Галиб. Лирика. Перевод с урду Веры Потаповой. Составление и комментарий Л. Васильевой. Предисловие Б. Гафурова. Москва, «Художественная литература», 1969. 200 стр.

Сто лет тому назад имя Галиба стало едва ли не самым популярным именем во всей мусульманской Индии, его стихи обрели известность на Ближнем Востоке, завоевали умы и сердца ценителей изящного слова среди персов, афганцев,

таджиков. Асадулла Бек Хан Урф Мирза Ноуша (так звучит полное имя поэта) на деле оправдал смысл своего псевдонима — Галиб, что значит победитель. Пальма первенства была отдана ему современниками еще при жизни, и ныне, на расстоянии целого столетия, отделяющего нас от его смерти, очевиден факт, что в XIX веке в литературах на языках урду и фарси не было поэта, равного Галибу.

Во вступительном к сборнику слове о поэте Б. Гафуров отмечает, что «Галиб (1797—1869) появился на литературной арене Индии в то время, когда там происходила смена двух эпох, когда рушилась пришедшая в упадок феодальная система со всеми присущими ей политическими, социальными, моральными, эстетическими понятиями и представлениями». Именно в эту эпоху Индия познакомилась как с колониальным грабежом, так и с новой промышленной цивилизацией и культурой Запада. Персидский язык и литература на нем, до тех пор занимавшие в Индии господствующее положение, стали сдавать позиции развивающимся местным языкам и диалектам, которые начали складываться в самостоятельные культурные языки. Развивалась и молодая литература урду, уже заявившая о себе такими поэтическими именами, как Мир Таки Мир (1724—1810) и Назир Акбарабади (1740—1830).

Творчество Галиба двуязычно. Большая часть его поэтических произведений написана на фарси — языке Рудаки, Фирдоуси, Хайяма, Саади, Руми, Хафиза, Джами, творчество которых, разумеется, не могло не оставить следа на персидских диванах поэта. Но непосредственное влияние оказали на него свободолюбие и изящество поэзии Мирзы Абдулкадира Бедиля (1644—1721), классика индийской литературы на персидском языке. Как и Бедиль, Галиб поднимает на щит идею свободы, стремится постичь истину, пытаясь проникнуть в законы бытия человеческого и существования вселенной. Как и его знаменитый тезка, Галиб ставит в центре вселенной духовный мир человека, утверждает величие его созидательной деятельности. Можно привести множество интересных сопоставлений. Так, у Бедиля:

Где пролил пот усердья человек,
Пожнет плоды бессмертья человек.

(Перевод Л. Пеньковского)

У Галиба читаем:

В легком деле найдешь неожиданно
трудности долю,
Человек, чтобы стать человеком,
потрудится вволю.

Бедиль был замечательным мастером языка, а Галиб, по утверждению критиков его времени, довел поэзию на фарси до высшей степени совершенства.

Фарси оставался в Индии на правах государственного языка до 1835 года, но и после этого долго еще был языком литераторов и ученых. Происхождение, воспитание, аристократизм Галиба тесно связывали его творчество с персоязычными традициями. Однако талант художника и мыслителя неизбежно вел поэта от сложного к простому, от изощренной, но подчас повествующей красивости к глубинам мысли. Обстановка, особенности времени, в которое жил Галиб, подсказывали ему, что быть услышанным и по-настоящему понятым можно лишь на родном языке. Он начинает писать газели на урду. Темам, которые усложненно трактовались на фарси, поэт придавал теперь доступную всем форму урду. Эти стихи обретали популярность в народе, завоевывали сердца многочисленных любителей поэзии. Диван Галиба на урду (часть которого вошла в книгу его лирики на русском языке) впервые появился в 1841 году. Поэту было в то время сорок четыре года.

Обретению собственного пути в стихе, народного языка, созданию отточенного стиля, формированию новых эстетических взглядов Галиба способствовало творчество Мир Таки Мира, крупнейшего и наиболее доступного массам поэта Индии XVIII века. Язык Мира формировался в общении поэта с народом, с его неимущими низами. Восхищенный его непринужденной легкостью и выразительностью, Галиб постигал особую тонкость и прелесть поэзии урду и отдавал ей дань в газелях, ни более созвучных времени.

Это двуязычие творчества Галиба в эпоху, когда в жизни общества новое встречалось со старым, много способствовало становлению большого художника, явившегося в одно и то же время и ревнителем старых традиций, и сокрушителем их. Не выражая стремлений ни обреченного джагирдарства (мусульманских землевладельцев), ни формирующегося капитализма, лишь осознавая передовые тенденции века, свободомыслящий поэт в конце жизни и в особенности в закате XIX столетия, уже после своей смерти, стал кумиром образованных представителей разночинных слоев общества. И общенародное признание его творчества было тем более скорым и полным, что шло оно к нему не через дворы местных монархов, не через аристократические салоны, а через мушаиры, через новые колледжи и универ-

ты, в бурной атмосфере которых рас-
ся подлинный смысл его поэзии. Это
нятно, поскольку творчество Галиба —
новенный гимн разуму, величайшему
оянию человека.
ся предшествовавшая Галибу поэзия на
у считалась голосом сердца и мелодией,
денной творческим экстазом. В эпоху
раставшей роли науки поэт громко за-
л, что поэтический труд — это не только
ние сердца и восторженный экстаз, но
ервую очередь — глубокое раздумье и
тельное изучение жизни людей и все-
ной. По наблюдению индийского фило-
а З. Ансари, Галиб-философ усматри-
т существо поэзии как бы в трех состав-
щих ее мотивах: скорбь, любовь, сила
ума.
жорбь — это молчаливое страдание, на-
ление чувственного и рационального
та, крушение желаний; любовь — это
я страстей и стремлений; сила разума —
могучий полет мысли и фантазии. Про-
с творчества, по Галибу,— не только по-
янная смена удовлетворения и неудо-
творенности, не только полет на крыльях
сли и не только проникновение в мир
ств и рассудка. Подлинное искусство
бует слияния всего этого, и только тогда
ожник сумеет «отполировать зеркало и
явить в нем лицо смысла». Художник,
тает поэт, должен страдать вместе со
ей эпохой, не только созерцать жизнь,
и деятельно в ней участвовать, осозна-
ь свой чувственный и рациональный
т, искать краски его художественного
бражения.

ине у жизнелюбия и страсти
оставаться в кабале довеку,
олнии палящей поклоняться
и жалеть сожженную скирду.

Отдавая должное зрелости этих мыслей
та, следует подчеркнуть общую гумани-
ческую направленность его творчества,
тическое отношение к духовенству, не-
имость к фанатизму и суевериям, при-
в к братству людей независимо от их
игиозной принадлежности, сочувствие к
остым людям, прославление труда. Эти
ты его творчества и его мысли дали на-
явление развитию поэзии урду на мно-
десятилетия вперед, связали между
бой поэзию классическую и современную
можно сказать, обусловили возникнове-
е нового крупного явления в индийской
тературе, каким уже в XX веке стала
эзия Мухаммада Икбала (1877—1938).
Сборник газелей и рубаи Галиба — пер-
значительная и успешная попытка вос-
дания творчества поэта на русском язы-
Книга вышла в серии «Сокровища ли-
ческой поэзии»; в нее вошло сто два-
ать пять небольших, преимущественно
рических, произведений. Это немного в
ношении с огромным наследием поэта, и
же знакомство советских читателей с
либом состоялось. Представившая его
этесса Вера Потапова преодолела нема-
е трудности, связанные с версификацией
ожной поэтики, причудливой символики
тибовского стиха, стремясь отразить в
переводе всю глубину и емкость его образов. Впрочем, изящная и полемичная газель давно уже близка поэтессе, переводившей и дивную лирику Алишера Навои и андалусскую поэзию. Вместе с тем архисложные философские и ультравитиеватые лирические стихи персидских диванов Галиба еще ждут своего переводчика.

ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ

ЛИЧНАЯ АНТОЛОГИЯ МИХАИЛА ЗЕНКЕВИЧА

Американские поэты. В переводах М. Зенкевича. Справки об авторах Е. Осеневой. Москва, «Художественная литература», 1969. 285 стр.

Эта книга — личная антология. Жанр в нашей переводной поэзии довольно редкий.

Всю жизнь переводили французов Иннокентий Анненский, Валерий Брюсов, Бенедикт Лившиц, Павел Антокольский. Это весьма способствовало высокому качеству созданных ими личных антологий французской поэзии.

Всю жизнь переводит американцев Михаил Зенкевич. Вместе с Кашкиным он открыл поэзию Соединенных Штатов Америки для нашего читателя. Отдельных поэтов знали и переводили и раньше. Эдгара По — символисты, особенно Бальмонт. Уитмена — тот же Бальмонт и Корней Чуковский. Лонгфелло — Михайлов и Бунин.

Однако целостную картину поэзии Соединенных Штатов, протяженную в пространстве и времени, воссоздали на русском языке Кашкин и Зенкевич, особенно Зенкевич.

Вспомним подписанную этими поэтами объемистую книгу «Америка. XX век», изданную перед войной. Тогда ее прочитали все поэты и все стихолюбы. На литературный процесс, как правило, влияют лишь немногие переводные поэтические книги. Однако в первой американской антологии одни нашли революционный пафос молодого Сэндберга, Джо Хилла и пролетарских поэтов 30-х годов. Другие заинтересовались преобразованием античных эпитафий у Мастерса. Третьи — ритмикой Линдзи или портретами Робинсона. Возрождение в нашей поэзии интереса к свободному стиху в некоторой степени связано с этой книгой.

С тех пор Зенкевич много перевел и много издал. Разные варианты его «Американских поэтов» публиковались неоднократно. Вышедшая недавно в «Художественной литературе» книга показывает десятилетия работы Зенкевича наиболее полно.

Вот как определяет свои задачи сам поэт: «Мой выбор падал на такие произведения, которые не только представляют ис-

торико-литературный интерес, но поэтически живо звучат и в наше время. Размер сборника не позволял мне включать большие поэмы, приходилось ограничиваться сравнительно недлинными повествовательными, балладными и лирическими стихами. Несмотря на неизбежную в таких сборниках отрывочность и разрозненность материала, я старался подобрать и расположить стихи так, чтобы они не только представляли каждого поэта в отдельности, но и, дополняя друг друга, намечали бы, как отдельные мазки кистью, связную картину целого: движение и развитие американской поэзии за полтораста лет...»

31 поэт от Филипа Френо до Роберта Лоуэлла представлены, как правило, циклами. Первое стихотворение сборника датировано 1788 годом. Последнее — 1964 годом. Интересно, что сборник начинается и кончается эпитафиями. Со времен войны за Независимость и индийских войн американские поэты пережили и откликнулись на множество сражений национальной истории и истории человечества. В книге немало эпитафий, начиная с трогательной «Я умерла за красоту» Эмили Диккинсон—поэтессы, которой у нас до Зенкевича не знали, кончая «Необычайными похоронами в Брэддоке» Майкла Голда. Это естественно для страны, обагрявшейся кровью так часто, как Соединенные Штаты.

В книге передан и демократический напор американского народа, тот размах свободолюбия, который привлекал к этой поэзии и наших революционеров-шестидесятников и Петроградскую коммуну, издававшую Уитмена в самые тяжелые годы гражданской войны.

Все переводчики исходят в первую голову из интересов своей культуры и своего общества. Естественно и правильно, что Зенкевич выбирает преимущественно свободолюбцев и демократов, что Уитмен, Сэндберг, Мастерс, Хьюз даны в его книге особенно широко. И Беранже у нас переводили больше и лучше, чем Ламартина и даже Верлена. Однако Зенкевич помнит о месте поэтов не только в нашей литературной традиции, но и в традиции Соединенных Штатов.

Особенно хочется отметить большой цикл Элиота, а в нем давно известный у нас «Гиппопотам» и ранее не публиковавшийся хороший перевод «Марины».

Ральф Эмерсон, Оливер Холмс, Генри Торо, Джеймс Лоуэлл также представлены многими стихами.

В переводах Зенкевича очень сказывается сильный и самобытный поэтический дар автора. Уже 60 лет Зенкевич пишет и публикует стихи. Его поэзия, начиная с первого сборника «Дикая порфира», кончая прекрасными стихами об Отечественной войне,— заметный вклад в нашу оригинальную поэзию. Как у всех, почти без единого исключения, крупных переводчиков поэзии, талант Зенкевича — прежде всего поэтический талант.

Приведу начало «Ворона»:

Как-то в полночь, в час угрюмый,
утомившись от разду
Задремал я над страницей фолианта
о
И очнулся вдруг от звука, будто кто
вдруг засту
Будто глухо так застукал в двери д
мо
«Гость,— сказал я,— там стучится в
двери дома мо
Гость и больше ничего».

Естественность повествования соедин
здесь с неукоснительным следованием
всеми извитиями достаточно извитой ф
мы По.

«Огонь и лед» Фроста заслуживает т
чтобы быть приведенным полностью:

Кто говорит, мир от огня
Погибнет, кто от льда.
А что касается меня,
Я за огонь стою всегда.
Но если дважды гибель ждет
Наш мир земной, ну что ж,
Тогда для разрушенья лед
Хорош,
И тоже подойдет.

Я взял двух поэтов далеких от русс
поэтической традиции. Только подлинн
талант мог превратить стихотворения
и Фроста, а также Элиота и Линдзи,
бисона Джефферса и Эдны Винсент М
лэй в факты русской поэзии. Зенке
смог.

Какой разноголосый и какой слаженн
оркестр — эта книга!

Верлибр Голда очень далек от верл
ра Мастерса и от трудного, темного сти
Роберта Лоуэлла. Песни Хилла — от ст
гой строфики Роберта Лоуэлла. Разва
Брета Гарта—от дисциплины Оливера Х
мса. Не следует забывать, что Зенке
почти всегда выступает первопроходцем,
традиции перевода того или иного аме
канского мастера почти всегда начина
ся с Зенкевича.

Накануне своего восьмидесятилетия М
хаил Александрович выступает с лучш
из своих переводных книг, а ведь он вос
здавал на русском языке и Шекспира
Фрейлигрmaта и Негоша.

Маленькие рассказы о поэтах, написа
ные Е. Осеневой и скромно названн
«Справки об авторах», хорошо аккомпа
руют стихам.

Б. СЛУЦК

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

КОВ ДАНИЛО

Derviš Sušić. Ja, Danilo. Sarajevo, Veselin Masleša, 1969.

«Данило» — так называется книга боснийца Дервиша Сушича. Рассказал мне о ней один сараевский поэт. Посоветовал: «Обязательно прочитайте». Роман вышел в Югославии уже не одним изданием; он переработан для сцены, экранизирован. В нем, не торопясь, где посмеиваясь, не поругиваясь, просматривает шаг за шагом свою большую жизнь занятнейший человек. Прямой. С самим собой упрямо честный. Живущий ради людей. И вместе с тем — одинокий. Особенно в трудные минуты. Может быть, потому, что уж очень бескомпромиссен, резковат. Может быть, потому, что среди массы крестьян, которую надо еще вытаскивать из заскорузлой отсталости, он — не то не успевает, не то не хочет себе труда приметить переживания, курьезы отдельных людей. Во многом и противоречив. И — насмешлив. Не без желчи, горьковато-насмешлив. Главным образом — в свой собственный адрес. И адрес собственного усердия, собственной многотрудной жизни, которая могла бы быть и полегче и понарядней. Но...

Рассказчик в этой книге и сам — бывший крестьянин. Потом — руководящий работник на селе. Теперь — не у дел. Борьба за освобождение Югославии вырвала его из замкнутого круговорота забот, понятий, привязанностей селяка-горца. Она сложила его как бы заново. Кое-что оставила от того, что вошло с молоком матери. Многое, очень многое добавила, наслоила, переслоила. Партизанское войско растило и обогащало его на свой манер. Преисполнило не только жаждой изгнать врага, но еще доброй мечтой о том, как бы посправедливей устроить послевоенную жизнь. И при виде обнищавших земляков он заторопился поскорей все вымечтанное осуществить. В родном селе. Там, куда привел автора этой исповеди конец войны: у развалин родительского дома.

Он пришел сюда без трофеев, без высоких чинов и званий. С этого и начинается рассказ. Война еще не отвоевалась в его сознании, в его чувствах. Мирное время тоже не пустило еще своих корней. Умельца ковать собственное благополучие из него не то чтоб не вышло — он просто не снизошел до такого. «Динар,— говорит он,— кажется мне, совсем не стоит того, чтобы в его возок впрягать свою мечту...»

У автора здесь непереводимое в данном случае словечко «жудня». В этом контексте оно несколько более энергично, чем «мечта». Оно еще и «жажда».

Итак, война позади. Полуразрушенное село принимает вернувшегося ратника. Не дает ему даже подумать о том, что пора бы передохнуть, пора хотя бы оглядеться и дух перевести. Все надо начинать сначала. И «мечту-жажду» приходится осуществлять с теми, кто выжил. Их мало здесь — бывших соратников. Больше осталось тех, кто, каждый на свой манер, переносил долгие страшные времена оккупации и междоусобицы — где выворачиваясь, где сопротивляясь, а где и приспосабливаясь ко всему.

«Я в военной форме,— начинает свой рассказ Данило,— на руке нашивка с тремя звездочками... Капитан. Бывший. Портки натирают ноги на швах. Потому что исподних нет. Почесать под мышкой боязно. Рубашка расползается. Пот разъедает голые пальцы в жестких жарких сапогах. Смотрю я на них, на этих верных кожаных дружков моих: не сапоги, а целый дневник... начищала их хорошенькая крестьяночка на болгарской границе, пока я внушал ей, какие мы, партизаны, отличные ребята: ни за что не станем приставать к женщине, коли сама она добровольно не согласится... А немецкого полковника у австрийской границы они били по толстому заду, пока я внушал ему, что мы, партизаны, уважаем Женевскую конвенцию... Рядом со мной рюкзак, автомат и пистолет... оружие пока нужно мне, потому что в лесу промышляет еще банда. Пахать — не буду: спина моя набита осколками. И когда я нагибаюсь, под кожей скрип идет такой, точно щебень на дороге толкут... Растрачу оставшиеся деньжишки и примкну к какой-нибудь колонне мирных людей, чтоб как-то уж дотянуть свою биографию».

«Как-то уж дотянуть свою биографию...» — так склонен только словцом поиграть человек подобного типа. Я видела и слышала этих людей. В этих краях — на взгорьях Грмече и Козары. В самом Сараеве. В неповторимой по красоте долине реки Неретвы. И в Белграде слышала, как любят и умеют они эдак поиграть словцом, не жалея и себя. В жизни же — какой там «как-нибудь» и какой «дотянуть»!

Конечно, не литература, а сама революционная действительность социалистических стран вылепила в каждом из них на собственных национальных дрожжах такие характеры. Сыроватые, напористые, эти люди совестью почувствовали ответственность за устройство жизни на земле. Поверили в свое всесилие и, быть может, слишком напрямик прокладывали путь от слова к делу. При всем различии у всех у них проступает немало общих, я бы сказала — семейных, черт. В литературе каждой из этих стран, как и в жизни, такие люди сохранили свой национальный склад ума и чувств, свою национальную повадку, темперамент, речь, склонность — у кого к патетике, у кого к юмору, у кого к практи-

ческой рассудительности. Они сохранили свои традиционные взгляды, скажем, в отношении к женщине, к труду, к обычаям. Они, разумеется, очень не похожи, но будь это наш Нагульнов из «Поднятой целины» М. Шолохова, или чех Мартин Соучек из романа Ивана Кржижа «На отшибе», или кто другой — болгарин, поляк, венгр,— нечто самое главное роднит их: эта нацеленность. И почти веселая (если бы в ней не было иногда и отчаянья) самоотреченность. Нет, не вызывающая жалость жертвенность, а настолько органическая потребность сделать общеполезное дело, что собственные нужды кажутся при этом просто маленькими и вовсе не важными.

Данило Лисичич, герой романа Сушича,— из этого рода людей. Он босниец в любом своем движении, любом повороте мысли. И практичность его — боснийская. И нрав — порывистый, самолюбивый — тоже боснийский. Но о родстве, о котором только что шла речь, напоминает на редкость органическая жизнь идеи в глубине каждого помысла, каждого поступка, и еще партизанская ретивость, с которой он принимается за осуществление «мечты-жажды». Он спешит, конечно, обобществлять, механизировать, наращивать хозяйство — как же иначе?! Он строит мастерские, теплицы, перестраивает, осовременивает, раздобывает машины, торопится, торопит, хитрит на один манер с начальством в районе, на другой — с начальством в центре, прикидывается кем придется, ловчит, даже обманывает каких-то чиновников. Но всеми правдами и неправдами он выколачивает — не для себя, для села — то, что поможет ему расти. И заставляет людей работать. И самому себе не дает передышки. Даже жениться не хочет — чтоб семья и быт не оттягивали от главного. И вытаскивает людей из беды. И коллективное хозяйство села становится имущим, даже богатым. От него отпочковываются целые производства; а село вырастает в селение, потом — в городок.

Данило уже ценят во всей округе, прислушиваются к его голосу...

Но именно тут начинается то самое, что придало горьковатую усмешку рассказу человека, который может разрешить себе теперь не спеша порассмотреть и хорошее и плохое, и смешное и печальное, и оправданное и случайное в своей жизни. Полный азарта действовать, объединять людей, заражать их своей лихорадкой созидания, он оказался, как уже было сказано, не у дел...

Кто-то из его непосредственного руководства самолюбиво не пожелал стерпеть грубоватую прямоту и самостийность этого характера; чем-то сам он уж очень держался своей партизанщины (пожалуй, больше напоказ); кое-кто, чтоб свести счеты, пораскопал те самые «правды и неправды», при помощи которых в разрушенной войной стране Даниле удалось создать образцовое хозяйство и сделать односельчан людьми уверенными и в завтрашнем дне; кто-то потребовал суда. Особенно те, кто боялся его разоблачений. А тут [illegible] всему прочему — в центре веянья сме[illegible] лись: коллективное хозяйство перест[illegible] быть коллективным. Его распустили. Опя[illegible] таки пошла смена людей. И то, чем ж[illegible] Данило, вроде оттиснули в сторонку эн[illegible] гические локти вновь идущих, вновь на[illegible] начаемых, мечтающих о чем-то сво[illegible] Быть может, том самом динаре, в чей [illegible] зок Данило не считал достойным впряга[illegible] свою мечту. Деньга — она ведь о дв[illegible] концах, как та самая палка. Она и подн[illegible] няет человека, но она же и меняет его се[illegible] в угоду.

Сам-то Данило, конечно, не ангел. [illegible] отдает себе отчет во многом. Да, страс[illegible] обогащать и отстраивать коллективное х[illegible] зяйство заставляла его и высматривать[illegible] где что лежит без пользы, и находить вс[illegible] ческие пути, чтоб без пользы лежащее ок[illegible] зывалось с пользой у него под рукой... Д[illegible] Данило взъелся, когда его стали обвинят[illegible] судить... И напился на людях, когда ег[illegible] начала одолевать несправедливость обв[illegible] нений... И наговорил бог весть чего своем[illegible] начальству... И остался горько верен гла[illegible] ному в себе, когда был исключен, отстра[illegible] нен, когда его переселили в другой райо[illegible] и не дали стоящего дела... И женился вс[illegible] таки. Но и тут не пожелал прислушаться [illegible] советам «разумной жены», хоть прикинул[illegible] ся смирным и исправляющимся.

Стерпеть бесполезность свою людям это[illegible] человек, как и в жизни, так и в книге, н[illegible] может. И даже внешнее признание заслу[illegible] и запоздалое приглашение в родной горо[illegible] док (опять-таки почета ради, но без то[illegible] самого, нужного людям дела) все равн[illegible] удовлетворения не приносят. А признать[illegible] себя побежденным не в его характере. Поэтому он и посмеивается над собой. И подводит итоги. Не только свои итоги.

Вы тоже нередко улыбаетесь, читая этот рассказ. И при этом видите значительность характера рассказчика. Замечаете его желание выказать себя примятивней, чем он есть на самом деле, замечаете и действи-

ьную его примитивность. Верите в бла-
родство его. Видите и счастье его, терп-
е счастье созидателя, и трагедию.
Я рассказываю о книге Сушнча, пытаясь
к можно яснее раскрыть содержание это-
разговора героя с самим собой, отчета
мому себе, искреннего и честного. Другие
рои в ней очерчены лишь такими, какими
видит Данило в том или ином настрое-
ии.
Об авторе, читая и вновь возвращаясь к
ой книге, вспоминаешь лишь тогда, когда
точки зрения достоверности его постигает
удача. Когда чувствуешь, что вот это
ображение, вот эта ассоциация, вот это
змышление только приписаны Даниле.
анило так подумать не мог. Такого срав-
ения у него не нашлось бы. Тут прорва-
сь слова самого Сушича, которому несо-
енно есть еще о чем рассказать. Но в
анном случае его связывает жанр.
И вместе с тем именно этот жанр помо-
ет ему изнутри вскрыть ход размышле-
ий, вспышки и спады чувств, психоло-
ические трудности, причины поступков
дного из наиболее характерных предста-
ителей целого поколения победивших в
свободительной войне Югославии. Пожа-
уй, одного из самых важных для народа
редставителей этого поколения. Если
ожно так сказать — рядового производи-
еля работ на стройке новой жизни.
В романе Бранко Чопича «Восьмое на-
тупление» можно было увидеть и услы-
шать, какими пришли в столицу и там,
сознавая величие своей победы, почувст-
овали себя хозяевами жизни земляки и
ратники Данилы. Каково было их само-
щущение, как их смущали — и отрыв от
одной почвы, и боязнь ударить лицом в
рязь, а этим уронить и самый смысл побе-
ды; как одни, то ропща, то радуясь, укреп-
лялись в городе, запасались новыми зна-
ниями, умениями, других заботили рост
служебного престижа, привилегии, как
рвались былые соседские, семейные привя-
занности, которые теперь уже казались
стесняющими; как исподволь, со всех сто-
рон, а часто и изнутри шло на них наступ-
лением довольное собой мещанство.
В романе «Молитва за моих братьев» у
Младена Олячи можно было увидеть и
услышать еще одного земляка и соратника
Данилы. Он, придя победителем в город,
заторопился поскорей возместить «потерян-
ное» в годы борьбы всяческими радостями,
наслаждениями. Он исповедовался уже из
могилы. И в порыве раздраженного само-
разоблачения, вызванного посмертным сла-
вословием друзей, рассказал правду о
себе. Правду об одном из тех, кого подня-
ла по социальной лестнице забота только о
собственной шкуре.
Теперь пришел герой романа Сушича.
Таких обычно работа любит. Над такими,
бывает, и посмеиваются свысока те самые,
кому они своим трудом дали возможность
обучиться, освоиться, навести на себя лоск
цивилизацин. Таких не всегда и народ пре-
возносит. Быть может, по той же причине,
по какой не скажешь спасибо руке своей,
за то, что она подносит ко рту хлеб. Такие
обычно сами на авансцену не спешат, их
вытаскивают, выталкивают вперед. Но о
них надо знать, если хочешь понять, в чем
сила народа, если любишь этот народ.

ИДА РАДВОЛИНА

КАК РАЗГОРАЮТСЯ ОГНИ ГНЕВА

Max Olivier-Lacamp. Les Feux de la Colère. Editions Bernard Grasset. Paris, 1969.

Груды новинок в книжных лавках, множество литературных премий (а они сыплются, словно из рога изобилия, на протяжении всего года), безудержная реклама бестселлеров — все это может сбить с толку даже искушенного французского читателя. Да и критику не всегда легко разобраться в тенденциях современного литературного процесса. Тем не менее одна из тенденций очевидна: речь идет об усилении реалистического направления во французской прозе. С одной стороны, это связано с реакцией на не оправдавшее себя экспериментаторство «нового романа», с другой — со смелым вторжением документа в художественную литературу.

В послевоенные годы, когда необходимость осмыслить уроки прошлого становится все более настоятельной, во французской литературе происходит возрождение исторического романа. Если в двадцатые-тридцатые годы Франция не знала, по сути дела, большого исторического романа, то ныне положение резко изменилось. Наметились различные тенденции, идеологические и художественные. В центре внимания Мориса Дрюона — история «Про́клятых королей». Другую тенденцию, на наш взгляд, более плодотворную, представляют книги, посвященные народным судьбам.

Поначалу возрождение французского исторического романа происходило на путях документализма. За «Страстной неделей» (1958) Арагона последовали «Божьи безумцы» (1961) Ж.-П. Шаброля, книга о восстании камизаров. Роман Шаброля — вымышленный и вместе с тем строго документированный дневник одного из участников восстания. Обширная историческая документация вынесена за скобки: ее место в комментариях. Художественный вымысел на каждом шагу подтверждается фактами, что придает повествованию впечатление совершенной достоверности.

Много общего с книгой Шаброля имеет роман Макса Оливье-Лакана «Огни гнева». Первое художественное произведение известного французского журналиста было отмечено в 1969 году премией Теофраста Ренодо. Как и Шаброль, Оливье-Лакан не хочет забывать об уроках истории, стремит-

ся увидеть ее глазами человека двадцатого столетия И невольно напрашиваются параллели между крестьянским восстанием начала XVIII столетия и движением Сопротивления. «Божьи безумцы» Шаброля посвящены деду автора, который открывал внуку «посредством писаний Иоанна и Иеремии тайные замыслы Гитлера». В романе Оливье-Лакана одна из глав названа «Рождение маки», другая глава «Гроты Эзе» воспринимается — с соблюдением необходимой исторической дистанции — как описание партизанского края. Убедительно раскрывается психология человека, сделавшего в ответственный момент истории окончательный выбор. Здесь «черное — черное, а белое — белое». В горах ясно, кто друг и кто враг. А в городах и селах, где утвердилась власть короля, по-прежнему царят «ложь, лицемерие, двойная игра».

Главный герой романа Жан-Жан идет путаной тернистой дорогой. После жестокой расправы над его родственниками мальчику-протестанту приходится принять католическую веру, пойти учиться в духовную семинарию, стать служкой у священника. Но вернувшись в родные края, он не может долго переносить положение невольного изменника. Жан-Жан уходит к камизарам. Вместе с товарищами по оружию Жан-Жан и его подруга Жанна проходят весь кровавый путь восстания.

Как и Шаброль, автор «Огней гнева» отнюдь не идеализирует севеннских крестьян. Писатель не закрывает глаза ни на религиозный фанатизм, ни на предрассудки, ни на жестокости, чинимые с обеих сторон. Но ожесточение крестьян, и в этом Оливье-Лакан разделяет точку зрения Шаброля,— ответная защитная реакция на злодеяния карателей. Недаром в романе излагается проект главного карателя маршала де Монревеля, его предложение, благосклонно встреченное Людовиком XIV: «истребить всех жителей Севенн,— мужчин, женщин, детей». Автор не скупится на подробности описания творимых преступлений. И грех было бы обвинять его в натурализме: романисту важно донести до сознания читателя всю зверскую суть расправы над мирными землепашцами.

Оливье-Лакану скорее можно было бы сделать упрек в том, что он не раскрыл социальную, антифеодальную направленность движения камизаров. Но писатель увидел, как постепенно разгораются огни народного гнева, как крестьянское воинство становится силой, перед которой пасует регулярная армия.

В романе персонажи вымышленные соседствуют с историческими (палач камизаров аббат Шайла, руководители восстания — отважный Роланд и честолюбивый Кавалье, польстившийся на чин полковника и предавший камизаров). Введенные в круг точно воспроизведенных событий, вымышленные персонажи воспринимаются как подлинно существовавшие. И с другой стороны: действуя рядом с героями романа, исторические персонажи как бы приближаются к читателю, становятся ему понятными, близкими.

Общей с Шабролем теме Оливье-Лакан предлагает иное художественное решение. Если «Божьи безумцы» — произведение по основе своей документальное, то «Огни гнева» — традиционный исторический роман; вымысел лишь изредка подтверждается документом, играющим в таком случае важную роль в сюжете. Сравнение этих двух исторических романов, посвященных восстанию камизаров, наглядно показывает и интерес к этому жанру в современной Франции, и многообразие путей реалистического искусства.

Ф. НАРКИРЬЕР

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛЖИР

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ РИДЫ ХУХУ

В Алжире учреждена премия имени Риды Хуху для начинающих новеллистов (Рида Хуху был одним из основоположников современной алжирской новеллистики на арабском языке. Он пропал без вести во время национально-освободительной революции в Алжире.) Новый литературный журнал «Амаль» сообщает, что в результате конкурса на лучшую новеллу, проведенного в 1969 г., лауреатами премии имени Р. Хуху стали Абдерахман Араб (за лучшую новеллу на французском языке) и Мирзак Бакташ (за лучший рассказ на арабском).

По сообщению журнала, в Алжире учреждена также премия за лучшее произведение драматургии, которая будет называться премией Рашида эль-Ксентини по имени основоположника алжирской драматургии.

АНГЛИЯ

ГДЕ ПОДЛИННИК РАФАЭЛЯ?

Есть основания считать подлинником хранящийся в лондонской Национальной галерее портрет папы Юлия II, который до сих пор принимали за копию знаменитой картины Рафаэля, сообщает английская печать. До последнего времени подлинником считали портрет Юлия II, хранящийся во Флоренции, в галерее Уффици.

Как известно, портрет

Портрет папы Юлия II работы Рафаэля.
(Газета «Морнинг стар»)

Юлия II был написан Рафаэлем в 1511 или 1512 году. Итальянский искусствовед XVI века Джорджо Вазари писал, что эта «картина настолько правдива и жизненна, что вызывает дрожь, ибо вы словно видите перед собой живого человека». Некоторое время картина была собственностью кардинала Сфондрати. В 1608 году он продал портрет кардиналу Боргезе, в собрании которого картина была зарегистрирована под номером 118 как произведение Рафаэля. Во время вторжения наполеоновских войск картина, видимо, была вывезена из Италии. В 1824 году она была куплена лондонской Национальной галереей и с тех пор хранится в ней.

Несколько лет назад эксперт по искусству периода Возрождения Сесил Гулд провел тщательное рентгеноскопическое исследование картины. Под верхним слоем Гулд обнаружил сделанные первоначально наброски перекрещенных золотых ключей—папской эмблемы, а также изображенный в несколько иной позиции, чем на картине, платок папы. Едва ли автор копии, по мнению искусствоведов, мог изобразить такие детали, которых нет в оригинале, а затем закрасить их. Догадку подтвердили опубликованные в 1964—1965 годах каталоги коллекции Боргезе. В них упоминалась картина Рафаэля под номером 118 с изображением портрета папы Юлия II.

Наконец, было найдено еще одно подтверждение: в неопубликованной поэме, написанной в 1613 году в Ватикане, имеется ссылка на хранящийся в коллекции Боргезе портрет Юлия II работы Рафаэля.

Выводы английских экспертов пока еще не всеми приняты за безусловную истину. Директор галереи Уффици Лучано Берти утверждает, что оригинал Рафаэля хранится во Флоренции. Однако там в перечне работ Рафаэля картина значится под номером 1450 и как «копия утерянного оригинала».

АРГЕНТИНА

ЧЕТЫРЕХСОТОЕ ИЗДАНИЕ «ДОН КИХОТА»

Недавно в университетском издательстве Буэнос-Айреса «Эудеба» вышел «Дон Кихот» Сервантеса; это уже четырехсотое по счету издание, как утверждает статистика. Инициатором его стал профессор Маркос Мориньиго, который в 1959 году организовал на факультете философии и литературы в университете Буэнос-Айреса семинар «Прочтение Дон Кихота». Целью семинара было изучение культурной жизни эпохи Сервантеса на основе текста его произведения.

Маркос Мориньиго подготовил для нового издания вступительную статью о жизни и творчестве Сервантеса. Книга снабжена богатой библиографией и словарем, объемом в 3300 слов, включающим архаизмы в переводе на современный язык и пояснения исторического, географического, литературного, социального и культурного характера относительно тех мест в тексте, которые могут быть не поняты читателем.

Более 100 черно-белых и цветных иллюстраций сделал для нового издания «Дон Кихота» аргентинский художник Роберто Паэс.

Одна из иллюстраций Роберто Паэса к новому изданию «Дон Кихота».

(Журнал «Висьон»)

БОЛГАРИЯ

ВАЗОВСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДНИ

В Болгарии широко отм чалось 120-летие со дня ро ждения классика болгарск литературы Ивана Вазов и 80-летие со времени выхо да в свет самого крупног его произведения — эпопе «Под игом».

Основные вазовские тор жества прошли в Пловдив Там работал организован ный болгарской Академие наук и Союзом болгарски писателей симпозиум, в ход которого были освещены многие вопросы творчества Вазова, сообщены новы сведения о его жизни. До клады прочитали: проф. Стойко Божков («Народны поэт Болгарии»), проф. Ге оргий Димов («Литературные, критические и эстетические взгляды Вазова и наша современность»), Милена Цанева («От «Паисия» до «Темного героя»), Желю Авджиев («Романтизм Вазова и Гюго»), Элефтерия Фиклиева («Роман «Под игом» в переводах»), Петр Льондев («Вазов и болгарская музыка»), Богомил Стоилов («О связях патриарха болгарской литературы с первой болгарской театральной труппой») и другие.

На родине поэта, в болгарском городе Сопоте, на юбилейном вечере доклад о жизни и творчестве Вазова сделал профессор Георгий Цанев. Артисты Театра имени Ивана Вазова выступили с программой, составленной из его произведений. В доме, где родился писатель, открыт музей.

Была выпущена специальная юбилейная газета, в которой на 16 полосах были помещены разнообразные материалы: отрывки из произведений Вазова, неопубликованные письма, высказывания, а также статьи о его творчестве, оценки его Георгием Бакаловым, Гео Милевым, Тодором Павловым.

Вышли юбилейное иллюстрированное издание романа «Под игом», подарочное издание «Эпопеи забытых», избранные произведения

Рисунок Веселина Стайкова «Рабочий».
(Журнал «Пламк»)

Вазова в четырех томах, подарочное издание его стихотворений и сборник для детей «Синий василек».

В Софии, Пловдиве, Берковице и других городах прошли вечера, на которых читались произведения Вазова. Библиотека им. Кирилла и Мефодия в Софии и библиотека им. Ивана Вазова в Пловдиве подготовили библиографию произведений писателя, Союз болгарских художников — несколько плакатов, а министерство связи — почтовую марку. Исполком Пловдивского совета учредил ежегодную литературную премию имени Ивана Вазова.

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Болгарская общественность проводила в последний путь одного из наиболее видных современных графиков Болгарии — народного художника профессора Веселина Стайкова.

Сорок лет посвятил Веселин Стайков творчеству, педагогической и общественной деятельности. Критик Владимир Свинтила в журнале «Пламк» называет его графику «уникальным явлением в европейском графическом искусстве 30-х и 40-х годов» и считает, что она во многих отношениях остается уникальной и сегодня.

Основные сюжеты в творчестве Стайкова — труд рыбаков старых городов черноморского побережья Созопола и Несебыра, архитектурные пейзажи, жанровая графика из жизни болгарских крестьян. Но при всем этом разнообразии, пишет Свинтила, его прежде всего следует назвать певцом созопольских рыбаков.

Веселин Стайков рисовал созопольское побережье в течение двадцати лет. Он посвятил этой теме множество гравюр на дереве и офортов.

В последнее десятилетие своей жизни В. Стайков создал серию графических листов на темы индустриального строительства.

ВЕНГРИЯ

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Остатки лагеря римских легионеров обнаружены недавно во время земляных работ на одной из площадей в самом центре Будапешта. Специалисты-археологи определили, что лагерь был построен римлянами в первом столетии до нашей эры. Лагерь имеет форму ромба; часть его стен выложена плитами с уникальными барельефами. На том месте, где был обнаружен лагерь, сейчас заложен городской парк. Интересный археологический памятник станет одной из достопримечательностей венгерской столицы.

ГДР

ПОДАРОК ЮБИЛЯРУ

Издательство «Киндербухферлаг» выпустило сборник рассказов Анны Зегерс под названием «Дочь делегатки». В него вошли произведения разных лет, герои которых — дети и юноши. «Каждый рассказ — это законченная история из жизни детей разных стран,— пишет рецензент газеты «Берлинер цейтунг».— Часто писательница прибегает к драматическим ситуациям, показывает нужду и горе военных и послевоенных лет, тяжелые условия, в которых росли ее герои, а также людей, готовых прийти им на помощь».

«Анна Зегерс — не детская писательница, — отмечает критик «Литература-70».— Но в ее романах и рассказах дети играют очень важную роль. Она хорошо знает, и ее произведения подтверждают это, что историю делают взрослые совместно с детьми. Благодаря этому ее творчество доступно и юным читателям».

В сборник наряду с произведениями Зегерс, дающими представление о раннем периоде ее творчества, включены интересные рассказы более позднего времени, в том числе рассказ, давший название книге, действие которого происходит в Польше времен Пилсудского, а также рассказ «Убежище» — об оккупированной фашистами Франции.

«Эту книгу, любовно и добротно изданную, приятно взять в руки,— пишет критик «Литература-70».— Издательство «Киндербух-ферлаг» сделало хорошее дело, издав этот сборник в нынешнем году, когда Анне Зегерс исполняется 70 лет».

РАЗГОВОР О КРИТИКЕ

Что такое критика сегодня, каковы ее роль и задачи — этому вопросу еженедельник «Зонntаг» посвятил свой раздел «Тема времени». На вопросы корреспондента «Зонntаг» ответил известный писатель-драматург и критик Райнер Кернdль.

«Является ли, на ваш взгляд, критика до сих пор профессией?» — начал разговор Альмут Гизеке.

«Да, несомненно,— сказал Кернdль.— Многие мои коллеги в Берлине и в других городах стали известны благодаря критическим статьям. Пути к профессии критика разнообразны. Иногда критиками становятся люди, выбравшие себе эту профессию еще в процессе обучения. Иногда путь в критику ведет через практику: драматурги, режиссеры, актеры часто становятся театральными критиками, писатели — критиками литературными. Я не думаю, что критиков нужно специально готовить, как считают многие мои коллеги.

В нашем обществе критик не является рупором идей элиты,— продолжал Кернdль.— Он должен знать жизнь, должен быть тесно связан с нею, должен знать нужды людей, проблемы, которые их волнуют, условия, в которых они живут. Он должен понимать перемены, которые происходят в мышлении людей, иметь представление об их духовном мире.

Если говорить о театральной критике, то здесь критик становится посредником между зрителем и пьесой. Он должен знать не только материал, по которому пишет статью или рецензию, но и публику — ее интересы, ее стремления. Часто критический материал ведет к дискуссии — он наталкивает зрителей на размышления и споры.

Что касается читателей, то статьи о художественных произведениях заставляют их задуматься над своими впечатлениями, систематизировать их, разобраться в них, понять иногда то, что они чувствуют лишь интуитивно.

Критики, которые долго работают в литературе, могут рассказать, сколько писем они получают и сколько вопросов им задают на встречах и обсуждениях. И они видят тогда, на мой взгляд, самое важное, чего может достичь критика: люди задумались, они ассоциировали увиденное в театре, в кино, прочитанное в книге с жизнью и поднялись на какую-то новую ступень».

ЗАПАДНАЯ АФРИКА

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ, НОВЫЕ ИМЕНА

Летом нынешнего года в г. Динаре (Франция) состоялся II Международный фестиваль франкоязычных фильмов, включавший фильмы тех стран мира, где говорят по-французски, а также фильмы африканских стран на французском языке (составлявшие так называемый малый фестиваль). Начиная с будущего года, характер малого фестиваля коренным образом изменится. Африканские кинематографисты устами сенегальского писателя и режиссера Сембена Усмана выразили пожелание, чтобы фестиваль африканских фильмов впредь проводился в Африке. Они считают, что подобное событие заинтересует мировую печать, представители которой получат, таким образом, возможность видеть фильмы во время их демонстрации той публике, для которой они и предназначены, то есть африканцам.

Прошедший в Динаре фестиваль был, по словам корреспондента журнала «Африк экспресс», довольно оживленным. Хотя многие показанные там фильмы уже демонстрировались на других фестивалях, а некоторые ожидавшиеся ленты еще только монтируются, фестиваль этот дал тем не менее, по отзывам критиков, довольно полное представление о состоянии киноискусства на африканском континенте. Он показал, в частности, подъем кино Берега Слоновой Кости. Фильм «Женщина с кинжалом» Тимите Бассори уже известен — он демонстрировался в прошлом году в Алжире. Однако его демонстрация вновь вызвала интерес, показав наличие в национальном кинематографе двух значительных мастеров: Дезире Экаре и Тимите Бассори. Фильмы кинематографистов Берега Слоновой Кости — это комедийные ленты, герои которых мечутся, выискивая лазейки, между требованиями устаревших традиций и современности.

В сенегальском кинематографе, где ведущее место долго занимал такой известный мастер, как Сембен Усман, начинают появляться новые имена. Фильм сенегальца Джибриля Диопа о Дакаре демонстрировался впервые. По отзыву корреспондента «Африк экспресс», создатель фильма показывает жизнь города, которой не увидишь ни в одном рекламном туристском фильме.

«Чемодан Макакули» Момара Тиама — первый сенегальский фильм, действие которого разворачивается не в городе, а в деревне. В нем просто и немногословно рассказана семейная драма, связанная с присвоением наследства. Фильм «День Джибриля Н'Диай», созданный по инициативе ЮНЕСКО сенегальскими операторами Соу и Дианем, правдиво показывает трудности развития сенегальской деревни.

Фестиваль в Динаре привлек внимание и к дагомейскому кино. Два документальных фильма показал режиссер Абенканду. Интересен фильм Беби Медеро о короле Беханзине, возглавившем сопротивление дагомейцев французской колонизации. Фильм снят в г. Блида в Алжире, куда Беханзин был сослан колонизаторами.

Фестиваль дал возможность познакомиться и с первым кинематографистом из Конго (Браззавиль) Себастьяном Камбой, представившим документальный фильм о фестивале культуры в Гвинее и полнометражный фильм о конголезской молодежи.

КНИГИ РАБОЧЕГО-ПИСАТЕЛЯ

«Дым, огонь и человек» и «Утреннее солнце» — таковы названия двух книг на хинди писателя Шивнараяна Шривастава, вышедших в Дели (первая вышла третьим изданием и к настоящему времени уже переведена в ГДР на немецкий язык).

«Дым» повествует о трудной жизни крестьянской семьи в период феодального ига времен господства английских колонизаторов, испытать которое довелось самому автору. Книга во многом автобиографична. Герой повести Шафари проходит через испытания и невзгоды, которые пришлось перенести Шриваставе — крестьянину по происхождению, а затем рабочему на текстильных предприятиях и профсоюзному руководителю.

Элементы автобиографичности прослеживаются также в судьбе и поступках героя второй повести — Раджмана. В обеих книгах дается реалистическое описание труда на фабрике и жизни в трущобах текстильщиков в годы, предшествовавшие обретению Индией независимости. В «Утреннем солнце» описывается грандиозная забастовка, которая вспыхивает в знак протеста против намерения фабриканта урезать пособия рабочим. Против рабочих выступают полиция и администрация, используются штрейкбрехеры. Из этого столкновения Раджман выходит закаленным, сознательным рабочим.

ДВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ БРЕХТА

«Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта почти одновременно появилась в репертуаре калькутгской труппы «Нандикар» и Национальной школы драмы в Дели. Сценическая их трактовка различна, однако, по мнению театральных критиков, обе постановки бесспорно удачны.

Сцена из спектакля «Трехгрошовая опера» в постановке калькуттской труппы «Нандикар».

(Еженедельник «Линк»)

Труппа «Нандикар», возглавляемая опытным руководителем и актером Аджитешем Банерджи, с успехом поставила «Вишневый сад» Чехова, пьесы Пиранделло и Уэскера. «Особо примечателен успех чеховской постановки,— писал критик еженедельника «Линк» Ашиз Барман.— Показать знаменитого русского писателя на бенгальском языке, да еще для специфической местной аудитории — задача чрезвычайно трудная».

Работа над постановкой на бенгали «Трехгрошовой оперы» Брехта оказалась не менее сложной. Режиссер и исполнитель одной из центральных ролей Аджитеш Банерджи для адаптации пьесы широко использовал бенгальский фольклор. Удачный синтез музыкальных и драматических элементов, талантливая игра каждого актера в отдельности и слаженная работа всего коллектива позволили, по отзывам рецензентов, создать драматически целостный, живой и яркий спектакль.

Национальная школа драмы в Дели пригласила для постановки «Трехгрошовой оперы» видного режиссера Немецкого национального театра в Веймаре Фрица Бневица. В отличие от калькуттского, несколько стилизованного спектакля, постановка делийской школы драмы решена в реалистическом плане. Перевод стихотворного текста сделан композитором и педагогом Шейлой Бхатия. Ее стихи, по отзывам критиков, сохранили смысловую нагрузку немецкого текста и легко легли на музыку, написанную Ванраджем Бхатией. Текст пьесы переведен Сурекхи Сикхи. Декорации выполнены по рисункам Е. Алкази — директора Национальной школы драмы, известного режиссера, актера, художника.

«ВИАРЕДЖО-70»

Состоялось присуждение ежегодной литературной премии «Виареджо». В составе жюри, бессменно возглавляемого писателем Леонида Репачи,— авторитетные литературоведы, писатели, поэты — Анна Банти, Альберто Бевилаккуа, Карло Бо, Карло Салинари, Наталино Сапеньо, Чезаре Дзаваттини и другие. Премия по разделу поэзии присуждена поэту Нело Ризи за сборник «О некоторых вещах» (издан Мондадори). Прогрессивная критика уделяет этой новой книге ломбардского поэта большое внимание, отмечая, что в ней Ризи достигает подлинной зрелости и глубины суждений о современном мире, политической четкости и определенности. Газета «Унита» опубликовала обширную статью своего критика Микеле Раго, посвященную новому сборнику Ризи, а также стихотворение из этого сборника, озаглавленное «Программная речь нового премьер-министра»,— пример острой политической сатиры Ризи.

Премия за лучший роман вручена писателю Нело Сайто, создавшему роман «Внутри и снаружи» (издан Риццоли). В нем показана жизнь Сицилии так, как ее видит приехавший работать на остров школьный учитель — житель «континентальной Италии». Критика пишет о романе Сайто как о реалистическом произведении, затрагивающем острые проблемы социальной жизни Юга.

По разделу публицистики и литературоведения премию получил Пьетро Читати за исследование о Гете (издательство Мондадори).

Ввиду финансовых трудностей фонда «Виареджо» денежные премии в этом году не вручались: их заменили скульптуры, созданные Джузеппе Де Фео. Единственным исключением была международная премия «Виареджо-Версилия», присуждаемая писателям других стран: сумма в два миллиона лир, предоставленная в распоряжение жюри Итальянской социалистической партией, вручена архиепископу бразильского города Ресифи — Желдеру Камара за его неустанную деятельность, направленную против ужасающей нищеты бразильских трудящихся и на обличение преступлений реакционной военщины.

В ТРАДИЦИЯХ НЕОРЕАЛИЗМА

«Очевидно, что в итальянском кино не забыты лучшие традиции неореализма»,— писали кинокритики после первых просмотров нового фильма режиссера Этторе Скола «Драма ревности». «Эта картина,— отмечал рецензент газеты «Унита»,— дает основания надеяться, что итальянское кино в конце концов найдет путь к успеху».

...Сорокапятилетний каменщик Оресте живет с женой и детьми на одной из римских окраин. Придавленный тяжелым каждодневным трудом, усталый и внутренне опустошенный, он даже дома, глядя на голые стены убогого жилища, мысленно укладывает один к другому кирпичи. Однажды, отправившись с семьей на кладбище, чтобы почтить память родителей, Оресте встречает бедную девушку, продающую розы. Он поражен обликом Аделаиды, ее простотой и наивной доверчивостью, он чувствует, что полюбил ее. Оресте не замечает насмешек друзей и пересудов соседей. Кажется, Аделаида тоже его любит. Неожиданно в поле зрения девушки появляется Нелло, сын местного фабриканта, человек недалекий, но «с хорошими манерами», изысканно одетый. Аделаида в растерянности, ей кажется, что она любит обоих, но в глазах бедной неискушенной девушки сын фабриканта остается на голову выше простого каменщика. Оресте охватывает безумная ревность, которая приводит к трагическому исходу: он убивает свою возлюбленную...

«О подобных историях мы каждый день читаем в газетах,— заявил журналистам режиссер фильма Этторе Скола.— Мы удивляемся, как может такое случаться. Однако газетная «черная хроника» зачастую дезориентирует нас, она не дает представления о жизни простых людей, которые, несмотря на технический про-

Марчелло Мастроянни в фильме «Драма ревности».

(Еженедельник «Ринашита»)

пресс, продолжают влачить жалкое существование. Я хотел рассказать историю людей, живущих в мире труда, историю, начавшуюся с роз и окончившуюся драмой».

Режиссеру и авторам сценария Адже и Скарпелли удалось, как отмечает печать, создать эмоциональный и правдивый фильм. Подлинным сюрпризом, пишет критик еженедельника «Ринашита», явилось исполнение главной роли Марчелло Мастройянни. Этот артист, который, казалось, уже продемонстрировал все стороны своего дарования, в роли простого каменщика блеснул перед зрителями новыми, ранее неизвестными гранями своего мастерства.

Характерно, что никто из известных продюсеров не захотел рисковать, вкладывая деньги в финансирование фильма о жизни бедняков. Картину сняли на средства нескольких молодых кинематографистов, представителей движения за возрождение в Италии «народного кино».

«НЕ-КНИГА» ДЗАВАТТИНИ

Чезаре Дзаваттини известен как кинодраматург — один из зачинателей неореализма, а также как неутомимый общественный деятель — лауреат Международной премии Мира, президент общества «Италия — СССР», один из создателей и руководителей массовой организации итальянских киноклубов, а ныне — и прогрессивного движения социальных любительских фильмов — «свободных киножурналов». Однако кино для Дзаваттини — лишь один из способов самовыражения. Себя он считает в первую очередь писателем: действительно, сатирические миниатюры и повести принесли ему литературную известность еще в начале 30-х годов. Последнее время в Италии, во Франции, Испании возрос интерес к литературному творчеству Дзаваттини — переизданы некоторые его книги, ставшие уже библиографической редкостью, вышли новые (сборник «Слова через край»).

Совсем недавно увидело свет произведение Дзаваттини под названием «Не-книга», выпущенное издательством Бомпиани. Оно привлекло внимание критики и, судя по сообщениям печати, стало одной из самых читаемых в последние месяцы книг. Внешне она напоминает издания футуристов начала 20-х годов или нынешних западных авангардистов. Она набрана разными шрифтами, некоторые фразы и слова автор выделяет из текста при помощи различных типографских приемов, целые странички перечеркнуты, носят следы авторской правки или представляют собой факсимиле рукописи и т. д. Сам заголовок по сути дела свидетельствует, что это, так сказать, антикнига, чуждая всех литературных схем и традиций. В ней нет ни сколько-нибудь связного сюжета, темы, какой-то общей мысли, объединяющей отдельные суждения, наблюдения, ощущения писателя. Это «крик души», яростное и шумное выражение протеста против коммерциализации литературы, ставшей одним из инструментов воздействия на умы и товаром неокапиталистического «общества сверхпотребления». Протест, выраженный в столь необычной форме, находит продолжение на приложенной к «Не-книге» грампластинке, с которой звучит голос автора.

Текст книги, как свидетельствуют рецензенты, невозможно ни пересказать, ни даже как-то резюмировать: во всяком случае, это не модный «поток сознания», а скорее — «микроновеллы», «мини-сюжеты», порой скрепленные между собой если не внутренней логической нитью, то ассоциативной связью. Такого рода техника повествования была всегда присуща Дзаваттини — так написаны, например, его тысячестраничный «Дневник кино и жизни» и раздел книги «Слова через край» — «Оглядываясь на пройденный путь». Критики — Пьеро Далламано в литературном приложении к газете «Паэзе сера» и Микеле Раго в «Унита» — отмечают, что писатель ломает все схемы, клеймит лицемерие, он признает кризис, бессилие печатного слова в современной Италии, ибо оно перестает отражать реальную действительность и не способствует борьбе за обновление общества. Отдавая должное искренности и силе протеста Дзаваттини, Раго выражает мнение, что «Не-книга» все же в конечном итоге осталась книгой и бессвязный монолог Дзаваттини — не более чем «холостой выстрел», который лишь увеличивает хаос в мире слов и реальных вещей. Впрочем, в заключении «Не-книги» сам автор, как бы выговорившись, дав выход накипевшим в нем чувствам, заявляет, что теперь он возвращается к своей повседневной деятельности и борьбе.

КИПР

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ АРАБСКИЙ ДИАЛЕКТ

На северном побережье Кипра, вдали от главных путей расположено селение Кормакити, зажатое между горами и морем. Оно примечательно тем, что его жители говорят не по-гречески и не по-турецки, как остальные киприоты, а по-арабски. Их предки — члены древней христианской секты маронитов — переселились сюда из Ливана во времена крестовых походов. За шестьсот лет обособленного существования диалект арабов-киприотов сильно отошел от других арабских диалектов, подвергшись значительному влиянию греческого языка. С течением времени большинство этих выходцев из Ливана окончательно забыло свой родной язык, и только 1200 жителей селения Кормакити все еще говорят по-арабски, хотя и обильно оснащают свою речь греческими словами и оборотами. Арабский диалект Кипра не знает письма и употребляется только в домашнем обиходе. Преподавание в школе ведется на греческом языке.

С конца XVII века арабы-

маронитыКипра, как и маронитыЛивана присоединились к римско-католической церкви, однако богослужение у них продолжает вестись на древнесирийском языке (всего на Кипре около 4000 маронитов).

Специалисты опасаются, что диалект арабов-маронитов на Кипре вскоре исчезнет. Вот почему ученые-лингвисты принялись в последнее время за тщательное его изучение. Американская лингвистка, киприотка по происхождению, Мария Тсиапера выпустила недавно книгу, в которой анализируется этот уникальный в своем роде арабский диалект.

КОЛУМБИЯ

«МУСЕО ДЕЛЬ ОРО» В БОГОТЕ

В столице Колумбии открыт музей, в котором экспонируется более 10 тыс. ювелирных изделий из золота, найденных в индейских захоронениях доиспанского периода.

Экспозиция составлена таким образом, чтобы можно было получить представление о жизни и укладе индейцев того времени. Первый зал посвящает посетителя в легенду о Нийуэлде, которого считали отцом золота, каноэ и деревьев. Здесь можно увидеть, как искусно обрабатывали индейцы предметы из золота (это был основной металл, который употреблялся у них в обиходе, серебра они не знали). Отсюда название — «Мусео дель оро» («Музей золота»). В следующем зале представлены музыкальные инструменты древних индейцев. Второй этаж отведен под экспозицию образцов ювелирного искусства, найденных в таких исторических местах, как Калима, Сину, Тайрона.

Директор музея сообщил, что до сих пор ученые мало занимались всем тем, что связано с индейцами Колумбии. Многое становилось добычей расхитителей и контрабандистов. Руководство музея решило отныне сосредоточить в своих руках дальнейшие поиски захоронений, организовать археологические экспедиции, а также начать издание специального журнала.

ЛИВАН

ПАМЯТИ АСИНА ПАЛАСИОСА

Общественность арабских стран отметила 25-летие со дня смерти выдающегося испанского востоковеда Мигеля Асина Паласиоса. В Бейруте состоялся вечер его памяти, на котором присутствовали видные представители ливанской литературы и науки.

М. Асин Паласиос был ученнком крупнейшего испанского востоковеда-арабиста Хулиана Риберы. В своих фундаментальных трудах он показал большое влияние арабо-мусульманской культуры на культуру Европы средневековья и эпохи Возрождения. Асину Паласиосу принадлежат исследования: «Мусульманская эсхатология в «Божественной комедии», «Данте и ислам», работы об испано-арабском писателе Ибн Хазме (X—XI вв.) и философе-мистике из Мурсии Ибн аль-Араби (XII в.). Ученый, в частности, доказал, что сочинения Ибн аль Араби («величайшего шейха», как его называют арабы) оказали существенное влияние на формирование взглядов знаменитого философа и писателя средневековой Европы каталоница Раймонда Люлия.

ОАР

ИНТЕРЕС К ЛЕНИНСКОМУ НАСЛЕДИЮ

Журнал «Аль-Адиб» опубликовал статью своего каирского корреспондента Сами Хашабы под названием «Революция и сознание действительности (к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина)». Среди мероприятий, проведенных в ОАР в связи с Ленинским юбилеем, С. Хашаба отмечает Неделю советских фильмов в Каире и Александрии, вечера и конференции в культурных центрах социалистических стран, посвященные В. И. Ленину, и другие мероприятия.

Немаловажное значение, по мнению автора статьи, имел энтузиазм, с которым Ленинский юбилей встретила прогрессивная египетская интеллигенция. По ее инициативе были переведены и опубликованы многие работы В. И. Ленина. На протяжении нескольких месяцев в Каире выходили специальные номера журналов, посвященные Ленинскому юбилею. Так, в марте нынешнего года вышел специальный номер старейшего египетского журнала «Аль-Хиляль», в котором популяризировалось ленинское наследие в области литературы и искусства. В последующие месяцы журналы «Аль-Катиб» и «Аль-Фикр аль-Муасыр» отвели специальные разделы освещению революционной и государственной деятельности В. И. Ленина. В апреле вышел специальный номер теоретического журнала «Ат-Талиа», в котором также популяризировалось ленинское учение. В приложении к номеру опубликованы аннотации наиболее важных произведений В. И. Ленина.

Приветствуя инициативу передовой египетской интеллигенции в деле изучения и популяризации трудов В. И. Ленина, С. Хашаба призывает своих соотечественников глубже изучать современную арабскую действительность, полнее отражать в своих работах насущные проблемы арабских народов. Воздавая должное ленинскому гению, автор статьи пишет в заключение: «Этот великий революционный вождь и мыслитель не смог бы осуществить всего того, что он осуществил в области революционной теории и практики, если бы теснейшим образом не был связан с передовым движением — в своей стране, во всей Европе и во всем мире».

ПАКИСТАН

«ЗАБОТЫ ТИГРА»

Сборник поэзии под таким названием, принадлежащий перу Мирзы Махмуда Сархади, вышел в Лахоре (Западный Пакистан). В современной литературе на урду Сархади — один из немногих писателей-сатириков. В своих произведениях поэт обрушивается на феодально-капиталистическое общество Пакистана, на существующую в нем эксплуатацию трудящихся. Изображая пороки буржуазного общества, поэт пишет не о своих личных переживаниях и лишениях, как отмечают рецензенты, а о страданиях простых людей.

В сборник вошли также газели и лирические стихи Сархади.

СДАЕТСЯ В НАЕМ...

Небогата литература на гуджерати — одном из национальных языков Западного Пакистана. Причина состоит в том, что гуджерати преподается в качестве основного или второго языка лишь в нескольких начальных школах страны.

Тем значительнее, как отмечает печать, факт появления на гуджерати пьесы «Арендованный дом» одного из пропагандистов гуджератской культуры журналиста Мухаммада Садыка. Это не первая его пьеса. Одно из его предыдущих произведений на гуджерати — пьеса «Муж напрокат» — ставилось более двадцати пяти раз, что для Пакистана — своеобразный рекорд.

В пьесе «Арендованный дом», постановку которой предполагается осуществить в ближайшее время, восемь действующих лиц — представителей различных слоев пакистанского общества: артист эстрады, учительница, научный работник, поэт, киноактриса, ученый, домовладелец и домашняя хозяйка. Каждый из них высказывает со своей точки зрения критические замечания об обществе, в котором они живут. Главная проблема, которая волнует их (и автора),— недостаток жилья в стране при быстром росте населения.

Сцены встреч домовладельца с шестью действующими лицами, желающими арендовать дом, исполнены сарказма. Для усиления сатирического звучания пьесы М. Садык оставляет последнее слово за капиталистом-домовладельцем, который не только смеется и издевается над взглядами других, но еще и наживается на них, получая высокую плату за аренду дома.

ПОЛЬША

«СОЛЬ ЧЕРНОЙ ЗЕМЛИ»

Режиссер Казимеж Кутц, автор известных фильмов «Крест за доблесть», «Никто не зовет» и других, создал фильм под названием «Соль черной земли», о борьбе силезцев за национальную независимость. Центральное событие фильма — второе силезское восстание, вспыхнувшее в 1920 году, участники которого выдвинули лозунг присоединения Силезии к Польше. Восстание было подавлено превосходящими силами немецких войск, и лишь немногим его участникам удалось спастись, перебравшись на польскую территорию.

Казимеж Кутц заявил в интервью Божене Яницкой, представлявшей журнал «Кино», что взялся за эту тему не случайно: сам он родом из Силезии, и его ближайшие родственники принимали участие в силезских восстаниях. Поэтому в героях Кутца (он же — автор сценария) много автобиографического. Центральные персонажи фильма — участники восстания: старый Басиста и семеро его сыновей (в живых осталось трое), Габриэль, руководитель отряда повстанцев Эрвин — имели своих реальных прототипов.

«Но ведь это фильм не только о Силезии, но и о Польше — идеальной, какой она видится в мечтах, к которой стремятся герои»,— заметила Яницкая.

«Я называю это завороженностью Польшей,— сказал Кутц,—после 600 лет оторжения от родины силезцы с готовностью начали борьбу за присоединение к Польше. Герои фильма не только мечтают о Польше — она в них самих. Я обратился к тем временам, поскольку это — одна из самых ярких страниц истории и, кроме того, по моему мнению, актуальная сегодня и адре-

Кадр из фильма «Соль черной земли».

(Еженедельник «Фильм»)

сованная современному зрителю».

Роль старого Басисты исполнил непрофессиональный актер Антони Звыртек, роль Габриэля — актер из Кракова Ольгерд Лукашевич.

По отзывам критиков, фильм во многом обязан своим успехом также мастерству оператора Веслава Здорта.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О КОПЕРНИКЕ

Под таким заголовком еженедельник «Польское обозрение» опубликовал беседу своего корреспондента с профессором доктором Марианом Бискупом, директором Института истории Торунского филиала Польской Академии наук. Польские ученые, отметил профессор Бискуп, ведут неутомимые поиски исторических материалов, проливающих свет на жизнь и деятельность великого астронома.

Мариан Бискуп начал поиски в архивах и библиотеках в 1967 году. Он обследовал все польские библиотеки и архивы, побывал в Швеции, ГДР и ФРГ. Найденные материалы будут опубликованы в сборнике ПАН «Регеста Коперника», который выйдет в свет в 1973 году.

«Найденные мною материалы позволили уточнить список уже ранее известных трудов Коперника и изъять из него такие, авторство которых ошибочно приписывалось великому польскому ученому,— сказал Бискуп.— Прежде всего следует рассказать о найденной мною в епархиальном архиве в Ольштыне рукописи «Локация оставленных пажитей (1516—1521 гг.)». В этом документе рассказывается об администраторской деятельности Коперника в южной Вармии.

Новые материалы относятся прежде всего к тому времени, когда Коперник заведовал канцелярией Вармийского капитула в 1511—1513, 1524—1525 и 1529 годах. Мне удалось отыскать несколько неизвестных писем, написанных, по всей вероятности, рукой Коперника. Некоторые из них касаются конфликта между Вармией и Тевтонским орденом. Три письма, написанные в 1524 году, я нашел в Ольштыне. В них говорится об обострении отношений с Тевтонским орденом, который оккупировал владения капитула под Браневом. В письме вармийскому епископу Маурицию Ферберу от 6 июня 1524 года Коперник выражает свое возмущение по поводу противозаконных действий ордена».

«Вы недавно вернулись из ФРГ. Что вы там нашли?» — спросил корреспондент.

«В ФРГ, в частности в Гёттингене, отыскались очень ценные документы. В архивах Тевтонского ордена и Прусского герцогства, которые находятся в настоящее время в Государственном архиве в Гёттингене, я нашел два письма, написанные рукой Коперника в 1513 и 1519 годах великому магистру Альбрехту. Третье, самое интересное письмо датировано 16 ноября 1520 года, т. е. днем, когда войска Тевтонского ордена уже осаждали Ольштын. Тогда Вармийский капитул обратился к польскому королю Сигизмунду Старому с горячей просьбой прислать на помощь войска. Это письмо несомненно написано Коперником. Оно является пламенной декларацией верности польскому королю. В конце письма Коперник пишет: «Мы хотим делать то, что подобает честным и правдивым мужам, преданным Вашему Величеству, даже если бы нам пришлось испить чашу страданий до конца...»

Когда Коперник писал это письмо, он уже, по всей вероятности, заведовал канцелярией капитула и был главным организатором обороны Ольштына во время осады города войсками Тевтонского ордена. Это письмо, как и другие, написанные ольштынскими канониками с просьбой о помощи в борьбе против тевтонцев, было перехвачено врагом, и поэтому их оригиналы находятся в архиве Тевтонского ордена.

В Гёттингене мы нашли также подлинный документ от 28 декабря 1512 года, подтверждающий присягу на верность, данную польскому королю Сигизмунду Старому Коперником и другими членами капитула во Фромборке перед вармийским епископом Фабианом Люзиянским. Подлинник присяги представляет собой большую ценность, так как до сих пор ее текст был известен только по копиям XVIII века».

«А что вы нашли в шведских библиотеках и архивах?» — спросил корреспондент.

«Из материалов, найденных в библиотеках и архивах Швеции, я выбрал и заснял на микропленку так называемые маргиналии Коперника, в том числе его собственноручные заметки на полях почти 50 книг, которые он изучал во Фромборке. Заметки дают представление об истоках его гелиоцентрической теории, знакомят с проблемами, интересовавшими астронома, с его познаниями в области медицины, географии, математики и др. Этими материалами в будущем бесспорно заинтересуются ученые разных специальностей, что позволит сделать некоторые выводы о научном методе и круге интересов Коперника».

МОНОГРАФИЯ О ТВОРЧЕСТВЕ ИВАШКЕВИЧА

Творчество крупнейшего польского писателя Ярослава Ивашкевича, которому недавно исполнилось 76 лет, служит предметом тщательного изучения польских критиков. В нынешнем году издательство «Чительник» выпустило монографию Рышарда Пшибыльского «Эрос и Танатос» («Любовь и Смерть»), посвященную основным прозаическим произведениям писателя, созданным в период с 1918 г. по 1939 г. В ней представлен процесс развития философских и художественных взглядов писателя на фоне идейных течений конца XIX и начала XX веков, связь прозы Ивашкевича с проблемами литературы и искусства того периода.

По отзывам рецензентов, Пшибыльский уделяет основное внимание анализу

стетических и интеллектуальных элементов в наиболее характерных произведениях писателя.

США

ОВЦЫ НА ВЗЛЕТНОЙ ОРОЖКЕ» — ПЬЕСА УХВАЛЬДА

Известный американский урналист, автор остропотических фельетонов Арт ухвальд создал не менее ктуальную пьесу — «Овцы а взлетной дорожке». Это ервое драматургическое роизведенне фельетониста редставляет собой, по отывам рецензентов, едкую атиру, в первую очередь на нешнеполитический курс ША, а также на весь «американский образ жизнн».

...Джозеф Мейфлауер, известный в США политический обозреватель, приезает, якобы для отдыха, в ебольшую страну Ноному-а, находящуюся «где-то в ималаях». Всеми силами он тремится навязать независимой миролюбивой стране мериканскую военную поощь. Для этого он запугивает правителя Номуры ифической «коммунистической опасностью». В результате хитроумных политических интриг амернканец умел дезорганизовать национальное руководство траны и так обострнть внутиполитические отношения в Ноному́ре, что она, в коне концов, оказалась втянутой в бессмысленную, разорительную войну.

Пьеса Бухвальда не без спеха, как отмечают рецензенты, идет в нью-йоркском еатре «Хелен Хейз». В ней стро критикуется деятельность ЦРУ за рубежом, а акже всей дипломатической лужбы США. По словам звестного публициста Фиппа Боноски, написавшего о спектакле в газете Дейли уорлд», Мейфлаер — собирательный образ уржуазного газетчика-антикоммуниста, который наделен автором характерными ертами некоторых высокоставленных сановников ашингтона.

Пьеса Бухвальда поставлена известным режиссером Джином Саксом. В ведущих ролях заняты популярные американские актеры: Марин Гейбел, Дэвид Бернс, Ричард Кастеллано. (Пьеса Бухвальда «Овцы на взлетной дорожке» опубликована в советском журнале «США» №№ 7—8, 1970.)

МОНУМЕНТ В «БЛЭК ХИЛЛЗ»

Когда 22 года назад скульптор Коржак Зиолковски купил у министерства внутренних дел США одну из вершин горного кряжа, известного в Южной Дакоте под названием «Блэк хиллз» («Черные холмы»), потратив на это все свои сбереженнн, многне недоумевали. Художинк не сразу раскрыл свой секрет. С тех пор вот уже два с лишним десятка лет он каждый день встает с восходом солнца, надевает горные ботинки, взваливает на спину тяжелый рюкзак с динамнтом и отправляется в «студию». Туда ведут 740 ступенек, вырубленных в граните. Зиолковски работает на высоте 600 футов, превращая гору в небывалый монумент великому вождю индейского племени су, известному в истории под именем Бешеная Лошадь. Скульптор (ему сейчас 60 лет) работает по 16—18 часов в сутки; за 22 года работы он удалил около полумнллиона тонн породы.

Будущие очертания уникальной скульптуры уже угадываются в облике гранитной громады. Легендарный вождь индейского племени будет изображен верхом на коне с простертой вперед рукой.

«Из поколения в поколение Америка нгнорирует историческое наследие индейцев, и мне хочется своей работой увековечить это наследие, возвеличнть славный индейский народ»,— заявил Зиолковски, скульптор-самоучка из семьи польских иммигрантов, обосновавшейся в Бостоне в прошлом веке.

Работа Зиолковски не осталась без внимания прогрессивной общественности Соединенных Штатов, поддерживающей борьбу американских индейцев за гражданские права и улучшение условий их жизни. Некоторые общественные организации оказывают скульптору скромную финансовую помощь.

Федеральное правительство, в свою очередь, предприняло попытку использовать работу Зиолковски в своих пропагандистских целях. Представители властей предложили ему «правительственные субсидни» для завершения работы над монументом. «Я засмеялся дяде Сэму в лицо,— рассказывает скульптор.— Я не хочу, чтобы правительство примазывалось к этому монументу. Почему? Потому что вся политика правительства Соединенных Штатов по отношению к индейцам протнворечит главной идее моей работы». В свое время, сказал Зиолковски, представители правительства отказались финансировать строительство музея индейской культуры, а также больницы и колледжа для индейцев в районе «Блэк хиллз».

Скульптор надеется, что средства, собранные от туризма в районе «Блэк хиллз», дадут ему возможность построить здесь музей, больницу и колледж и тем самым внести свой вклад в улучшение жизни коренных жителей Америки.

По расчетам Зиолковски, памятник Бешеной Лошади будет готов через десять лет. Он надеется лично довести дело до конца. По признанию скульптора, ни одному своему произведению (а они известны во многих странах и не раз награждались на западноевропейских конкурсах) он не отдавал столько времени и сил, сколько монументу в «Блэк хиллз».

МУЗЕЙ СИНКЛЕРА ЛЬЮИСА

Известный американский писатель Синклер Льюис провел свои детские годы в городке Сок-Сентр (штат Миннесота). Недавно в доме, где жил Синклер Льюис, был открыт музей. В небольшом, скромно обставленном деревянном здании все сохранено в том виде, в каком оно было при жизни семьи Льюисов. Посетители могут увидеть даже старую

железную печку с обгоревшими поленьями. Музей посещают многие почитатели таланта Синклера Льюиса, автора широко известных романов «Бэббит», «Эроусмит», «Кингсблад, потомок королей».

ФРАНЦИЯ

ТРУД ПО ИСТОРИИ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

Издательство «Робер Лаффон» и Книжный клуб Дидро выпустили монументальный труд Жоржа Сориа «Большая история Коммуны» в пяти томах. Издание иллюстрировано гравюрами Шагала и Ман Рея, рисунками Пикассо (красный карандаш), Массона, Кальдера, Тышлера, гуашами Вазарели, Миро, Люрса, Пиньона, Гуттузо, Эрнста, Матта и Сен-Саенса.

НА ПОДМОСТКАХ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ

В последние годы провинциальный театр играет все более заметную роль в культурной жизни Франции. У него есть свой репертуар, отвечающий актуальным жизненным проблемам трудящихся; популярность его непрерывно растет.

Нынешний театральный сезон, как отмечает обозреватель газеты «Юманите», ознаменовался появлением нескольких актуальных, затрагивающих социальные проблемы пьес. Высокую оценку критики получила поставленная в Авиньоне пьеса Андре Бенедитто «Упаковка». Драматург работал над ней в творческом содружестве с гаврскими рабочими. В предыдущей своей пьесе — «Напалм» — Бенедитто выступил со страстным обличением американской агрессии во Вьетнаме. «Театр,— заявил он,— должен быть обращен к человеку, к проблеме преобразования общества».

Народный театр Лотарингии (НТЛ) показал пьесу «Блеск и нищета Миметты Лотарингской». Эта острая политическая сатира на шахтовладельцев была горячо встречена горняками. Жак Крамер — автор пьесы и директор театра посетил заводы и шахты, привлек к участию в работе над спектаклем шахтеров и передовых инженеров. В рецензии на спектакль, опубликованной в «Юмаините», подчеркивалось «политическое мужество авторов постановки, смело атакующих хозяев металлургической промышленности». Спектакль вызвал яростную злобу предпринимателей, их требования запретить «крамольную пьесу», однако она осталась в репертуаре НТЛ. Тогда хозяева предприняли «обходной маневр»: генеральный совет департамента Мозель наполовину урезал ассигнования НТЛ, а суд города Меца постановил ликвидировать имущество театра «за неуплату долгов»...

Уже пять лет существует театр в рабочем пригороде Лиона — Венисьё. Театр выступает в городах департамента Рона, в котором муниципалитетами руководят коммунисты. Муниципалитет Венисьё предоставил театру помещение, оказывает ему финансовую поддержку. Недавно этот театр поставил остросатирическую пьесу Макса Фриша «Бидерман и поджигатели», обличающую французскую буржуазию, выдвигавшую в годы, предшествовавшие второй мировой войне, девиз «лучше Гитлер, чем Народный фронт».

Театры Лиона, где работают молодые талантливые режиссеры Роже Планшон, Марсель Марешаль, Жерар Гийом, ныне занимают важное место в театральной жизни Франции. Некоторые журналисты пишут даже, что Лион стал театральной столицей страны.

В этом году на провинциальных сценах Франции были поставлены несколько пьес русского классического и советского репертуара. Событием в культурной жизни города Страсбурга явилась постановка пьесы М. Горького «Последние» (режиссер Андрэ Стейжер). По мнению обозревателя газеты «Моид», пьеса «вызывает желание еще глубже познакомиться с Горьким».

Состоящая из рабочих и студентов любительская группа города Монтрей показала спектакль «Обещанная земля», поставленный по мотивам «Мистерии-буфф» Маяковского. Спектакль, пишет рецензент еженедельника «Леттр франсэз», смотрится с большим интересом, он зовет к «поиску путей освобождения от эксплуатации».

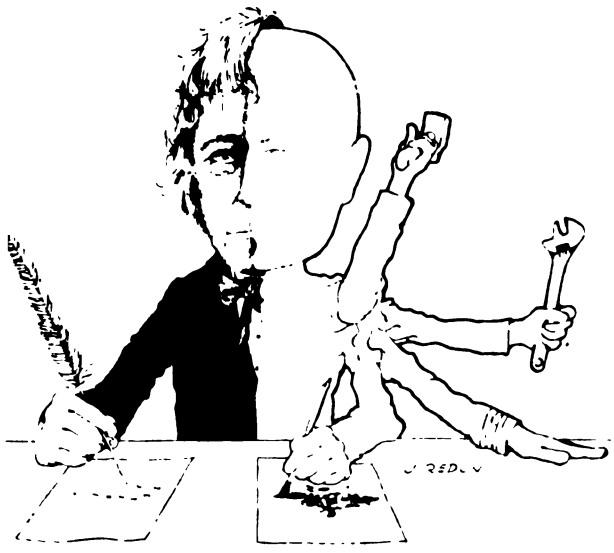
Труппа города Валанс на поставила пьесу «Бирзовый полковник» по одноименной новелле Николая Тихонова. Дом культуры города Буржа работает над пьесой Е. Шварца «Голый король», в театре Вилюрбанна (пригород Лиона) ставят «Даму с собачкой» и «Невесту» Чехова, труппа города Нанта впервые во Франции осуществила постановку пьесы Тургенева «Холостяк». Театральная труппа департамента Финистер показывает крестьянам и рыбакам Бретани три одноактные пьесы Чехова. Спектакль пользуется большим успехом, его посмотрели уже свыше 15 тыс. человек.

Несмотря на успехи и растущую популярность провинциальных театров, им живется нелегко, отмечает обозреватель. И без того скудные ассигнования на нужды театров постоянно урезаются, а некоторые обречены на «бродяжническое существование», как, например, известный во Франции театр «Гренье де Тулуз». Как заметил обозреватель «Юманите», театру не простили его прогрессивного репертуара, в особенности постановки пьесы «Мать» Б. Брехта (по роману М. Горького) и работы, которую театр вел на предприятиях, среди рабочих и учащихся.

Обозреватель буржуазного еженедельника «Экспресс» признал, что провинциальные труппы «очень бедны и ведут аскетическое существование». В результате такой политики за последние годы значительное число театров Франции закрылось и многие актеры лишились работы.

ПАМЯТИ ФРАНСУА МОРИАКА

Немногим более месяца не дожил до своего восьмиде-



Эта карикатура опубликована еженедельником «Фигаро литтерер» и отражает бедственное положение французских писателей. Лишь немногие из них могут жить на гонорары за литературный труд. Большинству приходится иметь «вторую профессию», чтобы свести концы с концами.

:ятипятилетия крупнейший французский писатель Франуа Мориак. Наследник трациций критического реализма во французской литературе, Мориак создал романы, замечательные своей человечностью, глубиной проникновения в психологию героев, силой разоблачения разрушительной власти денег в буржуазном обществе, говорится в некрологе «Юманите».

С 1933 г. писатель был членом Французской Академии. В 1952 г. он стал лауреатом Нобелевской премии.

Творчество Франсуа Мориака разностороннее. Он не только романист, но и драматург, пьесы которого, поставленные театром «Комеди франсэз», получили широкую известность. Ему принадлежат интереснейшие исследования по истории литературы, поэтике, вопросам религии и морали. Франсуа Мориак известен и как блестящий неустанный публицист. Во время гражданской войны в Испании он выступал в защиту республики. В годы гитлеровской оккупации во Франции он участвовал в Сопротивлении, опубликовав в подпольном издательстве «Минюи» страстное публицистическое произведение «Черная тетрадь» под псевдонимом Форез. Он приветствовал в «Черной тетради» рабочий класс как «единственный сохранивший в своей массе верность поруганной родине». Он восхищался Красной Армией, принесшей освобождение Европе. Во время войны в Алжире Мориак выступал в защиту алжирского народа. Незадолго до своей смерти писатель опубликовал в прессе страницы «Дневника», в котором откликался на актуальные вопросы культурной и политической жизни.

«В самые трудные часы нашей истории,— сказано в некрологе «Юманите»,— внутренняя необходимость приводила его в один с нами лагерь... В день, когда закончилась его долгая и счастливая жизнь, склонимся перед Франсуа Мориаком, который защищал испанский народ, алжирский народ и честь французских писателей».

«Юманите» опубликовала соболезнование Союза советских писателей, сообщила о соболезнованиях, присланных вдове писателя президентом Французской Республики Жоржем Помпиду, генералом де Голлем, ЮНЕСКО, а также о специальном апостольском благословении папы римского.

Из многочисленных произведений Франсуа Мориака на русском языке были изданы романы «Клубок змей», «Дорога в никуда», «Тереза Декейру», «Конец ночи». В журнале «Иностранная литература» были опубликованы повести «Обезьянка» (№ 6, 1955) и «Шалый» (№ 10, 1962). Последний роман, написанный Франсуа Мориаком, «Подросток былых времен» опубликован в журнале «Новый мир» (№ 1, 1970).

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА ЛАДИСЛАВА НОВОМЕСКОГО

В братиславском издательстве «Эпоха» вышел в свет четырехтомник публицистики видного словацкого писателя и общественного деятеля Ладислава Новомеского; издание включает статьи, написанные с 1924 по 1944 г.

Первые два тома — «Звучащие отзвуки» (1924—1932) и «Почетная обязанность» (1933—1944) — содержат, по словам рецензента «Руде право», глубоко партийную публицистику на политические и социальные темы. В третьем и четвертом томах — «Манифесты и протесты» (1924—1937) и «Торжество верности» (1938—1943) — собраны статьи об искусстве и литературе. Автор затрагивает в них главные проблемы культуры и литературы в период обострившейся в ту пору классовой борьбы.

Видное место в публицистике Новомеского отведено вопросам взаимоотношений творческой интеллигенции и коммунистической партии, рабочего класса и культуры, искусства и политики в условиях буржуазной Чехо-

словакии. По мнению рецензента «Руде право», основные положения этих работ не утратили своего значения и поныне.

В четырехтомник включены также статьи, посвященные связям с советской культурой. Ладислав Новомеский уже в те дни призывал деятелей словацкой национальной культуры примкнуть к социализму, как к наиболее прогрессивному явлению современности, поддерживать Советский Союз.

ЮГОСЛАВИЯ

УНИКАЛЬНАЯ РАБОТА НЕБОЙШИ МИТРИЧА

В 1924 году молодой скульптор Иван Мештрович — под впечатлением известия о смерти В. И. Ленина — создал его скульптурный портрет, выполненный в бронзе. Полиция королевской Югославии, узнав о существовании бюста В. И. Ленина, начала его разыскивать. Скульптурный портрет вождя мирового пролетариата прятали рабочие и инженеры, профессора и студенты, журналисты и дипломаты.

Перед началом второй мировой войны бюст Ленина был тайно переправлен во Францию. Последними людьми, которые видели работу Мештровича в Париже, были журналист Боре Проданович, дипломат Станое Силич и Здеиек Райх. Скрываясь от гитлеровцев, Райх оставил бюст в своей квартире — и здесь след его теряется...

Много лет белградский скульптор Небойши Митрич вместе с друзьями искал пропавший бюст Ленина работы Мештровича. Поиски велись в Югославии и во Франции, до мельчайших подробностей восстанавливался путь, проделаниый бюстом, но ничто не помогло в решении этой задачи.

Постепенно у Митрича созрела идея восстановить скульптуриый портрет Ленина по сохранившимся фотоснимкам и другим материалам. Снимки бюста дважды — в журнале «Республика» в 1929 году и во французской газете в 1932 году — появлялись в печати. Скульптор, кроме того, изучил записи Ивана Мештровича и воспоминания Зденека Райха. Работа по воссозданию образа, воплощенного Мештровичем, заняла у Митрича десять лет.

Недавно его работа была представлена на суд зрителей в зале Белградского университета. Открывая торжество, профессор университета Радивой Давидович высоко оценил заслуги Небойши Митрича, проделавшего уникальную работу.

ЮНЕСКО

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ИФЛА

В Москве прошла 36-я сессня ИФЛА — Международной федерации библиотечных ассоциаций (International Federation of Library Associations), неправительственной организации, тесно сотрудничающей с ЮНЕСКО. В ИФЛА, созданной в 1929 году, представлены библиотечные организации и отдельные библиотечно-библиографические учреждения 65 стран. Задачи ее — содействовать развитию библиотечного дела и повышению роли библиотек в образовании и научно-техническом прогрессе.

ИФЛА впервые провела свою очередную сессию в Советском Союзе; в ней приняли участие около 600 человек из 50 стран мира. В ходе сессии работало 25 комиссий и секций, в том числе комиссии по единым правилам каталогизации, по обмену изданиями, по исследованию теоретических основ библиотечного дела, по механизации библиотечной работы и т. д.

Как известно, 1970 год был объявлен ООН и ЮНЕСКО Международным годом образования. «Библиотеки как средство образования и просвещения» — тема одиого из пленарных заседаний, на котором с докладами выступили президент ИФЛА Г. Либарс, заместитель министра культуры СССР Н. И. Мохов, заместитель Генеральиого директора ЮНЕСКО М. Адисешиа.

Много внимания сессия уделила теме «В. И. Ленин и библиотечное дело», внеся тем самым свой вклад в празднование Ленинского юбилея. Малкольм Адисешиа подчеркнул постоянный интерес В. И. Ленина ко всем вопросам, связанным с развитием библиотек и распространением книг: «Ленин не только организовывал и развивал библиотечное дело, но и был автором важных библиографических исследований и даже составителем библиографий. Кроме того, он был постоянным посетителем научных и публичных библиотек своей страны, без чего, как говорит Н. К. Крупская, «он не стал бы тем Лениным, которого мы все знаем»... Как вождь революции, он приложил все усилия, чтобы, в соответствии с государственной программой, сеть библиотечиого обслуживания охватила всю страну».

Теме «В. И. Ленин и библиотеки» было посвящено специальное пленарное заседание, на котором выступили представители СССР, Швеции, ГДР, Великобритании, Швейцарии, Франции, Польши, Финляндии, США, то есть тех стран, в библиотеках которых В. И. Ленин работал или о постановке библиотечного дела в которых писал.

Президентом ИФЛА был снова избран директор Королевской библиотеки в Брюсселе (Бельгия) Г. Либарс; среди вице-президентов — директор Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы в Москве М. И. Рудомино.

Авторы этого номера

ФЕЛИКС ПИТА РОДРИГЕС — FÉLIX PITA RODRIGUEZ (род. в 1909 г.).

Кубинский поэт и новеллист, председатель секции литературы Союза писателей и деятелей искусств Кубы. Сражался в рядах испанской республиканской армии против фашизма. Начал печататься с 1929 года. Автор поэтических сборников «Разбросанная поэзия» («Poesía dispersa», 1929—1933), «Ночи» («Las noches», 1940), «Огненный конь боевой» («Corcel de fuego», 1945), сборника рассказов «Тобиас» («Tobías», 1954), сборника стихотворений и рассказов («Poemas y cuentos», 1965) и др.

Стихотворение, которым открывается этот номер, было напечатано в журнале «Верде оливо» — органе Революционных вооруженных сил Кубы.

■

ИШТВАН ЭРКЕНЬ — ÖRKÉNY ISTVÁN (род. в 1912 г.).

Венгерский писатель, дважды лауреат литературной премии имени Аттилы Йожефа. Начало его литературной деятельности относится к предвоенным годам. Первый сборник рассказов «Пляска моря» («Tengertánc») вышел в 1941 году. Известность и признание венгерских читателей принесли И. Эркеню повести и рассказы, написанные в послевоенные годы: сборники «В пургу» («Hóviharban», 1954), «Принцесса Иерусалима» («Jeruzsálem hercegnöje», 1966), «Молодожены на липучке» («Nászutasok a légypapíron», 1967; несколько рассказов из этого сборника — «Одноминутные новеллы» — напечатаны в № 3 нашего журнала за этот год).

Появление в свет повести «Семья Готов» («Tótékok»), которую мы предлагаем вниманию читателей, было одним из значительных литературных событий в Венгрии 1966 года. Сделанные по повести пьеса и фильм с интересом встречены венгерскими зрителями.

ЭДВАРД КОЦБЕК — EDVARD KOCBEK (род. в 1904 г.).

Югославский, словенский, поэт, прозаик, публицист, государственный деятель. Печататься начал в довоенные годы. С 1941 г. — активный участник партизанской борьбы, редактор подпольного журнала «Освободилна фронта» и газеты «Словенски порочевалец». После войны — депутат словенского парламента, член правительства. Автор сборников стихов «Земля» («Zemlja», 1934), «Ужас» («Groza», 1963). Э. Коцбек выпустил две книги воспоминаний о партизанской борьбе: «Товарищество» («Tovarišija», 1949) и «Документ» («Listina», 1967), а также книгу новелл «Страх и мужество» («Strah in pogum», 1951). Публикуемое в номере стихотворение включено в сборник «Ужас».

■

ЕВРЕМ БРКОВИЧ (род. в 1934 г.).

Югославский, черногорский, поэт, журналист. Автор нескольких книг стихов. Публикуемое стихотворение вошло в поэтический цикл, навеянный путешествием в СССР в 1968 г. и напечатанный в журнале «Стваране» (1970).

ВЕЛИМИР МИЛОШЕВИЧ (род. в 1937 г.).

Югославский поэт из Боснии и Герцеговины. Печатается с начала шестидесятых годов; выпустил с тех пор пять книг стихов: «Появление солнца», «Маяк» и др.

Стихотворение «Царь-колокол» появилось на страницах журнала «Стваране» в 1970 г.

ТОНЕ КУНТНЕР — TONE KUNTNER (род. в 1943 г.).

Югославский, словенский, поэт. Выпустил сборники стихов «Каждодневный хлеб» («Vsakdanji kruh», 1966) и «Дикая яблоня» («Lesnika», 1969), откуда и взяты публикуемые стихотворения.

ВЛАДА УРОШЕВИЧ (род. в 1934 г.). Югославский, македонский, поэт. Автор сборников стихов «Некий другой город» (1959), «Сцены» (1963), «Летний дождь» (1967), книги рассказов «Знаки» (1963) и др.

Стихотворение «Южная звезда» было напечатано в сборнике «Тьма» (1962).

МИРЬЯНА ВУКМИРОВИЧ (род. в 1936 г.).

Югославская, сербская, поэтесса. С 1955 г., когда она впервые начала печататься, выпустила сборники стихов «Небосклеб» (1962), «Стена печали» (1967), куда вошли стихотворения «Я под шапкой неба» и «Из книги дождя».

СЛАВКО МИХАЛИЧ — SLAVKO MIHALIC (род. в 1928 г.).

Югославский, хорватский, поэт, новеллист, критик, журналист. Печататься начал в пятидесятые годы; с тех пор его стихи составили несколько сборников.

Стихотворение «Поездка по Грузии» написано поэтом после путешествия в Грузию в 1966 г. Перепечатывается нами из газеты «Вьесник».

■

ДЖУЛИУС ФЕЙФЕР — JULES FEIFFER (род. в 1929 г.).

Американский писатель, драматург. Будучи также весьма известным художником-карикатуристом, сотрудничает во многих газетах и журналах. Начиная с 1959 г. в свет появляются его рассказы, повести, пьесы. Ныне он автор многих произведений, в том числе книги «Тошно, тошно, тошно» («Sick, Sick, Sick», 1959), романов «Толкователи» («The Explainers», 1961), по которому он сделал инсценировку — музыкальную комедию, «Мальчики и девочки» («Boy, Girl, Boy, Girl», 1962), «Гарри, предатель женщин» («Harry, the Rat with Women», 1963), пьес «Арнольд на четвереньках» («Crawling Arnold», 1961), «Маленькие убийства» («Little Murders», 1967) — сатирической пьесы на тему установившегося в США «климата убийств» и других произведений.

В этом номере мы знакомим читателей с творчеством Дж. Фейфера, публикуя его новую пьесу «Убийство в Белом доме» («The White House Murder Case», 1970).

■

ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС — JOSE MIGUEL VARAS (род. в 1928 г.).

Чилийский писатель и журналист. В литературе дебютировал в 1946 году сборником юмористических рассказов «Кауин» («Cahuín»), затем вышла из печати повесть «Случается» («Sucede», 1950), биографическая повесть о чилийском коммунисте «Чакон» («Chacón», 1968; см. рецензию в нашем журнале № 4 за 1970 г.). В нашей стране в русском переводе издана его повесть «Бывалый».

В этом номере мы публикуем рассказы из сборника «Общие места» («Lugares comunes», 1969).

■

АНГЕЛ ТОДОРОВ (род. в 1906 г.).

Болгарский поэт, литературный критик, публицист, лауреат Димитровской премии, заслуженный деятель культуры. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Красное знамя» (1949), «Достойная правда» (1963), «Среди народа» (1966), литературно-критических трудов и других произведений.

■

ХОСЕ ДОМИНГО — JOSE DOMINGO.

Испанский критик, литературовед, обозреватель литературного ежемесячника «Инсула», выходящего в Мадриде.

Статья «Книги и цифры» (Письмо из Мадрида) прислана автором в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора), М. А. ШОЛОХОВ.

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

Сдано в производство 8/IX-70 г. А09293. Подписано к печати 23/X-70 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч:-изд. листов 27,85. Зак. 3150.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394